



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года  
САРАТОВ

*5-6 (426)*

---

*2010*

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПОЭЗИЯ

<b>Герман Власов.</b> «живи не трогая эскизы...» и др. ....	3
<b>Сергей Трунев.</b> «в знойном мареве лиманов...» и др. ....	8
<b>Игорь Караулов.</b> Промежуточные итоги .....	43
Послесловие <b>Сергея Слепухина:</b> «Абсурдная катавасия» .....	51
<b>Борис Лихтенфельд.</b> «Работай, нескончаемый завод...» и др. ....	84
<b>Евгения Изварина.</b> «Пятипалая боль под перчаткою нитяной...» и др. ....	88
<b>Павел Жагун.</b> Carte Blanche .....	90

## ПРОЗА

<b>Александр Кузьменков.</b> Десятая годовщина .....	12
<b>Татьяна Щербина.</b> Аргус (одноклассницы) .....	38
<b>Вадим Ярмолинец.</b> Чемоданы – за борт! <i>Рассказ</i> .....	57
<b>Анна Лавриненко.</b> Там, где нас нет. <i>Повесть</i> .....	63

## ПУТЕШЕСТВИЕ

<b>Сергей Соловьев.</b> Индийские мотивы .....	93
--	----

## ДРАМАТУРГИЯ

<b>Марина Палей.</b> Salsa for Singles (Сальса для одиночек) .....	129
--	-----

## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

<b>Павел Гуменюк.</b> «молодость моя Θεοδοσία...» и др. ....	156
<b>Полина Стрелкова.</b> «Вот ещё какие бывают ветра...» и др. ....	159

## В КРУГУ СМОГА

<b>Леонид Коныхов.</b> Рассказы. <b>Вячеслав Горб.</b> Невесомая тяжесть. <i>Стихи:</i> <b>Олег Хмара, Юрий Каминский, Рудольф Кан, Владимир Пожаренко.</b> <i>Предисловия Владимира Алейникова</i> .....	163
---	-----

## ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ

Разговоры с Андреем Пермяковым: <b>Евгения Вежлян – Виктор Куллэ</b> .....	218
--	-----

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

<b>Андрей Пермяков.</b> Книга надеющегося .....	232
<b>Алексей Колобродов.</b> Мультки без пульта, или Конец чебурашки .....	233
<b>Юлия Щербинина.</b> Преодоление пространства .....	237
<b>Алексей Александров.</b> Двадцать лет спустя .....	245
<b>Николай Аржанов.</b> В струях прозрачного воздуха .....	247
<b>Олег Рогов.</b> Шевелящиеся виноградины .....	248
<b>Виктор Селезнев.</b> Тираны мира, трепещите! .....	250

## КИНООБОЗРЕНИЕ

<b>Иван Козлов.</b> Опасные фантазеры .....	254
---	-----

Герман ВЛАСОВ

\* \* \*

*живи не трогая эскизы  
за красной крышей темный пруд  
грозу рассматривая снизу  
так ранней осенью живут*

*дождь ходит с цинковой лейкой  
стрижей возносит духота  
и запах пойманной уклеи  
зовет бродячего кота*

*и если всё сложилось просто  
березы ветер и цветы  
в тебе нечаянный подросток  
заговорит из темноты*

*заголасит печная сажка  
дождя проступит метроном  
но будет радуга в пейзаже  
подвижном зеркале живом*

*и всё от первых звезд до кровель  
начнет кружиться колесом  
и вечер августа огромен  
и сам рисунок невесом*

\* \* \*

«Когда я в мире жил..»

Б. Чичибабин

Сухие листья, августа разлад,  
Медведицы воздушная опека.  
Ты говоришь о море невтопад  
и пахнет ночь осеннею аптекой.

Еще под вишней топают ежи,  
еще трава расти не обленилась,

---

Герман ВЛАСОВ родился в Москве в 1966 году. Закончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работает переводчиком. Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Крещатик», «Континент», «Новый Берег», «Интер-поэзия», «Дети Ра» и др. Автор поэтических сборников «1 ½» (1998), «Второе утро» (2003), «Просто лирика» (2006), «Музыка по проводам» (2009). Дипломант (2007) и лауреат (2009) Международного литературного Волошинского конкурса.

но посмотри на эти чертежи –  
в них, будто звезды, слово обнажилось.

Слова текут молочной рекой,  
скрипят их реи, паруса полощут, –  
а здесь торгуют медом и мукой,  
уходят спать, во сне идут наощупь.

Во всех домах – крестьяне, рыбаки,  
собаки спят, поэты и доценты.  
Седая, у излучины реки  
растет луна, растут ее проценты.

А вместе с ней седеет самый мрак,  
и каждый пятый, с тишиною в споре,  
осенний в ней распознает сквозняк –  
дверь хлопает в открытом разговоре.

А из-за штор, протянут будто шест  
паромщика, свет рыжий и неяркий.  
И яблоки белеют – ровно шесть,  
и сад сухую сбрасывает шерсть,  
и спицами блестит седая парка.

### Осенние письма

*Сергею Шестакову*

#### І.

Писарь – аптекарю. «Осень темна, что омут:  
охра, имбирь – всё на поверку тленье.  
Тянет сквозняк, напоминая, кто мы.  
Темень одна до Вербного Воскресенья.  
Верно и медленно небо дробится в лужах,  
редко обрадует в патио шепот птичий.  
Взгляд, будто гончая, просится вдаль, наружу,  
но для охотника мало в лесах добычи.  
Хочется снега – его обещали вскоре –  
цвет одинаков станет холмов и впадин.  
В моду вошло стихи сочинять о море.  
Как там в краю чаек и виноградин?  
Что говорят? Сердцу на свете больно.  
Горечь листвою станет кружить, покуда  
снег не пойдет. Так в сумраке безглагольном  
ищешь письма, словно желая чуда».

2.

Писарю лекарь красной латынью пишет:  
«Город у моря – неправильный слепок рая.  
Делают впрок настой из травы и вишен,  
мазь из коры – и в кожу ее втирают.  
Время муссонов. Последние три недели  
волны и ветер, зимуют на суше лодки.  
Видел, как гуси над ратушей пролетели,  
крик издавая жалобный и короткий.  
Были артисты, позвал к себе жить циркачку.  
Дней через шесть с обозом ушла в столицу.  
Словом, и здесь скука одна и спячка,  
Разве бродягам есть чему пожитьься.  
Будит звезда под утро – наверно, Вега.  
Столько созвездий – но больше бывает летом.  
Что пожелать тебе? Снега, побольше снега.  
Мира домашним, и не тyani с ответом».

\* \* \*

бабушка под веткою сирени  
в летнем сарафане и платке  
перешла в другое измеренье  
стала с тишиной накоротке

ты беглянка в глянце черно-белом  
словно льдом охваченный ручей  
не шумишь ни голосом ни телом  
но блестяшь из глубины вещей

а вокруг всё также без умолку  
жизнь без промедленья и числа  
ты однажды теплою иголкой  
в речью мою как заговор вошла

и прошила крестиком лиловым  
этот лепет сонный горловой  
если я к тебе иду за словом  
бабочку увижу над травой

неприметный и неуловимый  
танец твой свободы естество  
мимо грядок мать-и-мачех мимо  
и не обрывается родство

яблоня сирени куст и выше  
бросив взгляд июньским и живым

ты уже над цинковой крышей  
с облаком сливаясь кучевым

\* \* \*

Это вечно текущие краны,  
снег в обнимку с зубною бедой,  
у вокзалов твоих истуканы,  
в час с копейкой команда отбой.  
Крымский бережный шелк купороса,  
сосен строй на балтийском песке.  
Как же тянется время опроса,  
где судьба моя на волоске!  
И музеев медвежий морды,  
чучел имени Дарвина дом.  
Ну давай, перехватывай горло  
эластичным под тальком жгутом...

Бормочи, оставайся виденьем  
и напой как бушуют у скал.  
Я – не Гамлет, и с отчею тенью  
обязательных встреч не искал.  
Мне судьбу, как отца, подменили,  
нагадали лететь налегке.  
Дух, завернутый в столбики пыли,  
негашеная марка в руке.

\* \* \*

Шли в ногу, за руки держались,  
и не был этот день борьбой,  
и осени глухую зависть  
вдруг ощущали за собой.

Шли мимо в сером пионеров,  
и синих астр, и тощих мам,  
и бабье лето полной мерой  
тепло делило пополам.

Но спелой кожицей ореха  
нагретый воздух лопнул вдруг –  
образовалась в нем прореха,  
они, не разжимая рук,

туда, как бы за двери лифта,  
зашли на обморочный свет:  
желтела в баночках олифа  
на полках, как парад планет.

Белел бессонной мыслью кафель,  
чернело чучело в углу,  
и книга с надписью *Акафист*  
была раскрыта на полу.

Они тетрадь другую взяли  
потертую со всех сторон,  
и рук своих не разжимали,  
и позабыли этот сон.

\* \* \*

*природы не венец  
и не простая птица  
душа слепой птенец  
всё выглянуть боится*

*машины этажи  
весенних женицин платья  
над пропастью во ржи  
деревья как распятыя*

*один полета страх  
и солнце на голгофе  
но всё в твоих глазах  
как сахар тает в кофе*

*всё крутится волчком  
речным проходит устьем  
и мы упав ничком  
летать любовь отпустим*

Сергей Трунев

\* \* \*

в знойном мареве лиманов  
кружит вечности волчок  
слепень, муха ахримана  
сел на левое плечо

ветер утоляет жженье  
волны гасят звук шлепка  
труп слепня одно мгновенье  
треплет рыба мелюзга

размокает солнца крекер  
в бликах собственных лучей  
стынет тело человека  
с черной меткой на плече

03.08.09

\* \* \*

прощай, моя кривая молодость  
прощай, бухая круговерть  
в те дни, когда мы жили впроголодь  
и было не на что смотреть  
вставало солнце по-над волгою  
бесплатно согревая твердь

покуда стать «армянок» лаковых  
теснил малиновый пиджак  
мы по подъездам девок лапали  
а после бились в гаражах  
и дармовыми эскулапами  
был не один сосуд зажат

агдам, далляр, да три топорика  
невывразимый солнцедар  
когорта сторожей и дворников  
ушла сдавать пушной товар

---

Сергей Трунев родился в 1973 году в Саратове. Кандидат философских наук. Статьи и стихи публиковались в журналах «Волга», «Воздух», «Урал», «Дети Ра», «Дирижабль» (Н. Новгород), альманахах «Сальто-мортале», «Мышь во фраке», «Василиск», в антологиях «Время Ч: Стихи о Чечне и не только», «Русские стихи 1950-2000 годов» и др. Автор книги стихотворений «Боковая линия» (2004).



во глубине советских двориков  
звонит невидимый комар

труды и дни сменяют сумерки  
луна подобием леща  
на небе надцатого брюмера  
стоит, пером не трепеща  
лишь мумитролли, да снусмумрики  
о чем-то в ящике трещат

04.11.08

\* \* \*

*Наташе Ловцовой*

ты долго не любила целоваться  
я долго рисовал тебя другой  
но все фигуры ритуальных танцев  
одной и той же выгнуты дугой

меж птичьих криков и увядшей меди  
под этой хлябью грязно-голубой  
нам не ломать лирических комедий  
мне кажется, что мы больны собой

я замолчу, оставив сантименты  
как жулик оставляет воровство  
но пройденные вместе сантиметры  
сильнее страсти, больше, чем родство

11.09.09

\* \* \*

отринь свои печали  
вокруг такая лажа  
в сердцах пожмешь плечами  
и ничего не скажешь

погода минус тридцать  
в кармане минус двадцать  
но выпало родиться  
и некуда деваться

и мы ползем глистами  
на штурм карьерных лестниц

где небеса из стали  
и ангелы из жести

подснежники в посадках  
к кому-то там взывают  
чернеют от досады  
но нас не называют

и мы несемся в санках  
под горку по наклонной  
с беззлой перебранкой  
с ума соедши словно

как будто день последний  
как будто мозг заштопан  
и золушкин подследник  
в кровавый снег затоптан

23.01.10

\* \* \*

поп освящает магазин  
я наблюдаю сквозь витрину  
с небес нас всех пасет господь  
и это было бы смешно  
но спутник нашей контрразведки  
уже семь лет следит за богом

одна из точек пво  
на карте ближнего востока  
лениво провожает спутник  
под колпаком у люцифера  
чьих мелких слуг из магазина  
кадиллом грозно гонит поп

одно неловкое движение  
и выручки вообще не будет  
старайся, брат, но не усердствуй

08.11.09

\* \* \*

бесконечная зима  
черно-белым слаломом  
на штанине бахрома  
рукава засалены

улиц черные кишки  
белым окантованы  
в подворотне мужики  
с похмела готовые

бомбанули гаражи  
ломиком да сварочкой  
с новым годом, не дрожи  
разбирай подарочки

будет бабам на духи  
и детям на киндоры  
были б мы с тобой лохи  
нас бы тоже кинули

05.03.10

\* \* \*

весна начинает показывать, кто  
и точно упрек демонстрирует, где  
резиновый коврик, пропахший котом  
душевные струны задел

веселая случка дворовых собак  
чьи дети по осени станут едой  
весна начинает показывать, как  
она может двигать собой

сперва удивлялся, а после привык  
ничто не гнетет и не сводит с ума  
но время и деньги сказали кирдык  
и это прискорбно весьма

весна не желает жалеть ни о ком  
бессвязно плетет за куплетом куплет  
на коврике, пахнущем аммиаком  
нетрезвый кемарит сосед

уймутся собаки, сосед не спешит  
ни в этот мирок, ни, тем паче, в другой  
а в этом проснешься ни мертв и ни жив  
прикинешь к фигуре турецкий пошив  
и станет на сердце легко

26.03.10

Александр КУЗЬМЕНКОВ

## Десятая годовщина

### От автора:

*Сейчас буду говорить до оскомины банальные вещи, так что заранее прошу прощения.*

*Россия – синоним упущенной возможности. Отсюда общая любовь к сослагательному наклонению: если бы не убили Александра II... если бы победил Деникин... если бы президентом стал Примаков... etc.*

*Но: ни одна власть в России не является верховной. Максима Плутарха – «Ты правишь, но и тобою правят» – это как раз про нас. Любой здешний правитель становится заложником жестких условий: от скверного климата до непобедимой отрицательной селекции. Потому история наша нелинейна. Мы обречены подтверждать Екклесиаста: что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться.*

*«Начало» и «конец» в русском языке – слова родственные, едва ли не однокоренные. Конечный пункт для нас неизбежно становится отправной точкой. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Аракчеев родил декабристов, декабристы родили Государственный Приказ Благочиния, аракчеевщину в кубе. Ленин, сокрушив Российскую Империю, основал ее заново. Ельцин начал борьбой с привилегиями, а кончил борьбой за привилегии. И прочая, прочая, прочая.*

*Подлинный наш герб – не двуглавый орел, не серп и молот, а замкнутый круг. О том, стало быть, и пишу.*

А.К.

## Глава I

*Не дивно, Леонид, что юноша мечтает  
Блаженство уловить, гоняся за суетой,  
Но для чего, скажи, колена преклоняет  
Перед богиней слепой  
Сей старец, жизнью пресыщенный,  
Но тяжким опытом еще не наученный?..*

Нечаев

Окладчик Данилыч с мужиками ждали внизу, но он медлил спуститься с пригорка, – вытянулся струною, как давным-давно во фрунте, и замер, прикрыв глаза и высоко запрокинув лицо. Ноздри его – трепетные, кобыльи – жадно тянули арбузный дух поздней осени. Иней на мертвой траве, ломкие остекленелые лужи и стылая тяжесть ратовища в ладони кружили голову пуще всякой страсти. Поэтов хлебом не корми, дай поугасть хладом, непременно припомнить могилу...

---

Александр КУЗЬМЕНКОВ – прозаик, эссеист. Родился в 1962 году в Нижнем Тагиле. Окончил педагогический институт, был учителем, монтером пути, рабочим черной и цветной металлургии, журналистом. Автор книг «Бахмутовские хроники», «День облачный», «Корабль уродов». Печатался в журналах «Волга», «День и ночь» (Красноярск), «Новый берег» (Дания), интернет-издании «Круги», издательстве «Franc-tireur USA». Лауреат литературной премии «Серебряная пуля» (США, 2009). Безработный. Живет в Братске.

аякая, право, гиль! Рябина, и та мерзлая слаще. Его стихия был холод; он только об эту пору и жил, когда по загревку бежал озноб, и сердце блаженно замирало, окунувшись во внезапную стужу.

Окладчик крикнул: Сергеич! ай уснул там? Иду, Данилыч, иду, – он утвердил рогатину на плече и двинулся вниз, цепко расставляя кривые кавалерийские ноги, пряча улыбку в обвислых, крепко побитых сединою усах. Данилыч, однако ж, заметил и довольно оскалился, сквозь бурые остатние зубы покотился округлый, ветлужскою водой обкатанный, говор: ты, генерал, ноне чисто жених, а невестушка-то тебе припасена ва-ажная, пудов пятнадцать будет, а то и поболее... Он притворно усумнился: так уж и поболее? Да вот тебе святой истинный! матерая, на Митрия Солунского зазимовала...

Под ноги легко дремотное поле, затянутое желтой щетиною стерни. На дальном его краю топорились непролазный ельник. Они шли неспешно, вперевалку, – хуже нет выйти к месту запыхавшись, и Данилыч добродушно ворчал в бороду: вселаго лохматого бить, да не весело за ним ходить... Он возражал: и ходить, брат, не скучно! По загревку и впрямь бежала знакомая дрожь; он едва не захлебывался нутряною, звериной радостью, наперед зная: вот-вот захрустит под ногами бурелом, сажен за десять до берлоги окладчик пропустит его вперед, и он, мало подумав, уронит наземь рогатину, ловко увернет левый локоть в полушубок и потянет из ножен вороненый, двенадцати вершков, чеченский кинжал, – подлинный базалай! и мужики налягут на следи, подымая медведиху... а после по рукам пойдет манерка с водкою, и Данилыч сипло затянет: вышьем, други, на крови!..

Впервые эта счастливая стынь накрыла его в давнем ноябре, под Австерлицем, на раусницком берегу, где отчаянные матюги пехоты тонули в песьем вое мамлюков, и частокол семеновских штыков на глазах редел под косыми сполохами скимитаров, и Репнин повел кавалергардов на выручку, – рожки затрубили повестку к атаке, и земля, загудев, дрогнула и вырвалась из-под копыт, и белые колеты перемешались с расшитыми ялеками – и он, двухнедельный лейб-гвардии корнет, в остервенелом восторге кромсал палашом орехово-смуглого арапа, – тот выронил клинок и визжал, прикрывая окровавленными руками голову в растрепанном тюрбане, и в лицо жирно плескало теплым и соленым, –

и был намертво оконечельй питерский январь: Кондратий объявлял дерзость единственной возможною тактикой, но сам оказался не гораздо дерзок, за то и гнил в крепости, – северяне разменяли предприятие на полушки, на дурную позу провинциального трагика: ах, как славно мы умрем! однако черниговцы с ахтырцами и александрийцами всласть натешились над жидами, протрезвели и скорым маршем подвигались к Москве, новгородские военные поселяне подымали ротных и баталионных на штыки, а в гвардии, приверженной Константину, не унималось брожение умов, – велик был грех сидеть сложа руки в Варшаве, и он прибыл в Петербург тайным пропагатором, да не один! – второе пришествие мятежа сломило Николая, и тот опрометью кинулся прочь, забыв про пушки, последний довод королей, – царский возок в облаке снежной пыли летел вон из города, не разбирая дороги, а следом во весь опор летели пропальые ребята из *coghorte perdue*<sup>1</sup> – скифы! башибузуки! свирепые ангелы в крылатых ментиках, – и возок на лихом повороте предательно завалился полозьями вверх, гребенской конвой побросал оружие в сугроб – император, сам снежно-белый, вскрикнул тонко и жалобно, будто обиженный ребенок: как ты можешь, стервец?! и он, счастливо похолодев от безоглядной, не чета Кондратию, дерзости, спустил курок: все что могу, Николай Павлович! – *сoup de grâse*<sup>2</sup>, и кровь на синем гродненском доломане казалась черной, –

и следом был точно такой же, недвижно ледяной февраль, когда вся *coghorte perdue* оказалась на скамье подсудимых, – газеты в один голос предрекали смертный приговор, впрочем, и без них было ясно: Обществу из политических видов правдой и неправдой надо откреститься от цареубийц, оттого дело неминуемо шло к веревке, – корнет Митя Смирнов тянулся к нему всем непри-

<sup>1</sup> Обреченного отряда (франц.).

<sup>2</sup> Здесь: выстрел в голову (франц.).

кайным телом и замороженно, мучительно кружил возле страшного последнего слова: господин подполковник, так нас... так мы... и он в ответ подмигивал: э-э, брат! Бог души не вынет, так сама не выйдет – и впрямь! Вильгельм, назначенный председательствовать, все более деревенел лицом и все громче скреб ногтями столешницу, а после вдруг оборвал допрос, плотничким аршином разложил ввысь, задергал нижней оттопыренной губою и выкрикнул голосом омертвелым и разошедшимся: вам вешать угодно? тогда и меня заодно, и меня! почту за честь! – и рванул на шее галстух, и повалился рядом на скамью, и обнял неуклюже и костляво – и арестантским халатам вдруг сделалось тесно от фраков и сертуков; из зала лезли через барьер, громоздились, хватали за руки: качать да вопить «ура», –

а еще был подмороженный февраль под Конотопом, где творилось черт-те что, – дурак Пален в точности повторял оплошку Гейсмара при Сумах: двинул конных егерей противу казаков; те рвали темно-зеленый русский строй со всех сторон как волки быка, и тяжелые егеря едва успевали поворачиваться – и он, Воинского Приказа глава, прибыв на позиции, в кровь искусал губы: не дай Бог другой раз обосраться! хохлачи и так не знали отбою от волонтеров, привлеченных первой победою, – и он, не касаясь стремени, взлетел в седло и простонал не своим голосом башкирцам из резерва: алга, батырлар!<sup>1</sup> – жягеты, выхватывая сабли, впереводку завывали: актуга-ай!<sup>2</sup> и взяли с места в карьер, – синие жупаны оторопели: древняя, батыевых времен, жуть воскресла и с визгом, со свистом катилась к ним, путив по ветру хвосты на лисьих малахаях, рассыпая стрелы, распластав тусклый свет зимнего дня серебряными вспышками клинков, – и он первый жадным и сладким потягом развалил усатую морду под черною шапкой – удивить значит победить: казаки, не успев опомниться, оказались в Десне, размесили ее в ледяную кашу, да там и остались, канун да свеча, панове! – а после потехи над полем гремело старинное: любезники, любизар!<sup>3</sup> и казачьи головы, бледные и кровавые, трясли оселедцами на башкирских пиках...

Ежели расчесть здраво, то из этого только и стоило родиться. Все остальное – и девчонки, и дуэли, и прогулки верхом в чем мать родила – было ребячество, погоня за веселым ознобом: друг Марса, Вакха и Венеры... как же! Александр умом боек, но неглубок – ухватил лишь верхушку; Данилыч вчера рассудил куда вернее. Он, вполпьяна, одной рукою вздернул на воздух два трехпудовых мешка муки, и окладчик лишь охнул: Господи батюшко, вот сила-то! а ходу ей нет, снутри тебя точит, как ребятенка грызть... ты слышал ли про Святогора-богатыря? Такой же был, сам от себя умалялся да своею волей в домовину и ввалился... Ему и впрямь по временам делалось в самом себе скудно, как в гробу, и тогда он был готов куда угодно, хоть к черту на рога: а Боливару в Америку, на барьер, в кутежи – невольный друг Марса, Вакха и...

Ах, Саша! по неведению врал или из лести? Да так или сяк, а Венера нам уж лет двадцать не подруга. Он вспомнил давний виленский дуэль: утопанный снег и долгоносый, тщательно прицеленный лепаж напротив, – граненое дуло, считая пуговицы на мундире, ползло все ниже, – и собственную ликующую дрожь, что оборвалась, разом истаяла в крутом кипятке мокрой боли... Подлец Белавин! знал, куда метил; доктор только охал да руками разводил: сострадаю вам, ротмистр, – какая потеря! Но потеря оказалась не так страшна: девчонки начинали надоедать по причине избытка. Перед глазами завертелся потный ком бабьей плоти – и не разберешь, кто где! Он не без труда распознал в липкой мешанине несколько лиц. Вот Дуня Истомина, недавно виделись мельком: отяжелела, одною ляжкой до смерти задавит, где ее былые, летучие антраша да каприоли? Груша Закревская, прежняя femme fatale<sup>4</sup>, все тщится быть Клеопатрою, а тоже поперек себя шире, сушая попадья! смех и грех... Да что с них взять? тридцать лет – бабий век, куда им супротив молодых? Впрочем, и те не краше. Таша Гончарова, la belle dame sans merci<sup>5</sup>, – какой дурень этак бездарно ей польстил? ну, коли принять кукольную наружность за красоту, а вялые капризы за

<sup>1</sup> Вперед, герои! (башкирск.).

<sup>2</sup> Боевой клич башкирского племени бурзян.

<sup>3</sup> Башкирская песня о войне 1812 г.

<sup>4</sup> Роковая женщина (франц.).

<sup>5</sup> Прекрасная дама, не знающая милосердия (франц.).

жестокости... Тут и сумел бы, да не с кем! а Варя Асенкова как же? Долгоногая, с мальчишескою грудью, и на постеле, должно быть, услужлива и по-кошачьи ласкова... славная девочка, дай Бог счастья. Однако и ей не тягаться с Natalie Потоцкой – уж десять лет тому, а все сердце шемит. К несчастью, не лгала рифмачка Дельфина: elle m'est apparue au milieu d'une fete comme l'etre ideal qui cherche le poete<sup>1</sup>, – до сих пор в глазах стоит черное тафтяное платье, искристая дымка золотых волос да изумрудный браслет на тонком запястьи... Господи, что за лица у этих католичек! сладостные, светлые, – хоть тотчас на холст Рафаэлю... Болен был ею, губы уже не кусал, а грыз, писал и в ключья рвал письма, в угрюмом бешенстве мыкал бессонные ночи – она томно, с прохладцей, репетировала грядущую страсть; может, оттого и мила по сю пору, что пальцем ее не тронул? Слава Богу, до тридцати не дожила, – все лучше, чем обрюзгнуть телом и душою, растерять себя самое в ничтожном замужестве за Сангушкою...

Сергей! ай опять задремал? глянь, никак по твою душу. Он оборотился: со стороны деревни трусила тройка, бубенцы разбрызгивали нудный жестяной звон, вприщур сделался виден фельдъегерский околыш. Он досадливо сплюнул под ноги: какого рожна?.. Курьер вывалился из коляски, увяз в полах шинели, теребя ослепшими пальцами непокорную ташку, залился перепуганной галантерейной трелью: гражданин генерал, извольте-с пакетик принять... в личные руки... Он, не повышая голоса, велел: смир-рна! доложишь по форме. Фельдъегерь неловко приладил растопыренную пятерню к виску: так что-с Петров-второй, поштовой службы прапорщик. Он придиричиво ощупал почтара брезгливым взглядом: экая выправка несуразная! колобок колобком. Из купцов, что ль? Точно так-с, папаша в Твери торгуют-с... Сургучная печать подалась с леденчным вкусным хрустом, депеша оказалась от Пестеля: предорогой Михайла Сергеевич! у нас за Тобою мочи нет соскучились, жду не дождусь и щастлив стану, как сядем сам-друг потолковать за кофею, для того прошу быть в наши край сколько можно скоро и бесперечь...

Тогда в Париже Сен-Симон как в воду глядел: вы увлечетесь самым бесполезным и бестолковым занятием – политикою. Вот и ввязался на свою голову, десятый год не открестись, и до того все бестолково, хоть святых выноси! Послать разве тверского купчика в материну махоню? но Павлушка, дьявол хромой, уж коли привяжется, так с живого не слезет, и цифрованная записка трактовала об деле сугубо важном и безотлагательном. Так послать иль нет? он прислушался к себе, поискал зябку радость: миновала, и след простыл! ну и кляп с нею, – изменщица, как и всякая баба. Спи покуда, медведиха, дал Бог тебе отсрочку... Он передал окладчику сперва рогатину: прощай, Данилыч, – служба! а после четыре сотенных: гляди, брат, берлогу никому не продавай, управлюсь – вернусь! и хлопнул по плечу присевшего прапора: поехали, Петров! что, водку-то пьешь?..

## Глава II

*Явилась мне божественная дева...*

Одоевский

В висках мерно плескалась пасмурная тяжесть, а снаружи обитал стук – невесомый, насекомый, но изрядно назойливый, будто муха о стекло. Он жил вразнобой с мутными всплесками в голове, делая их еще больнее. Стучало внутри часовой башенки на спине медного слона, – пришел и время с собою принес, кто звал-то?.. Укрыться бы под одеялом, да рук не сыскать, липко размазаны где-то поодаль, будто кисель по тарелке... И голова – арбуз арбузом, от подушки не отнять, и язык лежит во рту шматком протухлого сала... Да разве с Евгением по-другому возможно? записной же бамбошер! Ты ему: да уймется же, monsieur Obolensky! а он едва не силком в рот мадеру льет, а сам все руками да руками... Пока прислугу дозвалась, все бока измял. Гвардии хрипун! хоть и пыжится сойти за фешенебля. И пакостная бородавка на левой щеке – крупная, розовая, как незрелый чирей... и шепелявит страшно, выпьет, – так и вовсе слова не разобрать...

<sup>1</sup> Она явилась мне среди праздника как идеал, которого ищет поэт (франц.).

Несмотря на то, велик был соблазн уступить, уж такие андроны подпускал, что любо-дорого, если исполнит хоть вполовину. Да спасибо Платову, очень кстати предварил: у Евгения Петровича обстоятельство неказисты, граждане благочинные на воровство нынче смотрят косо, – не ровен час, голубушка, вас за собою потянет. Умница Василий Васильевич! с виду чинопёр последней руки, а судит – так и не всякому каплюжному впору. Евгения все равно безбожно алюминировала, вовсю хитрила телом – пренебрегала корсетом, прижималась этак ненароком и прочее: мало ли что, авось да... А руки и впрямь воровские, проворные, даром что лыка не вяжет. Но последнего не допускала, вот и поил на убой, словно кирасира... бурбон! Дрозда зашибли знатно: Танюшка два раза тазик выносила, однако ж и теперь каламитно едва не до смерти.

Мир мало-помалу протискивался к ней сквозь затхлое похмельное марево. День протянул колючие проволочные лучи к циферблату на слоновьей башенке: половина первого, ни свет ни заря... Кафельная печь подошла степенно и стала в глазах с видом удрученной няньки. Вплотную придвинулся круговой угол наволочки в рыжих засохлых потеках; кружево вологодское, брабантских днем с огнем не сыскать, потому что народность, – а все жаль. Да-а уж, хороша была. Сейчас, верно, и глянуть жутко...

Она с трудом нашарила в кисельном месиве мешкотные, спотыкливые пальцы, кое-как перебросила их на стол и нащупала зеркальце в серебряной оправе, – куплено весною у Проскурина, пусть с изрядной переплатою, но рокайли снова в моде, – вот, так и есть: от глаз остались калмыцкие шелки, и скверная синева вокруг... Право, пора бы умнее собою распорядиться, ведь не мовешка какая-нибудь. Маменькин пример мало сказать незавиден: из первостатейной красавицы и тонной градамы образовалась московская кума подшофе, охотница до кучеров и лакеев, – экая гадость! и хватки все невыносимо лапотные. За историю с Давыдовым топала ногами и кричала толстым просвирным голосом: одно приданое было, да и то проебла, мерзавка! Будто сама не шалила в девичестве с Охотниковым, – да так, что бедный штаб-ротмистр заплатил сперва карьерою, а после и самой жизнью. А тут, во всяком разе, до сей поры обходилось без кровопролитий, вот разве Александр давеча память оставил... Она покосилась на расцарапанное плечо, – опасно, вполглаза, чтоб лишний раз не плеснуло в голову. Нервяк бешеной! чуть что, и когти в ход, ужесть просто. И наружность отменно стрюцкая, и заношенный фрак лоснится, и на жилете пятна, и эта мужицкая манера *rendre en levrette*<sup>1</sup>... Давно надо было выставить за порог, слава Богу, случай подвернулся. Будь умнее, так сам бы расчел: сделал дело, вывел к большим колпакам – пора и честь знать...

Она еще раз мазнула недовольным взглядом зеркального двойника – личико больное, шафранное! ей-Богу, краше в гроб кладут, – и потянула снурок сонетки: пусть уже придут, вызволят... В спальню с веселым козьим топотом ворвалась Танюшка, брякнула о стол подносом, развязно осведомилась: как почивали, Наталья Николаевна? яичка сырого с уксусом скушаете? Она болезненно скривилась: да тише ты, чтоб тебя... Танюшка присмирела в изголовье, чинные руки под грудью, но глазами стреляла остро и насмешливо: и ванну прикажете? Она кивнула: с молоком и лавандой... сама знаешь. Что столбом стала? ступай. Она выхлебала щедро наперченную болтушку в два глотка – кисло и склизко, сразу не одолеть, – и принялась ждать воскресения.

Вскоре явились первые его признаки: от висков отхлынуло, и телесный кисель загустел. Сладко и сладко было б уронить голову на подушки – черт с ними, что запаканы! – и не подниматься до вечера, еще лучше до утра, ползком перебраться из вонючей похмельной хляби в ласковую шелковую дремоту. Однако у Апраксиных крестины, волей-неволей надо быть; «Пчелка» после опубликует: украшением собрания стала девица Г\*\*\*, магнитная стрелка всего комильфотного света... Не явишься – напечатают то же самое об Варьке Асенковой, шелкоперы! да прибавят: царица подмошков, любимица Мельпомены... Нет уж, увольте! репутация львицы далась трудненько, грех почем зря разбрасываться. Волинька точь-в-точь описал: владычицу мира и мира кумир – опасной кокеткой зовет ее мир... как там дальше-то? и ведает только влюбленный певец, что это прозвание – терновый венец... так-то вот. А голубое или пунсовое?..

<sup>1</sup> *Ебаться раком (франц.).*



Вновь взошла Танюшка: пожалте ванну брать. Приподняв себя на постеле, она босой ступней нащупала курносые турецкие туфли, испытала ногою пол – слава Богу, не крестится: сейчас, простыни не забудь.

В ванной ее обволокла душистая теплынь, пожалуй, чересчур даже душистая. Сколько раз говорить?! – лаванду побереги, французская. Лаванда и впрямь была от Герлена, Платов где-то раздобыл: им, посольским, это проще. Танюшка виновато потупилась. Пшла, негодница, нужна будешь – позову... Так голубое или пунсовое? Варька, верно, будет в пунсовом – значит, голубое, барежевое, от мадам Цыхлер. А жаль! брюнетке не вполне к лицу. Она внутренно усмехнулась: уж мы-то знаем, что нам к лицу! – и спустила с плеч батистовую сорочку. Ох, и на подоле желтизна засохла...

Она оглядывала себя, трогая там и сям нежно и взыскательно: лишнего нет, да и откуда? очень недурна – бланманже, антик с гвоздикой! попытала пальцем подмышки и зезетку: колетса, но покамест терпимо. Ну, благословясь, – в воду.

Затею с бритьем прошлой зимою подсказал Больдт, управляющий из Златоуста: вы будет брить... как это по-русску?.. Schamberg<sup>1</sup> и так пойдет на баня, ваш интерес есть пять тысяча зербром. Она недоуменно хохотнула: а вам-то какая корысть? и Больдт, назидая пухлым пальцем, растолковал: наш инженер придумаль особый дамский бритва, вы будет устроить нужный мода для сбыт. Коли так, то извольте восемь! сторговались за шесть с половиною, на ассигнации так и все сорок, – все равно продешевила, надо было проценты брать. А вышло очень даже шикозно. В Зуевских банях, куда свет закахивал из той же народности, Долгорукова фыркала, обирая с обвислых боков мокрые листья: ангел мой, помилуйте, да разве вы татарка? и она небрежно придавила всех загода обдуманной усмешкою: вам что непривычно, то и непривычно, но должно же комильфо хоть чем-то отличаться от салопницы? Разница, впрочем, продержалась недолго: первую среди купчих отважилась Танюшка, за что попеременно и нещадно бита была свекровью и мужем, – «Пчелка» негодовала противу попрания женских прав, а Танюшка нынче субретка и наперница...

Опаловая вода ластилась, норвила лизнуть между ног. Александр, как увидел, ошалел: Господи, родинка! – тоже полез целовать, а после тем же ртом... фу! а потом бестолковые тычки сзади, будто кием на бильярде. Что бы он понимал, что бы все они понимали... Хотя поди разбери, как надо! она пустила палец сперва снаружи и вдоль: будто слизня задела, а после вовнутрь и поперец: ничего, кроме враждебно твердой инородности, – но мужнины отменно непонятливы. Чего хочет женщина, того хочет Бог, а они в этом смысле отпетые афеисты. Von mot<sup>2</sup> удался, не забыть сказать у Апраксиных, – она усмехнулась, и лолошки приподнялись, расталкивая белесую воду. Волинька читал, по-актерски подвывая: младо-ой! прельсти-ительницы-ы! гру-удь... напечатано с посвящением NN, – кому надо, те догадались. Кому не надо – тоже. Александр с порога пустил в лоб книжкою, едва увернулась, и понес ермолафию: в шуты меня рядить?! так я сосу!<sup>3</sup> Она досадливо поморщилась: об этом спросите вашу законную. Он закогтил плечо аж до крови, выворотил незрячие, полуночные глаза и прохрипел неистово, как другой раз на постеле: с этим... кондитором? и она взвизгнула и завопила голосом толстым, маменькиным: casse-toi merdique enculé!<sup>4</sup>..

Ну, положим, один раз было... так это не в число, да и хватит с нас поэтов – публика нарочито не душонская, фегюки! что с них взять, кроме стихов? От Александра и того не дождался, отделился лакейским каламбуром: очарован, огончарован... а об чем другом и вовсе речи не заводи, – в долгу, как в шелку, стороною проведала: вот-вот опишут. Коли по совести, – не без нашей помощи... так и что с того? Ситный, Танюшка уверяла, уже по семи копеек фунт – ну, и как быть?..

Дверь со скрипом пропустила Танюшку – та, легка на помине, плюнула смешком: матушка Наталья Николаевна, до вас какая-то салопница просится, стрюцкая-а – спасу нет! Попадья тебе матушка... какая, к лешему, салопница? Сказывает, – Пушкина Катерина Николаевна...

<sup>1</sup> Лобок (нем.).

<sup>2</sup> Острота (франц.).

<sup>3</sup> Рогоносец (франц.).

<sup>4</sup> Пошел вон, пидор сраный! (франц.).

## Глава III

*Уже полвека он Россию  
Гражданским мужеством дивит;  
Вотще коварство вокруг шипит –  
Он наступил ему на вью.*

Рылеев

Он приподнял голову с подушки: в спальню просился жидкий, сукровичный рассвет. Поодаль, в креслах храпел Ивлев, широко разложив по груди рыжие песьи бакенбарды: утомился трудом ночного лечения – что ж, немудрено...

Он и не помнил толком, когда все началось: третьего, что ли, дня внутри обосновалась поганая тягучая ломота, покуда опасно безымянная. Простуда, решил он, упрямо не желая предполагать худшего: статочное ли дело? ведь третий год ни слуху ни духу, – и принялся ждать незначущей хвори вроде насморка, по временам повторяя про себя незатейливое заклятье: и впрямь простуда, другому нечему быть. Однако ж ввечеру приказал в спальню лиших свечей и прилежно, вершок за вершком, изучил левую ногу. Та жила отдельно, будто силком приставленная, – бугристая, несооразмерно тонкая, в рытвинах прежних свищей. Выше колена начищенной форменною пуговицей блестел рубец – давняя, бородинская метка...

Тогда уж и заряды вышли, и заморенные ноги подламывались, и пересохлый рот искал воздуха и находил лишь пороховую гарь, – но барабан без устали сыпал тревожный дождевой стук: Шварц с обломком шпаги в руках яростно сбивал в цепь ошметки двух баталионов, – обломок полетел под ноги, Шварц подхватил с земли широкий саперный тесак и, выворачивая наизнанку легкие, затравленно взревел солдатам: с Богом, братцы, в штыки-и! и самому себе: *scheißegal krieren!*<sup>1</sup> – а с пригорка чаще барабанной дробы хлестали французские ружья. Полковник после рапортовал по начальству: раненых полагаю до четырехсот сорока трех, и в скорбном листе записали: бит пулею с повреждением костей и сухих жил. Да нигде не сказано, как валялся в беспамятстве на Семеновских высотах, как ощупью искал себя в обморочных потемках, а когда находил – грудь тупо давили чьи-то мертвые колени, и по лицу склизко ползли кишки из чужого брюха, и он шевелил пальцами, не умея иначе утвердить себя в живых, – прочему препятствовал прельный трупный гнет. С тех пор ему сделалось отвратительно всякое стеснение, пуще всего – неизбежное, гробовое. *Scheißegal krieren?* кой черт в дурном лейб-гвардейском донкишотстве?! Однако смертная порча учинилась при нем безотлучно: грызла раздробленную кость, прорывалась наружу гноем, смердела лежалым виноградом. Он, клейменный гибелью, вел с нею иступленную тяжбу всяким пособием: разведчик, шести орденов и золотого оружия кавалер, карбонарий... Его трактовали честолюбцем – так это разве сослепу возможно; о почестях ли тут шло?..

А пуля... что пуля? – в лазарете вылушили, опасались антонова огня, да прижилась-то костоеда и лютовала нешуточно. Впрочем, измятая плоть глядела здорово и покойно, и он решил: авось, обойдется. Но вчера, в Верховном Правлении сидя, в спину впилась зябкая игольчатая дрожь, будто за ворот сыпанули пригоршню булавок. Он, не прерывая беседы, хотел кинуть ногу на ногу – едва удалось защемить во рту долгий стон; хворь сказалась в положенном месте привычным именем. Батеньков сощурился на него поверх очков: что, Павлуша? опять?.. – сил хватило лишь на то, чтобы безнадежно кинуть: боль сверлила стегно, застилала глаза и запирала гортань.

В экипаже стало и вовсе невмоготу: что английские рессоры противу русской дороги? ляжку явил каждый ухаб под колесами; он кое-как дотянул до дома и наконец позволил себе повиснуть на руках у прислуги. В спальне его проворно и бережно избавляли от платья, и он, приподняв голову, увидел набухшее гнилью пятно; бледно-розовое по краям, ближе к середине оно наливалось грязною чернотой – недуг трудился споро и жестоко. На него взвалили несколько одеял от озно-

<sup>1</sup> *Один хер подыхать!* (нем.).

ба, но тот вскорости сменился ровным печным жаром; сердце толкалось часто и тяжело, словно пест в ступе. Он чувствовал, что вот-вот сухою глиной растрескается от этих толчков и, соблюдая телесную неподвижность, ради облегчения слабой рукою устраивал отдушины в ватном склепе.

За стеною означилось прибытие лекаря: суковатый фельдфебельский голос придиричиво распоряжал общим действием. Наконец взмог и сам Ивлев, покрыл каленый лоб холодной, с улицы, ладоною: здравия желаю, гражданин генерал-майор, – ну что, снова да ладом? По комнатам тянуло распаренным венником: разваривали в кашу сибирский окопник – улаживать воспаленное мясо примочками. Ртутный ноябрьский свет за окном тускнел, для того спальню вновь уставили свечами. Доктор, сволокши сертук и засучив рукава рубахи, негромко дудел носом романс и хлопотал вдумчивыми руками над повязкою; бурая, во всю стену, тень пособляла каждому движению – а он сиротствовал, увернутый в сырое пахучее тряпье, и от тесноты в горле копилось нищее, злое желание утешения. Ивлев, умноженный тенью, бормотал сквозь клочки романса: Бог даст, скоро будете на ногах, к 14-му, к празднику, – так уж наверное. Он ухватил в кулак докторский галстух и пустил в склоненное лохматое лицо долгий хрип: праздник? срам, кошмар, с души воротит... Бирона спихнуть двадцати гвардейцев стало, а тут три тыщи штыков – и все прахом... рифмоплет предводителем! щенок начальником штаба! и те напились с перепугу... Ивлев по-черепашьи втянул голову в растерзанный ворот. Он, не в силах унять себя, тащил доктора еще ближе: а меня – меня! норовили на сворке держать, опасен для России!.. Боль, привлеченная движением, по-собачьи рванула клыками бедро, и он изшел жалостью к своим мытарствам – немощною и оттого вдвойне едкою: я от них в монастырь сбега-ал... Лекарь, как умел, выгладил сучки служивого голоса: полноте, Павел Иванович! уж быльем поросло. Место печного жара заступил банный, мокрый, а потом глаза заволокла дурная волглая полудрема. По временам из глубин ее всплывал размытый Ивлев, поправлял подушку под левым коленом и совал в рот приторную дрянь с острым запахом пчельника, а после все вконец помутнело, потонуло в усыплении...

Он сел в кровати, с настороженным любопытством ободрал кору засохлых бинтов с полумертвой ноги: почернелый желвак вскрылся, из него сочилась белесая дрянь и сладко, тоскливо тянуло подгнившим виноградом. Теперь, стало быть, пойдет полегче. Доктор пробудился и тут же резво перемешал зевоту с бранью: кто велел трогать?! – но осекся, не чуя боле за собою ночного превосходства. Осмотрев ногу, Ивлев подтвердил: да, с фистулою полегче будет, – и отбыл с визитами.

Вокруг были огрызки минувшей каторжной ночи: огарки в обрызглых сальных наростах, миска с остатками травяной каши, распущенная повязка в пятнах зелени. Он, согласно с обстановкою, также выговаривал ночное, недосказанное – без слов, одним раздраженным умом. Двадцать пятый год выдался страшен тюремным стеснением, да двадцать шестой оказался не краше: прежние товарищи затеяли заживо привалить его могильной плитою. Лунин, доблестный евнух, хохотал до упаду: ты, брат, наперед энциклопедию составишь, а уж после революцию начнешь! а много ли успели без энциклопедии, без плана толкового? Ума только на то и достало, чтоб с драматической миною натачивать сабли о гранитный постамент Петра... но Рылеев, легкомудрый Цвибель, при всякой оказии твердил, как попугай: опасен для России и для видов Общества!

Опасен? куда опаснее оказался вечный недоросль Никотинька Муравьев с безрассудливо ребяческими прожектами. Освободят мужиков без земли! никак по Пугачеву стосковался? Да что там! ведь азов не ведал: сам сказывал, как в деревне отдал золотой за кружку молока... А Цвибель? не умея по-немецки, сыщет в гамбургской газетке с трудом зазубренное «Verfassung»<sup>1</sup> и просит: переведите, братцы! должно, дельное пишут...

Да кабы они одни! Временное Верховное Правление составилось из людей откровенно до дела негодных. Ермолов, единственный мало-мальски сведущий, быв приглашен к участию, благоразумно отсиживался на Кавказе, отговорясь персидской угрозою. Старик Мордвинов вечно дремал, а когда просыпался, проповедал дедовские принципы, перемежая обомшелые рацеи

<sup>1</sup> Конституция (нем.).

обильною зевотой. Сперанский, напротив, выказал отменную, не по летам, прыть: испекал законы, как баба блины, регламентуя все подряд, вплоть до плетения лаптей, – кто б еще утрудился те уставы исполнять? Великий Собор созван был определить устройство правления да порядок освобождения крестьян – но, не в силах согласить мнения, в одночасье оборотился бесконечною склокой обо всем сразу. Самоубийственный бедлам! а только-то и требовалось, что вспомнить басню: речей не тратить по-пустому, где можно власть употребить. И он впрямую высказал и Цвибелю, и остальным: ноге моей впредь тут не бывать! и принял православное крещение, и бросился в Оптину – в твердом намерении послушания и скорого пострига.

Он рубил на поварне капусту, солил огурцы, одну за другой выстаивал литургии, и смиренная келейная теснота мнилась ему не страшнее новоявленного зловластия. За монастырскими стенами было не в шутку тревожно: тамбовские мужики, устав дожидаться наделов, взяли за топоры, следом Малороссия решительно отложились: геть москальску владу! да посадила гетманом кого-то из Орликов – благо, не польхнул Кавказ, придавленный железной пятою Ермолова. Отец Никодим на всенощных гудел во всю колокольную утробу: о богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея... и он шептал в ответ почти равнодушно: ни пуха, ни пера! а ноге моей не бывать... L'homme propose!<sup>1</sup> Цвибель прибыл в пустынь бледен, потеряв и едва не в слезах, с письмом от митрополита Даниила: в час горестных и грозных нестроений коленопреклоненно умоляю и заклиная купно со всем народом российским – простите нам наше согрешение и послужите Господу в миру к вящей славе Отечества и вашей...

И он послужил, и всех тому выучил. Посрамленный Цвибель, искупая прежние глупости, выпросился по старой памяти в Верховный суд и табунами отправлял небагонамеренную аристокрацию в Нерчинск да Акатуй. Лунин, надо отдать справедливость, замирал Тамбов и Киев толково, не жалея пороку, – хоть на что-то согдился. Пустобрехи из Великого Собора развехались по домам без жалованья за последние два месяца и прогонных: и так довольно проели втуне – ежедень на каждого по пяти рублей серебром! солдата сими деньгами за Бородино награждали. Старички из Верховного Правления в бессрочном домашнем аресте проповедуют свои воззрения кухаркам... так-то! всем сестрам по серьгам.

Сам он, по двадцати часов на ногах, жил просторно и принуждал жить – метался в полки, на допросы, из присутствия в присутствие, едва поспевал подписывать директивы: на Кавказ – о выселении буйных горцев в Россию; Земельному Приказу – о наделении крестьян двумя десятинами пашни; Синоду – о крещении иудеев, Верховному Правлению – о водворении столицы в Нижний и наименовании оною впредь Владимиром... глава Благочиния, вечный батрак на державной ниве! Зато топором нынче дрова рубят, отнюдь не головы...

Часы, во множестве роняя грузные удары, велели встать. Он сполз с кровати, цепляясь за мебель. Плоть, траченная хворью, сидела на нем криво и неловко, как платье с чужого плеча. Он позвонил, чтоб дали одеваться: мундир ему был что латы дальнему варяжскому предку – хранил и наделял укромным, обреченным мужеством. Подле зеркала он, натягивая кожу на скулах, собрал нежилье лицо в кулак, в нитку скрутил пухлый взыскательный рот, без нужды поправил на груди витой крендель аксельбанта – и остался доволен и наружностью, и статурою: старинной выправки отнюдь не утратил, несмотря что хром, да и хромота сообщает облику некую демонскую притягательность. Да! благородная строгость во всем безизыточно...

Ему подали костыль: иначе немалый путь до кабинета не одолеть. Первый же шаг едва не заставил его охнуть; он налег на палку и по-медвежьи поворотил вовнутрь левую ступню, – этак проще волочить себя по коридору. Он то и дело спотыкался о боль; движения его были изломанны, потусторонни, точно у связанного. Он знал, чьим тщанием стреножен, и возражал работою всего тела: глаза от усилий потонули в морщинах, рот распустился и обвис. Пытка продолжалась, покуда он не устроился за столом, – и тут же облегченно вернул лицу властный паралич, и стал беспрекословен, как вросший ноготь. Кабинет, отделанный черным мрамором, вместе с мундиром служил ему защитою, ибо не попускал ни колебаний, ни сожалений.

<sup>1</sup> Человек предполагает! (франц.).

Дверь отворилась – сюда входили без доклада или не входили вовсе. Явился Платов, держа перед собою и несколько на отлете маппу<sup>1</sup> с бумагами: день добрый. Павел Иванович. Он кивком указал на кресла; изгибы черного дерева обняли малорослого чиновника, и тот в них почти затерялся. Платов вообще был подспуден, норовил скрыться – вот как только что за маппою, – а коли негде было хорониться, прятался в самом себе. Сие вполне удавалось от неприметно устроенной наружности: уши по-заячьи оттопырены, сквозь сивые волосы светит ранняя плешь, блеклые, вываренные глаза утопают во вдавленных подглазьях, – таких повытчиков в любом присутствии пруд пруди. Тем не менее, в противность физиогномике, свойства для службы имел изрядные: расторопен, к мелочам настороженно чуток и редкостно понятлив, – схватывал на лету и с полуслова, за то и был употребляем в делах особо важных. Для виду же числился секретарем в Посольском Приказе, – Вышнее Благочиние требует непроницаемой тьмы.

Он спросил – отрывисто, прилично мундиру и кабинету: хлеб? Поверх мышинного шороха бумаг лег тонкий, почти бабий, голос: от недорода вздорожал вдвое, рожь... э-э... – шестьдесят четыре копейки пуд. Он спросил: что Оболенский? Казенное зерно отпускает за прошлогоднюю цену, за то имеет от перекупщиков по гривеннику с пуда. Он поморщился: надо бы к цугундери молодца, но не время, а замаран, – так со страху будет вернее пса! а вслух указал: Воинскому Приказу, тайно, – гарнизоны в городах привесть к полной готовности, Синоду – распространить в приходах проповеди о христианской воздержности: акриды и дикий мед, не хлебом единым... Платов делал на полях отметки карандашом. Он спросил: Лунин? Едет, с фельдъегерем на сломную голову пьет да на станциях шумит. Он вновь поморщился: очень узнаю! ну да пусть его почудит напоследок... а Тель? Во вторник... э-э... выехал из Москвы. Он велел: из виду не выпускать, докладывать во всякое время, и спросил: что еще? Платов продолжил: в Торжке чеченские переселенцы промышляли грабежами, за то биты местными мастеровыми, участвовало... э-э... до сотни человек, с обеих сторон есть убитые. Зачинщиков под суд и в каторгу, остальных – в штрафные роты, начальника внутренней стражи за худое о порядке попечение разжаловать в частные, дело предать самой широкой огласке... Он смолк, неопределенно пошевелил в воздухе пальцами: а что, Василий Васильевич, тут как будто виноградом отзывает?..

## Глава IV

*Зачем сей старец заключен  
В твоих стенах, жилище страха?  
Здесь век ли кончить присужден,  
Или ему готова плаха?..*

Бестужев-Марлинский

Как он темен, басманный флигель! один рыжий лоскуток свечного пламени чудом прилип к смоляному сумраку. И какая тяжкая, шершавая тишина! будто из кирпичей сложена. Лишь распатанные половицы отзываются под ногою мерзким гробовым скрипом. Да, принужден признать: гробовым...

На шеллинговом столе скалили зубы два людские черепа; первый был черен и трухляв, второй, напротив, отливал свежей бильярдной желтизной, и ты пошутил: sind Sie nicht nur Philosoph, sondern auch Phrenologe?<sup>2</sup> И Шеллинг изъяснил, поочередно и с усмешкою оглаживая оба ладонью: dieser Schädel gehört einem Urmenschen, und dieser – unserem Zeitgossen; bemerkten Sie, geehrter Peter, daß der Umfang des ersten ist bedeutend größer? wenn Sie finden es seltsam, dann bemühen Sie sich Eins und

<sup>1</sup> Папку (от нем.).

<sup>2</sup> Вы не только философ, но и френолог? (нем.).

Alles zu vergleichen – leider die hochstirnige Klugschwätzers hatten keine Möglichkeit zu überleben und also sich zu vermehren, sie waren noch im fabelhaften Altertum ohne Zweifeln und Lispeln vernichtet worden<sup>1</sup>...

Фридрих, разумеется, откровенно кокетствовал: немцу ли на то сетовать? по крайности, Аларик и Гензерик, стократ клейменные именем варваров, не обрекали своих мудрецов в жертву Вотану. Иное дело Русь: здесь человека разумного и толкового прямоком отправляли в служебные бога, – петля на шею, и вся недолга. Православие в отношении рассудка недалеко ушло от язычества; Иосиф Волоцкий накрепко заповедал: мнение есть падение. Наследственный страх удувки взрастил на нашей почве умы смиренные и неповоротливые, коим простейший силлогизм – непостижная задача. Французу мысль нужна, чтобы блеснуть ею на людях, англичанину – чтобы привести ее в исполнение, германцу – чтобы ее обдумать; русский притопнет ее сапогом, будто докучного таракана. Куда как прав Александр: горе уму! и первый стал тому примером: держался нелепых понятий, за то отлучен от дипломатии, сиднем засел в Сиондале; по слухам, ходит в засаленном чекмене с газырями, с утра надувается вином да изливает желчь на вечно брохатую свою грузинку. Другой Александр не ужился с нынешними оголтелыми патриотами – променял стихи на кутежи, жжет свою свечу с обоих концов, не нашед лучшего поприща. Все заживо погребены, – кто в Кахетии, кто в Москве, кто в гончаровском *maison de tolerance*<sup>2</sup>... Оторванные люди, зачеркнутые люди! а ведь только тем и грешны, что понимали свой век и свое призвание. Такие тут не ко двору; русские суждения зависят от циркуляров и предписаний, а что сверх того – от лукавого. Мнение есть падение!

Как он темен, басманный флигель! но еще темнее провал окна: там окаменела мгла крошечная, мгла опричная, там изможденные дороги не ведут – уводят, там курные избы давятса собственным горьким чадом, а меж разваленных плетней бродят опухлые, увечные сны, там в небесный погост намертво вколочены черные кресты колоколен, и сырые ветки бьются в ознобе под юродивый лепет ветра, и зауспокойный волчий стон ныне и присно и во веки веков, – оттуда ползет вязкий, унылый ужас, тянет к горлу горбатые пальцы...

На шеллинговом столе скалились черепа, а на твоём глумливо скалится свежий номер «Московской трибуны»: Отечество знает и чтит славных героев 14-го Декабря, отчего ж не знать ему изменников республики? вот один из них, Ч\*\*\* – бывший ахтырский гусар, бывший мартирист, бывший член «Союза благоденствия», словом, отставной человек, покорно просим любить и жаловать! в роковую минуту народного гнева, когда Петровскую площадь оглашал грозный посвист пулей, он малодушно предпочел наслаждаться европейскими красотоми; воротившись в Россию, дабы лакомиться плодами Свободы, завоеванной чужими руками, обосновался на Москве приживалом в одной известной фамилии – жалкая участь! нахватав по верхам колбасной немецкой науки, он приправил оную собственными несуразными воззрениями и вовсю потешает москвитян, излагая этот пошлый бред преимущественно в дамских обществах, – сей, по меткому отзыву славного нашего стихотворца, плешивый идол слабых жен, подстрекаемый иностранной интригой, упорно не верует Великому Русскому Делу и всякий раз, слышав о прогрессе, цинически показывает собеседнику рецепт на мышьяк, – пора бы *господину* Ч\*\*\* сделать из этой бумажки должное употребление! медицинские светила не в шутку встревожены и находят в самозванном филозофе все признаки душевного расстройства; мы же не можем не пенять московскому градоначальнику, – прежде помешанных держали на цепи, нынче же поощряют публично проповедью!..

Итак, Некрополь сослужил по тебе панихиду. Поутру Левашова положила пред тобою газету: простите, Риеге, но вам следует знать... и ты прочел, и ты понял: не обошлось без высокой санкции. И точно: к обеду явился благочинный пристав и сказал тебе домашний арест; мера, более

<sup>1</sup> Этот череп принадлежит первобытному человеку, а этот – нашему современнику; вы заметили, уважаемый Петр, что объем первого существенно больше? если находите это странным, потрудитесь сопоставить единичное и целое, – к сожалению, высоколобые умники не имели возможности выжить и, следовательно, размножиться, еще в баснословной древности их уничтожали без сомнений и сюсюканья... (нем.).

<sup>2</sup> Доме терпимости (франц.).

превентивная, нежели карательная, говорила, что дело не решено до конца. Однако не из чего ломать голову: смертной казни десятый год как нет, – российские мараты на диво милосердны, гильотина им претит, – стало быть, тебя тихо и гуманно уморят в желтом доме.

Сама собою пришла в ум статья – Стернберга, кажется? – о каннибальских нравах: если вождь по временам не пожирает кого-нибудь из племени, племя пожирает вождя. Что ж! мы государство просвещенное; наружность нашего людоедства пристойна и благообразна, но прадедовские обычаи пребывают в похвальной неизменности: племя способно чтить лишь грозного вождя. Оттого милее прочих падежей нам винительный. Здесь всяк от рождения виноват, – дождись лишь, покуда на тебя укажут: милости просим на державный стол, сударь! ваш черед быть ростбифом.

Может, и впрямь пора? Намедни в Английском клобе Шеншин только в ладоши плеснул: ба-тюшка Петр Яковлевич, ты ли? не взыщи, не сразу признал, – каково состарелся-то... Подлинно так! сорок лет, а на вид все шестьдесят: облысел, иссох, сморщился и впополам согнулся, глядишь мертвецом, если чем и жив, так одною вечно несьютою мыслию. В ребячестве, помнится, пугал младших, поднося свечу к подбородку: в темном зеркале отражались освещенный лоб и скулы да черные ямины на месте глаз и рта, – и самому становилось жутко видеть на своем лице маску смерти. Нынче и свеча не надобна: вокруг глаз скопился мрак, и рот провалился, и обветшала кожа не скрывает костного устройства... бедный Иорик! А сверх того ошельмован, оплеван, – и впрямь определен в гаеры. Он в Риме был бы Брут, а здесь – безумный шут... Что и говорить, конец достойный! Однако ж бессмертие духа во все времена покупалось гибелью, – когда гражданскою, а когда и телесною; наивно полагать, что тебе выйдет поблажка. Пора.

Пора! да рецепт на мышьяк, припасенный на крайний случай жестокой желудочной колики, изъят и опечатан вместе с прочими бумагами. Пожалуй, что и к лучшему, – не будет у писачек повода для последнего обвинения в малодушии. У всякого своя чаша цыкуты, надобно пить ее до дна, не пренебрегая отравою, – с тою же отстраненной твердостью, с какою шел в штывы при Бородине, по слову апостола: терпеливо пройдем предлежащее нам поприще... достанет ли сил? Впрочем, геморрой с надсаженным желудком да нервическою лихорадкой – союзники знатные, не позволят мытарствам затянуться. А там... желал бы к Шеллингу на стол: то-то любопытно, как оценит Фридрих твой Umfang<sup>1</sup>. Впрочем, пустое: истлевать тебе назначено в безымянной могиле, а запискам твоим – в полицейских нетях. Что остается? лишь хлопнуть себя по лбу да повторить следом за Шенье: *pourtant j'avais quelque chose là*<sup>2</sup> – не великое, право, утешение, но все же...

## Глава V

*Таланту что и где награда  
Среди злодеев и глупцов?*

Кюхельбекер

Смирив долгое и неумное тело, он надломил поясницу, взвалил грудь на стол, подпер себя локтями и вдумчиво заковенел, подметая бумаги остроконечною пегою бородой: чтение на подслепые глаза давалось с натугою, и очки мало помогали. Кликнуть разве секретаря? да пришлось бы всякий раз переспрашивать, приставя ладонь к уху; и потом, дела цензурные, числом три, требовали единоличного участия.

По чести говоря, первое дело лишь значилось таковым, ибо то был новый номер «Мнемозины»; любезное дитя, возросшее под недреманным родительским оком, не требовало особого догляда. Он нежил рукописи сухими древесными пальцами, припоминая дружную, до колотья в боку, потеху над первыми книжками альманаха: тяжкая и скучная пивная хмель! громоздкое немецкое рукоделье! – *quelle bêtise!*<sup>3</sup> Читатель отродясь не умел обойтись с хорошою литературой,

<sup>1</sup> Объем (нем.).

<sup>2</sup> Все-таки там у меня кое-что было (франц.).

<sup>3</sup> Что за глупость! (франц.).

как ребенок – с хорошою игрушкой. Vous comprendrez après enfants<sup>1</sup>, сперва извольте-ка отстать от рожка с прокислой чильд-гарольдовою тюрькой да войти в совершенные лета! и ведь сбилось, вошли-таки: прямой талант и усердие заведомо победительны. Насмешники поприкусили языки и проглотили ядовитую слону: прежний Глист, Урод, Гезель с клопшотскими виршами забыт единожды и навеки, а «Мнемозина» который год нарасхват.

Нынешняя книжка из политических резонов отдана была соратникам по громокипящему Де-кабрю, – в канун выборов должно исподволь напомянуть, кого вотировать: в поэтов верует народ. К сроку попевали не все, и он присовокупил к общей кипе малую стопку запоздалых. Стало быть: Дмитриев-Мамонов с мемуаром об «Ордене русских рыцарей» – опус известный, всякий раз публикуемый с незначущими дополнениями, что и читать не стоит, впору глаза побережь. Раич с «Бородином»... Раич? на кой тут этот рагвену?<sup>2</sup> что терся подле Муравьева да Колошина, так это еще не причина становиться на одну с нами доску. Стихи, однако ж, недурны, несмотря что попович: Россия стала, как колосс, между двумя частями света... отложить, после пригодится. Бобрищев-Пушкин-второй с баснею, а ну-ка: однажды шахматы, болтая вздор, друг перед дружкой величались... хозяин добрый дал урок: он кинул всех в один мешок... да об чем же это, ей-Богу? намек темен, но отменно язвителен... Наитием какого лешего бредишь ты, Paul, самого Пестеля соревнователь? взять меры к разъяснению – что за басня без морали? Cher et excellent ami<sup>3</sup> Одоевский со «Славянскими девами»: старшая дочь в семействе Славяна всех превзошла величием стана... Одушевление метнуло его от стола к окну, а оттуда – вновь к столу: нет, каково? вот поэзия! вот величие народности! подлинно российский бард, Боян вещей! Почти прилепив лист к лицу, он перечел вслух: в голос единый что не сольете всех голосов славянских племен! Нашим голосам, Саша, не звучать-таки розно, – он с проникновенной важностию положил поверх рукописей отрывок своего «Давида».

Другое цензурное дело было гусарского корнета Лермантова, – тому вменялись в вину рифмованные непотребства. Он прочел первое: они накинутся толпою, манду до жопы раздерут... une bagatelle et rien de plus<sup>4</sup>, станет с него гауптвахты. И поделом! хошь на родную вались, да на улице не хвались. К делу приложен был аттештат: Михайла Юрьев Лермантов, из бывших пензенских Чембарского уезда дворян, полного 21 года; 1832 года ноября зачислен в Школу кавалерийских юнкеров; будучи зашиблен лошадью, временно уволен от ученья; 1833 июня, выдержав публичный экзамен, произведен в корнеты... Он прочел второе: и восхищенный хуй, как страстный сибарит, над пухлой жоюю надулся и дрожит... юнкерская содомия в нужнике – это, воля ваша, уже не bagatelle, не безделица. Стихи растлевали, мало того! недвусмысленно изъясняли полное растение военной среды, и без того славной неистребимым бамбошерством. А слог отборный, и ямбы легки и точны: видно, что читаны и «Тень Баркова», и «Сашка». Так двадцати годов отроду следует разуместь, что печатано это было в пору борьбы с куаферами Карамзиным да Жуковским, а нынче, корнет, другие времена, дру-ги-е! или кобыла башку тебе зашибла, что не понимаешь? Пушкина читал-таки, да не того: стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию – вот что надобно затвердить! а не похождения расстриги Ебакова.

Он откинул крышку чернильницы, ненадолго задумался, рассеянно поводя концом пера по губам, вообразил: синея пламя жженки, кудрявый красавец в доломане нараспашку декламирует под общий хохот – и тут же, скоро и нервически, с треском, с брызгами начеркал отношение Лунину: искренно и весьма надеюсь, что писано это не от сердца, а от нечего делать, – тем вернее наказание послужит раскаянию; следственно, отнюдь не вреден будет перевод нижним чином на Кавказ с правом дальнейшей выслуги; таким образом рано или поздно мы возвратим Отечеству бодрого и деятельного Гражданина, а словесности нашей – задатки, могущие развиться

<sup>1</sup> После поймете, дети (франц.).

<sup>2</sup> Выскочка (франц.).

<sup>3</sup> Дорогой и достойный друг (франц.).

<sup>4</sup> Пустяк, не более (франц.).



до степени Таланта. Он писал, избегая любимых французских довесков, – с известных пор этот *petit jargon*<sup>1</sup> сделался его личным достоянием: надлежит со всею строгостию решить дело генерала Нейдгарда, ибо человеку, допустившему подобное падение нравов юнкерства, не подобает начальствовать учреждением в первую голову воспитательным и лишь потом военным. Вышло сурово, но справедливо и с необходимым оттенком человеколюбия. Вот и все, *et passons*<sup>2</sup>, – он захлестнул бумагу петлистой, с парафом, подписью.

Развернув третью маппу, он приблизил верхний лист к глазам, и тут его опять сорвало с места и метнуло к окну! к столу! к дверям, а от них вновь к столу. Он широко размахнул руками; порыв его сообщился обстановке – мебель со скрипом заплесала, бумаги перепуганно порхнули на воздух, чернильница плеснулась, и медный шандал, блеснув завитками, покатился по полу, – и он упал в кресла, уставя вострую бороду в потолок, и пробормотал: *c'est trop, nique sa mère!*<sup>3</sup> и продолжил родным, затейливым, в гроб и в душу, и заключил: *mon Dieu, il est fou*<sup>4</sup>. Тонкие голубоватые губы коверкала судорога. Дело было Пушкина, да не Бобрищева и не Мусина, – Пушкина, Франгуза, Сверчка!

Отерев со лба испарину, он потянул маппу к себе. Пушкинский почерк давался ему почти без труда, поскольку тут было известное сродство, – тот писал, как этот говорил; там и сям был один и тот же вздыбленный сумбур, косо летящая нескладница: не дорого ценю я, – здесь вымарано, рядом небрежно начерчена свеча, – права, от коих не одна кружится голова... иная, лучшая потребна мне свобода: зависеть от царя, зависеть от народа – не все ли нам равно?.. и женский профиль в прическе а *la Ninon*, не иначе, Гончарова...

На давшей холостой попойке у Плетнева Пушкин, молча и бледнее лицом, стакан за стаканом лил в себя цимлянское, а после ухватил его за рукав и затеял вдруг исповедаться: знаешь, брат, у *Natalie* ножка ма-аленькая, и пальчики как бусины – один к одному! и он отвечал: полно, Саша, ведь ты женат! Пушкин ослабил: вот нанял я повара – что ж, не обедать мне в ресторации? Он спросил: так говорят, холодна? и Пушкин мокро и страстно зашептал, дыша перегорелым вином: скучно у бабы просить, коли наверное знаешь, что даст! а эта и даст, как откажет, – тут, брат Виля, волей-неволей кровь кипит... Он брезгливо отстранился: послушай совета, отстань от нее, твой медовый месяц затянулся неопозволительно, сам себя губишь, другой год ничего не писал, и Пушкин вяло махнул рукою в кольцах: отчего ж? пишу... Вот и написал.

От Александра ждали многого, да надежды оправдались лишь отчасти: Онегин, отвергнутый Татьяною, пожаловал-таки на Петровскую, но более из хандры, нежели из убеждения. Далее, с провозглашением народности, Пушкин принялся за сказки, кои наместо кимвала отчетливо звучали балалайкою: поп, толоконный лоб... тьфу! после вступил в литературные молчалники, – вербованная прислуга доносила: все боле в старых письмах роется, – и вот наконец разрешился от долгого поста, и чем?! Зависеть от царя, зависеть от народа – не все ли нам равно? *Que diable allait-il faire dans cette galère?*<sup>5</sup> ведь не мальчишка-корнет! Добро бы не знал, как разлетались в списках «Вольность» с «Деревнею»! добро бы не помнил, что каждая эпиграмма значила не менее, чем пуля Каховского! Надобно ж принять в соображение, как это отзовется в публике: для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

Первый позыв был романтический, в шиллеровом жанре: пожечь черновик в печи да кинуться к Пушкину с мольбою уничтожить перебеленную рукопись. Он осадил себя по старинному праву истреблять начальное влечение как самое благородное: *c'est un mélodrame trop ridicule! du calme*<sup>6</sup>. Совесть – та же смолянка: привередлива да переборчива до первого драгуна. Что проку геройствовать? дело завели в Вышнем Благочинии, так рано или поздно о том вспомнят, уж будьте

<sup>1</sup> Маленький жаргон (франц.).

<sup>2</sup> И оставим это (франц.).

<sup>3</sup> Это слишком, еб его мать! (франц.).

<sup>4</sup> Боже мой, он помешался (франц.).

<sup>5</sup> Кой черт занес его на эту галеру? (франц.).

<sup>6</sup> Это слишком нелепая мелодрама! спокойнее (франц.).

благонадежны. Ах, Француз, мать твою еть в кочерыжку! коли о себе не думаешь, подумал бы обо мне, – как прикажешь с тобою поступить? Следом грянули подозрения на Пестеля: тот был мастер на езуитские игры, – сперва подсунуть фальшивую цедулку, а после произвестъ далеко идущие заключения. Он обеими руками вцепился в волоса: bordel de merde<sup>1</sup>, голова кругом!

Du calme. Итак, разотчем... но расчестъ не пришлось, – секретарь пробубнил в приоткрытую дверь невнятное. Что-о? Гражданка Пушкина Катерина Николаевна. Он, оторопев от совпадения, неуклюже выпал из-за стола и потерянно охнул: разве ж назначено? приברי тут... Запахнув на желтой безволосой груди архалук, он оборотил маппу вниз лицом и предсмертно всхлипнул: проси.

Catherine Pouchkine, née de Ouchakoff<sup>2</sup> предстала ему в виде смутных осенних пятен. Он угадывал: вот это, ржавое, – склоненная голова в тяжелых темно-рыжих буклях, а вот это, палевое, – платье, который год одно и то ж; эка обломалась за Александром прежняя насмешница! и не узнать... Он указал на кресла: прошу вас, и невольно добавил на старый манер: сударыня. Она села, не поднимая головы, голос ее зашелестел листопадом: я не решилась бы обеспокоить вас, Вильгельм Карлович, кабы не крайняя нужда, – Саша пропал. На губы вновь пала судорога, и он, давясь словами, пропихнул наружу в три приема: то – есть – как? Пушкина пожалала плечами: да вот так, уж четвертый день дома нет, и понурилась еще ниже: я думала, вы... Он понял, об чем Catherine думала, – на вершок лишь ошиблась! – и резво замотал длинную конской головою: полноте, да что вы, право! и сказал самое невинное из возможного: а вдруг засел-таки понтировать по старой памяти? Пушкина вновь повела унылыми плечами: игрокские заведения запрещены, а на квартирах разве отыщешь? Он продолжил, уже с опаскою: простите ради Бога, а не у известной ли особы? Она вскинула голову, от нее повеяло ожесточенным унижением, – тем самым, что паче всякой гордости: я там была и уверилась в противном. Полиция знает? Да, проветзали меня по участкам, по мертвецким, – все без толку... Отчаянный ветер перемешал и разметал палую листву ее речей: Вильгельм Карлович, на вас вся надежда... мне больше некуда... Иван в Казани губернатором... Посадником, мысленно поправил он и продолжил вслух: все, что сумею, Катерина Николаевна! все, что сумею.

Оставшись наедине, он засмотрелся на обойный штоф, следуя взглядом и пальцами за капризно сплетенным узором. В голове вертелся такой же намертво перепутанный, сатанинский brouhaha<sup>3</sup>. Нет, пропажа – явно не нашего департамента статья; в противном случае начальник Печатной Управы при Исполнительном Благочинии прямо или косвенно был бы известен об аресте. И что за арест тайком, без обыска? и коли арест, на что тут цензурное дело, – разве задним числом?.. Но додумать опять не случилось – в кабинет вошла Дуня.

Прежде она виделась ему летучей яблоневою веткою, теперь же расплывалась, будто лужа густой чухонской сметаны, но цвета остались те же, юные; это, розоватое, – утреннее négligé<sup>4</sup>, а это, льняное, – неприбранные белокурые волоса, и вздох ее был девически легок: простите, я все слышала... Вот тоже несчастье – кабинет, смежный со спальнею! давно бы перенести подале, да лень брести через весь дом в пору бессонницы. Экой незадачный день! Перекрученная сумятица внутри свернулась тугою пружиной и захолodela: положим, слышала, так что ж? Вы поможете ей? За родню хлопочешь? сама, что ль, надоумила ко мне? Дуня отступила на шаг, по-детски уставя ладоши впереди: уверяю вас, нет... помогите ей, Guillaume! Он резко подался к жене: по-русски меня называть, слышишь?! по-русски! Та проשתала, потупясь и виновато: как же по-русски-то? Он, раздув ноздри, шумно потянул прятный дух ее подмышек и выдавил сквозь зубы хриплое, ночное, разбойное: узнаешь ужо... Пружина выстрелила – его швырнуло к Дуне. Та вмиг оказалась притиснута к стене; сухие пальцы по-хозяйски защемили налитую грудь: до жопы раздеру! до жопы... Она слабо ахнула, чую, что вот-вот будет опрокинута, смята, поругана – и ответит! ответит истомными всплесками разверстых бедер и рваными, задохшимися стонами навзрыд, – сладкий ее позор, срамная и желанная каторга...

<sup>1</sup> Сранный бардак (франц.).

<sup>2</sup> Катрин Пушкина, урожденная Ушакова (франц.).

<sup>3</sup> Ералаш (франц.).

<sup>4</sup> Небрежный домашний наряд (франц.).

Дверь приоткрылась, и в узкую щель протиснулся пожарный крик секретаря: гражданин Булгарин Фаддей Венедиктович! Он недовольно дернул головой и ослабил хватку: что орешь, дурак? проси! Дуня, одергивая подол, поспешно прошуршала спасаться в спальню.

Он приветствовал Булгарина с облегчением, почти дружелюбно: тот был сволочь, мелкий бес, а потому проще пареной репы прост и понятен, – и, слава Богу, не таил в себе никакой морочки, un bon diable<sup>1</sup>. Фаддей – красный, взмокший, рыхлый – отзывал дебелой парною свиной, но речь его поспешала вприпрыжку: все в трудах, Вильгельм Карлович? вон и с лица желт... а не угодно ли ко мне? развеяться да жеребчика нового глянуть, – орловец, двухлетка, глаз не оторвать! и Ленхен будет рада... Он прервал: что статья, готова? Фаддей боровом заворочался внутри тесного фрака, потянул из кармана перечерканную корректуру: а как же? вот, изволь – отрадно видеть, что Славянин свергнул постылое ярмо подлой переимчивости, и ныне Лира Русская, отстав от направления германического и галльского, говорит звучным и природным наречием своим; живой тому пример новая «Мнемозина»... Он вновь прервал: довольно, Фаддей, спасибо. Значит, в будущем нумере тиснем? В будущем, а еще что печатаешь? Булгарин вновь наладил разбитную трактирной скороговоркой: в Твери уродилось рогатое порося, модные фасоны от мадам Цыхлер, девица Асенкова блистает в новом водевиле, блаженная Федосьюшка Костромская пророчествует... О чем бишь блаженная пророчествует? О благоденствии, Вильгельм Карлович, о благоденствии! никак иначе. Он криво, одним углом рта, усмехнулся и на шаг подвинулся ко главному: и об Гончаровой печатаешь? А то ж! благотворительный аукцион нарядов комильфотной причудницы. Рот его перекосялся окончательно: то-то купчихи завизжат! Булгарин вздохнул: зря злостуешь, Вильгельм Карлович! я тебе так скажу – пусть лучше ей кости моют, чем нам с тобой. Ты вот что, Фаддей Венедиктович, – он помолчал, сцепив лихорадочные пальцы перед грудью, кое-как нащупал подобие уверенности, – дай в происшествиях, где-нибудь в уголку, петитом в три строки: без вести пропал знаменитый сочинитель Пушкин, внутреннюю стражей взяты меры к скорейшему разысканию... Фаддей раздул щеки – вот-вот крикнет по-ямщицки, – но удержался; удержался и от расспросов, лишь озадаченно засопел на гостинодворский манер: исполним. Все, Фаддей, ступай с Богом! хотя... Булгарин остановился, всею статурой изображая почтительное выжидание. Он заговорил медленно, все еще сомневаясь в своей правоте: а заготовь, пожалуй, об Александре статью, – пал от злодейской руки певец святяги Вольности! предательский удар в спину Русского Дела! невинная кровь вопиет к отмщению... да отложи кокуда, в набор не носи, – и невзначай обронил из Лафонтена: mais attendons la fin<sup>2</sup>. Je le crois aussi<sup>3</sup>, в тон отвечал Булгарин и опять прибавил по-гостинодворски: исполним в лучшем виде. Разговор был закончен, но Фаддей медлил, тяжело топтался на пороге: а помнишь ли, как вы на пару с Робеспьером-то Федоровичем сулили мне на моей же «Пчелке» голову отсечь? а дело-то вон как обернулось! Он отмахнулся: кто старое помянет – сам, чай, знаешь...

## Глава VI

*Сосватал я себе неволю,  
Мой жребий – слезы и тоска!  
Но я молчу, – такую долю  
Взяла сама моя рука.*

Глинка

На заломе улицы подле английского посольства грузно колыхалось слипшееся мясное многолюдство. Над толпою топорщились спесивые хоругви. Опухлый малый в сизой чиновничьей

<sup>1</sup> Славный малый (франц.).

<sup>2</sup> Но подождем конца (франц.).

<sup>3</sup> Я того же мнения (франц.).

шинели, по-обезьяньи повиснув на фонарном столбе, надсадно лаял нечто в жанре незабвенных ростопчинских афишек: нехристи друг дружку поедом едят, а мы единого креста, единой веры... на вилы подыдем, дреколем погоним... Бонапартий на что бойчее был, и того гнали ажно до Парижа... Над толпою вспорхнул еще один голос: братцы! а ну дегтем их, блядей! На ворота под общий гогот жирно легли бурые пятна. Он махинально отметил про себя: беззачинное на порядок посягнувание – статья 213-я Уголовного Уложения. Повытчик на столбе широко размахнул картузом – из драной подмышки полезли изжелта-серые ваточные ключья – и сипло завел: да воскреснет Бог... Толпа враздробь отозвалась: да погибнут беси от лица любящих Бо-ога... В небе черными флагами полоскались вороны, сорванные с крыш молодецким разрозненным осьмигла-сием. Невдалеке бутошник, подпертый оперным бердышом, боролся с зевотою, заряжая в ноздри изрядную понюшку табаку. Посконное кликушество насмерть огадило еще в Москве, и он двинулся прочь, не чувствуя даже обыкновенной насмешливой брезгливости.

Поутру он, не особо разбирая, нанял скверный, в коростах облезлой вохры, номер, но уснуть толком не вышло: кровать, едва закроешь глаза, принималась качаться и считать ухабы, будто почтовая карета. Остаться в четырех стенах да пялиться на тараканы посиделки по углам было и вовсе неумоготу, прежде досыта нагляделся, – и он сошел со двора и бездумно вверился кучной суете столицы. Владимир не сделал на него впечатления; права матушка Екатерина: строением мерзок, все на боку. Иного, впрочем, и не ждал: в последние две недели жизнь отложила от него и обреталась где-то поодаль; ощутительна стала лишь склизкая, сосущая тягота, – она до нитки обобрала мысли, запретив все, кроме собственного гнета. Назойливая внутренняя тягость происходила от тягла, от долга, избыть который можно лишь вместе с самим собою, – но только тот и долг, что принят доброй волею...

Улица вывела его к Волге. Река, серая и бугристая, замертво лежала у ног, продолжая бульж-ную мостовую, и серое небо было неразлично от воды и камня, и люди на набережной, доступные всякому постороннему притязанию, терялись в сырых морщинах обвислого, старческого дня, оставляя зрению лишь понурое недоумение лиц и скудость истощенных движений. Он, ломая спички, запалил пахитос, да тут же и бросил: табак, напитанный влагою, отзывал затхлым. Воздуху хотелось другого – московского, тугого и морозного; но осень здешняя медлила иззябнуть, плескала повсюду густую грязь, размазывала очерки, и город виделся гадательно, как сквозь тяжелую несвежую дремоту. Окаменелая волжская вода теснила назад – к пониженным заборам, к разинутым глоткам подворотен, и он отступил в извилистый кишечный переулочек.

Бульжник под ногами закончился, каблуки ударили по затоптанным доскам деревянного тротуара. Он подумал: так и в театре будет, на гулком паркете, и подумал: негоже! шаг нужен опасный, лакейский, и невесть в который раз вообразил, как со скрипом распахнется резная дверь ложи, как из россыпи орденов глянут на него оробелые лица, – те, что прежде глядели со стен иконами! – и на краткий, добела раскаленный миг окажут убогую суть вместо привычной державной гримасы – ему! ему одному... Одному, повторил он вслух, не нашед в этом слове опоры. Да что слова? собственного естества, и того не найти. Ограбленный ум жалобно томился ничемной предсмертной отсрочкою, и он не знал, как с этим сладить, даром что в малые еще лета испытывал себя ради грядущего подвига: переходил речки по первому льду, лазил из окна в окно по мокрому двухвершковому карнизу, живьем глотал мух, – но вощенный паркет выходил страшнее неверного льда, гаже судорожной мухи на языке. Посулить и нашим, и вашим собачий кляп, выправить подорожную до Кургана, не то до Тобольска, глухо сгинуть в канцелярских нетях...

Он поворотил в трактир – не из голода, а в поисках убежища, спросил водки да ухи и в ожидании обеда принял за вчерашний номер «Ведомостей». Печатали проповедь митрополита «О добротолубии власть предержажих»; объявляли текущий кредитному билету курс – шестнадцать с четвертью копеек серебром; извещали о премьере – «Счастливый рогоносец, или Что за честь, коли нечего есть», цена билетам обыкновенная. В Кургане газет не будет, а будет грошовый ломбер с ветхим столоначальником: манилья, баста... Половой поставил перед ним графинчик: уху извольте-с обождать. Он загадя поморщился, не ценя вкуса водки, но тут же выплеснул в рот

рюмку, цена конечную, почти детскую легкость чувства. Уж водка-то в Кургане будет. Непременно будет. Будет и шинель, до сального лоску заношенная, – навроде той, что давеча у посольства. Задавленный расступок незапно встрепенулся, – запоздало представилась восторженная газетная гистерика: ура чудо-богатырям! зри, надутая Британия... Эх, любезные компатриоты, мать вашу еть через коромысло! британцы нам не враги, а самые учителя: там паровая тяга, там Оуэн коммуну заводит – а вам лапти при лучине ковырять пуще папки...

Половой принес помятую медную солонку и приборы. Что уха, братец? – сей минут, великодушно обождите-с. Он вновь наполнил рюмку. В Москве, должно, классами манкировали и тоже пьют, и вместе с вакштафом клубится нескончаемый зазорный спор: *Gottmenschliche Einheit?* Mauler<sup>1</sup> твой Гегель, благочинных не видал!.. ваше здоровье, граждане младороссы.

К ним в артель он угодил полгода назад, – правоведам выдумали читать богословие, и Терновский, то и дело кусая заусенцы, пономарем бубнил с кафедры: лучшая юстиция есть добрая нравственность, коей основанием служит православие, и он не удержался сошкольничать: гражданин декан! а коли я на римском праве «Отче наш» скажу, мне экзамеи зачтут? а после суток в карцере к нему подошел Гуров, малорослый, угреватый и отпетого поведения: сдается, ты нашей складки, критической – вечером загляни, потолкуем... И он заглянул, и мало погода читал в подпитии своих «Былых кумиров»: вы меч сулили из цепей сковать, но вышла цепь, прочнее прежней втрое, – бесчинное властям поношение, статья 319-я! – и будто воротился домой из натруженно бесплодного странствия. Жизнь, как шкатулка фокусника, нежданно приоткрыла ему потайной ящичек: Гуров оказался Зандом, Богданов – Хлопушею, математик Гордиенко – Гракхом, а словесник Бородин – Вадимом, для скрытности и в память партизанов свободы; и сам он принял новое имя, звонкое, как тетица швейцарского фрейшица. Кто он был? ни яман, ни якши, синий студентский сертук в ряду многих: второкурсный на осьмнадцатом году возраста, в смутных муках своего неявного призвания и не в силах сообразить себя с общим пошлым понятием, журнальный отверженец с несчастною страстию авторства, – а стал мятежный младоросс, Телль! и положил быть достойну этого имени, и зажил в лад остальным, на смелую ногу, –

и был адьюнкт Сандунов, освистанный за акафисты Благочинию, – трое суток в карцере, на хлебе и воде, и следом мироточивый, приторно изумленный Терновский: неужто и вы по Владимирке норовите? –

и была ночная Сретенка, сплошь оклеенная рукописными прокламациями, – два дни напролет скребли перьями, не разгибая спины, выводили печатные буквы: граждане России! доколе нам?... – злокозненная крамола, статья 280-я! – а заутра на улице угрюмо толклись благочинные да дворники отчаянно бранились по-матерну, сдирая со стен воззвания, – то-то было потехи! –

и был складчиною купленный тульский пистолет, один на девятерых, – незаконное оружием владение, статья 222-я! – старинный, кремневый еще, зато отменно безотказный, – и в пригородной золотушной рощице рука дружески сживалась с рукоятью, а глаз со стволом, и порожные полштофы один за другим разлетались колючими брызгами, – и подвижное лицо Вадима мертвело в оскаленной ухмылке: Бог даст, ужо не по стклянкам пальнем! –

и были разговоры за полночь, с ерофою, с портером, – пьянее ерофы, пьянее портеру: а сволочь благочинную под красную шапку без выслуги! – и Наденька раз от разу все боле на него капризничала: от рук отбились, глаз не кажете, – и Занд, прочитывая предписания Коренного Комитета, важно мрачнел: будут дела! а Брут... ох и голова-а! с ним далеко пойдем!.. глядите, что пишет...

Две недели назад Занд насупилса более обычного и, ковыряя незосрелый прыщ на щеке, пошепту объявил: мы у коренных в случае! велено нам из своих рук покончить колпака, – и преждее в единый миг оборотилось срамной, навроде рукоблудия, забавою. Статья 277-я – злонамеренное противу власти покушение, а равно и дерзостное к оному приуготовление – сулила торговую казнь и, по наложении клейм, каторжные работы бессрочно; об ином исходе и думать-то было

<sup>1</sup> *Единство Бога и человека? Трепло (нем.).*

смешно. Его проникло липкое обреченное ожидание, сродни школьному ожиданию розги. Опасному делу присужден был жребий, и время вдруг спотыкнулось и заковьяло. Занд с нестерпимой расстановкою сгибал бумагу впополам, после вчетверо и еще раз, будто петуха складывал. В животе медленно скрутился болезненный узел. Занд принялся маетно расчленять лист по сгибам, чтобы поставить на клочке крест, – и не на клочке вовсе, а на одном из них. Кнут и клеймо показались благом, – лишь бы сей же час, лишь бы не изнурять себя более терпеливою скорбью внутри, и он поднялся на зыбких бескостных ногах, и с натугою поволок сквозь пересохшее горло скомканный голос: я готов!..

Незванная память, вот кто хуже татарина – выпить, чтоб вернее отделаться! да забвенная рюмка бездействовала: не вышло, как не вышло тогда с Наденькою. От Занда он напрямиккинулся к ней, люто желая пожить впрок, – точь-в-точь как в ребячестве принуждался съесть последний блин Прощенного Воскресенья. Наденька встретила его сладко надушенная и скромно округленная – он, в безысходном телесном неумении, норовил присвоить ее руками, но повсюду были непреклонные локти и ладони: оставьте, маменьку закричу! от тычка он оказался на полу, и Наденька, оправляя помятое платье, пробормотала: подите вон, мне от вас страшно! и он ощерился через плечо со злобою неутоленного голода жизни: остаюсь покорный ко услугам! Он с грохотом кинулся вниз по лестнице, но запнулся, окованный поздней догадкою: до кнута-то, пожалуй, и не дотяну, – в газетах объявят, что от душевных угрызений помер нервной горячкою, и только-то.

Ветренный студентский обиход сделался ему несносен, как пляска на поминках, и он того же дня съехал от товарищей в номера: волдыри на линиях обоях и тощая подушка в раздавленных клопах, и мохнатая плесень по углам, и над конторкою, будто в насмешку, – «пробывши три часа числитца за сутки». Это и был подлинный счет хромым минутам, и мерилом их стал вечный скрип и притворные, с самоварным присвистом, бабьи стоны за стеною: непотребное любодержание, сиречь блуд, – статья 241-я. Он зарылся в постелю, чтоб извести избыток скрипучего времени сном, но сна хватило лишь до утра. Он затеял духовную, но перо застряло на первой же строке: сам я повинен смерти; имя мое будет в притчу и в поношение... Он послал за водкою, но опьянение вышло безотрадное, тяжелое и темное, как вымокший войлок. После рыхлой одури беспамятства он, не зная себе употребления, днями пролеживал на постеле, не сводил порожних глаз с долгой ветвистой трещины на потолке – и чувствовал, что внутри легла точно такая же, и душа без остатка изошла сквозь нее прочь, чтобы дать место студенистой тяготе. Отлученный от самого себя, он сделался беззащитен для тошной, потливой мудрости страха и ее наущением узнал, каков есть: слякотно обмякший, с подлою дрожью в пальцах и прельмы подмышками, – хорош удался фрейшиц. Он хотел, чтобы скрипучее время прекратилось, и пуще того хотел прекратиться сам, – но соседская кровать бесконечно повторяла натверженный урок, и он, закусив угол подушки, плакал без слез, одним прерывистым и горемычным хрипом.

Экая дрянь! от нее-то и бежал во Владимир, едва в руках оказались прогонные, и теперь готов был дальше. Он вновь наклонил графинчик над рюмкою, подумав: а то же и в Кургане будет, – три часа длиною в сутки и подушка в клопах, и потолок в трещинах, и взамен страха гнойное, во весь остаток пыльных дней, сожаление: судьба сдавала все козыри, а выбрал сдуру манильну. Отъявленну от людей быть легко, заплатив тою же монетой, – благо, всегда наготове; иное дело, как сам себе станешь мерзок: тут тебе и бессрочная каторга, тихий запечный Акагуй. Ему померещился было каламбур насчет надгробного кургана – куда там, не по чину! всего-на-все неприметный холмик, – как и подобает письмоводителю..

Он выглянул в окно: там были все те же стертые, незапамятные лица, траченные неприметным бедствием повседневности. Там в покорном бессмыслии высчитывали курс ассигнациям: Господи, опять на полушку убыло! там занимали любопытство пряничным счастьем водевильного рогоносца, там Евангелию веровали менее, чем толстожопому попу, тайному фискалу, – по властной прихоти взяли непреложным правилом оскудение и рады были тем, что купили на рубль пятаков. И вот для них?.. кой черт! и вовсе не для них, единственно для себя, – чтоб не истлеть заживо в

подъяхих. В людях, гонимых тоскливым нетерпением тщеты, нишало достоинство жизни, – и противуоставить этому можно было лишь достоинство смерти: несть бо пророка в своем отечестве, кроме мертвого.

Водка оборотила мысли к вошеному паркету, к дубовым дверям. Гегель, знамо, по всем пунктам Mauler, кроме одного: *die Wahrheit einer Absicht ist die Tat*<sup>1</sup>. Не грех и за потный московский срам поквитаться – заряд, само собою, один, да пусть знают, блядины дети, что из того же теста деланы...

Он приподнял графинчик над столом: пуст! кляпа тут высидишь, – что за честь, коли нечего есть? любезный, изволь получить. Половой искренно изумился: а как же уха-с?.. Сам хлебай, гляди не подавись!

Дверь за спиною хлопнула. Тягота по-прежнему была при нем, но переменяла свойства: отвердела и обитала где-то сбоку, будто пистолет в кармане. Он прибавил шагу, отрясая душевную ветошь. Внутри что-то смутно занялось, он на ходу угадывал: ишу себе в Завете Новом... пророчество судьбы суровой... Кривые переулки и голые тополи разлетались прочь на обе стороны. Горестный и гордый псалом поражения звучал все громче: зерно, когда в земле умрет, переродится в добрый плод, и днесь у гробового края я смерть свою благословляю...

День сгинул в серо-сизом, казенного цвета, сумраке, и повалил снег – липкий, творожный, но на диво ледащий: густо обременял собою воздух, а на земле подчинялся слякоти и переставал быть, не дожидаясь, пока растопчут. Приют снегу давали лишь ветви, – впрочем, не они одни: бронзовый болван Ермолова поседел и примерил эполеты неизвестного полка.

Он шел к самому себе, на каждом шагу разрывая белую завесу. Жизнь и впрямь отложилаь от него и сосредоточилась в дуле увернутого в белье пистолета, – насилу выпросил у Занда, – так должно брать ее в руки, чтоб задаром не пропала.

## Глава VII

*Гряньте в чашу звонкой чашей,  
Небу взор и другу длань,  
Вознесем беседы нашей  
Умилительную дань!*

Бестужев-Марлинский

Незадачному дню следовал и вовсе гадкий, последнего разбора. Он наизусть знал эти постылые дни: беспокойные руки делались вялыми, мочальными, спина горбилась, наместо сердца за ребрами ворочался тяжкий и тоскливый сгусток, и откуда-то из душевной глубины поднималась жестокая сумеречная ясность, лишая любое бытие оправдания, – всяк делался до волоса понятен и, следственно, гнусен. Подмывало сказаться больным, велеть в кабинет вина, не спеша переворошить сочувственные страницы Шиллера: люди, люди! порождение крокодилов! а потом задремать подле Дуни, обняв мягкий ее живот, похоронить хандру в пуховом бабьем уюте, – *et après le déluge*<sup>2</sup>. Ан изволь-таки одеваться, тащиться черт-те куда с расспросами, напропад цыганить, чтоб не заподозрили собственный интерес... экая скверная комиссия! Спасибо Александру, удружил напоследок. Напоследок?..

Он уже вколотил ноги в купецкие, бутылочного блеска, сапоги с лихим изломом у щиколки, но атласная рубаха, казакин и грешневик вдруг показались ему невыносимо дурного водевильного тона. Он поманил камердинера и брезгливо указал: платье переменить, – и шагнул за порог в цилиндре и бобровой шинели.

<sup>1</sup> Намерение подтверждается деянием (нем.).

<sup>2</sup> А там хоть потоп (франц.).

Ехать предстояло к Кондратию: в третьем часу пополудни там кто-нибудь да соберется. И, не торопясь, дожидаться общего подпития да будто невзначай приторочить к беседе: видал наемни Пушкину... или нет, не так... а как, мать твою?

Над головою пустовало озяблое, измокшее небо – и он был пуст и холоден, под стать выветренной вышине. Не в силах истребить ненавистную встречную сутолоку, он противился ей озлобленным безучастием. Сквозь него текли ограды и вывески, тумбы и фонари, а он оставался чужд уличному водовороту, пузырящемуся людскими головами, – пока течение не уложило к ногам валун рылеевского дома.

В свою пору Кондратий измыслил княжой терем, однако невесть какой оплошкою взамен светлоликого князя вышел татарский хан: дом удался узкоглаз, широкорот и толстобрюх и глядел насупленно. На дворе невмочь разило навозом: надрывный русизм вопреки здоровых резонов, – *c'est beaucoup du Ryléeff cela*<sup>1</sup>. Еще в Питере вздумал держать скотину, а в наводнение поволок свинью да корову на верхний этаж, в гостиную... все через край, все с ненужным избытком, вот как дурацкие хомуты на стенах, – добро, онучи не развесил. Он вообразил растоптанные коровьи лепешки на паркете, и темный сгусток в груди наводсе отяжелел, и он поднялся в горницу с окончательно проваленной душою, сожалея, что не поворотил с полдороги.

Народу, по счастью, собралось немного: сам хозяин, Батеньков да Оболенский, да какой-то невидный малый, – судя по светло-серым мазкам петлиц, из посольских. *Que diable!*<sup>2</sup> какой при чужом разговор?..

Люди за столом были смутны для глаз, но доступны безжалостному внутреннему зрению; он придиричиво анатомил одного за другим: Кондратий – восторженный дурак, Гаврила – вечный экилибрист, талейранова карикатура, Евгений – *поконченный раувге сон*<sup>3</sup>... а о себе и поминать было тошно. Тот миссионер из Ливерпуля – как бишь его? виделся прошлым летом в Бадене – толковал о китайских нравах: *the higher the monkey climbs the tree, the better you can see its ass; such is east wisdom, dear sir*<sup>4</sup>. Истинно! нынче все как на ладони.

Кондратий, в голубой вышитой рубахе, распоясанный и ласкательный, потянулся навстречу нарочито медленно, важной державинской строфою: по здорову ли, Вильгельм Карлович? милости прошу закусить, чем Бог послал... Он понял, что от этого лубка вот-вот вломится в амбицию, и плеснул себе очищенной: авось да пособит не натворить лишнего. Водка застряла во рту; пришлось измять ее языком и деснами, чтобы протолкнуть в горло. Он, отодвинув миску с кислой капустою, потянул к себе кедровую сигарочницу, носом и пальцами угадал: *Sabañas Coronitas*, надо же... Рылеев мотнул завитую бородой на посольского: молодой человек расстарался, весьма рекомендую – Платов Василий Васильевич... Тот упредил неизбежный вопрос серой, в цвет петлиц, улыбкою: нет, атаману... э-э... не родня, коренной питерский...

На слух посольский показался ему еще менее: голос, что в жопе волос, – тонок да нечист. Козлиная песнь, заметил он отвлеченно, *traγωδία*, – и отгородился от прочих густым табачным дымом: лучше быть там, где тебя нет. За десять лет лица пригляделись и речи прислушались до оскомины, и сделались не питательны душе. По чести, и слушать-то было нечего. Встарь упоенно бранили царя да Жуковского, а нынче один в земле, другой осьмой год в Германии, – оттого обсуживали сигары. За дымным занавесом жужжало глухо, веретеном: сам не сделал привычки курить, но толк... э-э... понимаю, выучился в Дрездене, – так вы в Саксонии бывали? – да, в тридцатом годе, – стало быть, конституции новой не застали?.. Он, чтоб устроить себе занятие, принялся скатывать в шарик хлебные крошки. Глухое жужжание переломил смех Батенькова: Бонапарта оспаривать взялись? Он нарушил рукою свое дымное убежище и больше почувал, чем увидел, – Гаврила свернул нос и щеки в сытый кукиш: *кляп вам в зубы, перевороты совершаются брюхом!* а ну, князинежка, почем в лавках хлеб? Оболенский, теребя бородавку на щеке, маслено

<sup>1</sup> Это очень по-рылеевски (франц.).

<sup>2</sup> Что за черт! (франц.).

<sup>3</sup> Мудак (франц.).

<sup>4</sup> Чем выше обезьяна взбирается на дерево, тем лучше виден ее зад; такова восточная мудрость, дорогой сэръ (англ.).



зашкворчал в ответ: шитный по шеми копеек фунт, шерный по пяти ш половиною. То-то, по пяти! – к весне до полушки проедятся, кто ж тебя выберет?.. демократия хороша ко времени и к месту. Он подумал: а при Сперанском другие песни пел! что ж, Paris vaut bien une messe<sup>1</sup>, – и снова налил водки; первая колом, вторая соколом...

Дверь едва не слетела с петель – в горницу тараном вторгся скоропостижный Лунин: день добрый! из чего сыр-бор? Батеньков кинул Оболенского недоеденным: Ми-иша! а сказывали, ты на медведя пошел... Не дошел, брат, не дали! Павлушка назад вытребовал для глупостей, совсем ума решился. Лунин с бравым гвардейским грохотом повалился на лавку, спросил наместо стакана лафитник: с фельдъегерем во всю дорогу не просыхали, пора и честь знать... так из чего шум? Батеньков отмахнулся: пустое, об выборах... Лунин опрокинул рюмку, захрустел капустным пластом: так вот вам анекдот! еду сейчас от Павлушки, гляжу, – у английского посольства народ, лаются на чем свет стоит да ворота детем мажут. Сошел с коляски, подзываю одного, – кто таков? Рапортует: Матвей Жуков, сапожный подмастерье. И зачем, спрашиваю, шумишь? Отвечает: знамо, супротив этих! завоевать нас хочут. А на кой ты им сдался? Замялся парень, в затылке скребет: надо быть, супостаты в свою веру крестить ладят... А какой они веры? Замялся еще больше: так надо быть, англицкой... Ну что, говорю, Матвей Жуков, настоящего худа тебе от англичан не было, веры их ты не знаешь, – какого рожна шумишь? Смеется: благочинные двугривенный на водку посулили... и какие после того выборы? Платов почтительно кашлянул: с вашего позволения, гражданин генерал, – самые... э-э... что ни на есть удачные! смею думать, двугривенный Матвеем в казне найдется... да что вы затрудняетесь такими мизерами? не важно, как будут вотировать, – важно... э-э... как после голоса сочтут... Он, отогретый выпитым, отметил про себя: ma foi, c'est pas si stupidement<sup>2</sup>, – но когда ж ты отсель уберешься?.. Батеньков довольно хмыкнул: не в бровь, а в глаз! и ласково заструился подле посольского, Цукерброт Степанович: а не угодно ли к нам, в Верховное, советником? старший оклад, опять же знакомства, рад буду принять в вас участие...

Кондратий сунул в смушковую бороду сигару: скучаешь, Виля? Он неопределенно пожал плечами. Третья, по пословице, пошла легкою пташкой. На скатерти издыхали ржаные и капустные огрызки, лед вокруг водочного графина оплывал: где стол был яств, там гроб стоит, вспомнилось ему. И точно: прежде рылеевские посиделки живы были горячкою молодого противуречия, а нынче она омертвела в бронзе статуй, в мраморе памятных досок, – и без нее все выродилось в обряд, в паскудное жизнеподобие. Оттого и разговор удавался лишь мертворожденный, чиновничий: сигары, оклад, знакомства... merde!<sup>3</sup> Батеньков, впрочем, уже оставил посольского и завивал кружева возле Лунина: воля твоя, но медведь подождет, а вот на торжества изволь, – от Верховного Правления будет тебе золотое оружие, дамасский булат, одних камней на сотню тыщ... Лунин усмехался: тебе, брат, девок уламывать! кстати, видал у Павлушки список ораторов – неужто и впрямь керженского начетчика сговорили? Батеньков скривился: какое там! – трагик ярославский, третий месяц бородою зарастает... Речь ему в Печатной Управе заготовили важную, по раскольничьему канону: неустанными вашими трудами Россия, яко же Иисус, воскрес из мертвых, смертию на смерть наступи и гробным живот дарова... так, Вильгельм Карлович?..

Платов вынул из кармана золотой брегет, нежно вызволил холощеную «Марсельзу»: принужден откланяться, – в должность пора. Батеньков потянулся: да и мне бы, – англичане точно будут с нотою! а ну к бесу, без меня управятся. Забавные у вас часы, сказал Лунин, отделка аристократическая, репетир республиканский. Ответом была еще одна тусклая улыбка: так республиканство... э-э... и есть нынешний аристократизм... честь имею.

Он взглядом проводил посольского до порога и за порог, и, окончательно не нашед предисловия, начал без обиняков: об Пушкине кто известен? Кондратий вынул изо рта сигару: а что такое? Была у меня Catherine – четыре дня нигде не объявлялся. Батеньков, сдвинув очки на конец носа, распотрошил взглядом Оболенского: князинька! твоя работа? Тот, стиснутый уже четырьмя пара-

<sup>1</sup> Париж стоит обедни (франц.).

<sup>2</sup> Право, это не так глупо (франц.).

<sup>3</sup> Говно! (франц.).

ми глаз, задавленно зашипел: вждор! нешушветный вждор! но споткнулся о судейскую строгость Рылеева: сам старался или нанял кого? Оболенский осел и растекся. Кондратий бросил окурок с почти равнодушной укоризной: было б за что, а то... тьфу, прости Господи! а и сволочь же ты, Евгений Петрович. Оболенский воскрес, победно вскинул нафабранные усы: а шам-то ш ним иж пуштяка не штрелялша? по штарым временам и я бы на шешти шагах!.. Посуда слезно звякнула – Лунин обрушил на стол каменную ладонь: по старым временам я б тебя самого на шести шагах! чтоб впредь не срамился да людей не срамил. Вждор, повторил Оболенский почти злобно и прибавил: это вам ш рук не сойдет. Рылеев покачал головою: эка! тебе б сошло, и то хлеб. Батеньков сокрушенно развел руками: как есть дурак! манду мощною берут, а не кистенем. Вот! указал Рылеев, денег, что ли, вдовице дай, долгу на ней теперь – врагу не пожелаешь.

Скандал, чреватый публичностью, был выключен из обихода, – потому ожесточение за столом произошло невесомое и бедное, как если бы румяные карточные валеты грозили друг другу бумажными протазанами. Он, прикрыв глаза, из приличия перед собою поискал в отчужденной внутренней пустоте гнева или сострадания, но впусте. Пушкин в последние два дня стал ему что короста – теперь струнья отпали, и слава Богу; множить число валетов не хотелось, вернее было оказать равнодушие. Однако ж не врут китайцы: the higher the monkey climbs the tree... Убивали крадучись – стало быть, скоро: добро! Смерть была милостива, смерть дала милостыню – не то натерпелся бы под следствием. А тело? надо думать, в Волге, больше негде. Он попытался вообразить труп в речной утробе, вязкую, поистине летейскую воду – также тщетно. Александр брезжил ему издали, прощально помавая рукою в кольцах, живой, но бесплотный, – неуязвим для Благочиния и критик, и впрямь: смертию на смерть наступи, что и завидовать впору. Enfin à quelque chose malheur est bon<sup>1</sup>; цензурное дело подлежало остановке за безвестным отсутствием, да и с Фаддеем вышло куда как ловко, впопад, – у него отлегло-таки, хоть одну докуку с плеч долой.

Лунин отпихнул прочь рюмку, налил стакан до краев и, глядя поверх лиц, затынул вполголо-са, для себя одного: вы-ыпьем, други, на крови...

## Глава VIII

*Но что чины, что деньги, слава,  
Когда болит душа?  
Тогда ни почесть, ни забава,  
Ни жизнь не хороша.*

Катенин

Его откуда-то звали; зов был едва слышен, но настойчив, – он хотел идти, да плечи обременила незапная ноша, как бы солдатский ранец, и ноги сделались трудны и неверны; однако и ноги тут были не при чем, оттого что ранец был полон скрытной враждебной тяжести. Он отгадал в ней прежний мертвый гнет и опять отчаянно силился сказаться в живых, не находя простора ни голосу, ни движению. Тяжесть вдавила его в забвенную мглу, там, в чаду он утратил себя и вновь обрел на постеле, с охриплым дыханием и частым одичалым сердцем. Такая стиснутая, могильная неволя настигала его дважды в жизни, на Семеновских высотах да еще в крепости, – и он краткую вечность силился понять, ранен или арестован.

Он приподнялся на локте, – осторожно, чтоб не тревожить ленивую боль в ноге, – утер со лба испарину и старался приладить дыхание к мерному караульному шагу маятника. Бессонницу всякий раз приходилось обживать заново, он затеплил свечу и тут же пожалел: в спальне урюмо сгрудились переломленные тени, и душная власть сновидения продолжилась наяву; всякая труппа, прямая или окольная, норвила предательно завезть в трясину. Тщедушный

<sup>1</sup> В конце концов, нет худа без добра (франц.).

свечной огонь колебался в лад его изнуренным вздохам, и он подумал: хоть кто-то со мною, и сиротливо повторил: хоть кто-то. Днем легко быть победителем, да у темноты своя табель о рангах...

Началось сие на Фоминой или близко того: ночь была схожа со стоячей водою, и он со скуки потянулся к столу, где лежали бумаги – скарденного, денежного свойства. Одна изъясняла податные дела – подушная целиком только в трех областях и собрана, другая итожила государственный долг банкам – пятьсот двадцать два миллиона серебром. Жизнь представилась ему рекою подо льдом: текла своею прихотью, неявно, – и потому тревожила. Несвычный аллегориям, он вновь уткнулся в бумаги за строгим подтверждением догадке. Перечитав справки, те показались несносны, ибо происходили от своеволия жизни: вместо цифр в них читался глухой нищий ропот, сквозь который прорастал пастицкий хряст топоров, – его передернуло от предчувствия неизбежной пагубы, и вплотную подступила ненавистная теснота.

Лунин как-то обронил вскользя: легче от человека отделаться, чем от идеи, – на сей раз решительный дурак оказался прав. С людьми обойтись не в пример проще: ради собственного простора он избывал одного за другим в смертное стеснение. Муравьев упорствовал в пагубных заблуждениях, оттого волею Божьею помре, откушав любимой грешневой каши, – по официальным известиям, от жестокого несварения; теперь отлит в бронзе как провозвестник Вольности. Ермолов умшлял самое малое кавказскую автономию и, по прискорбной беспечности своей, убит был мюридами из засады, – также отлит в бронзе. Брат Владимир, иуда! сперва писал на него ябеды, а потом водил кавалергардов противу мятежного каре, ну да после краткой беседы усомнился и застрелился, – туда и дорога, и погребение пето не было. Майборода, еще один доносчик, в руднике выхаркал поганую свою душу вместе с ошметками легких – собаке и смерть собачья. Вокруг было просторно и пустынно – Господи, да откуда же тесноте взяться?..

Он занедужил умственною лихорадкой – хуже, чем костоедой. Горячая дума ныла и нарывала, не допуская прикоснуться больной своей сердцевине. Натужная тщета размышления по ночам гнала его прочь из спальни: там некуда было думать, и он брел в кабинет; камин угасал, черный мрамор рассыпался в пыль, и начиналось незрячее, непримиримое скитание впотьмах. Воспаленный розыск прочётам знаком был по Алексеевскому равелину, – но допрос, учиненный над собою, выходил многожды пристрастнее давнего, царского, и ответы давались куда труднее. Подсказки он достигнул скорее наитием, чем логикою: теснота шла от него самого, от собственной немощи перед самоуправною жизнью. Вечный батрак на державной ниве трудился втуне: не превозмог ни злонравия, ниже неразумия народного, – податей, и тех бегут. Пусть нынче топором дрова рубят, да где порука, что не примериваются к головам?

Рассудок его – военный, действенный – сыскал старинную оплошку: он распоряжал поступками людей, когда должно было распоряжаться их волею. Коли переметнуть свою темную и тесную боязнь другим, так опять явятся на поклон, – как Цвибель в Оптину. Ему спасительно забрезжило: заговор, крамола, покушение, – отсрочка выборам, смирение, единомыслие. Мысль мало-помалу улеглась, сделалась доступна исчислению и прочному устройству; он разнимал ее на части и сызнава собирал – каждый раз по-новому. Но знаменатель всему был неизменный – страх: люди редко управляемы бывают побуждением высшим оною. Пуганая ворона куста боится: Верховное Правление примерит саван и ужесточит законы. А убиту быть непременно Лунину! армия встанет за своего любимца и не смутится крайними мерами. Тут уж всяк берегись, – о топорах поневоле забудут...

Имея в предмете дело, он не был разборчив на средства, не гнушался ни кражею, ни подлогом: и полковою кассой махинировал, и царя морочил фальшивой разведкою, – потому и добивался своего, и грядущая удача также мнилась ему бесспорною.

С тех пор теснота отступила, являлась лишь во сне, – стало быть, не исчезла вовсе, залегла где-то неподалеку. Глядя на мелкую дрожь свечного пламени, он высчитывал, сколько еще терпеть: выходили полные три недели. В шпионах обучился выжидать, да быв у власти как не отвыкнуть? Впрочем, три недели не срок, а там театр, торжества, – и мальчишка с кличкою мопса

спустит курок, и застреленный грянется навзничь, опрокинув кресла... Кабы сейчас! но маятник истреблял мгновения отчужденно и помимо людской власти.

Сторонний, дальний звук противуречил ходу часов своєю мерой. Идут? уже?.. Он забыл слушать время, оттого что грудь сдавило тесное никогда, и просунул судорожную руку под подушку, где чутко и потаенно дремал ригби – уютная рукоять в частой насечке и тридцать золотников свинца в граненом стволе. В двери постучали – сперва робко, затем настойчивее: Павел Иванович! вы спите? Он облегченно выпростал ладонь из-под подушки: прошу, Василий Васильевич. На пороге встал Платов, подобранный и скупое, несуетно деловитый: э-э... разрешите? Уже разрешил, и давайте-ка без чинов, – с чем пожаловали? Платов сел: во-первых, Михаила Сергееч намерен... э-э... быть на торжествах. Добро, сказал он, а во-вторых? Во-вторых, Телль в городе, поутру прибыл. Он заложил руки за голову и укрыл зрение веками, чтоб удержать при себе нечаянную откровенность. Сквозь ресницы было видно, как пламя над столом вытянулось и затвердело. Отчего прежде не доложили? Прошу простить, хотелось присмотреться. Пожалуй, благоразумно... и что же? По улицам слоны продавал, сношений никаких не имел, в трактире водку пил, сейчас спит, нумер... э-э... взят в негласный надзор.

Он пристально посмотрел в слюдяные глаза напротив: а который вам год, Василий Васильевич? Тридцать третий пошел. Он усмехнулся: вот я в ваши лета полковником был... и, выдержав некоторую паузу, прибавил с выверенной расстановкою: того и вам. искренно. желаю.

## Глава IX

*Скажи, ужель увеселял  
Тебя трофеей, в крови омытый,  
Ужель венки, корыстью свитый,  
Рассудка силу заглушал?*

Раевский

Город истлел во тьме, фонари скудным своим светом сохранили в целости одну лишь Большую Покровскую. Он шел от столба к столбу, глядя под ноги, и тень играла с ним в горелки: то забегала вперед, то пряталась позади. Стало быть...

Стало быть, мальчишку завтра же в оборот, и в оба уха ему, какова есть сволочь генерал-майор Пестель – всем российским пакостям если не прямой заводчик, так влиятель. Бланбеки<sup>1</sup> кстати подвернулись – не пришлось на пустом месте огород городить. Не расколодел бы! а то просидит два часа в театре: я не я, и лошадь не моя, – спрашивай потом с козла молока. Хотя этот выстрелит. Москвичи писали: самолюбив, и в чемодане стихи... из упрямства одного выстрелит. Даром, что ли, с пистолетом явился? дурак! А кабы дорогою досмотр?.. Да и пуффер<sup>2</sup> до дела не годен, в упор лишь хорош. Верно, думал студент от великого ума в ложу взойти, – а у дверей два гвардейца, верхком по двенадцати росту, моргнуть не успеешь, как в штыки примут. Действовать придется из зала, сажен с трех, – тут ментон в самый раз, завтра же, друг Телль, начнешь руку упражнять. А там – новопреставленному рабу Божию Павлу вечная память, а тебя в холодную, признания писать. И напишешь, не изволь сомневаться: Ивлев на анатомию черт! знает, в кое место ткнуть, а кое прижать, – оговоришь за милую душу и правого, и виноватого. А бумаги в литографию да в печать, прочим в назидание. Не взыщи, голубчик, – быть тебе иудюю, героев нам своих девать некуда. Любезного Павла Ивановича с места ни крестом, ни пестом... и на кой им власть? ведь из жалованья только и служат, – скарденый немецкий порядок, Пестеля выдумки, zum Kotzen<sup>3</sup>. Быть у воды да не напиться – каково? Оболенский один и догадался... блажен

<sup>1</sup> Молокососы, желторотые (от франц.).

<sup>2</sup> Короткоствольный пистолет (от нем.).

<sup>3</sup> Блевать тянет (нем.).

муж, иже сидит к каше ближе! Вот кого первого к ногтю: будет ужо под себя грести, Христос делиться велел – каши все хотят. Подобру-то кляпа ли у вас выслужушь? намедни дурак старшим окладом соблазнял, как еще дров казенных не посулил... Ах да! было и запомятовал: я ж теперь, почитай, полковник. С одною незначущей оговоркою: посмертно. Полковник, он же и покойник: гражданин генерал-майор свидетеля не потерпит. Где Крючков да Ковалев?.. известно где: в месте злачем, в месте прохладнем, – поневоле в Бруты пойдешь. А Павел-то Иванович учен, а не умен: велика важность Лунин! да и сам он, по чести, – плюнь да разотри. За любого из нас злодею спасибо скажут, а вот коли впридачу дом с жильцами на воздух взорвать, – тут всякого до печенок проймет, призовут Благочиние испровергнуть смуту из Отечества... А ну как только ранен будет? в пору вспомнить графа Орлова: боюсь, как бы урод наш не помер, а пуще того боюсь, как бы не ожил... С Ивлевым еще раз изъясниться, чтоб залечил? уже напрямую, без обиняков? Се человек, уж как-нибудь условимся. С Оболенским попроще: кинуть Наташку, как кобелю кость, и вся не-долга. За какой пустяк люди с ума сходят! бревно бревном, не знает, куда руки-ноги девать...

Он остановился под фонарем, почти утратив тень: право, да что это я? Рано об том, безбожно рано. Он нащупал в кармане рубль: а вот не загадать ли для смеха? Падет орел, – так быть по-нашему, а коли решетка... тут уж решеткой не отделаться. Забавно! орленой монеты осьмой год нет, а мы в один голос – орел да орел..

Целковый завертелся в воздухе, разбрасывая лунные блики.

## Аргус (одноклассницы)

Протискиваюсь к дверям, вжимаюсь в группу выходящих. Высокая женщина резко оборачивается, широко открывает рот и тут же прикрывает его рукой. Не кричать же, когда все сосредоточенно молчат. Увидела мое отражение в стекле с надписью «не прислоняться» на фоне летящего черного туннеля – одноклассница, дружили в младших классах. Как сельди из бочки, пассажиры выплескиваются на перрон, мы с Олей ищем друг друга глазами. Непривычная «Белорусская», я здесь временно, пока дома ремонт. А она тут живет. «Я так хотела тебя увидеть!» Отмечаю, что факт совместной учебы не прорастил во мне никаких нервных волокон. Люблю учиться, с кем – все равно, а у кого – те запоминаются навсегда.

Разговор начался неожиданно – под шум уходящего поезда Оля прокричала: «Меня всю жизнь это мучает, ты меня простишь?» – «Я?» – «Ну то, что я тебя предала». Никак не пойму, о чем речь. «Помнишь, мы дружили?» Помню. «И на уроке физкультуры я спрятала твою одежду, и тебе не во что было переодеться, и над тобой смеялись, и я тоже». Не помню. Физкультура – открываю в памяти файл «физкультура» – все потные, хочется бежать от запаха, козел (так назывался снаряд), обитый коричневым дерматином, кое-где шкура лопнула, торчат клочья, через козла надо перепрыгнуть. Высокий, скотина! Оле – пофиг, она каланча (нынешние топ-модели тогда звались – *жердь* и *каланча*), а мне, малютке, козел этот до подбородка. (О себе надо жалостливо: *малютка*, а не *недомерок*.) И сразу – мат: перекувырнуться через голову. Громкий голос физрука: «Мат! Козел! Мат!» Кеды, футболка, физтруссы – не помню даже того, в чем, по словам Оли, она меня оставила, и я вынуждена была идти на следующий урок в непотребном спортивном виде. А она всю жизнь ждет моего прощения. Оля не столько довольна тем, что груз с души, сколько растеряна: я не помню предательства? И как надо мной смеялись? А что ж я помню тогда?

Завидую Маше: у нее кудряшки, лежат спиральями, как парик 18 века. И цвет – золотой. И она очень аккуратная: ручки-карандаши в пенале, ластик, бритва в коробочке, учебники ровной стопкой, почерк каллиграфический. У меня – каракули, бардак, прямые русые волосы. У нее тетрадь за одну копейку, у меня за две, у нее галстук пионерский сатиновый, у меня шелковый. Дома объясняют: у нее дешевый, у тебя дорогой. А можно мне дешевые – галстук и тетрадь? Нет. Маша становится моей лучшей подругой. Может, с Олей я и дружила, потому что она высокая, но в процессе дружбы выше я не стала, не научилась. У Маши – целая россыпь достоинств. И я научаюсь писать если не каллиграфически, то разборчиво. С Машей мы вместе совершили преступление: ссоровали в палисаднике возле ее дома мальву. Сердце колотилось: я ссоровала! И еще – мы вмес-

---

Татьяна ЩЕРБИНА окончила филологический факультет МГУ. До 1986 г. публиковала в самиздате стихи и прозу. В 1989–1994 гг. постоянный автор радио «Свобода». С 1991 жила в Мюнхене, затем в Париже. Публиковала статьи и эссе в газетах «Suddeutsche Zeitung», «Le Figaro», «Коммерсантъ». С 1995 г. живет в Москве. Создатель и главный редактор журнала «Эстет» (1996). Публикации в журналах «Волга», «Воздух», «Вестник Европы», «Дружба Народов», «Октябрь», в «Независимой газете», на Полит.ру и др. Автор книг «Ноль Ноль» (1991), «Жизнь без» (1997), «Диалоги с ангелом» (1999), «Книга о плюсе и минусе, хвостом времени...» (2001), «Прозрачный мир» (2002), «Лазурная скрижаль» (2003), «Побег смысла» (2008), «?Они утонули» (2009), «Размножение личности» (2010) и др. Выпустила книгу стихов, написанных по-французски (1993, премия национального центра литературы Франции), ее поэтические книги в переводе на французский и английский языки выходили также в США, Великобритании, Франции и Канаде. Переводила французских поэтов, составила авторскую антологию «Современная французская поэзия» (1995).

те вышли в запредельное. Своровать цветок – максимум преступных помыслов (другие возможности нам не были известны), выход в тайный мир, где кроме нас с ней нет никого.

Маша была у меня после Оли (звучит – как о любовниках). В какой момент я ушла от одной к другой? Из-за «предательства» – вытесненного, но, скорее, незамеченного? Наверное, я – психотип без названия. Не совсем Нарцисс, но тоже вроде цветка (может, мальва?): запоминаю только то, что любила. Оля тянет меня из метро к себе, я иду, мне во временное жилище с раскладушкой неохота. По дороге покупаю торт, Оля выбирает сама, знает все торты наизусть – не толстеющая сладкожка. Она обо мне что-то знает, а я о ней – ничего.

– Астрологией занимаюсь, – говорит, – но не за деньги, не хочу продаваться.

– На что живешь?

– Сдаю квартиру, а эту снимаю, на разницу живу. Ну и алименты. С мужем давно разошлись.

Про Машу, как про любовника-соперника: «Ты ведь с Машей дружила потом?» (вскользь, делая нарочито незаинтересованное лицо). – «Да». – «Значит, ты меня простила. Наконец-то». Не буду же я снова объяснять, что не помню? Попутно отмечаю: «прощение» генерируется моей «виной», уходом к Маше. Вдруг тональность меняется. После благодушных, с улыбкой: «А помнишь...», Оля внезапно переходит в атаку. «А помнишь, меня в комсомол не приняли, единственную в классе?» Помню. «А почему, знаешь?» – «Ну, двойки у тебя были», – отвечаю, потупив взор. – «Не двойки, а одна двойка, по поведению». Я не помню, что за двойка у нее была, но разговоры шепотом о том, что Оля «занимается проституцией», циркулировали. Об этом я, разумеется, умалчиваю.

Оля говорит: «Потому что я была антисоветчицей». Вот уж неправда, учитывая, что наша вольная школа, единственная, кажется, в Москве, славилась не только отменной школьной формы, но и тем, что в учителя к нам шли сосланные из ВУЗов диссидентствующие профессора, которые делились самиздатом-тамиздатом, не со всеми, конечно, и Оля к нашему «тайному кружку» не имела ровно никакого отношения. Мужчиной же она интересовалась, именно не мальчиками, а мужчинами, слегка шокируя этим непопозрелых одноклассниц. Но куда она там с ними ходила и что делала – со свечой никто не стоял. Теперь Оля бросает мне, словно обвинение: «Вы все поступили в институт, а меня, без комсомольского билета, кто б взял! Вы все – чтоб вы там ни говорили – были соглашателями с системой. Ты вот, была же комсомолкой?» – «Была». – «А пострадала только я одна. Нас обеих (подружка ее, тоже «гуляющая») хотели исключить, но у нее – «родители», так ее отмазали, а меня некому отмазывать было. Понимаешь, некому!» Я тактично не уточняю, от чего отмазывать.

Рыбий темперамент Оли звереет в ненависти: к школе, несостоявшемуся институту, несостоявшейся работе, несостоявшейся семье – и брызжет слюной прямо на меня. «Кто институт закончил – у тех, конечно, и работа, и семья, и путешествия за границу. Бываешь за границей? Уверена, что бываешь. А без диплома никому ты не нужен, нигде и никому». – «Ну почему (это я типа утешаю), вот Бродский, например, не учился в институте». – «Ладно (Оля смахивает слезу), я не жалуясь. Так, вспомнилось. На Бродского я сделала гороскоп. Во всех подробностях. Там видно, что все было запрограммировано». – «Покажи». – «А он у меня не здесь, на даче. Поеду – привезу». Бродского Оля выбрала в качестве альтер эго. Тоже без диплома. Все то же, разве что она стихов не писала, и суд ее был по поводу развода и раздела имущества, не выслала, поскольку она не успела выпустить яд и отравить им советскую власть (мы ж на поколение моложе! Кремль уже был отравлен, оставалось ждать, пока яд подействует). В остальном – то же. Кроме славы, она Оле и не нужна: астролог одинок, только звездное небо над головой. Я, не зная, что сказать: «Ты состоишь в ассоциации астрологов?» Она, наотмашь: «Я с этой кликой не вожусь».

Вспоминаю разговор с одним шестидесятником. Садик в центре Москвы, 1985 год. Он, с сочувствием: «Вы – потерянное поколение». Я, с молодым задором: «Почему это?» Он, умудренно: «Сложившаяся культура рушится, будет – не знаю уж, что там будет, но вы попали меж двух огней. В переходный период». Я живо представляю себе, как андерграундная часть поколения толпится в подземном переходе, уйдя с одной стороны проспекта и ожидая, когда откроется вы-

ход на другую. Что теперь сказать: он был прав. Или: неправ. Голос поколения – Цой. Вовремя ушел, не развивался. Некуда было развиваться. Индивидуально, конечно, всегда есть куда – и было, и есть, а чтоб «выразить эпоху»... «Перемен, мы ждем перемен», вот и всё. Ждем-с. Или уже не ждем-с, искоса поглядывая на новый культурный слой, и без всякого меж собой согласия – на старый. Одним – Бродский мессия, другим – Аксенов кумир, третьим – всё перегной или, цитируя певца нового бурьянного пейзажа Жени Лесина: «Все гавно, а я вот не гавно». Через «а», чтоб было как слышится, а не исходя из каких-то там догм, правил, норм. Нет их больше – норм, правил, кодексов.

Я ухожу от Оли. От потерянных, как поколение, прощений и обвинений. Не скажу, что была разочарована – нормально посидели, особенно учитывая, что я полубездомна, и даже здорово посидели, учитывая, что я люблю неожиданности. Собственно, только их я и люблю. На них можно учиться, не то, что ожидаемое – его разве что складывать в потребительскую корзину. Перед уходом Оля со мной договаривается: «Когда тебе принести гороскоп Бродского?» – «Когда ремонт кончится. Обещали через неделю, значит, через две». – «Три, – поправляет Оля авторитетно, – я про ремонт знаю всё».

Вернувшись в пристанище на Белорусской, тут же пишу мэйл в Лондон, приятельнице-бродсковеду Валентине Полухиной, которая ценит любую мелочь, касающуюся обожаемого поэта. Она приходит в восторг. Обещаю прислать гороскоп через две или три недели. В зависимости от рабочих. Как я ненавижу дни и недели, когда впадаю в зависимость – к маляру, издателю... Правильно сказать: «зависимость от», но на самом-то деле впадаешь, припадаешь, прикипаешь – «к».

Старая раскладушка прогибается, лежу как в гамаке. Только раскачиваться нельзя. Маша, ты знала, что все, что меня в тебе восхищало, было дорогой к такой же аккуратной, но зажатой меж красными светофорами жизни? *Esprit petit bourgeois* – так это называется в городе, где ты живешь, и употребляется ровно в том же значении, что «мелкобуржуазный душок» в советском языке, всегда мной отторгавшемся. Но перевод – дословный, и ни один француз отторжения не чувствует, даже «мелкобуржуазный». Так думать о себе – приговор. Признать, что твой мир – это мирок, в котором всех-то радостей – набить потребительскую корзину.

Помнишь, как мы воровали мальву? И ты закончила институт, в отличие от Оли, и благополучие, которого требовали твои золотые кудри, свисавшие неправдоподобно ровными спиралями, пеньальчики, каллиграфический почерк – оно же свершилось! Я была поражена, встретив тебя. Ты не сияешь, хотя бы тускло (ты и не собиралась блистать), тебе неймется воровать мальвы, но ты не смеешь, ты, как и Оля, нашла прибежище души в астрологии. Муж и ребенок тихо лежат в твоей мелкобуржуазной корзине, любовники – паразиты – водят за нос. Ты – Эмма Бовари-Анна Каренина век спустя, потому и водят, потому и на рельсы не засматриваешься, что век минул. Эмма-Анна уже не героиня, Эмму-Анну страсть водит за хорошенький носик, обращая его к звездам. Они мерцают, будто хлопают глазами. Это древние римляне думали, что Аргус – многоокий кальмар, распластавшийся по небу, отчего оно по ночам и усыпано светящимися точками. Глаза светятся, а если они погасли у людей вокруг, то Аргус верен себе: бессмысленно вращает глазами, поскольку смысла ему римляне так и не придали. Слямзили у греков персонажа, а инструкцию к нему взять забыли. Тут и пошли тригоны с асцендентами и прочие астрологические мудрствования. Если близкие не могут дать того, что просит душа, придумают брать у далеких. Даже у таких запредельно далеких, как звезды. Они хотя бы сверху, а земные предложения все время поступают снизу, опуская на уровень прилавка или из-под прилавка. Да здравствует Аргус, приютивший двух подружек моего детства!

Я хочу повесить штукатурка на стене, так и оставшейся неровной, размазать циклевщика по паркету в застывших лужицах лака; бригадира, исчезнувшего в неизвестном направлении (с внесенным мной авансом для всей бригады, разумеется) – поймать сеть, засолить как сельдь и засунуть в бочку. Знать бы, куда сеть закидывать. Но все кончается хорошо. Бригадир звонит, объясняет, почему исчез: эмигрирует в Америку. И ему позарез нужны были доллары. Он уже в самолете. Там будет другая жизнь – благополучная, счастливая. «Ханурики»-рабочие должны это



понять и удовлетвориться тем, что я заплачу им по окончании работы, поскольку их подобрали на строительном рынке, приезжих, бесправных, нищих. Исполнявший роль циклевщика плачет: семья дома с голоду помрет. Ну да, не циклевал он никогда полов, не знал как, но он все переделает, если я накину полтинник. 50 долларов на его отколовшемся от российского материка острове – целое состояние. Во второй раз выйдет лучше, чем в первый. Так и вышло, все остались довольны. Месяц вместо обещанных двух недель. Бывает хуже. Рассказывают же страсти-мордасти! Когда делаешь ремонт – выясняется, что и другие его делают синхронно с тобой, а если пишешь стихи, то и все вокруг их пишут. Только когда не дали чего-то такого главного, пусть это условно называется «институт» или «мальва», ты уверен, что всем этим плещущимся по бочкам сельдям – дали.

Как хороша стала квартира после ремонта! И стена – даже незаметно, что не совсем ровная, и потолок сняет белизной, и пол терпим – в конце концов, не смотреть же себе под ноги! Оля напоминает, что она – эксперт по ремонтам. Придет оценивать результат. Она, правда, никогда у меня не была, с чем сравнивать будет? Ну, пусть оценивает («и если что не так, вернуть сволочей, заставить все переделать, запретить, денег не давать» – «да слава Богу, что закончилось уже» – «Ты нетребовательна»), главное, что принесет гороскоп Бродского – задалась бродсковед, так обрадовалась новой сказке о своем герое.

Оля придет в четверг. В семь. С гороскопом. Я готовлю ужин, затираю следы, оставленные рабочими, чтобы Оля не ругала их и заодно меня. Хорошие ребята, старались. Я в восторге: сплю на своей большой кровати, люблюсь обоями. За полчаса до Олиного прихода откупориваю бутылку – чтоб вино проветрилось, декантировалось (Маша знает это слово). Понимаю, что опоздает – все опаздывают, кроме меня. Но прошел час – Оли нет. Звоню на мобильный. Едет с дачи, скоро будет. Еще час. Звоню подлесаюго. Она уже дома. Ей стало неохота, она устала. Я, взволнованно: «Так что ж не позвонила?» Она, с вызовом: «Что такого, пришла – не пришла, ты ведь не на улице меня ждешь?» Я, растерянно: «А гороскоп?» Она, ледяным голосом: «Я никому его не буду показывать. Это мой Бродский».

Прадалжаим учицца. Узнала Оля, что ее «предательство» не засчитано, значит, надо это, оставшееся пустым, место заполнить. Если хотелось нагадить, а этого никто не заметил, приходится гадить снова – может, это принесет прощение спустя лет десять, в метро, на станции Русская (к тому времени должна быть такая станция). Если я не вспомню про эпизод с гороскопом, она не станет миндальничать, скажет просто: «У тебя маразм. Склероз. Альцгеймер». Действительно, фигли учиться, если забываешь уроки.

Маша учила меня не только красоте порядка, еще и «личным отношениям». То самое определение: любовь – это разговор двоих против всего мира. Маша была для меня самой красивой, самой лучшей, если что – весь класс шел не в ногу, а она – в ногу. Маша была моей возлюбленной(-ым), в том возрасте разделение полов не имело большого значения. Мам в одиннадцать лет, как теперь, не существовало в природе. Оля, гулявшая с мужчинами в пятнадцать, была «проституткой». Может – за деньги? Она что-то упоминала в своем обвинительном спиче про тяжелое материальное положение родителей (отец – комиссавшийся военный, мать – домохозяйка). Она же помогала родителям! Зарабатывала для семьи! До меня доходит как до жирафа. Вспоминаю язык школьных лет: под словом «проститутка» имелся в виду не заработок, а противозаконное блядство – сексуальные похождения несовершеннолетней. Осуждала ли я ее (внутри себя, зная слухи)? Нет, меня это просто не занимало. У меня же своя стезя – учицца!

Маша научила меня интиму – полной и безоглядной самоотдаче. И мне это чертовски нравилось. Так бы я и осталась гением «заговора двоих», если б не всепоглощающая страсть к ученью. Машу я бросила ради социума. Социум воплощала староста класса, заводила и всеобщая (не как мы с Машей – «личные») любимица Лена. К ней-то я и сбегала от опостылевшей Маши. Ну кудри, пеналы, мальвы, интим, каллиграфия – я уже все выучила, но совершенно не была знакома с «общественной жизнью». Мы с Леной развернулись: создали ассоциацию курильщиков из числа одноклассников, ходили стайкой из четырех-пяти активисток, наподобие нынешних партийных

лидеров. Мы были «общественным мнением»: как скажем – то и есть энциклика для прогрессивной общественности класса. Реакционеры и «болото» не в счет, разумеется.

При встрече с нынешней Машей, Эммой-Анной, я не поняла, что она осталась той же, а я стала *разной*. Поскольку разному научилась. С личного на общественное и обратно переключаюсь в один клик. Лена пошла по *стезе*. Общественница, комсомолка. Это тоже психотип, как я – условная «мальва». Ее я встретила тоже случайно, на лестнице офисного здания. Бодрая, собранная, банковская. Взгляд – лучится: принадлежу всем. Не телом, разумеется, и не душой – вниманием, хрустящей корочкой то ли левого, то ли правого полушария. Мы, переученные левши, их путаем. Тогда ведь были нормы-правила-догмы, и левая рука не имела права голоса.

Олин урок так и остался у меня невыученным. Не на пустом же месте возник сеанс предательства на уроке физкультуры! Ей хотелось галстук шелковый (дорогой), тетрадь за две копейки, писать грамотно, как я, пусть и не каллиграфически, хотелось любить учиться, а я не дала ей ничего. И однажды, очутившись на своей территории, на физкультуре, где рост выручал, она мне отомстила. За то, что я была ее несбывшимся ожиданием. Даже не понимающим того, что оно – ожидание. Мы встретились снова, и снова я сказала «дай» (гороскоп) вместо «возьми». Снова я отвергла ее экспертное мнение, поскольку относилась к ремонту так же, как некогда к физкультуре. «На козла надо опереться и перепрыгнуть». А я сражалась с козлом как с ветряной мельницей. Большой рот у Оли, а ничем не наполнен, кроме сладости тортиков. Она не выдержала. Наша встреча стала повтором на ускоренной перемотке той детской дружбы. Тем же, чем школьная любовь, закончился и парижский римейк с Машей. Я вперлась в ее Эммо-Анный интим, защищаемый Аргусом, и надругалась над хитросплетением корзины. Это я – Аргус. Многоглазый, нечеловеческий. Который на всех смотрит, будто подсматривает, приговаривая: «звезды склоняют, но не обязывают», раздает обещания счастья, и – за свое: учицца, разрастацца, ешь глазами, миллиардом глаз, шестью миллиардами – по глазу на каждого землянина. Это уже, конечно, утопия.

Игорь КАРАУЛОВ

## Промежуточные итоги

### оттепель

И черна же эта яма,  
рваные края.  
Это родина моямо  
ямоямо.

Что за оттепель и слякоть,  
будто на века.  
Ни снежка тебе не сляпать,  
ни снеговика.

Так живётся в междутучье  
птицам всех господ.  
Их потом стальные крючья  
тащат в ямный рот.

\* \* \*

Тореадор, смелее в зиму,  
хрустит зима в твоей крови.  
Тебе в ней быть непобедиму –  
быка из облака лови.

Вот пар беснуется из люка,  
не помнит века пешеход.  
Цветочница такая злюка,  
на сдачу мелочь не дает.

Быки летают мошкаркою,  
не видно света тормозам.  
Довольно места для героя,  
не мне учить тебя азам.

Я поселю тебя в Москве,  
на метростроевской лыжне,  
где ветка цвета бычьей крови  
зарыта гномами на дне.

---

*Игорь КАРАУЛОВ родился в 1966 году в Москве. Окончил географический факультет МГУ. Работает переводчиком. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Новый берег» и др. Автор поэтических сборников «Перепад напряжения» (2003), «Продавцы пряностей» (2006), «Упорство маньяка» (2010).*

**сватовство майора**

Майор не помнит ничего,  
он сделался дурак.  
Майору светит сватовство,  
грозит неравный брак.

Рисует Пукирев ему  
гвоздику на челе.  
Его в больничную тюрьму  
свезли на «шевроле».

Четыре женщины его  
отмыли от крови.  
Грозит майору сватовство  
и свадьба без любви.

Ему больничный капеллан  
под лампой в тыщу ватт  
две пули вытащил из ран  
и улыбался, рад.

Спеленут, словно фараон,  
майор ни бе, ни ме.  
Но полночь близится, и он  
встает в своей тюрьме.

Майор откатывает дверь,  
тугую, как валун.  
В руке он чует револьвер,  
тяжелый, как колун.

Майор шагает тяжело,  
стреляет на ходу.  
Тела, упавшие в стекло –  
как устрицы во льду.

Майор кричит «Аллах акбар»,  
проходит коридор.  
За коридором – Кандагар,  
ты знаешь ли, майор?

Там солнце светит прямо в глаз,  
как лазерный прицел.  
Там пять раз в день творят намаз  
кто умер и кто цел.

Там пять раз в день приносят морс,  
ядренный, как бульон.  
Там возлегают рядом Щорс,  
Колчак, Наполеон.

Грозит майору сватовство,  
и девственницы в ряд  
стоят и думают – кого  
возьмет он в свой обряд?

Как выбирать такой товар,  
майор не знает сам.  
Он верил – это Кандагар,  
а здесь – универсам.

Майор хватает пистолет  
и пробует стрелять  
за завтрак, ужин и обед  
и за старушку-мать.

И люди падают у касс  
и падают промеж  
рядов, где студень многомяс  
и творог уж несвеж.

Он вспоминает про жену.  
Вот карточка жены.  
Жена размером со страну,  
и карта всей страны.

Он погружается во мрак,  
завернутый до пят  
в своей державы гордый флаг –  
огромный белый плат.

В своей державы душный снег,  
похожий на стекло,  
и доктор, тоже человек,  
вздыхает тяжело.

\* \* \*

Я имею право  
говорить себе.  
Я не умираю  
в классовой борьбе.

Ни в литературной (мутной и блатной),  
ни в контрокультурной,  
ни в какой иной.

Не забили рот мне  
всяким барахлом:  
патокою рвотной,  
мерой и числом.

Я не актуальный,  
не передовой.  
Я полтораспальный,  
тёплый и живой.

Я таскаю тело,  
как отшельник-рак.  
И чихать хотел я  
на грядущий мрак.

#### **вполголоса**

где пиво пенится  
течет вода  
где люди женятся  
как города

где солнце брезжится  
идя на дно  
где в сику режутся  
в двадцать одно

где вены рубятся  
как снасти в шторм  
где души губятся  
чертям на корм

где слив побоище  
где флот речной  
и я с тобой еще  
и ты со мной

#### **вешенка**

Человеки едят человечинку,  
точно гриб, развесёлую вешенку.  
Уплетают упругие жилы –  
ни куска не дойдёт до могилы.

Человечество, гордое ячество,  
переход из количества в качество,  
где нет места ни мне, ни тебе,  
как червям в магазинном грибе.

\* \* \*

При взрыве в Кашмире погибло четверо.  
При взрыве в Кашире погибло двое.  
Не ходи на улицу – нынче ветрено.  
А пойдёшь на улицу – Бог с тобою.

Держи нос в тепле, а карманы шире.  
Прошлогодные сопли вытри.  
Обживайся в огненном кашемире.  
Прыгай сквозь кольцо в полосатом свитере.

### **пруды**

Я нашарил оранжевый шарик зимы,  
он не жжётся, но светит тепло.  
Он упруго отскакивает от земли,  
на лету выпускающая крыло.

Вот он рыжей лисой развернулся в дугу  
и с собакой мотает круги.  
Вот он медной монетой блестит на снегу,  
подбери его и сбереги.

Где студентов и пьяниц гудит мошкара  
и пожатыем грозит Грибоед,  
одиноким повстанец, не евший с утра,  
в пожилую шинельку одет.

Пуховая Лолита пятнадцати лет  
к нему тянет язык-леденец,  
и запястье ему замыкает в браслет,  
и вдоль пруда ведет под венец.

А на Чистом пруду, на вечернем пруду  
лёд лимонный звенит тетивой,  
и, как детские губы, измазан в меду,  
и расчерчен тюрьмой теневой.

А седой Грибоед, деревянных теней  
неуклюже ломая узор,  
то крадётся за ним, то крадётся за ней,  
не решаясь начать разговор.

### **застольное**

Былые друзья не проходят,  
а где-то сидят за столом  
и пьют бесконечную водку,  
всё ту же, что с новыми пьем.

И даже когда уже мёртвый,  
застолию с ним не конец  
(наверное, каждый четвёртый  
у нас скоро будет мертвец).

Ты чокнешься, вроде невольно,  
с морозным, как стопка, стеклом,  
и отзвуки песни застойной  
навеет ночным помелом.

**вокзал – чтение**

Я читаю записки сволочного человека.  
Он думал, что родился и живёт не ко времени,  
и что он бесполезен для города и века  
и ничего не вырастет из его семени.

Кислый сквознячок щекочет занавесь буфета,  
буквы на табло переминаются в танце.  
Шепчутся молитвы из Тютчева и Фета,  
только не доходят до начальника станции.

Кафель мой, натёртый давленными вшами.  
Холод сквозь фрамугу вплёскивают шайками.  
Ломаные лица такими же грошами  
рассчитываются с таксофонами и попрошайками.

Человечки собраны из набора лего,  
члены их не гнутся, позы их топорны.  
Я с вокзальной люстрой искал человека:  
выдрал ее и тащил до конца платформы.

Где-то в кабинете чин не из последних  
ловкую шифровку передаст по радиции,  
и нас с тобой задержат за растление малолетних,  
и нас с тобой посадят за валютные операции.

**грушницкий**

Один какой-то сплошной Грушницкий  
в серой шинели своей солдатской.  
Нет чтобы коротко извиниться –  
хочет навязчиво оправдаться.

В нем насекомые бродят пули,  
он сам имеет вид автомата:  
ноги шатаются, как ходули,  
а руки ходят вокруг циферблата.

Мы скажем бодро: о Бэла, чао.  
Назавтра утром уходим в горы,  
легкомоторные за плечами  
неся причастия и глаголы.



А он картонный, почти чугунный,  
стоит практически безголовый,  
а голова его плоской лунной  
над офицерской плывёт столовой.

### **псалом**

В корчме на литовской границе,  
временно превращённой в штаб Духонина,  
согнулись мы над картами,  
вспоминая ушедшее лето.

Вспоминая дачные посиделки,  
как гоняли чай с первобытной чудовищной мятой.  
Бадминтонные перепалки,  
травой перепачканные футболки.

Вспоминая ажурные сыроежки!  
говорящие чугунные сковородки.  
Сильные, могучие дни,  
тарактевшие, как мотоциклы с коляской.

Воспалённое небо, хлопающее ресницами.  
Слёзы, растворяемые слезами.  
Мы бежали спасаться в кусты бузины,  
вдруг возникшие на открытой местности.

Драгоценная валюта случайных объятий,  
не имеющая хождения на чужбине.  
Кровью изменника-чистотела  
мы рисовали на крыльях бабочек.

Сидим теперь, седые преферансисты,  
бессонные мерцающие гнилушки,  
и на карте «Повешенный» кривыми стрелками  
намечаем свой путь на Москву.

### **фуга**

Стоит отлучиться на секунду –  
в магазин, скажем, оплатить мобильный –  
и уже считают, что ты умер,  
а то и чего похуже.

Прямо на секундочку отлучиться,  
за цветами вот, за сигаретами для дамы,  
за ингредиентами, нужными в хозяйстве.  
Зато какие там цены!  
Копейки медные, стотинки, оболы,  
детские смешные деньги.

На секунду, мухой,  
бронзовой брошечной мухой,  
вслед за дирижаблями из радужной плёнки,  
между слоновьих корней секвойи,  
вдоль огорода, где растят мороженое,  
чтобы в лиловой автолавке  
купить сахар, крахмал и дрожжи –  
недостающие ингредиенты.

На секунду, буквально туда и обратно –  
а тебя уже не замечают,  
и чужие люди на твоей кухне  
ворочают сковородками  
и с железной улиткой  
сквозь тебя проходят по коридору.

Вот я, в трениках,  
в тапках на босу ногу,  
отлучусь на секундочку: сахар, дрожжи.  
Даже дверь на ключ не закрываю.  
Просто прикрываю.

### **рань**

Как много трав и разного говна!  
Над пустырьём полощется страна –  
пиратская нестиранная ткань.

Гип-гип – и тарарахнет зинзивер,  
как на рассвете юный пионер.  
Ты только по глазам не барабань.

О, запах горна, звук нашатыря,  
зачем вы снитесь мне в такую рань,  
фасеточную правду говоря?

Сергей СЛЕПУХИН

## Абсурдная катавасия

техника окончательно  
постигнутой бессмыслицы как смысла мира.  
*Рауль Хаусманн. Немецкий обыватель сердится*

Вокруг огненного шара бешено носится комок грязи,  
на котором продают дамские чулки и оценивают Гогенов...  
*Вальтер Зернер. Окончательное раскрепощение (1918-1920)*

Весна. Слякотная очередная Оттепель, «*ни снежка тебе не сляпать, ни снеговика*». Грязный кошмар на Заречной Улице.

Гости собрались на праздничный ужин. В минуту случайно наступившей тишины все отчетливо услышали звуки падающих капель. Хозяин встал и ушел в сторону звуков. Не дождавшись его, вслед за ним ушла и хозяйка. Затем все остальные члены семьи...

Маленькая девочка шла по улице и увидела магазин, которого раньше не было. Вывеска гласила, что в нем продаются мобильники с огромной скидкой. Девочка купила себе мобильник. Пришла с ним в школу, стала слушать все мелодии подряд, а вместо последней мелодии были записаны душераздирающие вопли «*Вытащите нас отсюда*»...

Оттепель, «*междутучье*», «*черная яма с рваными краями*». Этой весной популярна история про красный мобильник, работающий не от батареи, а высасывающий из владельца кровь и мозг...

*«Сюда нужно смотреть! И слушать, что я говорю! А если неинтересно, то, пожалуйста...»\**

Ничего не слышать, никого не слушать, только читать! Написанное *ad absurdum*, «*исходящее от глухого*», но не потерявшего зрение.

Цикл из двух десятков стихов – «*Промежуточные итоги*» Игоря Караулова<sup>1</sup>. Что это – дадаистские заборные каракули, корни граффити, мировоззренческие псевдочертежи, не имеющие абсолютно никакого смысла, комбинации случайных слов и понятий? Что за скандальная выходка, черт побери! Разумный человек *такое* не напишет! А разум (помните, нас учили в школе) «*основа познания и поведения, источник и критерий истинности всех жизненных устремлений человека*»!

А если «*жизненные устремления*» это всего лишь привычка «*резать в сиду*», «*пить бесконечную водку*», бычиться и «*ячаться*»? При этом страстно желать «*забывать*» чужие уши «*всяким бараклом, патокою рвотной, мерой и числом*».

<sup>1</sup> Полностью всю подборку стихотворений под общим названием «*Промежуточные итоги*» можно прочитать в блоге Игоря Караулова <http://karaulov.livejournal.com>

\* бессмертные перлы любимого кормчего

Привычное мошенничество со смыслом. Индустрия шлягеров и развлечений, рекламы, политической пропаганды неоконсерватизма и псевдопатриотизма. Разложили их перед нами, как буквы в «кассе» для обучения грамматике, чтобы мы приняли, поглубже забили в геном. Блеф, шоу, трюкачество, соблазнение...

Приятное «застольное» время. Так и не замечаешь, как медленно, но неотступно затекает в тебя ложная эстетика, «изысканный» «изящный» гламур и суетное тщеславие...

Стихи Караулова помогают восстановить волю к истине, вернуть вытесненное, подлинное. Поэт обесценивает внушаемую гипертрофированную ложь в предзакатных сумерках блефа, возвращает себя и читателя к нулевой отметке смысла. Достигается это разнообразием приемов – от иронического переосмысления до саркастического и циничного абсурда. **Bad Jokes and Other Deleted Nonsense**. «Если вы не понимаете, в чем прикол, скорее всего, у вас выключен Жабас-крипт».

Абсурд отличается от бессмысленного. Бессмысленное не истинно и не ложно, его не с чем сопоставить в действительности. Абсурдное высказывание осмысленно и в силу своей противоречивости является ложным. Логический закон противоречия говорит о недопустимости одновременного утверждения и отрицания.

«Новый лидер в пустыне лыжню проложил. Все на лыжи!» **Reductio ad absurdum, доказательство** путем «приведения к абсурду»: если из некоторого положения выводится противоречие, то это положение является ложным.

*Я поселю тебя в Москве,  
на метростроевской лыжне,  
где ветка цвета бычьей крови  
зарыта гномами на дне.*

Бессмыслица, нелепость, пустое, бессодержательное? О чем это стихотворец? Да все о том: лыжня «нового лидера» уводит глубоко в Аид имени Лазаря Моисеевича, в мрачные фейерверки Каширок и Парков Культуры.

*«Я там катался на лыжах шесть или семь недель назад, и я знаю – настоящий снег гарантирован»\**

Лжемессии, лжепророки, лжесократы, лжепоэты... Вывести их на чистую воду, к суду их, к абсурду! Нет им рационального объяснения. Вот такие трудные задачи поставил перед собой поэт Караулов. Как? «Соединить овертку и наукоемкое содержание», по рецепту национального лидера.

Камю определял абсурд как «невозможное». Сегодня стало возможным все. Майор в стихотворении «Сватовство майора» – собирательный образ «героя нашего времени». «Он сделался дурак» – безошибочно ставит диагноз автор. Дезориентированный во времени и пространстве, офицер попадает в «больничную тюрьму». Не просто сказано «попадает» – в нее майора «свозят» в «шевроле». Союз глагола «свозят» и марки роскошного автомобиля абсурден: свозят обычно мусор, хлам, и путь на помойку совершается на выдавшей виды детской коляске, пенсионерской раскладной тележке. Название пункта доставки, «больничная тюрьма» тоже абсурдно. Подразумевалось, что майору поправят здоровье, но, как не раскладывай – больничная тюрьма или тюремная «больничка» – одно и то же, хрен редьки не слаще. Несладко вояке: прошлого нет, а будущее сюрреалистично.

В мрачной галлюцинации соединяется перспектива федотовского «сватовства» и пукиревского «неравного брака». «Сватовство» – «светит», «неравный брак» – «грозит». При этом Сальвадор Дали, в личине художника-передвижника, не забывает поставить свою абсурдную метку – рисует «на челе» героя гвоздику, ритуальный цветок на гранит «павшим героям».

Осмысленная бессмыслица: майору сватают невест на выбор, и он, гусар-ухарь, сам примет решение, после того, как разгладит усы. Но вместе с тем, «неравный брак» «грозит» жениху трагической судьбой невесты, судьбой, навязанной против воли.

Пациента отмывают от крови, извлекают из ран пули. Как ты, бедняга? Тело функционирует, душа – мертва. Напрасно специалист по душам «агнцев божьих», «больничный капеллан», как когда-то киник Диоген, ищет в нем человека. Не находит. Не с лучиной, не со свечой, не под лампой Ильича с зеленым абажуром. Напрасно. Не помогает и операционный светильник «в тыщу ватт». Майор – труп, живой труп.

Черный буфф. Далее действие развивается по всем правилам (или без правил) театра абсурда. Не различающий прошлого и настоящего, мирного и военного времени, «Кандагара» и «универмага», человекоподобный робот действует так, как его запрограммировали. Дембель из «Кандагара» оборачивается «мирным» Благовещенском. Ну, если не абстрактным Благовещенском, то конкретным «Островом».

*Майор хватает пистолет  
и пробует стрелять  
за завтрак, ужин и обед  
и за старушку-мать.*

*И люди падают у касс  
и падают промеж  
рядов, где студень многомяс  
и творог уж несвеж.*

Незатейливый софтвер в простреленной голове: ненависть к поганым «духам», творящим намаз и кричащий «Аллах акбар!» Окостеневший палец на курке, не различающая цели слепота, идиллическое блаженство на лице – «кто блажен, кто блажен...» Умиление перед стершимся образом матери-старушки, перед фоткой жены (майор, оказывается, давным-давно женат). «Неравный брак» заключен с великой страной, образ которой разрастается до огромной смирительной рубашки и смертного савана. В «черной комедии» Караулова никто не ждет Годо. Душно в снежном остекленевшем пространстве, «...и я знаю – настоящий снег гарантирован». «Гарантированно» заперты устрицы мертвых душ, «тоже человек».

*При взрыве в Кашмире погибло четверо.  
При взрыве в Кашмире погибло двое.  
Не ходи на улицу – нынче ветрено.  
А пойдешь на улицу – Бог с тобою.*

*Держи нос в тепле, а карманы шире.  
Прошлогодние сопли вытри.  
Обживайся в огненном кашемире.  
Прыгай сквозь кольцо в полосатом свитере.*

Там, где все содержательное, заключающее смысл, уже в счет не идет, остается только миг отчаянной напряженности, самосознание самоубийцы, уже «прошедшее через все». Экзистенция как бытие-к-смерти.

О родина, «моямо ямямо», утроенное «ё-мое»! Натекающая «Каппелевской атакой», когда замерзшие и голодные войска, оставшиеся без патронов, по команде генерала выбегают из окопов и в штыковую идут на огненные пулеметы. Жизнь в фильме «Чапаев», с отведенной тебе незначительной ролью то ли суслика, то ли сурка, то ли желторотого птенца.

*Так живется в междулучье  
птицам всех господ.  
Их потом стальные крючья  
тащат в ямный рот.*

Строки воспринимаются как сарказм. Это первая реакция. Но глаза выхватывают два очень важных слова: «птицы» и «господ». *Соловей, соловей, пташечка...* Господин – Господь – Властелин... Столкновение этих слов рождает образ Франциска Ассизского. Но какой абсурд! Святой появляется раздвоенным – и в монашеской рясе, и в маске лжеца, оболстителя, провокатора:

*«Любовь Франциска Ассизского простиралась на всех людей, включая мусульман, которым он проповедовал христианство, а также – на всех тварей и всё творение. Животные доверяли ему, и он отвечал им любовью и почтительностью. Он вежливо попросил щебечущих птиц на рыночной площади не мешать его проповеди, а однажды обратился с проповедью к стае птиц, призвав их восславить своего Творца»*

*«Хотя я еще жив, слава Богу, и, думаю, что пока рановато мне воспринимать себя как какую-то заоблачную величину. Мы все на своем месте должны, как святой Франциск, ежедневно мотыжить участок, который нам Господом отведен...»\**

«Моямо ямямо»!!! «Мы будем сопли жевать здесь годами?»\* Абсурд, переходящий в маразм, сарказм, разбухающий до чудовищных размеров. Память подсказывает: дословно «сарказм» – «рву мясо».

Свершись торжественное жертвоприношение бумажных человечков, обесцененных школьных «грушнички». Обезглавленных ходульных персонажей, не оправдавших наших юношеских ожиданий и тщетно пытающихся оправдаться! *«Теперь ты лопочешь свое трали-вали...»* Да здравствует аутодафе «надежных» «ценностей», «высоких» значений, «глубокого» смысла! Отныне всякая идеализация отменяется, провозглашается «рефлектированное отрицание».

*Человечки собраны из набора леги,  
члены их не гнутся, позы их топорны.  
Я с вокзальной люстрой искал человека:  
выдрал ее и тащил до конца платформы.*

Новые стихи Караулова имеют два аспекта. Дух первого легкомысленно расточителен и продуктивен, ребячлив, мудр, щедр, ироничен, независим, неуязвимо реалистичен. Примитивизм, инфантильность, папе на грани с олигофренией. **Вот нам предлагают стихи, написанные в размере «мы едем, едем, едем в далекие края» – «а нам легко конечно / нам некуда спешить».** Или стихи, намеренно «снижающие» значительность канонического образа, вовлекающие в языковую игру, сбивающие цену устойчивым понятиям. Печоринская Бэла с Кавказа перебрасывается в болонские Апеннины. Тем самым, она становится бойцом итальянского, но, тем не менее, Спротивления.

*Мы скажем бодро: о Бэла, чао.  
Назавтра утром уходим в горы,  
легкомоторные за плечами  
неся причастия и глаголы.*

Но сама мелодия **Bella ciao**, если вы не знали, заимствована у старинной детской песенки «Пляска сонного зелья», что и отменяет «убийственную серьезность» стихотворения.

В этом «раскрепощении» проглядывает и растормаживание, подталкивание к суициду, если не физическому, то духовному. Интеллектуальная агрессивность направляется не только наружу и приводит не только к скандальному проявлению критики современной культуры. Поэт отдает себе отчет в том, что эта ненависть к массовой культуре и тиражируемой идеологии направляется, естественно, и вовнутрь, против культуры-во-мне, которой некогда «обладал» и которая ныне ни на что не годна. Мир «деградировал до собачьего состояния», самому «пройтись среди собак» (Кестнер) непросто, но жизненно необходимо. Это рождает сознание, которое не только является отчаявшимся, но которое укрепляет желание стать твердым и жестким. Достигнуть статуса исходного пункта своей самостилизации.

Простейшее отношение к действительности – вот, к чему взывают стихи Караулова. Отказ от массовых поклонений чему-то. Отказ от позы творца искусства (гения), от позы мыслителя, постигающего весь мир (философа), оборотистого предпринимателя. Отказ от «пафоса истины».

*Как много трав и разного говна!  
Над пустырем полощется страна –  
пиратская нестиранная ткань.*

Второй аспект есть проявление сильных деструктивных противоречий, ненависти и высокомерных защитных реакций поэта на фетиши новой эпохи, проникшие в собственный внутренний мир, проявление множества проекций и быстрой смены аффектов – презрения и разочарования, самоожесточения и утраты иронии.

Разрушение смысла достигается деформацией архитектоники стиха, разложением привычных шаблонов, мутациями стиля. Вот некоторые приемы, использованные стихотворцем при написании цикла:

– Алогизмы, умышленное нарушение логических связей с целью подчеркнуть внутреннюю противоречивость данного положения.

- Анаколуфы, синтаксические несогласованности членов предложения.
- Холостой стих, бедные рифмы, банальные рифмы, диссонансы, втычки.
- Разнообразные модификации ритма: удлинение строки, ее укорочение.
- Цезуры, разнодлительные паузы, «ныряющие» ударения.
- Оригинальные инверсии и дисгармонии метрической структуры.

Караулов отвергает «стиль» как симуляцию смысла, как его подсовывание, как лживое «приукрашивание» вещей... Антисемантика его стихов систематически разрушает, – разрушает не метафизику, а разговоры о ней. Область метафизики освобождена и очищена для того, чтобы устроить на ней площадку для праздников, где дозволено все, только не «мнения». На крыльях бабочек, «дирижаблей из радужной оболочки», синих птиц детства, пишет поэт «кровью изменника-чистотела».

\* \* \*

«Промежуточные итоги» свидетельствуют об оформившейся личной позиции автора, осознанно и демонстративно выражающего пренебрежение к укореняющимся нормам массовой культуры и официальным догмам, негативное отношение к вынужденным из идеологических запасников нравственным законам, не подлежащим пересмотру.

Вновь после заключительного тропаря канона предлагается петь катавасию ирмоса канона, определяемого Уставом. Чаще всего в течение года поется в качестве катавасии ирмоса «Отверзу уста моя». Но та ли это катавасия? И так ли «отверзать уста», как предписано свыше?



## Чемоданы – за борт!

Рассказ

Близнецы Митя и Паша появились на свет с двенадцатичасовым промежутком – один утром, второй – вечером. Случай был бы достоин описания в медицинской литературе, если бы только мамаша у них была одна на двоих. Но у них на двоих были только общий знак Зодиака, да еще давняя дружба, основанная на таком сходстве характеров, что порой один заглядывал на жизнь другого, как в зеркало. Оба были холосты, но время от времени у них появлялись сожительницы. С большим или меньшим успехом они помогали гасить позывы плоти, но не удовлетворяли все более, с годами, неосуществимую мечту о собственном ребенке. Оба, подчиняясь праисторическому инстинкту то ли воинов, то ли землепашцев, в их случае установить это было сложно, хотели наследника. Зачем – непонятно. Кроме фамилий и бродивших по книжным полкам тараканов наследовать у них было нечего. Сами книги после их переселения этажом выше, если вы понимаете, о чем я говорю, должны были быть увязаны в аккуратные пачки и сложены в подвале под красно-белым плакатиком «Перерабатывай!». А что еще с ними делать? Со дня на день вся эта макулатура отправится следом за фото пленкой и виниловыми пластинками.

Первую в своей жизни большую дату – столетие – друзья решили отметить в «Бальтазаре». В качестве подарка Паша приобрел другу бутылку 10-летнего «Лафройга» и двойной виниловый альбом Элтона Джона «Прощай, дорога из желтого кирпича». Он купил его за 10 баксов в «Академии» на Ист 12-й, но тут была важна не цена, а ценность в контексте личного опыта – юношеских забегов с препятствиями от милиции и дружинников, охранявших чистоту советской культуры. Сколько стоил тогда такой двойник на теннисной аллейке приморского парка им. Т. Г. Шевченко, где собирались местные дискболы? Рублей 80 или что-то в этом роде. Что равнялось месячной, или без малого месячной, зарплате многих. Обложка у найденного в «Академии» альбома была как новая, хотя винил в тихих местах уже потрескивал. А что вы хотите от альбома, выпущенного хороших 35 лет назад! Третьим подарком был сюжет, родившийся совершенно неожиданно и обещавший хорошо прозвучать за праздничным ужином. Хорошая история такое же украшение стола, как и хорошая еда. Рассказ должен был не только повеселить слушателей, но и ответить на вопрос, почему Паша пришел один. Что до Мити, то он пригласил молодую редакторшу, работавшую с переводом его статьи для московского журнала по структурной лингвистике («Сравнительный анализ колоквализмов в творчестве Ги де Мопассана и Семена Юшкевича на примерах романов «Милый друг» и «Леон Дрей») – 23-летнюю Вику Светлову. Викулю. Фамилия необыкновенно шла ей. Светловолосая, с лучистыми глазами девочка из Барнаула окончила на родине филологическое отделение местного университета, приехала в Нью-Йорк по студенческой визе и хотела здесь остаться. Остаться она могла единственным способом.

– А-а-ч-чем ты говоришь! – отмахивался Митя от Паши. – Что я буду с ней делать – я понимаю, но что она будет делать *со мной*? Скажем, еще через пять лет? А через десять?

– Пока она не получит гражданство, а на это уйдет как раз лет десять, решение этого вопроса

---

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ родился в 1958 году в Одессе. Работал в одесских газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации в журналах «Волга», «Октябрь», «Парус», «Новая юность», «Время и мы», «22», «Слово/Word», «Крещатик» и др. Роман «Свинцовый дирижабль «Иерихон 86-89» («Волга». 2008. №4) вошел в 2009 году в шорт-лист литературной премии «Большая книга».

будет ее заботой, – отвечал Паша. – А когда она его получит, этот вопрос тебя уже волновать не будет. Я не прав?

– Конечно! – соглашался Митя. – Тогда меня уже будет волновать вопрос, как отбиться от ее претензий на квартиру.

У Мити была кооперативная квартира с одной спальней в роскошном доме довоенной постройки, с высокими потолками и окнами, выходящими на Проспект-парк – самый большой в Бруклине – с озерами, ажурными беседками, мостами над подземными переходами и поэтически-ми аллеями. Он был спланирован тем же Калвером Во, что и Центральный парк в Манхэттене.

– Слушай, – многозначительно поднимал брови Паша, – телятина – дороже говядины!

– Кто спорит? – соглашался Митя, который во время работы с Викулей не раз ловил себя на том, что не без волнения рассматривает силуэт груди под легкой блузкой с цветочным узором или нежный глянec розовых губ. После работы он приглашал ее в кафе, где брал себе бокал белого бордо, а ей – чашку травяного чая с крем-брюле. Она ела с нескрываемым удовольствием, очень по-детски, а он потом долго ворочался в прохладных простынях, пытаясь использовать воспоминание о ее внешности или голосе с еще неизжитой русской интонацией в качестве сладкой снотворной микстуры. Но как во всякой микстуре, за сладостью скрывалась горечь, а именно мысль о том, что его 23-летняя помощница совсем не должна ночи напролет править чужие рукописи, особенно в Нью-Йорке, который, как известно, никогда не спит.

В то время, когда Митя занимался неторопливым переводом времени в обществе юной редакторши, в поле зрения его друга Паши возникла 25-летняя нимфа Рокси. За именем, которое могло хорошо прозвучать в фильме о дыбоволосых подростках 80-х, неожиданно открывалось поэтичное, как украинская мова, имя – Роксолана. Рокси была из Ужгорода. Она тоже окончила университет, выиграла в лотерею гринкарту и прилетела в Америку в поисках той жизни, которую видела в кино – с лазурным океаном, ослепительно белыми яхтами, сияющими на солнце стеклянными башнями, автомашинами, дискотеками, огнями и страстями, которые для ее тихого Ужгорода были так же нетипичны, как жизнь для Марса. В Нью-Йорке она нашла место диспетчера в компании по установке и эксплуатации систем электронной защиты. Компания, квартировавшая в промышленном квартале Флашинга, рекламировала свои услуги через бюро, где служил Паша. Он выделил Рокси из мутной офисной популяции, только переступив порог заказчиков. У нее были чудесные карие глаза, распущенные по плечам черные волосы и готовность улыбаться широко, не скрывая радости, а радость загоралась в ней поминутно, как электрическая гирлянда на Рождественской елке. Он ждал возможности пригласить ее куда-то, а она эту возможность предоставила ему сама, спросив:

– Паша, вы же здесь так давно живете, у вас нет знакомого художника?

– Ты хочешь научиться рисовать?

– Да-а! Так у вас есть? Познако-омьте! Я хочу учиться!

У него были знакомые художники.

– Слушай, художники – опасные люди, – сказал он. – С девушек они берут только один вид платы.

– Ну и что?! – воскликнула она. – Если он отдает тебе самое ценное – свое знание, свое умение, то ты тоже должна отдать ему что-то значительное, правильно я говорю?

– Может быть, – уклончиво ответил Паша, чувствуя оживление в брюках.

– Так познакомите?

– Что ты делаешь сегодня вечером?

– А мы идем прямо сегодня?! – просияла она.

По дороге в мастерскую Сени Черновицкого, жившего в артистическом Вильямсбурге, она не переставая рассказывала, что хочет учиться рисовать, играть на гитаре, она уже записалась на уроки, но больше всего, больше-пребольше всего на свете, она хочет велосипед с ножным тор-мозом.

– Вы понимаете, как это? – спрашивала она. – Это как в старину! Ты поворачиваешь педали назад, и он тормозит. Это такой класс, вы себе не представляете!

В тот вечер он узнал, как по-английски называется ножной тормоз – fixed gear. Они шли от остановки сабвея к мастерской Черновицкого по многолюдной Бедфорд-авеню, и она не пропустила ни одного из стоявших у пиццерий велосипедов рассыльных, чтобы не покрутить педали. Отходя от них, она говорила с гримаской:

– Нет, это все не то!

А он наслаждался теплым весенним вечером, толчеей на тротуарах, публикой в открытых ресторанах, даже едой на столах. Двигаясь мимо них, он отмечал опытным взглядом: мидии в зеленом соусе, бургер с горгонзолой, греческий салат. Трудно сказать, что присутствие Рокси что-либо добавляло к его состоянию. Его переполняло ощущение причастности к месту, где каждый поворачивался к нему с дружелюбным интересом и готовностью вступить в разговор или отношения, пусть хоть на вечер. Таким было свойство города, в котором он растворял себя четверть века.

В мастерской Черновицкого уже были гости – брюнетка с короткой стрижкой и пикантно вздернутым кончиком носа и ее спутник – бритоголовый плечистый парень. Как показалось Паше, он был немного младше своей подруги. Той было около сорока. Перед ними стояла опустошенная наполовину бутылка «Столичной» и банка с желтыми и оранжевыми в черную крапинку жареными перцами.

– О, а это еще кто?! – спросил Семен, поднимаясь из-за стола. На нем были красные плавки до колена и зеленая майка с надписью «Я люблю ФКАК».

– Это моя внучка – Рокси, пожалуйста, при ней не выражайтесь, – сказал Паша.

Пара за столом захохотала:

– Да брось, внучка! Мы же видим, что дочка!

Они захохотали еще громче. Паша бросил взгляд на спутницу – та смотрела на подвыпившую компанию без толики смущения. Они сели к столу, хозяин подал им чистые стаканы, разлил водку. Поставив бутылку, он, не переставая, поглядывал на Рокси и, наконец, попросил ее попозировать. Она тут же подскочила с диванчика, вылетела на худых и стройных ногах на середину мастерской, взявшись за края юбки, прокрутилась на месте.

– Вот это класс! – сказал Черновицкий, доставая из стола, за которым они сидели, фотоаппарат. Потом обратился к брюнетке:

– А вот ты так можешь, а?

Ответом ему был смех.

– Тебя на нее хватает? – доверительно поинтересовалась брюнетка у Паши.

Вопрос о его мнимых отношениях с Роксоланой был так неожиданен, что Паша невольно усмехнулся. Брюнетка, кажется, истолковала его реакцию как признание в том, что вопрос не беспочвенен. Теперь они со взаимным интересом смотрели друг на друга, явно думая об одном и том же: им вдвоем было бы куда лучше, чем ему с его девочкой, а ей – с ее явно не блестящим интеллектом качком. Этот мысленный диалог, не лишенный толики волнения, прервал качок, в подтверждение неозвученной мысли старших товарищей, заметивший:

– Че там хватать? Принял таблеточку и гуляй Вася, верно я говорю?

Черновицкий, между тем, кружил вокруг Рокси, щелкая затвором, командуя: откинь голову, прогнись, наклонись вправо, еще, еще...

– Так вы только фотографируете, – в ее голосе Паша слышал разочарование. – А я-то думала, вы худо-ожник!

В ее представлении мастерская должна была быть местом с мольбертами, пейзажами, натюрмортами, портретами, запахом красок и растворителя. У Черновицкого была своя уникальная техника. Он укрывал холст сначала белой краской, потом черной и «рисовал» по ней шилом, создавая черно-белую графику наоборот. Со стороны его работы были похожи на гигантские рисунки карандашом – проволочные корсеты, пишемашинки со сбитой эмалью, сношенные, с потрескавшейся кожей, туфли. Рокси не была к этому готова.

Когда веселая пара ушла, Черновицкий пригласил их на крышу покурить. За рекой, в подкрашенном розоватым сиянием городской иллюминации тумане, светилась громада Импейр-стейт билдинга. Чуть поодаль от нее горела белая елочка Крайслера. Черновицкий сел на шершавый рубероид, пригласив их устраиваться рядом, достал из кармана майки пачку сигарет, вытряхнул на ладонь туго скрученный джойнт. Зажег его, шумно потянул дым, задержал дыхание, передал джойнт Рокси. Та, умело сжав его губами, втянула дым, передала Паше.

– Ты только посмотри на нее, она еще и курит! – сказал Черновицкий, складывая руки на груди и добродушно посмеиваясь. – Куда твой папа смотрит, я не понимаю. Тот еще разгильдяй. Я чувствую, что должен взять это дело под свой контроль.

– Зачем?!

– Что значит зачем? Буду с ним вместе заботиться о тебе, давать советы, помогать принимать правильные решения. Вот, скажи мне, к чему ты стремишься в жизни?

– Она хочет научиться рисовать, – вспомнил Паша.

– Рисовать?! Так кто тебя научит рисовать лучше меня? Ты вообще можешь себе представить, с каким педагогом тебя свела судьба? Ты даже не знаешь, сколько вот таких вот девушек ко мне потом приходят и говорят: Семен Евгеньевич, если бы не вы, так даже не знаю, что бы я теперь делала.

Засмеявшись, Черновицкий устроился на боку, подпер голову одной рукой, вторую устроил на бедре.

– Ты вот видела сегодня у нас девушку? Тоже моя ученица была.

– Она – художница?

– В своем роде. Некоторые вещи выполняет с настоящим артистизмом.

На лице Рокси недоумение мешалось с разочарованием. Невзирая на объявленную несколько часов назад готовность расплатиться с художником по самой высокой ставке, она явно оставляла за собой право выбора. Черновицкий, в покрытых пятнами краски шлепанцах, с выкатившимся на крышу животом, темными мешками под глазами и неопрятной щетиной, явно не соответствовал ее представлению об учителе.

– Я подумаю над вашим предложением, – наконец сказала она.

Около десяти Черновицкий закрыл мастерскую, и они пошли на сабвей. На углу Метрополитэн и Бедфорд Рокси увидела очередной велосипед. Серый толстошинный горняк стоял, прислоненный к скамейке у входа в китайскую закусную. Рядом сидел хозяин – смуглокожий парень в густой шапке вьющихся темнорыжих волос – производное еще одного нью-йоркского романса, с пуэрториканкой и ирландцем, допустим, в главных ролях. У него были большие мускулистые руки с вытатурованным на правой краснокрылым драконом, мощная, из двух увесистых блинов, грудь и узкие, обтянутые черными короткими джинсами бедра.

– У него ножной тормоз? – спросила Рокси парня, приближаясь к велосипеду, как сомнамбула.

– Йепс! – ответил тот.

Она присела перед велосипедом с захватывающей дух легкостью, с благоговением коснулась педали тонкими пальцами. Мир исчез для нее. Они звали ее – напрасно.

– Да брось ее, зачем она тебе нужна? – злился Черновицкий и тянул Пашу за руку.

– Я хоть должен объяснить ей, как дойти до сабвея, – отвечал Паша.

Когда у Паши задрезжал в кармане пиджака телефон, и он достал его, Черновицкий, махнув рукой, пошел к остановке. Паша присел на другой край скамьи, где сидел счастливый обладатель горняка с ножным тормозом. Звонил Митя.

– Ну, так ты приведешь завтра свою нимфу? – поинтересовался он.

– Я надеюсь, – ответил Паша.

– А что тебе может помешать?

– Допустим преждевременная кончина.

– You mean, premature ejaculation? – поинтересовался на том конце линии структурный лингвист.

Оба хохотнули.

– Как-то нас интересно занесло на малолеток в этот раз, ты не заметил?

– Синдром Дракулы, старина. По мере приближения к кладбищу жажда молодой крови возрастает. Это надо контролировать. Найти кого-то из своей возрастной группы.

Он бросил взгляд на Рокси – та говорила о чем-то с кудрявым парнем.

– Да-а, тут не поспоришь. Новая команда того и гляди выбросит нас с корабля современности. Как старый багаж.

– Хоть бы знать, когда, чтобы подготовиться.

– Не волнуйся, тебе скажут. Короче, Склифасовский, завтра в семь. See ya.

Прощание растворилось в душераздирающем вздохе остановившегося на светофоре грузовика. Бородатый водитель в бейсбольной кепке с конфедератским флагом смотрел на него с высоты положения. В глазах его была ирония. Паша спрятал телефон в карман. Грузовик, страшно вздрогнув и выпустив клуб гари, угромыхал вдаль, и он снова услышал нежный, подрагивающий от волнения, голос Рокси:

– А можно я на нем прокачусь?

Глядя на Рокси и ее собеседника, Паша с тоской понял, что он – лишний на их празднике жизни, но намерение пригласить ее назавтра еще не оставило его, и тогда он поднялся и позвал ее.

Она повернулась к нему.

– Ну, пойдём?

Лицо у нее было такое, как если бы она вспоминала, кто он. Потом сказала:

– Папа, идите домой сами. Я приду позже.

И это была та самая история с анекдотической концовкой, которой он хотел украсить праздничный ужин в «Бальтазаре» с его отменной кухней и винным погребом, мозаичным полом и стенами цвета охры, огромными, покрытыми патиной, зеркалами, дубовыми панелями и бронзовыми поручнями, белоснежными скатертями, серебром, букетами цветов.

Появление Паши одного, кажется, не расстроило Митю. Все его мысли крутились возле сюрприза, который приготовил другу он. Он достал из стоявшей на полу сумки завернутую в папиросную бумагу бутылку и протянул Паше. Развернув ее, тот вполне искренне сказал: «Уау!» Это было Амароне Бертани урожая 1986 года.

– Открываем немедленно! – сказал Паша, ставя бутылку на стол.

Сообщение официанта, что за коркидж у них берут 35 баксов, напрягло Митю. В местах попросе за откупорку принесенной с собой бутылки брали 15, от силы 20. Игра, тем не менее, стояла свеч, поскольку Бертани 86 года в бальтазаровской винной карте могло стоить и 300 баксов, и выше. Напряжение возросло, когда Паша, опустив нос в широкий бокал, ощутил запах испорченной пробки. Митя отказался верить в сообщение – он был любителем крепких напитков, запаха убитой грибок пробки не слышал, на вкус вино ему казалось нормальным. Но его остановил Пашин ответ на вопрос: «А что будет, если я его все-таки выпью?» – «Пронесет, а так больше ничего не будет». Митя вызвал сомелье. Румянощекий толстяк с бабочкой и массивной цепью, на которой висело серебрянное блюдо – тэставен, умело прокрутил рубиновую жидкость по внутренней бокала, провел затем бокалом у носа и подтвердил диагноз: «Плохая пробка».

– Хотите посмотреть нашу винную карту? – поинтересовался сомелье.

– Что будем делать? – спросил Митя.

– Несите винную карту, – сказал Паша, раздосадованный не столько потерей возможности отведать отличного вина, сколько тем, что только что начатый им рассказ был прерван. Хуже того – отодвинут на второй план начавшимся выяснением вопроса, нужно ли платить за коркидж, если вино оказалось испорченным. Паша уже сожалел, что обнаружил свое открытие. Викуля явно испытывала неловкость перед сомелье и сидящими за соседними столами нарядными людьми, привлеченными их разговором. Митя, понесший цепь потерь – вино, подарок и репутацию, – так нервничал, что голова у него немного тряслась. Совсем чуть-чуть, но все же заметно. Оставив выяснять финансовый вопрос Мите, Паша продолжил рассказ для одной Викули, на ходу перераба-

тывая сюжет. Изначально он придал ему стремительность короткого анекдота, оставив лишь три композиционных компонента – попытку завоевания сердца девушки старым ловеласом, отвлекающий слушателя ее интерес к игре на гитаре, рисованию и велосипедам с ножным тормозом, и наконец, внезапный выбор в пользу велосипеда. Опытный рекламщик, Паша умел отбрасывать из любого текста лишнее, оставляя лишь скелет и приводящие его в действие мышцы. Сейчас он вернул в сюжет женщину с пикантно вздернутым носиком, которая должна была отбросить предложенную им версию связи – внучка-дедушка и ввести более реалистичную – папа-дочка. Это, с одной стороны, утяжеляло сюжет, с другой давало рассказчику возможность подготовить ударный финал со второго, так сказать, захода. Викуля слушала его с благодарностью, кивая, улыбаясь и расширяя глаза навстречу новым поворотам истории. Хотя это внимание было отчасти искусственным, оно было лучше никакого, и Паша с облегчением услышал ее звонкий смех, когда добрался до ключевой фразы «папа, идите домой сами, я приду позже».

То ли ожидание этой реакции заставило его поверить в то, что усилия его увенчались успехом, то ли была в его самодельном анекдоте доля жизненной правды, которую его слушательница действительно оценила. Ведь она была ровесницей Роксоланы. Проверить он этого не мог, к тому же Митя, освободивший, наконец, сомелье, вернулся к ним и, видя их сияющие лица, тоже улыбнулся, взяв со стола салфетку, утер лоб и сказал:

– Полный порядок. 35 баксов мы уже сэкономили.

И тогда Викуля, подавшись к Мите, коснулась кончиками пальцев его руки и сказала:

– Я так рада за вас, папа.

Паша не поверил своим ушам, а потом глазам – Викуля рассмеялась, да так, что из под зажмуренных ресниц проступили слезы, потом румянец вспыхнул на ее щеках, и закрыв ладошками разом покрасневшее лицо, она затряслась от мелкого, беззвучного смеха. Глядя на нее, Паша неожиданно ощутил, как давняя и невнятная тяжесть потерявших всякий смысл намерений вдруг оставила его, освободив грудь для нового, большого вдоха. Он перевел взгляд на приятеля, с недоумением смотревшего на Викулю, и подумал, что если на пароходе, о котором они говорили с ним вчера вечером, появилась новая команда, выбрав в качестве даты пересменки их столетний юбилей, то за борт оказался выброшенным не один старый чемодан, а по меньшей мере два, и пока волны, океанская соль, ветер и солнце не добьют их окончательно и не пустят ко дну, вдвоем им будет не так скучно и одиноко.

Анна ЛАВРИНЕНКО

## Там, где нас нет

Повесть

### I.

*«...Когда все закончится, и мой рассказ тоже, я буду там. Буду, по-настоящему. Может быть, не в том городе, не в том доме и не на той улице, но я буду там. Я скажу всем «до встречи», раскидаю по ящикам прощальные письма, запру свою квартиру на ключ и никогда больше не вернусь. Я сяду в поезд, прислонюсь лбом к холодному грязному стеклу и буду смотреть на тающую зиму. Проводница спросит у меня билет, я протяну ей его и зачем-то скажу: «В один конец». Она пожмет плечами и уйдет. Сосед напротив вытащит свертки с едой и бутылку водки. Я отвернусь от него к окну и включу плеер. И заиграет музыка, и тронется поезд... И все жизненные трагедии, мои и чьи-то еще, я навсегда оставлю позади...»*

*А там... там, куда я поеду, меня никто не встретит. Никто не будет ждать меня. Разве что снег...*

*Там... Вы знаете, там закат смешивается с рассветом, а облака – розовые, там ночью под окнами с шумом проезжают поливальные машины и лают собаки, там нет телевизоров и глухих плакатов, а по радио рассказывают истории с хорошим концом и ставят старые песни о любви...*

*В нем нет ничего необычного: ни золотых птиц, ни Северного сияния, – но все равно он волшебный. Все его ищут и не могут найти. Только редкие исключения знают, где находится это место.*

*О, я понимаю Ваши сомнения, мне тоже говорили, что такого не бывает, что его нет нигде на свете. Но оно есть, я точно это знаю».*

\* \* \*

Утреннее солнышко, свежее, только что умывшееся, будит город. Первыми – листья деревьев, птиц и насекомых, потом – цветы мимозы, и пробивающуюся зелень травы; оно будит грязный снег, там, где он еще лежит, заставляя снег плакать; следом наступает очередь бездомных животных и дворников, вместе с которыми просыпаются тротуары и пешеходные дорожки. Почти шесть утра. Скоро проснутся взрослые, которым пора на работу, и дети – в садики и школы. Задомно солнце разбудило и Колю. Хотя нет, к тому времени он уже не спал, – лежал с закрытыми глазами.

Николай, или Колька, как все его называют, вышел на улицу и сел на лавочку рядом с домом. Пожмурился на солнышко, улыбнулся чему-то. Закурил. Коля всегда рано просыпается, даже зимой. Все алкоголики встают с рассветом, для того, наверное, чтобы подзарядиться энергией солнечного утра, бодро встретить новый день, и если повезет, закончить его уже через пару часов. Другие – нормальные люди – только еще просыпаются, чистят зубы, кормят друг друга завтраком, собирают детей в школу и боятся опоздать на работу. Один Колька никуда не спешит. Он рано выходит из дома, но никуда не едет, никуда не идет.

Кольке шестьдесят четыре, и лицо его, как и лица всех алкоголиков, не меняется вот уже несколько лет: оно все такое же худое, морщинистое; а его темно-русые волосы так и остались

---

*Анна ЛАВРИНЕНКО родилась и живет в г. Ярославле. Окончила юридический факультет Демидовского университета (г. Ярославль). Номинант премии «Дебют» за 2006 год. Публикации в журналах «Знамя», «Новый мир», «Новая Юность».*

темно-русыми, он не седеет. Колька пьян каждый день. Когда он просыпается, он все равно пьян, потому что невозможно проснуться трезвым, когда пьешь уже столько лет.

Светловолосый ангел, внучка Катерина, отказывается гулять с ним по улице и не позволяет брать ее за руку, когда они вместе выходят во двор, потому что – «ты, дедушка, пьяный!». Коля послушно отпускает ее руку и отходит в сторону. Он стоит у подъезда с соседом с первого этажа, курит вонючую «Приму» и смотрит, как Катя катается на велосипеде или играет в прятки с другими ребятами. Она не хочет, чтобы во дворе знали, что этот так и не поседевший старик ее родной дедушка. Но дети все на свете знают.

Катина мама, Елизавета Николаевна, в молодости (в свои двадцать семь она уже не чувствует себя молодой – она была молода когда-то давно, тогда, когда ей было семнадцать) была самой красивой девочкой во дворе и в школе. На стенах подъезда кто-то выцарапывал ей слова о любви, самые красивые мальчики класса провожали ее до подъезда. Но Лизонька, скромная Лиза, выбрала такого же скромного, как и она, соседского мальчишку, который пусть и был слишком скромным для романтики, зато казался таким надежным и верным.

Ей надо было выбрать другого, того, кто писал бы ей на стенах подъезда признания в любви и готов был бы бросить мир к ее ногам. И пусть бы это прошло, и пусть была бы первая несчастная любовь, зато Лиза бы знала, что это такое.

Но она выбрала того, кто никогда не бросит, кто всегда будет рядом, и ошиблась: не сошлись характерами, как сейчас говорят. А может быть то, что горело маленьким пламенем, погасло – ф-у-у-у-у-у-у-у, – будто бы затушили спичку... И нет ничего...

И Лиза одна, с шестилетней дочерью, живет с родителями и мечтает уехать куда-нибудь подальше из этого дома (когда она говорит это сама себе, она имеет в виду не другие города, не чужие страны – она всего лишь мечтает о другом конце города и о собственной квартирке), но... жилищный вопрос так сложно разрешим в семье простой продавщицы. Да и Кольку, отца своего, ей иногда становится жаль. Она еще помнит, как первым делом приходила к нему, когда получала двойку, и он гладил ее по голове и говорил: «Ну, ничего, ничего, завтра исправим, а маме пока можно и не говорить». Он называл ее Елизавета, Лизонька, а она звала его – «папочка». И была счастлива.

Наверное, поэтому, когда вся семья расходится после ужина или обеда, она зовет отца за стол. Выглядывает во двор, где Коля стоит у подъезда вместе со своим собутыльником, соседом с первого этажа.

– Отец, – кричит она, – ешь иди!

И уходит с кухни, оставляя на столе ужин, который к приходу Коли уже остывает.

Когда она лежит на своей кровати и гладит по голове заснувшую рядом дочь, а мать, не включая света, проходит в комнату, чтобы взять с полки полотенце, Лиза шепчет в темноту, в ту темноту, где очертания кажутся расплывчатыми тенями, туда, где стоит ее мать:

«Мам, ты бы с ним поговорила. По – нормальному, по – человечески... Сейчас есть столько способов. Может, мы могли бы его вылечить? Давай попробуем!»

«Зачем?» – отвечает та.

«Как зачем? Он мой отец, твой муж, в конце концов!».

«И что?» – говорит Лизина мать. Жена Коли.

Это теперь она так. Теперь он стал для нее посторонним. А ведь раньше! Как она его любила! На стенку лезла, если не видела несколько дней, рыдала и спать не могла, если вдруг ссорилась с ним. «Коля!» «Коленька!» – ее любовь, любовь всей жизни. Не всей, как оказалось.

Все было, когда он начал пить: и ругалась, конечно, и кричала, и била его кулаками по груди, и ладонями по щекам хлестала. А он спокойно смотрел на нее и думал, что она пытается ему что-то сказать, но все никак не мог понять, что.

Теперь она просто устала: от Коли и от своей жизни; она больше не кричит и не ругается – стало все равно. Как-то раз она хотела было выгнать его, да не смогла. Все из-за жалости: знала, что больше никого, кроме нее, у Кольки нет.



И ничего своего нет.

Да и не было никогда. Только страны и континенты принадлежали ему. Но они ведь как бы общие, и Коля как-то стеснялся считать их лично своими, хоть и помнил все их координаты по широте и долготе наизусть.

Всю свою жизнь он проработал учителем географии в тридцать шестой школе. Он давал детям географические журналы с цветными фотографиями и рассказывал им о разных странах и городах.

Но сам так нигде и не побывал. Ему хотелось, конечно... Но разве в нашей стране учителя географии путешествуют по миру? От этого становилось так мучительно невыносимо, что он наливал себе что-нибудь выпить, закрывал глаза и шептал про себя:

«Чехия – граничит с Польшей на севере, Германией на северо-западе, Австрией на юге и Словакией на востоке. Климат в Чехии умеренный: теплое лето; холодная влажная зима».

Он наливал себе еще: «...или Филиппины – государство в юго-восточной Азии, которое состоит из множества островов в Тихом океане между Индонезией и Тайванем. Рельеф островов составляют главным образом горы, самая высокая из которых – вулкан Апо. Климат – тропический, муссонный, на юге переходящий в субэкваториальный. Сезон дождей на Филиппинах длится с ноября по апрель и с мая по октябрь. На северные районы часто обрушиваются тайфуны и цунами».

Еще чуть-чуть коньяка или виски: «Норвегия – государство в северной Европе. Норвегия граничит на востоке со Швецией, Финляндией, Россией. Омывается Баренцевым, Норвежским и Северным морем. Частью Норвегии так же является архипелаг Шпицберген и остров Ян-Майен в Северном Ледовитом океане...»

Он мог говорить о мире бесконечно. Но никто не хотел его слушать.

И все, что ему оставалось – это рассказывать эти истории самому себе, кормить голубей крошками белого хлеба и пить портвейн со своим соседом по подъезду.

Иногда Коля надевает пиджак: никто не знает, по какому поводу он так наряжается. Даже его жена. Он надевает парадный пиджак и прогуливается по двору. Медленно, неспешно, он ходит туда-сюда и улыбается соседским детям и котам. А потом, прямо вот в этом вот парадном пиджаке, когда сил доползти до квартиры уже нет или жена не пускает домой, он засыпает прямо в подъезде: он сворачивается калачиком на ступеньках и спит в неудобной позе. А наутро встает помятый (помятый и его парадный пиджак, помятый и он сам) и плетется в аптеку, чтобы купить маленькую бутылочку, которая может чуть-чуть облегчить его боль...

## 2.

*«Привет, мамочка! Как твои дела?»*

*У меня все отлично, ты не волнуйся. Я сыт, одет и доволен жизнью, наслаждаюсь Парижем и всем французским. Я люблю бродить по улицам без всякой цели, смотреть в витрины магазинов и рисовать. Я уже не один раз был в Музее Пикассо и в Лувре. Здесь просто невозможно дышать без творчества. А что еще нужно для счастья? Не хватает только тебя. В следующий раз ты обязательно поедешь со мной. Да, да, да! Я покажу тебе Большую арку Деванс, кафе «Прокоп» (я читал, что это первое литературное кафе Парижа) и, конечно, Эйфелеву башню. Я познакомлю тебя со своими друзьями. Французы – классные ребята! Они немного странные, но я уверен, что тебе они понравятся. Жак – карикатурист, Поль – писатель.*

*А еще в Париже самые интеллигентные нищие и самые лучшие места для ночевки. Иногда мы с друзьями ночуем под мостами – чтобы узнать, что это такое (ну, знаешь, набраться жизненного опыта). Здесь хватает своих безумцев, поэтому внимания на меня никто не обращает.*

*Я снимаю комнату на Монпарнасе. Жак говорит, что Монпарнас был популярным в начале 20-го века, здесь в кафе и кабаках собиралась вся творческая интеллигенция. Жак рассказывал, что в кафешках писатели и поэты засыпали прямо за столами, и официантами было не позволено их будить, художники за обед частенько расплачивались картинами, а полиция никогда не вмешивалась в драки (вот бы и сейчас так).*

*Спешу порадовать: я идеально выучил французский и разговариваю почти без акцента – так что от француза меня сейчас мало что отличает. Туристы иногда даже спрашивают у меня дорогу.*

*И все бы хорошо, если бы меня только не мучило чувство вины: я так надолго уезжаю и оставляю тебя одну, зная, что никого, кроме меня, у тебя нет. Наверное, я не тот сын, о котором мечтает любая мать, но я такой, каким ты меня воспитала. И если ты попросишь меня вернуться, я завтра же прилечу домой.*

*Люблю, целую.*

*Твой сын.*

*P.S. Я купил тебе духи. Как и всегда».*

### 3.

Мы, я и дед Саша, сидим на веранде. Мне пятнадцать. На мне голубой сарафан в белый цветочек, на ногах коричневые сандалии, на правой – с оторванным ремешком. Ветер обдувает мои голые колени.

Недалеко играют в футбол внуки деда Саши – Сережка и Алешка – братья-близнецы, младше меня на три года.

Дед Саша в серой рубашке, которую он носит каждый день, в черных штанах, несмотря на жару, стоящую в начале августа, и шлепках на босу ногу. Мне кажется, он очень старый. Морщинистое лицо, седые волосы, мозолистые руки, – трудно представить его молодым. Да я и не думала об этом: казалось, дед Саша всегда был дедом Сашей, таким, каким я его увидела и каким запомнила.

Тем летом я гостила в деревне у маминой подруги – тети Иры. Она со своими сыновьями Сережкой и Алешкой приезжала в деревню на все лето. Дед Саша, ее отец, жил там круглый год.

Каждый день с близнецами мы ходили купаться на речку, мы ныряли, загорали, лежа на горячем песке, или отдыхали от солнца в тени деревьев. Сережка и Алешка, так похожие друг на друга внешне, были совершенно разными. Но мне нравилось проводить с ними время. Оба веснушчатые, с соломенными волосами, они были шумные и веселые. Смеялись мы постоянно.

После обеда, когда мальчишки спали, мы с дедом Сашей сидели на веранде и болтали. Это были долгие беседы о чем-то серьезном – так мне тогда казалось, – но о чем – я не помню. Я думала, что он знает обо всем на свете, только о многом не говорит. Например, дед Саша никогда не рассказывал мне о войне, я знала только, что там он потерял два пальца левой руки – отморозил во время зимы. Он больше любил говорить о книгах, которые когда-то читал, о природе, потому что так хорошо ее знал, и об одиночестве.

– Что такое одиночество? – спрашивает он меня. Я говорю, что это, наверное, когда рядом с тобой близкие люди, которые тебя понимают. Он пожимает плечами.

– Мне кажется, я никогда не чувствовал себя не одиноко. То есть, я прекрасно понимаю, что такое одиночество, я могу его осмыслить, почувствовать, узнать. Но никогда не бывает такого, чтобы я мог понять, когда пришло одиночество.

Мы сидим молча, дед закуривает противную вонючую папиросу, а я жую травинку.

– Опять девочке все уши прожужжал своей болтовней! – выходит на крыльцо тетя Ира.

Дед Саша хмыкает, но ничего не отвечает.

– Лишь бы языком почесать, – возмущается тетя Ира, поворачивается ко мне, прищуривает глаза от яркого солнца и спрашивает: – не понимаю я тебя! Шла бы играла, как остальные дети. Неужели со стариком интереснее?

Я пожимаю плечами...

Лето пролетело быстро и, несмотря на все прелести сельской жизни – свежий воздух, речка, лес, – деревня мне все равно не нравилась. Я любила квартиры с нормальными ваннами, туалетами, телевизорами, компьютерными играми. Поэтому когда настало время уезжать, я была даже рада. Я не задумывалась о том, буду ли скучать по этой жизни, по деду Саше и близнецам. В ту пору мне было незнакомо это чувство – скучать по кому-то или чему-то, поэтому уезжала я с легким сердцем.

Больше я деда Сашу не видела. Я пошла в новую школу и новые впечатления, новые друзья так захватили меня, что скоро я забыла и про это лето, и про деревню, и про деда Сашу. Я вспомнила о нем только через несколько лет, когда мне сообщили о его смерти.

В тот день я сидела дома одна. Шел снег, и было невыносимо холодно не только на улице, но и у меня в квартире. Шерстяные носки и два свитера не помогли – все равно морозило.

Раздался телефонный звонок, обычный дежурный звук, и ни о чем таком не думая, я сняла трубку, а через пару минут разговора положила ее и, как ни странно, не заплакала – пошла пить чай.

Звонил Алешка, сперва долго объяснял, кто он такой, а как только я вспомнила, почувствовался запах речки, свежескошенной травы и костра. Так бывает, когда вдруг куда-то сильно-сильно хочется вернуться.

«Ты помнишь моего дедушку?» – спросил он.

«Помню, конечно», – ответила я, потому что действительно помнила и его изрезанное морщинами лицо, и противный запах папироски, и шлепки на босу ногу, и одну и ту же рубашу.

На том конце провода, даже не знаю, где в этот момент находившийся, повзрослевший Алешка молчал. А я уже знала, что он мне скажет.

«Что с ним?» – спросила я.

«Он умер. Вчера».

Алешка, наверное, ждал каких-то слов с моей стороны, но я молчала, я совсем не знала, что надо говорить в таких случаях. Тогда Алешка начал рассказывать сам.

«Он никогда не болел. Вот только в последнее время. Простудился, кажется. Кашлял и не вставал с постели, врача вызывать отказался, убедил нас, что скоро поправится, что с ним все в порядке. Мы и поверили. Вчера он заснул и спал очень спокойно, знаешь... но больше уже не проснулся. Он часто вспоминал тебя. Всегда ставил нам тебя в пример: мол, какая умница... Я потому и решил позвонить. Еле нашел твой телефон, сначала твоим родителям звонил, потом сюда... Не знаю, правильно ли я сделал, но мне хотелось сказать, что он тебя не забыл».

«Спасибо. Спасибо, что позвонил», – смогла сказать я. И все. Больше ничего.

Я пила чай, не понимая смысла только что прозвучавших в трубке слов. Казалось, что если человек, которого ты когда-то знала, умер, надо плакать, но слез не было.

Ночью я заболела: у меня поднялась температура почти до сорока, и в таком бреду, в полусне-полуреальности, я пробыла несколько дней...

\* \* \*

Город встретил меня снегом. Я стояла посреди улицы и мерзла в тонкой курточке с капюшонном. С собой у меня была дорожная сумка «Adidas» и рюкзак. Здесь меня никто не ждал. Никто даже не знал, что я приехала. Люди спешили мимо меня, и ни один человек не смотрел в мою сторону. Но так было даже лучше...

Я натянула шарф до самого носа и пониже опустила голову, чтобы снег не летел в глаза. Ноги в любимых ботинках на толстой подошве упрямо скользили по снегу, и я думала, что еще чуть-чуть – и упаду. Но меня все радовало, и снег тоже. Он, как-никак, был единственным, кто встретил меня. Я подумала, что за всю свою жизнь не чувствовала себя счастливее.

Везде было чисто, даже снег на дорогах: бело-голубой, блестящий. Улочки, маленькие, узкие, пересекались, извивались, заканчивались друг другом. Они приводили к старым пятиэтажкам, разрисованными граффити, паркам и площадям. На площадях стояли памятники, покрытые снегом, памятники какому-то одному человеку. В парках, усыпанных пустыми скамейками, гуляли люди, ведя на поводках собак, одетых в теплые меха. В магазинчиках ярко горел свет, приглашая войти и купить какой-нибудь товар, выложенный на витрине. Совсем другим светом горели вечерние фонари. Они почему-то напоминали мне о фонаришках, которые в каком-то там веке управляли фонари маслом.

Ни один из городов я не любила так, как этот: ни Москву, ни Париж, ни Берлин, ни Рим, ни Нью-Йорк. Я знала про них из путеводителей, атласов и рассказов учителя географии, который всегда мог рассказать что-нибудь интересное про каждый крупный город Земли. Я знала их так хорошо, будто видела своими глазами. Но этот не шел ни в какое сравнение ни с одним из них...

...Я открыла дверь своей новой квартиры. Было холодно, но не оттого, что не топят батареей, а оттого, что в ней никто не живет. Я включила холодильник, заглянула туда – пусто. Захотелось есть, и я сгрызла пару печеньев, лежавших у меня в сумке. Вкуса их я не почувствовала.

В квартире была одна комната, в ней: один диван-кровать, один маленький телевизор, один стул; одна маленькая кухня – одна плита, одна ванная, один туалет и я – одна. Я высунулась из окна на кухне и увидела окна других домов, дорогу и несколько прохожих. Снег по-прежнему летел.

Я пролежала в горячей ванной около получаса и вышла оттуда новым человеком. Я застелила кровать свежим бельем и улеглась, завернувшись в одеяло. Спать не хотелось, поэтому я просто лежала и смотрела на окна без занавесок. Я подумала, что надо будет повесить какие-нибудь. Но какие? В голову ничего не приходило. Если бы у меня была большая шикарная квартира, я бы никогда не смогла ее обставить, потому что у меня нет вкуса, пришлось бы приглашать дизайнера. Но у меня не было большой шикарной квартиры, и поэтому дизайнер был не очень-то нужен...

#### 4.

Когда она умирала, я все время была рядом. Я держала ее за руку и приносила ей воду. Мы были с ней почти не знакомы, но она хотела свои последние дни провести со мной. Когда я спрашивала ее об этом, она лишь странно улыбалась и говорила, что я когда-нибудь пойму. Я не знала о ней ничего, кроме имени и того, что она умирает. Она тоже ничего обо мне не спрашивала.

В ее комнате пахло лекарствами. Я проветривала ее, но запах все равно оставался. Я начала бояться, что он будет преследовать меня всю жизнь. Тогда я попросила приносить в комнату цветы. Теперь к запаху лекарств примешивался и запах лилий, хризантем, роз. Смерть с таким запахом нравилась мне куда больше.

Каждый день я видела, как она страдает. Она пыталась держаться, но смотреть на ее мучения было невыносимо. Физической боли она не замечала, боязнь скорой смерти делала ей намного больнее, хоть она и не признавала этого.

«В этом нет ничего страшного, – говорила она мне, но на самом деле себе, – ведь все равно все умирают. Просто я не думала, что это случится так скоро. Я совсем не успела подготовиться. Прости меня».

«За что?» – удивилась я.

«За то, что отнимаю у тебя время».

«Ты же платишь мне за это».

«Ах да. Ты не устаешь напоминать мне об этом».

«Извини».

«Не извиняйся. Это же правда».

Я хотела было сказать ей, что это вовсе не так, что мне не в тягость быть с ней, но я знала, что она не поверит. Я не говорила ей, что мне также было необходимо ее страдание, как и ей мое присутствие. Когда видишь чужую боль, забываешь о своей, какая бы сильная она не была. Мне нравилось жить у нее. Мне нравилось быть рядом со смертью: мы ласково разговаривали с ней по ночам, пока все спали.

Я помню, как вошла в комнату и увидела ее первый раз. Она выглядела как умирающая. Совсем не такая, как показывают в кино, а такая, какой я себе и представляла. Но, несмотря на темные подглазины, спутавшиеся волосы, следную кожу и потрескавшиеся губы, мне она показалась очень красивой. Каким-то странным светом светилось ее лицо, и этот свет был прекрасен. «Наверное, она замечательный человек», – подумала я.

Она внимательно смотрела на меня и молчала.

«У меня нет никакого опыта», – сказала я.

«Это совершенно неважно, – ответила она. И тут же добавила: – Совсем скоро я умру».

«Я буду рядом столько, сколько нужно».

«Хорошо», – она улынулась, сказала: «Оставайся», – и закрыла глаза.

Мне была отведена маленькая комната, в которой я спала всего пару часов в день. Все остальное время я проводила с ней.

Когда ей вдруг становилось хуже, я говорила: «Я здесь, я рядом». Я каждый день меняла ей простыни и пододеяльники. Я кормила ее супом с чайной ложечки и давала лекарства. Я читала ей вслух «Записки Пиквикского клуба» и рассказывала о том месте, где все закончится хорошо. Я врала, что она обязательно выздоровеет, и мы поедем туда вдвоем.

«Мы уедем туда жить, туда, где все заканчивается хорошо. Ты знаешь, там закат смешивается с рассветом, а облака – розовые. Там лают собаки и поют стрижи, а под окнами с шумом проезжают поливальные машины. В этом городе не выключают свет по ночам и много курят. Но все равно там здорово. Тебе там обязательно понравится».

А потом мы обе рыдали. Я садилась на пол, около ее кровати, положив голову ей на колени. Она гладила меня по волосам, и мы плакали. Мы плакали долго, не пытаясь даже останавливать слезы. Мы плакали до тех пор, пока они не кончались. Когда слез уже не было, мы всхлипывали и шмыгали носами, успокаиваясь. А потом, устав, засыпали.

Мне было страшно представить, что больше никого, кроме меня, совершенно постороннего человека, у нее нет. Хотя на самом деле у нее был сын. Иногда он приходил и приносил охапки красивых цветов, названий которых я не знала. Он подходил к ее кровати, даже не замечая меня. «Ма-ма! Ма-мочка!» – падал на колени, брал ее легкую ладонь и прижимался к ней щекой. В этот момент я выходила из комнаты. Не знаю, о чем они говорили, но когда он уходил, она плакала.

«Это был мой сын», – сказала она мне после того, как он пришел первый раз.

Я кивнула. Мол, поняла. Больше мы о нем никогда не говорили.

С каждым днем ей становилось все хуже. Я перестала спать, потому что по ночам она бредила: кричала, шептала что-то, звала меня. Я не выпускала ее руки. Только иногда, чтобы принести ей воды или положить на голову ледяное полотенце. Тогда бред ненадолго утихал, и мы вместе дремали: я – сидя на полу, положив голову ей на кровать. Мы были совсем чужие друг другу, но в то же время не было никого на свете роднее нас.

«Я хочу поскорее отпустить тебя, – сказала она в тот день, – спасибо тебе за все. И прости меня. Я не думала, что мы так привяжемся друг к другу... Мой мальчик давно не приходил. Как бы я хотела увидеть его еще раз. Он у меня самый красивый, так похож на своего отца».

«Ваш сын?»

«Да, мой сын».

«Но он был у вас вчера».

«Правда? Не помню. Все дни смешались. Как будто бы один. Сколько времени я умираю? Сколько его уже прошло? Наверное, пора...»

И я поняла, что это ее последний день, что она, наверное, что-то такое чувствует. Но я ошиблась. Она жила, и ей даже стало лучше. Она меньше бредила и с аппетитом ела. А через неделю все закончилось.

...Я расставила в вазах свежие цветы. Хорошо помню, что в тот день принесли тюльпаны. Немного ей почитала. До конца книги оставалось всего пара страниц, но она сказала: «Я немного устала, дочитаешь завтра».

Потом, как и обыкновенно, она попросила меня рассказать про то самое место.

«Ты же знаешь все наизусть!» – ответила я.

Она улынулась и начала рассказывать сама: «В этом городе закат смешивается с рассветом, а облака – розовые... – Правильно, я говорю?» Я кивнула, и она продолжила рассказывать историю до конца.

Она быстро заснула, и я накрыла ее одеялом. Она спала спокойно и позвала меня только один раз.

«Я здесь», – прошептала я и, как обычно, взяла ее за руку.

А утром она не проснулась. Я получила причитающиеся мне деньги и уехала до похорон.

## 5.

Колька открыл бутылку портвейна прямо в магазине, заходить домой за штопором не хотелось: представилось, как Лиза опять будет ругаться, жена промолчит, а Катерина убежит в другую комнату. Он вышел на улицу и сделал глоток сладкой противной жидкости, которая была для него и живительной водой, и французским вином десятилетней выдержки, и лучшим армянским коньяком, и жгучим виски. О, были времена, когда он пил только дорогие напитки, мог судить об их вкусе и выдержке. Ученики и родители приносили ему дары Бахуса, и отказать, конечно, было неудобно. С того-то, наверное, все и началось.

Он заперся у себя в кабинете, выпивал несколько глотков коньяка и долго смотрел на карту мира. Иногда крутил большой глобус, который стоял в левом углу у доски, тыкал наугад пальцем и долго изучал страну, в которую попал. Он делал еще несколько глотков, и ему казалось, что вот он вдыхает запах моря, чувствует сладковатый вкус кокоса, видит бескрайние темно-изумрудные леса.

Коля отработал в школе, в одном и том же кабинете географии, положенный срок, и когда пришло время – вышел на пенсию. В свой последний день он в одиночестве сидел в кабинете и смотрел на мир, уместающийся в его руках. Он пил дорогой коньяк и прощался со своей жизнью. Он думал о том, что так нигде и не побывал, так ни разу и не увидел, что есть там, за границей. «Там все настоящее, – думал он, – там нет ничего бессмысленного и пустого...» Там, там, там... ну почему же кому-то повезло больше, чем ему, почему он здесь, а они там?

Он ушел, не забрав с собой ни одной карты, ни одного атласа, ни своего любимого глобуса. Он и так помнил карту мира наизусть.

Те года, что он проработал в школе, ничем не отличались друг от друга: только ученики становились наглее, шумнее и ленивее. Из года в год они слушали все те же истории своего учителя, выполняли все те же домашние задания, писали такие же контрольные. Для них это был всего

лишь урок, всего лишь еще одна учебная неделя, которую нужно пережить, всего лишь еще один экзамен, еще один год, – всего лишь маленький этап в жизни, а для него это была вся жизнь.

Только один год отличался от других, неправильный, безумный год его жизни. Ее звали Оксана Тихонова, и она училась в одиннадцатом «Б». Он никогда не выделял ее среди других: она не отличалась ни особенной общительностью, ни сообразительностью. Она не тянула руку на его уроках, не рвалась писать рефераты: он тогда с трудом вспоминал ее имя и фамилию. Но третьего сентября того самого года, когда он вошел в класс и увидел ее, сидящую за второй партой, – в горле вдруг пересохло. Не то чтобы она как-то изменилась внешне, вроде такая же, как и раньше. Темные волосы, собранные в хвост, пухлые губы без помады, загорелые руки и лицо. Нет, не это он заметил в первую очередь, а только ее взгляд: она смотрела на него серьезными серыми глазами, манящими, как дальние страны. И что-то такое было в ее лице, животное, сексуальное, желанное.

Он и сам не помнил, как вел урок, как что-то рассказывал, шутил. Все сорок пять минут он смотрел только на нее: смотрит ли она, слушает ли его, смеется ли над его шутками. Она не смеялась – только улыбалась, глазами.

Прозвенел звонок, в классе начался шум. Коля позабыл дать детям домашнее задание. Оксана собиралась медленно и вышла из класса предпоследней, а он все смотрел на нее.

И началось... Он замечал ее в школьных коридорах, столовой; спрашивал, стараясь делать это не очень уж и часто, ставил пятерки. Она и сама стала активнее: поднимала руку, вызывалась делать рефераты, красиво разрисовывала контурные карты.

Он возненавидел школьные каникулы и календарь, который приближал окончание учебного года.

В тот день она зашла к нему в кабинет после уроков и... поцеловала. А может, это он поцеловал ее, он и сам не понял, как это случилось и почему. Но с тех пор началось это безумное время.

Они виделись каждый день. После занятий она шла к нему домой: она не делала уроки, а он не проверял контрольные. Он рассказывал ей про другие страны и города, и они путешествовали вдвоем в своих мечтах.

«Мы уедем туда, где нас никто не знает, – говорила она, – где никто ничего не сможет нам сказать».

«Нам везде смогут что-то сказать. Ты несовершеннолетняя. Я на десять лет тебя старше».

«Через полгода буду совершеннолетней и смогу делать все, что захочу. Ты ведь женишься на мне?»

«Конечно, женюсь. И у нас даже будут дети».

«Только не сразу».

«Конечно, не сразу, родная. Нам еще нужно успеть поездить по миру».

«Успеем. Обязательно. Поедем туда, куда только ты захочешь».

«Нет, поедем туда, куда захочешь ты. Мне все равно, хоть в Африку, хоть на Северный полюс».

Они мечтали, зная, что все их мечты ничего не стоят, что жизнь совсем другая и все хорошее быстро кончается. Нет, об их связи так и не узнали, она на всю жизнь, и ее и его, осталась тайной только для них двоих. Но то, что она закончилась, – было закономерно и вполне естественно.

После выпускного, на котором Оксана веселилась, танцевала с ним и мальчиками из класса, она исчезла. Она ни разу не позвонила, не пришла.

А он все ждал. Он сидел в своем кабинете и ждал. Ведь возвращаются же ученики к своим учителям! Но ее не было. К июлю в школе начался ремонт: пахло краской, в коридорах стояли школьные парты, и всюду была побелка. Он сидел в своем кабинете, пил коньяк и плакал. Только страны отвлекали его от мыслей о ней. Когда ремонт потихоньку добрался и до его кабинета, он ушел в отпуск. Он читал книги по географии и смотрел по телевизору передачи про путешествия. И по-прежнему ждал. Но она так и не появилась.

Тогда он нашел в школьных документах номер ее телефона и адрес. Но по телефону ему сказали: «Она здесь больше не живет»... Тогда он пришел к ней домой: дверь открыл мужчина. За его спиной визжал ребенок и громко работал телевизор. «Такая здесь не живет. Вы ошиблись». – «Но где же она теперь?» – «Почем я знаю», – ответил мужчина и захлопнул перед ним дверь.

С тех самых пор Коля все чаще начал запирается у себя в кабинете и вдвоем с бутылкой путешествовать в разные страны, и где-нибудь там в своих мечтах он встречал ее. В Африке, Канаде или Латинской Америке.

А потом Коля женился. Какое-то время его брак был счастливым, родилась дочь, которую он обожал. Он не изменял своей жене, не бил ее, не забывал про годовщины – только не любил, а во всем остальном был примерным семьянином, у него была только одна маленькая слабость – к алкоголю, и большая страсть – к другим странам и городам.

## 6.

– Я хочу умереть, – сказал Костя и вытянул руки ладонями вверх.

Мы сидели на скамейке в парке. Ветер гонял желтые листья из стороны в сторону, но они почему-то вызывали у меня отвращение. Наверное, оттого, что рядом сидел Костя, или Константин, как он всегда представлялся по телефону. Все, связанное с ним, и он сам в том числе, вызывало у меня отвращение.

Костя был бледен, и из-за того, наверное, его длинный нос казался еще длиннее. И его глаза, маленькие, бегающие, почти бесцветные, – мне никогда не нравились. Красивыми были только его ресницы, длинные, черные, как у девочек. Но это все, что было в нем хорошего.

– Что опять? – резко спросила я. И тут же мысленно отругала себя: «Нельзя так! Надо поаккуратней». Костя отреагировал мгновенно.

– Ты так говоришь, как будто тебе наплевать.

Я вздохнула. «Если честно, мне и так наплевать, и вообще я замерзла сидеть на этой скамейке, и устала каждый месяц ездить на другой конец города, чтобы выслушивать твои исповеди».

– Это неправда, и ты это знаешь, – сказала я вместо этого.

– Конечно, конечно! – засмеялся Костя, – смех такой же противный, как и он сам.

Ну, уж нет! Я не собираюсь больше это терпеть! Сколько можно выносить его выходки? Все, хватит, осточертело! Можно будет прекрасно обойтись и без его помощи! Я хотела подняться со скамейки, но не поднялась. Осталась. Вот так всегда.

Костя, наверное, это понял, и снова превратился в маленького ребенка. Он опять начал жаловаться на жизнь: все-то у него идет наперекосяк, совсем не так, как надо. Как будто у других все хорошо и замечательно. Я, как могу, пытаюсь его утешить его. Говорю все те же, заученные слова. Не знаю, замечает ли он это. Замечает ли он, что в ответ на любую его беду он получает все те же слова утешения, все ту же дозу жалости. Но взамен он дает мне куда больше, и это единственная причина, почему я всегда прихожу к нему на помощь...

После этих изматывающих встреч я возвращаюсь домой и ложусь в постель. Я чувствую себя слабой и усталой, мне хочется пролежать так несколько дней, ничего не делая, не двигаясь. Я смотрю в потолок...

\*\*\*

Я так и не повесила в комнате занавески. Я вообще не стала ничего менять. Мне и так здесь нравится. Даже когда нет электричества и холодной воды. Ну, может быть, в эти моменты нравится чуть меньше. Вещей, которые я привезла с собой, было немного, поэтому квартира по-прежнему выглядит пустой. Наверное, если заглянуть в нее с той стороны окна, когда везде выключен свет, можно подумать, будто здесь никто не живет. Но кому понадобится заглядывать в окно шестого этажа? Даже птицы летают выше.



Я смотрю в окно, прислонившись лбом к стеклу. Окна кухни выходят во двор (окна комнаты на дорогу). Во дворе гуляет Слон. Слоном ее прозвали дети, за что, не знаю, не такая уж она и большая. Худая, рыже-черная с всклокоченной шерстью. Иногда я угощаю ее косточками.

На лавочке сидят две молочно-белые кошки с черными лапами, у одной кончик хвоста тоже черный (только так я их и отличаю), на шеях блестят ошейники – кошки не бездомные, чьи-то, но чьи – я не знаю. Кроме Слона и кошек – во дворе больше никого нет.

Я наливаю себе чаю и включаю радио, которое висит над кухонным столом. В этом городе днем все пьют чай, а вечером виски. И все слушают радио, по которому крутят отличные песни, чтобы танцевать, веселиться, петь, готовить или смотреть в окно.

Ночью под окнами лают собаки и поют стрижи, а по дорогам с шумом проезжают поливальные машины. В этом городе не выключают свет по ночам и много курят. Но все равно тут здорово. Очень здорово.

Когда я сплю, вернее не сплю, а лежу с открытыми глазами и смотрю в потолок или читаю какую-нибудь книгу, я слышу эти поливальные машины. Не понимаю, почему они ездят только ночью? Но днем я их ни разу не слышала, это точно. Наверное, есть что-то особенное для водителей этих самых поливальных машин: ехать по пустому городу и поливать его холодной водой. Мне бы тоже хотелось стать таким водителем, но я совсем не умею водить...

## 7.

*«Здравствуй, дорогой Коля! Или мне лучше называть тебя Николай Геннадьевич?»*

*Я очень нервничаю и совсем не знаю, как начать это письмо. Если б я точно знала, что мне лучше не писать его, я бы не писала, но я этого не знаю. Мне кажется, так будет лучше....*

*В последнее время я все чаще думаю о тебе. Я умираю, Коля. Наверное, поэтому. И мне надо многое тебе объяснить, многое рассказать. Я не прошу понять меня, я просто хочу, чтобы ты все знал, хотя, возможно, это и причинит тебе боль.*

*Я никогда тебя не забывала. Всю свою жизнь я прожила с ощущением, что была создана для того, чтобы быть с тобой. Я думала, что оно пройдет, но теперь, когда моя жизнь заканчивается, понимаю, что оно было со мной всегда. Я прожила свою жизнь не зря, раз в ней был ты. Ты и сейчас со мной.*

*Ты ждал меня и искал – я знаю. Я все думала, что случится чудо, и ты все-таки найдешь меня, но, видимо, чудес не бывает. Ты должен понять: мне было семнадцать, а ты был моим учителем, и я очень сильно испугалась, когда узнала, что у меня будет ребенок. Я уехала в деревню к моей тете, родила сына. Твоего сына, Коля. Я назвала его Ульянов. Мне так понравилось это имя, и я подумала почему-то, что тебе оно бы тоже понравилось. Прости, что не говорила этого раньше. Прости, что говорю это только сейчас.*

*Я расскажу тебе о нем. Если ты, конечно, хочешь знать, если нет – можешь больше не читать.*

*Ульян родился маленький, недоношенный, с черненькими волосиками и огромными глазами. Я обожала его, не могла на него насмотреться. Я сидела у его кровати, когда он спал, и слушала, дышит ли он. Он рос здоровым и в меру послушным. Ульянов – мальчик немного не от мира сего. Он живет какой-то своей, странной жизнью. Много путешествует. Тебе бы это точно понравилось. Каждый год он бывает в Париже и привозит мне оттуда настоящие французские духи и свои рисунки.*

*Страсть к путешествиям – это от тебя...*

*Он очень красивый мальчик. Когда Ульянов был маленький, мама говорила, что он похож на меня. Но сейчас он все чаще напоминает мне тебя. Когда я его вижу, сжимается сердце.*

*Я не знаю, милый, что мне еще сказать в свое оправдание, я бы просила у тебя прощения бесконечно, но у меня уже нет этой бесконечности.*

*Меня не станет где-то через месяц. Может, продержусь чуть дольше, но мне кажется, что даже месяц – это слишком оптимистический прогноз для меня. Я люблю тебя. И буду любить до самой смерти. Очень бы хотела тебя обнять и прижать к себе крепко-крепко в свой последний день. Целую. Твоя...*

## 8.

Мой новый режим такой: встаю я в пять утра. Я обожаю раннее утро, особенно зимой, когда темно. Выглядываешь в окно: снег и свет. Свет всего в паре окон домов, что через дорогу, а снег – всюду. Мне всегда интересно: те люди, они только проснулись или, наоборот, так еще и не ложились? Если я просыпаюсь в три или четыре утра и выглядываю на улицу, в каких-нибудь окнах обязательно горит свет. Так всегда: всегда найдется человек, который не спит по ночам.

Я ставлю чайник на плиту и смотрю на пламя газовой горелки. Греюсь одним только взглядом. Огня я боюсь, но, как и ко всему, чего мы боимся, меня к нему тянет, поэтому-то я так люблю смотреть на него. Чайник закипает, и я оставляю огонь в покое.

Я ем бутерброды с сыром и печеньем, запивая их вскипевшим чаем. Потом одеваюсь, прямо на кухне, потому что в комнате холодно. Теплые ботинки, свободные штаны, футболка, свитер. Поверх курточка и шарф до ушей. Красная вязаная шапка.

Я еще даже не успеваю выйти из подъезда, а мороз уже начинает щипать щеки и пробирается под коротенькую куртку.

Во дворе убирает снег наш дворник, дядя... – все время забываю его имя.

– Доброе утро! – киваю я ему.

– Доброе утро! – он машет мне рукой в синей варежке.

Кроме него, на улице больше никого нет. И мне это нравится. Нравится выходить на улицу рано утром, когда все еще спят, – это намного интереснее, чем поздно ночью, когда многие только притворяются.

До почты, где я работаю, идти минут пятнадцать. Можно и меньше, если идти быстро.

Мне нравится моя работа. Очень нравится. Я забираю газеты и письма. Газеты я добросовестно раскидываю по нужным ящикам, а письма оставляю себе. Иногда писем бывает две-три штуки, иногда большая стопка, но я радуюсь любому из них.

После разности газет я сразу иду домой с этой вот пачкой писем в пакете. Там же лежит и мой поздний завтрак. Я завтракаю, глядя по телевизору утренние передачи, как раз такие, которые никто не успевает досмотреть: кто-то спешит на работу, а в школе уже начались уроки, и занятия в институте, это для тех, кому к первой паре, те, кому ко второй, пока еще спят. С этими передачами – это как с тем светом в окнах, который я вижу по утрам. Их тоже мало кто видит.

После передач, когда начинаются сериалы для домохозяек, я выключаю телевизор и принимаюсь за письма. Прежде чем начать читать, надо разобрать их по стопкам. Официальные письма: извещения из налоговой, предвыборные агитационные листки, ответы из каких-то департаментов – я сразу откладываю и никогда не читаю. В этих письмах нет ничего, кроме букв и строчек. Нет эмоций, которые можно было бы украсть. Конечно, я никогда их не выбрасываю – рука просто не поднимается, хотя и не знаю, зачем они нужны. Может быть, я так отвечаю своей очень мучавшей меня поначалу совести – мол, погоди, я отнесу, ну вот эти-то обязательно, все равно они мне не нужны, и все адресаты получают свои извещения, свои ответы из департаментов и агитационные листки.

Письма с неразборчивым почерком я оставляю на вечер. Я люблю их, хотя они и утомляют меня. Но эти письма, письма, написанные неразборчивым почерком, почему-то самые интересные. Остальные письма я прочитываю сразу же, это те, самые обычные письма, чаще всего скучноватые. Интересных писем с каждым днем становится все меньше. Все эти информационные технологии: теперь все самое интересное пишут по электронной почте. Моя работа уже никому не нужна.

Но сегодня все пошло не так. Моя начальница вызвала меня к себе в кабинет. Кажется, ей начали поступать жалобы о том, что не приходят письма.

– *Признаюсь честно, по секрету, но это только между нами: ни одного письма я так ни разу и не отнесла нужному адресату...*

Моя начальница смотрит на меня и не понимает. Мне ее жаль, эту крупную бабу. Именно бабу, а не женщину. Женщины – они такие легкие, воздушные. Они умеют правильно одеться, так одеться, что все ахнут, они умеют красиво накраситься, но никогда особенно не пользуются косметикой, они улыбаются так, что им веришь. А эта... толстуха с малиновыми губами и комочками туши в уголках глаз. Но мне ее жаль и совсем не хочется над ней смеяться. Что есть у нее в жизни? Разве знает она, что такое счастье? Сколько ей лет? Сорок? Сорок пять? Наверняка, есть дети. Может быть, даже муж, если не бросил ее много лет назад. Работа на почте. Дочь – учится в училище, сидит в подъезде с соседскими ребятами и уже пьет водку. Младший сын колотит в школе всех подряд. Будущий уголовник. Бедная... Я сама придумала себе эту историю и теперь жалею ее, придуманную. Может быть, все совсем не так. Но если и нет, то все равно очень похоже. Уж я-то знаю.

У нее дрожит нижняя губа. Ах, ах! Она даже не знает, что сказать. Она сложила руки на коленях.

– Зачем я это делаю? Вы ведь это хотите знать? Не знаю. Наверное, потому что я воровка. Я краду чужие эмоции, и чужие чувства. Я залезаю в святая святых, в самые интимные места людей. Ну и что? Почему бы и нет? Нет ничего прекраснее писем, которые никогда не дойдут до своего адресата.

– Вообще ни одного письма... – прошептала она.

– *Ни одного!*

С этого дня я больше не могу читать чужие письма. Жаль, мне будет их не хватать...

## 9.

В нем совсем нет жалости... Я закрываю глаза... звонит сотовый.

– Это Константин, – говорит он, – мне надо, чтобы ты приехала.

В нем совсем нет жалости, только жестокость. Он не любит никого, даже себя. Иногда мне кажется, что я боюсь его, а потому и ненавижу. Мне не хочется слышать его сейчас. Я больна, я чувствую, что со мной что-то происходит – я не хочу двигаться с места.

– Пожалуйста, – говорит он, – приезжай. Ты нужна мне.

Я слышу вместо этого: «твоя жалость нужна мне».

Я не хочу ехать. Нет, в этот раз я не поеду, я так плохо себя чувствую. Сейчас я скажу ему, что я больна, мне нехорошо. И он не заставит, он не сможет.

– Ладно, я приеду, – говорю я вместо этого.

– Ты, правда, хочешь меня видеть? – спрашивает он.

– Конечно, конечно, – говорю я, но слишком поспешно.

– А мне кажется, что нет! – его голос срывается на крик, – ты даже не представляешь, как мне сейчас плохо!

– Я сейчас приеду. Только скажи, куда. На наше обычное место?

– Нет, стало слишком холодно. Ко мне домой.

Он назвал адрес и тут же повесил трубку. Я продолжала сжимать телефон, все еще надеясь, что через секунду он перезвонит и отменит встречу, хотя знала, что такого не будет. Когда ему нужна чья-то жалость, он не перед чем не остановится.

Я подумала вдруг, что совсем не знаю его. Его зовут Костя, и в нем совсем нет жалости. А остальное: фамилия, возраст? Ему примерно столько же, сколько мне, но на самом деле сказать сложно. Кто его родители? И есть ли они у него вообще? Да и хотелось бы посмотреть хоть на одну его девушку, про которую он рассказывает. Кто может спокойно провести с ним больше часа, не начав нервничать и злиться?



которую он только что дал мне. Он берет, проглатывает, и я даже слышу звук, с которым она проходит по его горлу. Я начинаю гладить его по голове и рассказывать.

– Я заберу тебя с собой. И ты сам убедишься...

\*\*\*

Ночь. Мы вдвоем с Костей едем через мост. Мы катаемся по городу на такси. Город слишком маленький, чтоб в нем было метро, но достаточно большой для того, чтобы такси в разные его концы стоило по-разному. На фоне белого дыма вырисовывается черная церковь. Я не знаю, как она называется, и не знаю, что это за дым, но ничего красивее этого я раньше не видела. Я и не знаю, что этот дым – это от какого-то завода, который стоит рядом.

Машин очень мало, мимо проносится скорая без мигалок. У нас не болеют, поэтому скорые ездят просто так.

Мы сидим вдвоем на заднем сиденье и передаем друг другу бутылку с красным вином, пьем его из горлышка и проливаем на одежду, когда машина подсакивает на плохой дороге. Завтра мы обнаружим красные пятна на наших джинсах и футболках, и пятна эти так и не отстираются, но нам все равно, и я буду иногда надевать эти самые джинсы и эту самую футболку, чтобы вспомнить, как когда-то мне было здорово.

Два часа мы просто катаемся по городу, а потом приезжаем в мою пустую квартиру, которую я так и не обставила, и сидим на голом полу, потому что в квартире нет ковра...

Мы пьем виски и слушаем радио, по которому крутят забытые песни о любви, и рассказываем друг другу истории.

Под окном с шумом проносится поливальная машина...

10.

С пригородного поезда я сошла одна. Алешка встретил меня на вокзале. Хоть мы и не виделись несколько лет, я сразу его узнала. Да и на платформе, кроме него, больше никого не было. Он радостно подлетел ко мне, крепко обнял, как лучшую подругу. Неловкости, которую я ожидала, между нами не возникло.

– Как доехала? Рад, что выбралась.

– Спасибо, что пригласил.

– Не за что. Бог мой, ты теперь... вон какая. Переменилась. В лучшую сторону, конечно.

– Ты тоже. Такой взрослый.

– Ну да, вроде того. Хоть мама и говорила, что я так и остался мальчишкой.

Пока мы шли от станции через лес, к дому, Алешка болтал без умолку, избавив меня от необходимости придумывать тему для разговора. Мне его болтовня нравилась. Я чувствовала себя легко, как раньше, будто мне снова пятнадцать. В лесу повсю росли ландыши и пахло зеленым. Алешка сорвал с дерева ветку и махал ею из стороны в сторону.

– Последнее время, после смерти мамы, в доме постоянно никто не живет, – говорил он. – Я приезжал, конечно, но ненадолго. Серега был всего пару раз. Он постоянно занят. Я тебе говорил, что он у нас теперь крутой бизнесмен, ворочает большими деньжищами? Мне такие даже и не снились. Ездит по заграницам, то в командировку, то отдыхать. Недавно вернулся из Швейцарии, говорит, там дико красиво. Он женился. На одной такой дамочке. Правда, мне смотреть на нее смешно. Вся в мехах и жеманная такая. Она называет меня, знаешь как? «А-А-Алеша», – он смеется, – но она добрая, хоть и дура. И, кажется, действительно Серегу любит, называет его «Сере-е-еженька». Я, в общем, за него рад. Видимся мы редко, не хочу путаться у него под ногами. Но он молодец, старается обо мне заботиться. Раз в полгода предлагает работу, говорит, будешь нормально зарабатывать, может, хоть приоденешься. Но я не хочу. Не люблю на кого-то работать. Да и весь этот режим, не смогу я ходить на работу к девяти. Мне нравится быть самому по

себе, – Алешка смеется. Я краем глаза смотрю на него и узнаю старую деда Сашину рубаху и его шлепки. Только рваные потертые джинсы, видимо, Алешкины, а может, тоже чьи-то. Его и правда совсем не волнуют материальные ценности. Он поэт в душе и по жизни. У него вышло несколько сборников стихов, но он говорит, что этим на жизнь не зарабатываешь.

– А почему дом решили продать?

После того случая, как Алешка позвонил мне и сообщил о смерти деда Саши, мы с ним иногда созванивались, переписывались по электронной почте. Он присылал мне сборники своих стихотворений с автографами. Когда он позвонил в последний раз, сказал, что продает дом.

– Можно я приеду? – попросила я. Мне почему-то очень хотелось побывать там еще раз. Да и Алешку хотелось увидеть. Алешка с радостью согласился. Он, кажется, был даже польщен моим желанием.

Так мы и оказались на лесной тропинке между станцией и полузаброшенной деревней, двое почти незнакомых людей, между которыми возникла какая-то необъяснимая близость, как между братом и сестрой.

– Не знаю. Я думаю, что еще пожалею об этом. Но после маминой смерти там жутковато. В следующем месяце должен въехать новый хозяин. Станный такой парень, знаешь. Бр-р-р, – ощущение от него не очень приятное, но больше покупателей не нашлось. Деревня-то заброшенная почти, мертвая... Народ либо умер, либо разъехался кто куда. И это за такой короткий срок. А помнишь, как здорово раньше было? Идешь по улице: у бабы Мани молочка попьешь, дядя Виталик ножик подарит... а сейчас... эх... – Алешка махнул рукой.

Веранда была все той же. Да, и что с ней случится? Это мы меняемся, а веранды так и остаются верандами. Сразу вспомнился дед Саша. Странно, что его уже нет. Вещей в доме почти не осталось. Кроме двух кроватей, печки, стола и пары стульев. Солнечный свет пробирался сквозь грязные стекла, в нем плясали кружочки пыли. Только на кухне было заметно, что здесь еще живут. Алешка достал бутылку коньяка, нарезал колбасы и сыру. Мы сели за стол, и между мной и ним все еще плясали кружочки пыли.

– Ну, за встречу, – сказал он.

– За встречу.

Мы говорили до поздней ночи. Я рассказывала Алешке обо всем: о том, какой жизнью жила, что делала, я рассказывала, как работала сиделкой, и как близка была со смертью. Алешка хорошо знал, что это такое. На его руках умерли дед Саша и мама.

– Смерть его не сломила, – сказал он, – ей пока очень далеко до этого.

Алешка рассказывал, что хотел бы прожить долгую насыщенную жизнь, прожить ее не зря, он говорил, что пишет стихи, потому что хочет оставить что-то после себя, но при этом сам не знает, чего хочет, и мечется от одной мысли к другой.

Алешка расстелил мне кровать, ту самую, на которой я спала когда-то в детстве. Запах у нее был все тот же. А может, мне просто показалось. Я легла, но никак не могла заснуть. Я слушала звуки старого дома, и мне становилось не по себе.

Алешка тоже не спал, он сидел на кухне, смотрел в окно и курил.

– Не спится?

Он вздрогнул, оглянулся.

– Ну, напугала... Да я здесь почти не сплю. Не могу заснуть, и все тут. Мысли всякие, воспоминания. Да и одному тут жутко. То половица скрипнет, то дверь хлопнет. Я человек не суеверный, но в этом доме умерли мой дед и мама. А до них, наверное, тоже кто-то умирал. Так что, знаешь, одному... Особенно, как представишь, что в деревне почти никого не осталось. Так и хочется бежать до станции и ждать первого же поезда, который увезет меня отсюда.

\*\*\*

Мы идем по тропинке между домов, в которых уже не живут люди. Несем с собой покрывало, вино, перелитое в пластмассовую бутылку, немного еды, в кармане у меня маленькие голубые таблеточки. Мы идем на речку, на которую раньше ходили купаться. Конец мая, купаться еще рано, но хочется немного поваляться на большом покрывале, посмотреть в голубое небо и увидеть там облака причудливых форм, из которых можно складывать кого угодно. Даже какого-нибудь своего знакомого.

Дома кончаются, и я уже вижу его и кричу, радостно, дергая Алешку за рукав:

– Это поле? Наше с вами поле? То самое? Я и забыла про него!

– Ага. То самое знаменитое поле, которые мы с тобой чуть не спалили. Оно совсем заросло травой. Теперь ведь там не косят, вообще за ним никак не ухаживают. Правда, летом красиво: вылезают дикие полевые цветы. Красотища... Но все равно не то что, когда мы были маленькие. А мы ведь тогда такие смешные были, глупые. Помнишь, как я стащил у деда Саши сигарету? Фу-у-у. До чего же она была вонючая! И мы курили ее, втроем.

– Помню, конечно. Это ж надо.

– Ой, а ты ведь и не знаешь. Я тебе не рассказывал. После того, как ты уехала, мы с Сергеем еще раз попробовали проделать подобное, но мама нас застукала. Не представляешь, какой был скандал! Я думал она нас, сыновей родных, приберет кухонным полотенцем! А ведь больно было. Она так им хлестала...

– Легко могу себе это представить. Мама у тебя была всегда такая строгая и на язык острая. Я ее немного боялась, думала, сейчас как скажет что-нибудь такое про меня.

Я вдыхаю теплый воздух и вспоминаю то лето, и понимаю вдруг, каким оно было счастливым. Алешка протягивает мне сигареты, и мы оба тихонько хихикаем, вспоминая, конечно, нашу ту, самую первую сигарету, которую мы стащили у деда Саши, и которую курили в том самом шалаше на этом вот поле, которое мы чуть было не спалили. Мы тогда передавали ее друг другу, морщась от горького запаха, кашляя и совсем не понимая, что такого вкусного в этом находят взрослые.

– Ты много времени проводила с дедом Сашей. Как сейчас помню тебя на нашей веранде. У тебя был красивый голубой сарафан в белый цветочек.

– Правда? А я и не помню этого сарафана. А деда Сашу вот хорошо помню, как сейчас.

– Я немного завидовал тебе. Мне казалось, что вы говорите о чем-то таком важном, серьезном, что нам с Сергеем знать не полагается. О чем вы говорили? Мне до сих пор это интересно. Мы же с ним никогда особо не были близки. Характерами не сошлись, наверное. Кажется, Сергею он больше любил. А меня за мое раздолбайство ругал все время. Так ты помнишь? Неужели он, в самом деле, рассказывал тебе что-то такое интересное, против чего ты не могла устоять?

Я беру в рот травинку, так же, как тогда, жую ее, чувствую горьковатый привкус во рту, но не выплевываю.

– Он просто рассказывал. Я не помню, что, но что-то такое интересное. Знаю только, что никто из взрослых ни тогда, ни потом, ни даже сейчас так со мной не говорил.

Алешка ничего не отвечает.

Мы лежим с Алешкой на покрывале, расстеленном на траве возле реки. Я рассказываю ему, как попала туда первый раз. И спрашиваю его:

– А что видишь ты?

Алешка долго молчит:

– Я не вижу этого города, – говорит он, – хотел бы, но не вижу. Я вижу другое место.

– Хорошо тебе в этом месте?

– Конечно, хорошо. В этом месте мне лучше всего.

– Оно... как настоящее... ведь, правда?

– Нет. Нет. Оно... *настоящее*...

Мы молчим. Я понимаю, что он хочет сказать. Понимаю, но не хочу ничего говорить, потому что знаю, что мой город – он тоже настоящий.

– Ты знаешь, – говорю я ему вдруг, – эти таблетки ведь еще даже не изобрели, ты знаешь, что они не наркотик и совсем не вредны для здоровья. Просто они делают людей счастливыми... а где мы счастливы обычно? Там, где нам нет... вот мы и есть там, где нас нет.

Мы жуем маленькие таблеточки. Они безвкусные, маленькие, но жуются хорошо. Мы улыбаемся друг другу.

– Как бы я хотел побывать там, – говорит мне Алешка, – посмотреть, как ты там живешь...

– Так заезжай, – смеюсь я, – сходим погулять...

## II.

Тени на стене играют в прятки. Теней несколько, точно не могу сказать сколько – три или четыре. Они смешиваются друг с другом, образуя абсурдные фигуры, значения которых невозможно разобрать даже при желании, да они и не имеют, наверное, никакого значения. Одна тень – это старик (я не различаю этого, я просто знаю), другая – маленькая девочка, еще одна – молодой мужчина, а кто остальные – я не знаю.

Это место, оно должно где-то существовать. Оно не может мне сниться просто так. Оно настоящее.

– А откуда ты знаешь, что там так, как ты думаешь? – спросил меня голос.

– Должно быть только так и никак иначе.

– Почему там все закачивается хорошо?

– Может, это рай?

– А если нет? Если оно только кажется раем?

Голос кого-то отчаянно напоминал мне, и я не понимала совсем, как он оказался в моей комнате, почему сидит здесь рядом со мной.

– Как тебя зовут? – спросила я.

– Ты знаешь, – кажется, он улыбнулся.

– Что ты здесь делаешь?

– Сажу с тобой. Ты заболела.

– Но почему ты?

– Кроме меня, этого некому больше сделать.

– Я умираю?

– Нет, что ты, совсем нет. Ты просто немного больна. Это все твоя фантазия. Девочка двух городов. Его не существует, того города, где закат смешивается с рассветом, а облака – розовые... и не было никогда.

– Я, наверное, всегда это знала.

– Возвращайся домой. Тебя тут ждут.

– Ждут? Меня никто не ждет.

– Тебя ждут многие. Так что уезжай оттуда пока не поздно.

– Я так не хочу умирать...

– Так не делай этого! Возвращайся...

– А если я вдруг...

– Нет... Тишиии!!!



\*\*\*

«Привет, золотая рыбка! Ты сейчас удивляешься, почему я так тебя называю? Не знаю, почему-то захотелось. Даже если тебе это не нравится, вряд ли я об этом когда-нибудь узнаю, поэтому будешь ты у меня золотой рыбкой, и все тут.

Возможно, тебе будет неприятно читать это письмо, потому что оно от меня, но я прошу дочитать его, а потом уже смять и выкинуть. Я знаю, что ты меня ненавидишь. Все меня ненавидят. И, наверное, даже знаю, за что. Ты ведь догадываешься о моем недостатке, об этом моем уродстве. Я родился на свет инвалидом, человеком, который не может жить нормальной жизнью. Все потому, что во мне нет жалости. Я даже не могу понять, что это такое. В теории я, конечно, знаю, но на практике это чувство мне не знакомо. Я не испытываю ее ни к кому: ни к себе, ни к другим людям. Мне этого просто не дано НИ-КОГ-ДА. Знаешь, что это такое – не иметь жалости? Я расскажу тебе. В детстве я ловил бродячих собак и поджигал их, потому что мне нравилось смотреть, как они горят, нравилось смотреть, как они мучаются, и я все ждал, что во мне проснется какое-то чувство, о котором я знал из книг, но его, этого чувства, все не было. Я бы запросто мог бы убить человека, просто так, ради интереса, но не делаю этого только потому, что не хочу сидеть в тюрьме.

Тебе не понять, что это значит, не иметь жалости, тебе не понять, как без нее сложно. Уж ты-то прекрасно знаешь, что это такое. Она в тебе есть, я почувствовал это сразу. Я питался ей, пытаюсь постичь. И постигал, умом, но не сердцем. Ты помнишь, наверное, сколько ее ты отдала мне в последний день. И я, правда, тебе за это очень благодарен, золотая рыбка.

Даже мои родители... они никогда не понимали. Я, впрочем, за это на них не в обиде. Я думаю, они просто такие же больные, как и я. Я не рассказывал тебе, но они никогда обо мне не заботились. Они дают мне средства и возможность позаботиться о себе самому. Но от этого так устаешь...

Ты, наверное, уже догадалась, что все, что я тебе говорил, было враньем. Я рассказывал тебе небывицы, только бы чуть-чуть посмотреть на нее, на твою жалость.

Ну, нет ее во мне! Нет, и не будет! И поэтому мне так нужна была хоть чья-то.

Но теперь, я хочу отпустить тебя. Я хочу, чтобы стала жить нормальной жизнью и перестала принимать эти чертовы таблетки, которые еще даже и не изобрели. Оставь свой выдуманный город и возвращайся в реальную жизнь. Ты, наверное, даже и не заметила, как изменилась в последнее время. Давно ты смотрела на себя в зеркало так, чтобы увидеть там себя, если нет, то встань и внимательно посмотри. Ты похудела, стала страшно бледная, как будто вообще не бываешь на улице (выгляды в окно – ведь сейчас лето!), у тебя все время красные глаза, как будто ты не спишь. Посмотри повнимательнее, и ты увидишь все это. Бегство в чужую реальность – это не способ уйти из этого долбаного мира. Боюсь только, когда ты это поймешь, станет уже поздно.

А я не хочу, чтобы ты умирала, поэтому вали-ка ты оттуда, да как можно скорей. Нечего там делать. Я не верю, что тебе некуда вернуться. Не умирай раньше времени. Может быть, в реальности тоже когда-нибудь все закончится хорошо. Я не верю в это, конечно. Но – ты ведь исключение. Ты – золотая рыбка, просто пока еще не знаешь об этом.

Наверное, мы с тобой больше не увидимся. Оно и к лучшему. Я уезжаю из города надолго. Надеюсь, что навсегда. Буду жить в деревне. В одной полузаброшенной деревеньке я купил себе дом. Такому, как я, надо жить отдельно от общества. У меня не будет ни телевизора, ни радио, ни газет. Весь день я буду только и делать, что читать хорошие книги. Какого-нибудь Жюль Верна и Мопассана. Я понял недавно, что за свою жизнь я прочитал так мало книг – вот и буду наверстывать упущенное. У меня будет много времени. Может быть, заведу себе собаку. Не переживай, жечь я ее не собираюсь. Может быть, когда-нибудь я позову тебя в гости. Мы будем пить чай на крыльце и разговаривать как нормальные люди. Я не буду больше жаловаться, а ты не будешь меня жалеть. И все будет по-другому.

Это все, что я хотел тебе сказать. Живи настоящим, даже если оно тебе не очень-то нравится. Когда-нибудь все изменится. Это я тебя обещаю. А я никогда не даю обещаний, если не знаю точно, что они исполнятся.

Прощай, золотая рыбка!  
Константин».

## 12.

...Дом находился во дворах, но я легко нашла его. Тихий спокойный дворик: играют дети, светит солнце. Почему-то мне кажется, что в таких дворах солнце всегда светит ярче. Пятиэтажный дом, который я искала – вот он, и квартира, которая мне нужна, – где-то наверху, на самом, пятом этаже. Обшарпанная дверь, рядом – почему-то коробка с наклеенными в ней тряпками, внутри: кошка с маленьким черными комочками – котятами, прекрасными созданиями, с рождения обреченными жить в этом подъезде: то в такой вот коробке, то в подвале, и побираться остатками еды. Если в доме найдется еще хоть кто-нибудь, кроме того человека, который вынес им коробку.

Дверь мне открыла женщина. Лет тридцати, приятная внешне, с крашеными светлыми волосами.

– Николай \*\*\* здесь живет? – больше всего я боялась, что услышу слово «нет», тогда письмо так и останется не доставленным.

– Да. Он вам нужен? Что-то случилось?

– Нет-нет. У меня для него письмо.

– Письмо? Папе?

– Да. Так он дома?

– Секунду.

Действительно, через секунду она вернулась обратно.

– Он там, внизу. Сидит на лавочке. Вы не пройдете мимо... Он похож на... он выглядит... в общем, он там сидит, один. Вы не спутаете.

Я вышла на улицу. Опять это солнце, которое почему-то светит в таких двориках очень ярко, ударило светом мне в лицо.

Николай сидел на лавочке. Он сидел, сгорбившись, и внимательно смотрел на детскую площадку: дети с криками носились по ней, кажется, во что-то играли, из кармана его потрепанной куртки торчало горлышко какой-то бутылки.

«Неужели это тот самый человек, о котором говорится в письме? Как такое может быть? Ну да, прошло много лет, но все равно, кажется, что все не должно быть так, как есть. Зачем эти разбитые жизни? А может, так и лучше, – подумала я, решив, что совсем не мне решать что-то там про чужие жизни, когда и со своей-то справиться не в состоянии.

– Николай? – спросила я.

Он нехотя оторвал взгляд от детской площадки, посмотрел на меня, кивнул.

– У меня для вас письмо.

– Письмо? Для меня? Это точно? Мне никто не пишет писем...

– Думаю, что точно, – я протянула ему конверт. Он прочитал первую строчку, – мне показалось, да, скорее всего мне просто показалось, что в его глазах появились слезы.

– А вы кто? – спросил он меня, оторвавшись от письма.

– Я? Я... просто почтальон...

Он смотрел на меня какое-то время... повторил один раз «просто почтальон», снова посмотрел на детскую площадку и уткнулся взглядом в письмо. Но теперь я точно видела слезы. Я не стала ему мешать...

\*\*\*

Мужчина тридцати двух лет – на самом деле он выглядел куда моложе, поэтому можно было бы даже назвать его молодым человеком, – в черных широких брюках-шароварах и черном мешковатом свитере гулял по центру города. Он любил иногда просто так прогуляться. Любил центр и вывески магазинов, пусть на его родине они и выглядели не так завораживающе и интригующе, как в Париже, но он все равно любил их

Он непрестанно вертел головой по сторонам. Странно было, что человеку, прожившему в этом городе – да что в городе! на свете! – столько лет, по-прежнему все интересно. Он засмотрелся, и

уйти от столкновения не удалось. Из чьего-то пакета вывалились какие-то тетради и книги, по моему, он успел рассмотреть учебник по географии. Женщина, лет тридцати, одетая не то чтобы нарядно и красиво, но опрятно, смотрела на него укоризненно.

– Что ж вы не смотрите, куда идете, молодой человек?

Ульян смутился. Он хотел было что-то сказать, но не знал, что. Глаза женщины вдруг что-то ему напомнили. Он где-то уже видел такие. Без слов он помог поднять ей книги и пошел прочь, все думаю об этих глазах. Женщина еще долго смотрела ему вслед: нет, не потому, что он был одет во все черное и выделялся из толпы, и не потому, что он был похож на иностранца, просто ей показалось, что она увидела, только что увидела собственное отражение, но не то, которое она видела в зеркале этим утром, когда причесывалась, а то, которое видела несколько лет назад, – молодая, красивая, смеющаяся...

Они оба были очень похожи на своего отца.

## Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

\* \* \*

Работай, нескончаемый завод  
во сне! – и, весь разболтан спозаранку,  
сухим я выйду из летейских вод,  
встряхнусь и превращусь в твою болванку.

Давай же, обрабатывай, шлифуй,  
верши своё задание скорее!  
Трубы твоей зовёт сакральный вой  
к сплоченью грёз, как в Северной Корее.

Зажатые в вербальные тиски,  
пускай они вращаются, покуда  
не отделятся от тупой тоски –  
протяжного назойливого гуда!

Меня ты взашей – благо что тонка, –  
не заведись я с полуоборота  
морально устаревшего станка,  
турнул бы как морального урода.

Кого версификационный цех  
довёл до слова крепкого измаяв,  
тому понятно и плевать на всех,  
кто гильдию позорит разгильдяев.

Ты на уши не вешаешь лапшу,  
за что и благодарен – так, что даже,  
когда-нибудь заткнувшись, напишу  
автопортрет в промышленном пейзаже.

2006

\* \* \*

То ли чайник закипает на кухне,  
то ли вьюга за окном гудит,  
завывает – эх, *дубинушка, ухнем!* –  
отзываясь тихим всхлипом в груди.

---

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД родился в 1950 году. Живет в С.-Петербурге. Публиковался в журналах «Волга», «Зинзивер», «Дети Ра», «Слово/Word», «Арион», «Звезда», «Крещатик», «Нева», «Обводный канал», «Часы», альманахе «Гумилевские чтения», антологиях художника Валентина Левитина «В Петербурге мы сойдемся снова...» и «Петербургская поэтическая формация». Автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда» (СПб., 2000).

Оглушённая ударными с медью  
(подкатил мусоровоз к ушам),  
в яму ухнула спросонок душа:  
пробудиться предпочла своей смертью.

2008

**1905**

Не вы ли, жрецы кириллицы, забыли азы? Уста ли  
Невы, божественной карлицы, вотще лепетать устали?

Пустеет алтарь. Оракул к литаниям вашим глух.  
Вестей о былом и будущем не различает слух.

Годами ждут эти волны, принявшие образ Леты,  
когда войдут в резонанс мостов разомкнуть браслеты.

Из топей чухонских скоро ли их демоны вырвутся, чтоб  
из топота конских копыт зачались трус и потоп?

Ночами белыми сводится любой негатив к позитиву,  
началом прошлого века запруживая перспективу.

Не Зевс ли вами прогневан? Менады валом грозят  
на Невский хлынуть, и вот уже Смольный, как Зимний, взят.

И вот, полыхнув кануном, в лучах двух зорь багровея,  
из вод, повернувших вспять, всплыла голова Орфея.

2009

\* \* \*

Пускай паук меня поучит  
чему-нибудь и как-нибудь,  
чтоб в этих зарослях дремучих  
среди цитат сухих, трескучих  
летучим замыслом блеснуть.

А смыслы чтоб в стеклянной банке  
друг друга поедали и  
ассоциации свои  
тянули к деревянной баньке.

Пускай, в парах парящий, спит  
он со своею паучихой,  
ее размякшей плотью сыт!  
Пусть, осеняя тайный стыд

моих амбиций, тихо-тихо  
лавровый веник шелестит!

2003

\* \* \*

Пушкин – русский человек  
через двести лет.  
Уж не нам ли, так сказав,  
Гоголь подал знак?

Через четверть века срок  
тем словам придёт –  
и коснётся вещей струн  
дедушка абсурд.

Развиваются в тиши  
чудные черты.  
Чью качает колыбель  
ласковый хорей?

Уж не Пушкин ли опять?  
Русская душа  
в мерзопакости какой  
воссияет вновь?

Гоголь отверзает клюв:  
баюшки-баю, –  
падает из-за кулис  
и пластом лежит.

2007

### **Без всяких затей**

Два Димы, Билан и Медведев,  
царь-Путин и Ксюша Собчак,  
очаг тёмных сил обезвредив,  
хранят наш домашний очаг.

А также ещё два Андрея,  
Аршавин и дьякон-отец,  
спешат к нам, надеждами грея,  
по первому зову сердец.

Быть может, ещё Жириновский,  
Задорнов, быть может, ещё...  
Прикроют и эти обноски  
бурлацкого тела плечо.

Вполне соразмерны уютным  
углам тесноватых квартир –  
как лары, они предстают нам  
и тихо журчат, как сортир.

2010

*Евгения ИЗВАРИНА*

\* \* \*

Пятипалая боль под перчаткою нитяной,  
однократное эхо, объятье через порог:  
иногда идущие между тьмой и тьмой  
спрашивают: «Мой Бог, –  
что такое Твои леса?» – Им показывают сады,  
где собой невозможно быть, а другим не стать,  
хотя письмо и подхвачено из воды  
рукой, не умеющей писать,  
никогда не знавшей перчаток. Наперечёт –  
берегов, ещё не упрятаных под гранит.  
А казалось – чего уж проще: ручей течёт –  
и ладонь на ветру горит...

\* \* \*

Быстрого блеска прожилки,  
острые копыя,  
только что были – снежинки,  
вот уже – хлопья,  
вот уже – комья и космы  
пышной кудели... –

этих волнистых полос мы  
выше глядели,  
этой лавины всё гуще  
мы были старше:  
врозь –  
под стрелой стерегущей,  
ждать переставшей...

\* \* \*

Когда судьба – в руках ничьих,  
бессонницей озарена лишь, –  
и веруешь, как ученик,  
и как школяр, подозреваешь:

---

*Евгения Изварина родилась в г. Озерске Челябинской области. В 1989 году окончила библиотечный факультет Челябинского государственного института культуры. Живет в Екатеринбурге. Редактор отдела газеты Уральского отделения РАН «Наука Урала». Автор пяти книг стихов, нескольких публикаций в уральских и московских коллективных сборниках, журналах и газетах. Член Союза писателей России.*



неужто правильный ответ  
тебе диктует по тетрадке  
то ускользящий, то нет,  
снежок на войлочной подкладке? –  
слежавшийся,  
полуседой...

И просят ближе наклониться  
струящиеся под водой  
неустановленные лица...

\* \* \*

Озирая *неугодя*,  
курит, слов не находя,  
Русский Ангел Половодья –  
к стенке тихого дождя  
прислонивший стул без спинки,  
далеко не молодой –  
коли все его тропинки  
крыты мёртвою водой...

\* \* \*

дверь в земле прорезная страна связанная  
церковь чуть в стороне и никто не знает  
цирковая церковь разъёмный купол  
городская легенда что бес попутал  
что не мы а они босиком в подсобках  
все свои словно крысы в иконостасе  
пили как одержимые на раскопках  
жили как нежеланные но в запасе  
дверь в земле сторожили ничком лежали  
не они значит мы  
изменяясь в лицах  
словно ситцевый купол держа ножами  
долго ли простоим на чужих границах

\* \* \*

Меж будущим и настоящим  
на время вычеркнув пробел,  
лазурным пёрышком шипящим  
огонь к спиртовке прикипел:

ты говоришь, что нет чудовищ,  
что смерть всех домыслов бедней –  
но ни одной не остановишь  
двуглавой ласточки над ней...

Павел ЖАГУН

## Carte blanche

80.1

они говорят когда затихает ветер руины  
гривастых снов обрамлѐнные криками  
римлян семь восходящих потоков  
вращают стаю разбросанных кем-то

секунд на полу в прихожей  
звероподобной машиной приходит  
«завтра» слоняясь вдоль озера прячет в  
рукав рыболовные сети похожие на

умножение дней как две капли воды на  
бенгальские свечи в глазах одиноких  
прохожих что ищут бесцельно юлу ту  
что в прошлом столетии кто-то забыл

под кроватью стреляя черешневой  
косточкой в сердце луны когда свет  
обступает стеной воскового младенца в  
забытой богом холодной овчарне

83.1

вместо стихов одноцветная ветка  
мороза кончается голос – остатки на  
дне разбросали письма на ладан  
дышать покоряясь воде диалектика  
поступь

прогорклой осени чем бы тебя  
отпраздновать?

выстраданный гербарий вернуть  
ненадолго к жизни какой мелодичный  
киев печаль моя ветла паразителен  
маленький клаптик неба среди  
громоздящихся серых слонов

---

Павел Жагун родился в 1954 году, живет в Москве. Саунд-артист, художник, участник электро-авангардного проекта F.R.U.I.T.S., куратор арт-галереи. Публиковался в журналах в журналах: «Изык», «Воздух», «Другой Берег», «Новая Камера Хранения», «Урал». Автор книг стихотворений «Радиолярии» (М: Водолей Publishers, 2007), «IN4» (СПб: Пушкинский фонд, 2008), «Алая буква скорости» (СПб: Пушкинский фонд, 2009), текста-трансформера «Пыль Калиостро» (М: Арго-Риск, Книжное Обозрение, 2009). Шорт-лист премии Андрея Белого (2009).

контрапунктом проходит старость  
оставляя тебя на обочине сердца  
вдыхая  
твой ритм никому ненужный кроме  
битых трамваев проросших травой

распадаться на мелкие крошки стекла  
фонарями истории вымученных  
существ челобитная музыка трепет  
рани достигнуть крыши пустого дома  
*дамы играли жизнью*

90.1

в летнем пейзаже есть скрытая дверь за  
которой ступени вверх фиолетово-серо-  
зелёный скворец крошки бисквита на  
детской ладони – гарантия радужной  
песни

[в окне полумесяц цыплячья мимоза в  
банке с водой ореховый стол два стула]

ты хочешь узнать своё прежнее имя?  
возьми коробок из-под спичек – в нём –  
жук отлитый из тёмной бронзы  
лиловый жужжащий жёлудь на брюшке

– первая буква хотя возможно так звали  
отца что однажды ушёл не прощаясь а  
ты просидел у калитки всю ночь грыз  
незрелое кислое яблоко больше  
никогда в жизни ты не ел таких  
*солёных* яблок

96.1

реставратор гробниц и ваятель вех ты  
находишь себя за пределами искусства  
экспонат недеяния – высказывание  
движется минимум в двух  
направлениях

энтомология литер циркуляция цифр  
(вращаясь монетой на довоенном  
столе) противоречия нас сближают на  
рынке планет где облаку негде упасть

семицветные травы грезят сердцами  
бахрома и бархат в руках борца за  
неясность пустого

[отсутствие точки опоры]

во главе полусна автономные дети –  
можно ли все вопросы свести к  
одному? вертикальные складки  
желаний стремление внутрь лабиринта  
в поисках смысла?

опоссумы смуты я выучил ваши  
стремления вечный экзамен в  
наследство <...> наш мир закатился под  
старый диван – о нём думают помнят  
имеют ввиду

гоо.г  
покинуть горящий квадрат  
зафрактованных слов обнимать  
исковерканной речью глухие тетери  
своих пустырей невозможная память

крылами сбивает окрепших сынов  
голословие прячется за заголовками  
синих газет принуждая держаться  
поближе к воде  
накрывать

прорисованный профиль незримой  
накидкой из тонкой лиловой шерсти  
несмелых животных раскован и брит  
норвежский солдат новомодная маска<sup>1</sup>

уже наготове посмейся над нами  
тяжёлый орех какие слова мы должны  
вам – другие народы?

степной человек доедает траву  
истончая запасы своих колыбельных  
тело горит – посмотри знаменосец  
влияние сумерек на подсознание Фрейд  
исковеркал всё то

что тебе рассказала гадалка в тяжёлые  
дни восхищение крик баррикады и  
пленные птицы в твоём дневнике не  
найдут покоя

---

<sup>1</sup> Тембр певца, во многом, зависит  
от его резонаторов. От чего зависит его  
походка?

Сергей СОЛОВЬЕВ

## Индийские мотивы

## I.

Он все так же сидел на пороге своей лачуги на краю леса и глядел в амбарный сквозной проем с ветошным перекрытьем. Семьдесят лет глаза в глаза. Он на нее – на пороге сидя, она на него – раскачиваясь в проеме. С детства, с тех первых шагов, о которых только она помнила, не он. Когда ей было несколько месяцев, да и ему не больше. Глазели, тянулись друг к другу в испуганном изумленьи. Его потом уносили в хижину, а она все стояла, покачиваясь, глядя в дверной проем, трогая перед собой воздух, темнеющий и совсем уже черный. У него – полон дом родни, на сыром полу спят в обнимку. У нее – две стены по бокам, ни матери, ни отца. Так росли, в лес ходили, к реке, он купал ее, ей это нравилось так, что ноги подкашивались, и ее уносил поток, а он ждал, сидя на камне, вглядываясь из-под руки. Она выбредала из бурунов, в пене, счастливая, молодая, и валилась в траву у ног, и трогала, и обвивала его хоботом, он смеялся и вскрикивал, высвобождаясь. А потом он женился, двух сыновей родил, но по-прежнему с нею не разлучался. Как и она с ним. И у нее был муж, из лесу к ней ходил, по ночам. Долго ходил, а потом вдруг его не стало. И где-то в тот же год и Мохаммед-хан овдовел, умерла жена. А чуть раньше и мать с отцом.

На пороге сидит, в проем смотрит. То есть делает вид, а сам дремлет. Она покачивается в проеме и кидает ветки ему под ноги и отводит голову, будто это и она, а глаза лучатся, веселые, все в морщинах, далеко уж не молодых. Сыновья выросли, родили внуков. Та же хижина, тот же пол, где спят всей семьей в обнимку. Спят, а он сидит на пороге, смотрит, и она на него из проема, из теплой тьмы. И как-то исподволь год от года эта солнечная рутина дней кроилась, шилась, перелицовывалась, пока не срослась на них в одну на двоих жизнь, одну память. Там и жили они, в этой маленькой вечности, где воздуха было лишь на двоих.

Идем по тропе к его хижине, он нас не видит еще, сидит на пороге, смотрит в проем, чуть раскачиваясь. Та же выцветшая рубашка, той же хной не докрашенная борода, тот же пух рыжеватого-белесый, прикрывающий лысину, – всё как в прошлом году, только глаз не видно за очками черными. И вот что странно – как я раньше не замечал – уши, такие большие, почти как ладошки, прижатые к голове. Может, это очки, маленькие, без оправы, так их подчеркивают? Сидит и смотрит в этот проем, где она жила. Простая оплошность могучей, но пожилой жизни – и нет ее. Арундати. Великая слониха Арундати.

Видит нас, машет рукой, подошли, обнялись, сели. Да, мы знаем. Покачивает головой, надевает очки. Чай пьем, сын вынес. В проем смотрим. Молока нет. Работы нет. Машины нет, продали. Пенсия в будущем году, пятьдесят долларов. На девять человек. Поедут домой, в горы, за Дерадун, там родился. Зовет в гости. Не говорит, а так – вскипает каким-то горячим щербнем, англо-хинди-гортанно-птичьим, и на полдороге стихает, а речь еще длится, кружась, как листья с дерева, под которым сидит, отмахиваясь от нее, от сказанного, движения затихают, спит, кажется. И вдруг вскипает в радостном возбуждении, и тут ты совсем уж теряешь нить.

---

*Сергей СОЛОВЬЕВ родился в 1959 году в Киеве, окончил филологический факультет Черновицкого университета, учился живописи в киевской Академии Художеств. Автор книг «Пир», «Книга», «Дитя», романа «Аморт», «Крымский диван», «Фрагменты близости», «Индийская защита», «В стороне» и др. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Урал» и др. Автор ряда проектов: театра «Нольдистанция», негизы «Ковчег», дискуссионного клуба «Речевые ландшафты», литературного альманаха «Фигуры речи», творческого центра в предгорье Гималаев «Мастер». Живет в Мюнхене.*

Так прежде было. Теперь все то же, но как в замедленной съемке и далеко отсюда, не здесь, не с ним. Детки голые черноглазые, все в соплях, карабкаются по ногам, лезут на руки, у тебя двое, у нас с ним по одному. Цепь якорная в проеме, лежит на земле, кольцо выдернуто из стены, рытвина там.

Странно, ее давно уже не привязывали. А когда ногу сломала, тем более. Множественные переломы, осколочные. Врачи говорили – нет шансов, лучше бы усыпить. Защитники природы грудью легли поперек. Шум в прессе. Пока те и другие боролись за свои правды, она мучительно угасала, в медленной тлеющей агонии, глядя в их спины. До семидесяти живут, пишут энциклопедии. Когда в прошлом году сказал это Мохаммед-хану, он долго смеялся и вдруг уснул, смеясь.

– А ты кто? – спрашивает, очнувшись. Долго выясняем смысл вопроса, на песке рисуем. Оказалось, о вере спрашивает.

– Художник, – говорю.

– Не-не-не, – головой мотает, – христианин?

– Ну, всего понемногу.

– Индус? – косится недоверчиво. – Вот индус, – показывает, садясь на землю, как в лужу, и разведя руки. Голова опущена, глаза прикрыты. Очень смешно. – А вот христианин, – вскакивает, – и мусульманин, – совсем орел. Смеется, опускается на порог. Маленький такой театр, привозной, безобидный, приехал-уехал. Уронил голову, спит. И вдруг глаз вспыхивает, поворачивается ко мне:

– Кишмиш, – с ударением на первом, – Кишмиш, да?

– Да, – киваю, – хороший виноград, сладкий, без косточки.

А ты, еле сдерживая смех, локтем меня под бок: Крисмас он говорит, Рождество.

– Да, – улыбаюсь, – без косточки, через неделю.

Журнал показываю, вез в подарок ему. Там, на снимке, она плывет по небу, а на ней – я, голова запрокинута, руки взметены ввысь, счастье! И глаза у нее молодые, лучатся, и руина рта, теплая, приоткрыта в улыбке – такой, каких нет уже на земле.

Смотрит, пальцем по ней водит, желтым ногтем, сухим, ломким. Арундати, – кивает, – Арундати, хатхи...

Смотрю: нет ее там, под пальцем, яма воздуха, темная, нежилая. Нет ее подо мной, а я вишу в небе, голова запрокинута, руки взметены, тьма под ногами, ни упасть, ни взмыть, будто вмят в эту синь. Листает, кивает. Мы пойдем прогуляемся, – говорю.

Да, вот здесь мы нашли ее. Год назад, в эти дни, стояла, почти незаметна в зелени, снизывала листву с дерева. Здесь, над обрывом к реке, за ней город. Повернула голову, смотрит на нас, узнала. Подошел, щекой прижался, шепчу, глажу, а она хоботом водит по мне, слушает. Подняла с земли ветку, в угол рта положила, как травинку, и в лицо глядит, чуть кивая, мол, тише, сынок, я знаю... Глаз чуть в сторону косит – туда, где ты, водит хоботом над твоей головой и возвращает его себе под ноги, колечки вяжет, как узелки на память, вяжет и расплетает.

Помнишь, такое чувство, вдруг – будто бог незримый подошел сзади и прикрыл глаза нам, и тихо так взял за руку и повел над землей, а когда открыли глаза, вот, говорит, дом мой. И все в этом доме было, как только что – ты, я, лес над обрывом, Арундати. И так, и не так. Нестерпимо. Что? Счастье? Родство? Да, выше сил ее близость была, близость жизни. Дом, улыбнулся он, милый дом... И все поплыло в глазах и исчезло, очнулись: она стояла, снизывая листву, солнце уже зашло.

Где ж она оступилась? Здесь, на этой тропе к реке, которую знала с детства? Да, крутая тропа, заросшая, рытвины, валуны, а в сезон дождей, похоже, и вовсе непроходима. Но они ведь спускались тут все эти семьдесят лет, ровно в два пополудни, к реке, а потом к четырем возвращались.

Оступилась. Я помню эту тропу. Это было лет пять назад. Вниз спускались, она кренилась то на один бок, то на другой, как барка в тяжелый шторм, и голову запрокидывала, садясь на круп, и я, прижавшись к ней, обняв за шею, едва держался, соскальзывая, а Мохаммед-хан шел впереди, будто по дну водолаз, далеко под нею, рубил палашом ветки. Река текла, мутная, грязевая...

Если здесь оступилась, то как добралась домой? На коленях? Или ее канатами волочили? Ведь она совсем молодой была. Ну потому что это как небо, земля, свет над миром. С ними ведь не случилось. Они ведь одно, неделимое. Да, старше всего на свете, но и моложе всего, что теперь осталось.

Помнишь, на твой день рожденья мы привезли целый кузов еды – ей. Так решили его отпраздновать, твой день. Кузов хлебов, капуст, моркови, сладостей, бананов. Мохаммед-хан застелил двор ковром, и она брала с ковра, не торопясь, обнюхивая, разглядывая дары. А потом ты обняла ее за хобот, и она перенесла тебя через голову, и усадила себе на спину, ты распласталась там, и не могла сдерживать слез, всхлипывая, с улыбкою до ушей.

А потом, на земле, старшая его внучка, Сарасвати, заплетала цветы тебе в волосы и тихо так подцеловывала украдкой, а Мохаммед-хан подарил часики, эти, которые на руке, с браслетом из плавущих дельфинов, а дети вышли из леса с большим букетом павлиньих перьев. И ты сидела, растерянная и счастливая, прижимая к груди эту глазастую переливчатую охапку, и задувала свечи на маленьком торте, который они испекли, а она смотрела на нас из проема, раскачиваясь и кивая, в таком же, как ты, избытке чувств. Часики... Они ведь ездили в город за ними, долго там выбирали, чтоб вот такие были, единственные, твои. На деньги, которых нет, чтоб леденец купить детям. Кто эти люди? И кто им мы?

Вернулись. Сидит, смотрит в пустой проем. Очки, уши. Руки опущены, висят как чужие. Сели рядом. Вздрогнул, убрал очки. Уже смеется, бурлит, размахивает руками. Это как птица – полочется по траве, от гнезда уводит. Нет, не от нас защита. От себя. От себя с нами.

Идем. Это рядом, вон за теми деревьями. Он чуть впереди, мы за ним, молча. Вот. Каменный круг, залитый цементом, метров десять в диаметре, как мандала с ободом – от земли до груди. А в центре нее отверстие, там посажен баньян. Лет через десять взойдет, ветвясь из нее – к небу. Вот, любушка, рай. А в раю могила. В самом сердце его – могила. Смерклось уже. За руку держишь меня, молчим.

Господи, думаю, если Ты есть, дай ей дом, там. Что Тебе стоит, там, – этот обрыв, немного леса и свет над ним. Ты же можешь. Там. Чтобы было к кому прийти, сесть, как к огню, к теплу ее, там. Как Ты здесь приходил к ней, и она была тебе кров и мир. Так и Ты, дай – ей. Пусть виденьем, вдали, камень дай у реки, а на нем старика, дай им видеть друг друга, хоть раз на дню. Это ж правда не бог весть какое чудо, да? Дай им, Господи. И потом, когда время придет, дай и нам – быть поближе к ней, там... Там, там-тарам...

Что-то дурно мне, говоришь, сели на землю, у обочины. Что – живот? Не знаю, вдруг в глазах помутнело. Сейчас пройдет. Отвернулась. Больше всего на свете, говоришь, боюсь тошноты. С детства. И боюсь, и не умею. Кашлянула, вытерла у губы, обернулась ко мне, поблдневшая. Да, мы не знали тогда еще. Бублик, мальчик наш. Месяц до Какинады.

Мимо лавки идем. Может, домой позвонить хочешь, спрашиваю, Марусе? Да, киваешь. Телефон на дереве, у прилавка, к стволу прикручен. Ну что? Все хорошо, говоришь. Тебе привет. Сказала, что твердо решила потерять голову – с завтрашнего дня. Влюбилась? Ну да. Самое время, одиннадцать лет. Одиннадцать с лифчиком. На физкультуру уже ходить стесняется. И кто ж он? Сосед по парте, Дима Сторожик, ниже ее на две головы. А почему с завтрашнего? Сегодня, говорит, у нее еще несколько дел есть. Еще расскажи. Еще, сказала, видела вчера того местного сумасшедшего, который доцю ищет, он куда-то исчез, а теперь опять появился. Я ж его помню, когда и сама была школьницей, он все так же ходил по городку, от школы к школе, поджидая и вдруг наклоняясь над кем-то из нас: девочка, а ты правда моя доця? Она вскрикивала, а он пятился и ладонями закрывал лицо. Мы ужасно его боялись, врассыпную бежали. А те, что постарше, дразнили из-за угла. А потом он девался куда-то и опять возникал. Годы шли, девочка становилась матерью, вела свою дочку в школу, а он выглядывал из-за дерева, все тот же, нисколько не изменившись. Резиновый, надувной, метра два ростом, и красный берет до ушей надвинут, а под ним лицо – детское, нарисованное. А однажды мы его видели за городом, на диком пляже, зимой,

в январе, шел по воде, в ботинках, и волна заливала его, весь в пене, мокрый, а куртка на нем та же, что и всегда, желтая, длинная, по воде волочится. А ты подкрадываешься к Марусе, когда спросонок она, у зеркала, и в шею шепчешь: девочка, а ты правда моя доця? У нее и так глазлица во все лицо, а тут и вовсе – мельничные колеса.

Да, а вода небесная, голубая. И букву «с», как и я в детстве, не выговаривает. Отец мне тогда придумал для тренировок: «Сосиска свиная в кастрюле сидела, а цапля босая сосисочку съела». Может, она и вправду моя доця?

Мост перешли, вот и отель наш. «Маюр», павлин, значит. Двухэтажный, бокатый, похожий на пышную подушку в белой наволочке. Перед ним английский газон, отороченный ботанической роскошью, столики, чтоб обедать. А на заднем дворе – несколько глиняных хижин, уходящих гуськом. Они значатся как коттеджи. И у забора – качели, тургеневские, в цветущей беседке. А забор – колючая проволока, спутанная в три ряда. За ним джунгли: слоны, леопарды, тигры... Слонам, правда, этот забор – невелика преграда. У управляющего над столом висит фотография: таскер, одинокий самец с бивнями до земли, идет среди бела дня мимо гостиницы, повернул голову, смотрит на Калу, выбежавшего из ворот.

Трое их здесь – отец, мать и сын, и всех их Калу зовут, собака то есть. По ночам мы уже различаем по лаю, кто там во тьме – обезьяны, дикий кабан или леопард. Для леопарда собака – добыча легкая, лакомая. Так что забор в этом случае защищает собаку. Тигр непредсказуем. Спорно, ты говоришь. Непредсказуем леопард, а тигр – непостижим. Да, пожалуй.

Тигр, тигр! – выбегает навстречу нам управляющий, а за ним и весь персонал. Прошлогондня наша встреча с тигром стала здесь уже местным преданьем. Да, похоже, они нас любят. Раджасан в усика улыбается, тонкие, под итальянца. Легкий и точный. Как выстрел вверх. Тихий, с глушителем. И этот, как ты его назвала, «Второгонник жизни», с двадцатикратной диоптрией на носу, стоит в тени, смотрит на нас, совсем расчувствовался: что-то странное с руками делает, будто откуда-то третья взялась, и не знает, куда ее деть. И еще старик-кастелян, он всплывал со связкой ключей с первого этажа на второй, вздыхал, покашливал, отдувался, перебирая белье в кладовой за стеной нашей комнаты, и опять медленно погружался вниз, и так целыми днями. Человек десять их, многовато для маленького пустующего отеля, но все уже как семья родная. Разве только тот петушок молодой, декоративный, с юрким глазом, зигзагом ходит, клюет воздух перед собой, уж очень втереться хочет, понравиться. Ну так они и сами его не жалуют.

Нет, ужинать мы не будем, устали. Ну, может, порцию на двоих баклажанов в тесте и тебе стакан молока холодного, а мне чай, да? Там, в саду, за столиком под фонарем. Павлины кричат, в стороне реки. Что-то есть в этих криках отталкивающее и притягивающее одновременно. Вакханки, но в какой-то темной окраинной коммуналке, нет? А помнишь, у Набокова, в «Других берегах», кажется, там гувернантка, француженка, полненькая, уже в летах, едет в Россию, поезд, зима, ночь, выходит на полустанке, пурга, ни души, глядывается во тьму и кричит туда наугад – единственное слово, которое знает по-русски: где... где... где... Слышишь?

Калу подошел, отец, лег поодаль, положил голову на лапы, черная тяжелая дворянжья голова, и язык высунул. Как головня. А мать голая, цвета кожи. А у сына – низ от матери, верх от отца. Отель пустует, только на выходные здесь людно, индусы приезжают из Харидвара, отдохнуть от города, детей на слоне покатать, потом пикник на лужайке, а с понедельника опять тишь. А теперь и катать не на ком. Только джипы.

Иностранцы сюда почти не заглядывают. И еще реже остаются на ночь. Вот парадокс. Да, конечно, здесь Ришикеш рядом, йога, ашрамы, паломники, путь в Гималаи. За этим и едут. А заповедник, мало того что как белая ворона в этом краю, еще и засунут в рукав так, что о нем мало кто знает. Другое дело – Корбет. Туда везут, мимо Раджаджи, день трясясь по дорогам.

И кого ж это угораздило – один из самых известных заповедников Индии назвать именем серийного убийцы животных? Герой, мол, от людоедов спасал индусов и их стада. Знаем мы, открывали его книги, этого витязя в тигровой шкуре. Один крестьянин сказал другому, что слышал от третьего: в дальней деревне пропал теленок. Герой уже тут как тут, разносит голову тигру, в



упор, с полутора метров, а заодно и медведю, пасшемуся в малиннике. И несется к следующему – выследить и размозжить. А тот ли это тигр был, да и был ли – не его дело. Достаточно открыть на любой странице: приклад у щеки и мир сквозь прицел. Джим Корбет.

Не болит, спрашиваешь. Нет, говорю, совсем нет. Я так испугалась, думала, ребра тебе слома-ет, так всё вдруг... Да, еще и это. Мы увидели его уже у ворот, в полутьме, возвращаясь. Мало нам Арундати, так еще и это. И поставил он ангела у ворот с мечом огненным, обращающимся. Йогин. Я ведь помню его еще трехмесячного, купал его, а он выхватил шланг и давай и меня поливать, и себя, и совсем запутался в нем, и в траву повалился от счастья. А потом, год назад, когда нас увидел, издали еще, мы все вглядывались – он ли, а он бежал уже нам навстречу, ты хлебцами его кормила с ананасовым джемом, и он все норовил сунуть хобот в банку. А потом подхватил ее и поднял над собой, ты пыталась отнять, дотянуться, а он побежал, ты на нем – ноги свесились по одну его сторону, голова – по другую, как царевна украденная, а он бегал по кругу, смеялся и банку крутил над собой.

Йогин, маленький сирота, его нашли в джунглях, двухмесячного. Что там случилось, так и осталось неясным. Обычно они не бросают детей. Брошенка, какое слово щемящее. Брошенка. Все эти годы он рос рядом с Арундати, через стенку. А напротив сидел на пороге старик с большими ладонями и крашенной хной бородой. И все ладили. А потом его забрали у старика, передали в другие руки. Стоит во тьме, в цепях, отгороженный от людей, и неподалеку – этот хозяин его новый с лицом каменным, из того камня, о который ножи точат.

Йогин, Йогин! – Видно, он не узнал меня, да и кого узнать мог, сам уже едва узнаваем. Отшатнулся, взметнув цепи, как на качелях, и лбом в грудь двинул. Я отлетел шагов на пять или больше, но стоял на ногах. Йоги! Присел, зову его: Йогин! А он смотрит, слезы текут, покачивает головой. Вот так, спиной вперед возвращаемся в этот рай, спиной вперед.

## 2.

Какая же это ночь с тех пор, как мы здесь? Шестая? Две тысячи шестая? К зеркалу не подойти – кто там, неизвестные. Да и зеркала нет. Ночь. Песчаная пещерка под козырьком обрыва, едва поместились в ней. Спишь, вот что странно. Как ребенок, прижавшись ко мне, спишь. Не повернуться, даже ноги не вытянуть. Река шумит во тьме, волочит камни по перекатам. Нет, не слышно. Как ни прислушивайся, только твое дыхание в шею, нос холодный, мерзнешь, руки между коленей. Пушкин говорит: не лгать – можно, быть искренним – невозможность почти физическая. О тайниках души, об исповеди он, неважно перед кем – перед листом бумаги. Невозможность физическая. Не этическая, не психическая, а физическая. Это точно. Себя не съешь. Укусить – можно. Неужели только шестая? Включить фонарь? Может, тебе уже девяносто три и там пергамент пожевывает улыбку, дышит в шею? Помнишь, ты говорила, что жизнь твоя распадется к девяноста годам – и счастье, и сила, и красота. Судя по этим шести ночам, уже исполнилось.

Есть места, куда слова не должны ходить. Но ходят. Люди их гонят, не от хорошей жизни. Бог, сны, смерть, близость. Еще? Жизнь, то есть настоящее время. В прошлом, будущем они еще что-то кроют, удерживают. А в настоящем их нет. Или нет настоящего, когда они входят в него, уже нет. Не много может быть сказано, и должно быть не много. Противно природе слова. И еще противней тому, куда заходит оно. Крохотная территория, не больше, чем свет от спички. Но куда от себя денешься – думаем, что это бог, который дышит, где хочет. Боком выходит, из жизни боком.

Перевернуться бы, но боюсь, тебя разбужу. Спишь. Кто б мог подумать – спишь! А тогда, в первую ночь, в беседке уединенная, слон тебе снился, летел по небу, слон и орел. То ли орел размером со слона, то ли наоборот, как у того философа. А потом уже и все небо в слонах летящих. Счастье, много счастья, все небо. Такая ты и проснулась, когда тронул тебя губами: любушка, четверть шестого. А? – открыла глаза, а сама еще там вся, в небе, кружишься, опускаясь, как лист.

Земля еще далека. Ну, вставай же, что тебе там приснилось? Счастье, – ты говоришь, и один прищурила, – как облака...

Спустились, выпили чаю. Вышли. Уже светало. Нож на ремне, бинокль, а у тебя камера, молча идем, вслушиваясь в себя, точнее, в эту тьму светающую – и там, впереди, и в нас, сближаем их, как бы сводим в одну волну, вслушиваемся.

Ну что, шепотом спрашиваю, подойдя к лесу. Туман стелется над тропой, висит на ветках. Кажется, чисто, ты говоришь, там, киваешь в сторону луга, вправо. Да, мне тоже кажется. А у реки, ближе к излучине, какое-то напряжение, да? Не чувствую, говоришь. Далеко? Где-то там, за слоновьей тропой...

Так перешептываемся перед тем, как войти, в таком духе. Не интуиция, не предчувствие, а, скорее, настройка чутья, этих незримых нитей – от кожи к лесу. Когда он вдруг теряет тебя из виду, не ведет за тобой пальцем. Почти, говоришь. Да, почти. А бывает никак. Никак не войти. Ни любовью, ни опытом. Слишком самонадеянны. А где эта грань меж посвящением и самозванством? Здесь, по ней и идем.

Только вошли в лес, и вдруг – крик, пронзительный, резкий, за ним – треск, будто дерево разломилось. Он стоял на высоком камне и смотрел на нас из разорванного тумана. Его и оленем не назовешь. Не земля, не туман, не дерево. Замки бродят по лесу. Принимаются к земле, бьют копытом, роют – не войти. К дереву подойдут, трутся, чешут голову, коронованную оружием, – не открыть. Стоит на камне. Как Павел леса. А был кем? Стоит, смотрит. И мы стоим, не шелохнемся. Туман стелется, истончаясь, солнце вот-вот взойдет. И тогда его тело станет цвета фламандских кувшинов, медных, в патине, проступающих из полутьмы. Самбары, мифические олени. А потом, совсем на свету, среди бела дня, они чуть уменьшатся, став горчичного цвета подсыхающей глины, расчесанной тонкой сухой иглой, дюреровской. А на закате, к сумеркам, – снова древесно-коричневые, с легким сиреневым отсветом, почти как сейчас.

Смотрит, вытянув шею к нам и приблизив лицо. Рот приоткрыт и чуть скошен. А подбородок белый – до нижней губы, как снежок у крыльца. И колючая ветка, запекшаяся в шерсти, через весь лоб, терновая. А нога поджата, передняя, правая, и хвост вздернут. Вглядывается, весь на нерве. Сейчас ударит ногой о землю, такой телеграф тревоги. И еще этот резкий вскрик, сполох звука. Будто в горн или в рожок дунул.

Стоит, вслушивается. Уши как часовые на башне, зябнут в плащах. А в подкладку этих плащей карта защита – и замка, и королевства, – влажно-красным фломастером по пергаменту. И над ними, как древо, висит оружие. Вдруг – да, мы этого ждали, но все равно – вдруг: резкий вскрик, этот взрез звука, – и нет его. Лишь древесный треск и стихающий топот.

И тут же вослед, как эхо, другой, нарастающий. Вот она, перелетает просеку – кто? Разве самка она, олениха? Женщина, египтянка! Перелетела, скрылась в зарослях, а глаз висит еще, смотрит, и там, в глубине его, в этой испуганной нежности и удивленьи – мы. И стихло. Лес стоит – руки за спину. Муравей влез на тапок твой, озирается, чистит забрало, снять пытается... нет, передумал.

Странная гора. Кто на ней был? Никто, наверно. Всё мимо нее идем. А куда? Куда дорога ведет, к реке. В том-то и дело. На то и рассчитано. На то она и гора, голова. Волшбой заросла, лица не видно. Странное там происходит. Глазами водит в ночи, лампадки коптит в ветвях. А эти трое, старейшины, открывают землю, как погреб, и выходят оттуда, связка ключей, отмычек на голове, взламывают деревья, ворочают их изнутри, перетряхивают, что ищут? А женщины – пятеро их – шеи тянут, длинные, августейшие, глядяваясь друг в друга. Будто это одна в зеркалах, одна у них женщина, у этих трех братьев, царей, духов... Кто они и почему здесь? Призваны? Изгнаны? Нет детей у них, ничего нет, кроме этого замка, волшбой заросшего, стоят у окон его, глядят в мир. Никто оттуда к ним не приходит, и они туда не идут.

Луг под горой, за ним река, а за ней остров, на нем народ их живет. Каждое утро переплывают реку, бродят в лесу, под замком, всем народом – дети, отцы, матери, старики. Они их видят, припадая к маленьким окнам в листья. Да, те помельче будут, но крови одной, самбары. Помельче, может быть, потому, что их много, народ? А этих всего восемь. Или четверо? Или потому, что те на равнине живут, на плоской свободе, а эти – дух, горой огранены?

Иностранец. Голова на плечах – иностранец. В лучшей комнате, с видом, а языку не выучился. И ведь речь не там, где он думает. Этажом ниже. Постановяешь во сне. Ноги бы вытянуть, совсем сомлели. Кувшин в углу, мантры. Святой тут жил, говорят, отшельник. Маленький. Может, он там, в кувшине? Там и кобра могла лежать. Намасте, говорю в эту тьму, в пещерку, намасте, есть там кто? И протискиваюсь ползком, сдвинув ветки колючие, приваленные ко входу.

Что там? – спрашиваешь, присев у входа. Ничего, говорю, свечу фонарем: кувшин, мантры выцветшие, в рулоне. Да, как песчаный гробик, а крышки нет – ветки, ветошь. Если идти вдоль обрыва, по краю, можно ступить и провалиться сквозь эти ветки. Но кто тут ходит? Зверь не ступит, чует. Если бы мощный фонарь был, туда б направить, на тот берег. Сколько б огней вспыхнуло? По числу глаз. Маленький песчаный мыс, а следов кошачьих, свежих, величиной с ладонь каждый, – как у входа в метро, людских. Леопард, говорила, видишь, пальцы собраны, а подушечка продолговатая и как бы чуть скошена. А это... И смолкла, присев, озираясь, переходя на шепот. Он где-то рядом, смотри – острый край, песчинка к песчинке, кажется, даже запах еще здесь. Пойдем отсюда, медленно распрямилась, глядя туда, под полог кустов, где этот след исчезал. Если б фонарь был получше. Есть такие. Метров на сто пятьдесят. Стоит, наверно, на том мысу, во тьме, смотрит на нас, усы топорщит, тихий такой рык, глаза сужены. Ушел.

Какая ночь длинная. Жизнь короче. Как в гробнице лежим, спеленаты. И входа нет, завален ветками. Что? Да, давай попробуем, перевернемся. Только вместе, на раз-два-три, и зажмурь глаза, песок сыпется.

Чуть светлей, а в ложбине темно еще, рваный туман, медузный, тянется меж деревьями. Тише, пригнись. Идут в нашу сторону вдоль обочины. Пятнистые. В легких бежевых униформах. Читалы. Те, которых ты школьниками называла. Вышли классом – листву разучивать. А впереди – классный руководитель, дерево на голове носит, едва ли не больше его самого. Голова – луковка золотая, а из нее – дерево. Стал, смотрит, не понимает пока – кто это там, на дороге. А кто это, мы с тобой, – люди? Сейчас узнаем. Вглядывается.

А какой карандаш в детстве был самым чудесным? Да, белый. Белым по белому. Но еще желанней – по темно-синему небу снегом постукивать, да? А еще вата на елке, маленькие такие шипки, по бедности, чтобы больше украсить. Что-то в таком духе предшествовало творенью этих читалов, олешков. Дрожь бежевая, карандаш белый и, как свечное пламя, – шея и голова. Уж очень усердной рукой эти крапинки понатыканы, детской, нетвердой. Похоже, левша и не старшее пятно. Да, маскировка. Что ж они, маляры, небо, что ли, белили и теперь возвращаются через лес, крапленые? Чистый такой, неестественный для природы, белый крап. И особенно здесь, в зелени. Но это пока стоят. А побегут – рябь, меленькая пурга. Может быть, в том и хитрость? Сбить с толку хищника. Где-то мы слышали. Да, о зебрах и львах. Рябь, сон, белые нолики, ходят, щиплют воображенье.

Много их, около тридцати. Шьют кусты вдоль обочины. Впереди тот, с деревом на голове. Мягкое на вид, мшистое. Обычно самочка впереди. Особенно в зоне риска. У самбаров, когда переходят реку, всегда самочка. И даже не впереди, а одна, оставив стадо стоять у леса, одна идет, и если все тихо там, то и они, глядяваясь в нее, едва различимую на том берегу, к реке спускаются. А эти, читалы, похоже, не плавают, только пьют, войдя до колен. Как индусы. Самочка впереди обычно. Особая, избранная. Может, слух у нее тоньше, интуиция? Хотелось бы думать. Иначе что – жертвенная коровка? Ифигения?

Нет, невозможно смотреть на тебя без слез. Слез и смеха. Приходится затыкать рот рукой, а то распугаем их. На кого ж ты похожа? Очки, тибетская шапка вязаная с тесемками под подбородком и камуфляжный китель индийской армии, шпаги скрещенные на обшлагае. Да еще и выглядываешь из засады с таким счастливым лицом, какие людям нельзя показывать. На кого ж? Все никак не поймать этот образ, аж в носу щекотно. Такая щемящая милость и несурзанность. Это там где-то, в послевоенных советских фильмах про герой-пионеров и шпионов-предателей. Такой вот ты юный фриц. А мотоциклетка где? В кустах? А ведро с удочкой – для конспирации? Не приведи боже сказать тебе. В морозилку ляжешь и дверцу изнутри закроешь – дней на пять, не

меньше. А потом, через годы, при случае, вот, покажешь, вот и вот, – все в шкатулке. Книгу обид, говоришь, писать буду, все упорядочу – 1, 2, 3... А книгу радостей? – спрашиваю. Всё, засек нас: дунул в горн, взрезал тишь, и нет их – пурга в глазах.

Идем. Луг уже озарен. Трава по грудь. И деревья стоят, одиночные, с круговым обзором. Лепардовые, как мы зовем их. В самый раз для них. Приземистые, в тучной зелени, как борцы, переплетенные. А посреди луга – мертвый. Обугленный иероглиф, на нем орлы. Двое, отец и сын. Вьются в небе, летать учит. Догоняет, срезает его на лету, больший меньшего, и опять по кругу. Или мать и дочь? Да, разденемся, жарко уже. Вот как солнце взошло, сразу в жар с озноба, тепло минует. Нет, лучше свитерними, а китель оставь. Ну что ты делаешь... Целулишь меня, ходишь вокруг и чмокаешь, в спину, в плечо, в щеку... Такая радость, говоришь, такая радость, свиданье, дай мне свиданье...

Что ж ты за счастье такое певчее... Ну перестань... Смотри, тонет! Корабль тонет, а они висят на реях: детей в лодки, кричат, детей в лодки! Дети летят, их подхватывают внизу, ловят, носятся по ветвям. А книги? Книги! Целая библиотека! Рвут на бегу страницы, сжевывают на бегу. А тот, на мачте, – взвихривает фолианты, нерукотворные... Ты погляди, что они творят! Лангуры. Семья. Чтобы ты перед сном улыбнулась.

Вот здесь. Здесь мы столкнулись с ним в прошлом году, с тигром. Здесь он взревел в лицо нам, из этого вот куста, в шаг. Куст поредел, теперь сквозь него виден овраг, по которому он, сойдя с просеки, перешел в укрытие и лег, поджидая. Здесь мы остановились, на развилке, прямо у лап его, скрытых густой листвой. Остановились, прислушиваясь. И вдруг – рык, до кости, ледяным жаром. Мы отступали медленно, не дыша, не касаясь земли, казалось, а он шел и будто вспарывал нас этим ревом, выворачивая голову влево, вправо, не уклониться.

И он так глубоко вошел, этот звук, низав нас с тобой на одну стрелу, что, казалось, из жизни его уж ничто не вынет. Вынет. Память вынула. Чем? Словами. Что осталось? Ряженные воспоминанья.

Куст поредел. Луч стоит перед ним. Как на заре телевидения, помнишь, экраны в домах накрывали радужной пленкой, чтобы изображение казалось цветным? Не помнишь. Да, ты еще не родилась... Жухло-рыжий он был, со свалывшейся шерстью цвета опавшей листвы. Голова опущена до земли, так тяжела, что казалось, едва удерживает ее, вода из стороны в сторону, будто считывал нас, шел и считывал снизу вверх все, что и сами мы о себе не знаем. И глаза мутно-желтые, или кто-то стоял там внутри головы и держал на вытянутых руках два покачивающихся фонаря, еле тлеющие.

Нет, не страх, глубже. Тишь внутри, пустота. И чувство такое, что главное происходит сейчас не здесь, а там где-то, высоко над тобой, где никого нет, только кто-то вглядывается и пишет. Не помогает тебе, а лишь вглядывается и пишет. То, что станет судьбой.

Помнишь, ты как-то спросила меня о Боге, о случае. Когда возвращались из леса, и я все отмахивался от твоих чудес, которыми ты донимала меня? Неужели, сказала, такой ты законченный материалист? Нет, призадумался, неоконченный. Неоконченный материалист, повторила, прислушалась, как звучит. Да, сказала, может быть. Все не окончено, говорю, все может быть – Бог, мир, мы...

Удара б одной этой лапы хватило, чтобы смахнуть с нас жизнь. Нет, что-то было другое, и он это видел, чуял, шел по пятам, не атакуя и не уходя. Вот по этой дороге. Помнишь? Да, вроде бы. Скорей помню, чем чувствую. Меньше надо с людьми говорить, меньше. Чем с кем – с тобой?

Ходит над нами, сопит, песок сыпет сквозь ветошь, глаз не открыть, как дождь песочный. Роеет, принюхивается. Поначалу испуг – кто это? Еще в стороне – будто покашливал хрипло, с мокротой, потом подошел ближе, топчется, что-то шепчет в землю, вздыхает. Потом вдруг стихло. И снова, – будто крышу над нами взял за край и тянет ее, как скатерть. Кто? Дух, что ли, того отшельника? Стоит, замер. Опять тянет, по веточкам разбирает. А ты спишь, морщишься, лицо в песке, он все сыпется. С полчаса уже это длится. Дикий кабан, вепрь, вот кто. Просунул рыло под полог, сопит, смотрит. Если руку поднять, можно схватить его за копыто. Еще ухнет сюда вместе с крышей, хороши мы будем.

Нож у меня в руке – маленький, гибкий, девичий. А рука где? Где-то здесь была. Ночь какая-то бесконечная, может, утра уже не будет? Все может быть, в любой момент. Бог, нож, рука, отсутствие утра. А мы где? Шесть дней назад. Сюда идем. Надо бы поскорей, светает. А нам еще с полкилометра до брода, где они сейчас переходят реку, самочка впереди. Мшистые, скользкие камни по дну метет, по ногам, а поверху – буруны, пена. Как же она идет на своих длинных тонких, которые, кажется, и так едва ее держат. Споткнулась, выпрямилась, плывет, голова запрокинута, будто она бежит по дну на костяных пуантах. Выбралась, обернулась. И те, у леса, начинают движение к реке, всем народом. Это остров, откуда выходят они на рассвете, а к закату опять возвращаются – ночевать. Остров, но мы об этом еще не знаем. Думаем, та сторона реки. И сейчас, лежа в этой пещерке на той стороне реки, не знаем.

Вон, смотри, говорю, подноса бинокль, идут... И бежим по просеке вдоль реки, под прикрытием кустов, деревьев. Рывтина на дороге, чуть в стороне. Здесь, в этой яме прячемся, припав к ее краю, еще успели ветки воткнуть перед собой, теперь нас почти не видно, только глаза над кромкой в просвете листьев. Да, успели.

По одному выходят, медленно поворачивают голову. Самбары. Мать с ребенком, два брата, старик, весь в рубцах от запекшихся ран, поднял голову, смотрит куда-то вверх, шевелит губами. За ним просека в предутреннем сумраке, синеватый свет, как в тоннеле. Двое еще, он и она, последние. Старик опускает голову, будто ждал их. Что-то меж ними там происходит, тихое, вползания, и расходятся: он исчезает, а эта пара движется вдоль обочины в нашу сторону.

Близко, шагов пять-семь. Остановились. Смотрят на нас. Не понимают. Вроде бы что-то не так, но что? Ветерок боковой. Она чуть впереди, на полкорпуса. Он прислушивается, все ли спокойно. Она любопытна, шаг, еще, снова оглядывается на него: да? Он кивает чуть набок, между да и нет. Теперь оба они наклоняют головы, вытягивают шеи – к нам, расстоянье дыханья, можно пересчитать ресницы. Их двое и нас, щека к щеке. Смотрим, стараемся не моргать, все четверо. У нее такое лицо красивое, столько в нем нежности и свеченья... Они медленно отводят головы, стоят, прижавшись. Чувственность и целомудрие в ее подрагивающих губах у его щеки. Она ведь так долго ждала его. Даль и дом, и тягучий раздвоенный свет в его глазе, чуть косящем на ее губы. Может быть, это Шива со своей возлюбленной, Сати. Такое случается здесь. Случалось. Пепел. Она ведь сожгла себя. Тоньше солнечной пыли ее лицо. Стоят, смотрят. В этой утренней сепии они похожи на старинный дагерротип из семейного альбома, на недостижимый миф о людском счастье.

Солнце уже высоко. Река в просветах между деревьями. Утки на том берегу, красногрудые, как кувшины глиняные, нерасписанные. А бакланы черные, на валунах посреди потока, сушат крылья – развели руки, сюртучки с плеч приспущены. За рекой крестьяне скользят цепочкой, почти бегут. Или это адивасы, лесные люди? Дай-ка бинокль. Женщины. Вязанки хвороста на головах. Такие вязанки у нас тракторами возят, а они бегут, босые, скользят, как амфоры, придерживая этот ворох на голове.

Тропа в топь вильнула, выбрались, вдоль ручья идем. Плющ, лианы, тоненькие деревья, как воздушные трещины, сквозь них исполины бредут в семь обхватов. Осторожней, когда переступаешь через колоду, видишь, полая, они, по идее, вроде бы спят, зима, но черт их знает, по ночам люди тоже вроде бы спят, по идее. Питоны уж точно могут не спать, да, наверно, немного замедленны, но что с того, когда тебя вдруг обовьет метров семь лунатизма...

Смотри: вся листва в крови. Жучки. Похожи на наших «солдатиков», но крупней, и на спинах – маски, как африканские, черным по красному. Жуть шаманизма, кого они там страшат – друг друга? Птиц? А под масками что? Детские хрупкие спины, засуха, малокровие? Вон просвет, выбрались.

Здесь, говорю, хорошо бы засаду сделать: ручей, водопой, видишь, следов сколько... Да, шепчешь, следов... И смотришь чуть в сторону от меня, за куст. А там – самка самбара, обглоданная до кости. Хорошее, говоришь, место, только засада здесь выбрана кем-то до нас. Пытаюсь сфотографировать. Зачем? То куст мешает, то, если ближе, не входит в кадр. Чуть разворачиваю к себе

ее череп, теперь грудная клетка не в том ракурсе, передвигаю, а что с тазовой костью – сюда или так оставить? А ты стоишь за спиной, у дерева, наблюдаешь за мной, чуть исподлобья, молча, внимательно так, прикусив губу.

Да, жила она на острове, может, сестра той, которую мы видели полчаса назад. Сестра или дочь. Лет двенадцать-пятнадцать ей было, по останкам судя. Мужчины на нее поглядывали, когда на рассвете она из реки выбредала, золото брызг отряхивая. А потом стояла в лесу, ветки перебирала, веды, упанишады... Слабенькая была, странненькая в семье. Бродила по лесу, чуть кивая, всегда одна, в стороне. Станет в зарослях, почти не видна, под ноги смотрит, игра света. А солнце вяжет листву над ней, на тонких спицах, вяжет и распускает. Может, она заблудилась немного, стемнело, все уже перешли на остров, а она все еще здесь, к ручью спускается, думает, по ручью вниз, а там уже и река... Или рвал он ее на глазах у семьи, у всего народа, кинувшегося враспыню? Враспынную, кроме одного, который стал как вкопанный и глядел стекленеющими, как тот повис у нее на горле и гнул к земле, а потом, когда она стихла, рвал из нее куски горячие. Все было кончено в ней, только глаз, казалась, еще смотрел в небо, подергиваясь. Глаз и губы еще подергивались, когда тот рвал из нее куски, урча над пахом. А теперь рука, левая, эта, лезет туда, роется в ее смерти, кадр выстраивает, как икебану. Влажная земля, прелые листья. Белый карандаш... Тот, на котором вся ее жизнь держалась.

Вернулись, начало одиннадцатого. Сколько ж мы были в лесу? Четыре часа неполных, еще у реки сидели, чай пили с хлебом и бхудрой – джемом твоим любимым, ананасовым. А сейчас что возьмем? Пакори с картошкой и ласси, да? А потом, часа через три, пообедаем, разговеемся. Раджасан с подносом идет. Где будем есть, спрашивает, за столиком или здесь, на траве, где лежим.

В ворота индус входит, большой, в костюме, и такой же большой портфель под мышкой, камера на плече. Увидел, подсел к нам. Как его звали? Ладно, большой индус. Вынул альбомы, показывает. Бабочки, птицы, лица людей. Ничего особенного. Профессиональный глянec. Двадцать лет ходит по джунглям, фотографирует, даже, говорит, жил с лесными людьми. Тут, в гостинице, несколько его снимков висит в столовой, видели? Видели. А можете показать там, в России? В Америке меня печатали, много...

Переводим разговор на животных. А вот что, говорит, нужно делать, когда с диким слоном столкнетесь, знаете? Перец, говорит, красный толченый перец надо кидать в него. У меня он всегда с собой, в коробочке. То же самое и с медведем, они перец не переносят. Мы вспомнили Джаянта, его советы. Если слон, говорит, – никаких шансов, бежать сломя голову, и только зигзагами, лучше вверх. Или вниз? Не помнишь? Что-то у них с коленками там. А если бежать некуда, если совсем близко, то нужно мотнуться ему за спину и так рулить – влево, вправо, потому что там у него слепое пятно, но и не слишком близко, чтоб не лягнул. Это кто говорит? Джаянт, главный инструктор турагентства Real Adventure. А большой индус на вопрос о королевской кобре: берете веточку, зачищаете ее так, чтобы на конце оставался один листок, и когда она угрожает, в стойку становится, надо ее этим прутиком слегка по носу постукивать, и она успокаивается, ложится. А из какого дерева прутик, спрашиваем, особенного? Да, задумывается, особенного... А лучше, говорит, зажигалку с собой носить, бензиновую, как у меня. Зажег, кинул чуть в сторону от нее, и всё, будьте спокойны, она о вас уже и забыла. А с леопардом или там с тигром, лучше всего кидать что-нибудь со своим запахом – куртку, шарф, сумку, – что под рукой. И часто, говорю, у вас это случалось? Да, бывало, улыбается и покачивает головой, как наше «нет». Встал, протянул визитку. Будете в Харидваре, можете жить у меня. Сел в машину, поднял стекла тонированные, в лес поехал.

Много помета слоньего. Этой кучи, кажется, не было утром. Была, говоришь. Домашний, видишь, – у диких темно-коричневый, а у этих светлый, охристый. Отличие в рационе. Давний, дня три тому. Домашних четверо здесь, при заповеднике, растяг смену Арундати. А это что? Дикий. Семья, видишь? И маленький с ними, следы вниз ведут, к излучине. Свежий, может быть даже этой ночью. А утром сегодня, когда к ручью пробирались, вдруг – такой запах сильный, слоновий, паркой волной, как в бане, да? Вначале запах, а потом только ветки увидели, которые рвал,

дерево накрененное, наполовину выкорчеванное. На что ж он похож, этот запах, а? Солома прелая, дым, хлев... Да, улыбаешься, ясли, волхвы... А вот помет их почти без запаха, как коровий.

Той же дорогой идем, что и утром, – к броду. Сели меж валунами, ждем. Хороший обзор. Если только они здесь пойдут. Спinoй к спине сидим, у тебя окошко вверх по теченью, у меня вниз. Коряга на том берегу, как костер перевернутый, вниз пламенем. Пригляделся в бинокль: орел, патлач. Утки плывут перед ним, как бегущая строчка. А он неподвижен, клюв приоткрыт, ходунок в горле.

Сколько ж слонов истоптало этот песок. Даже там, где сидим, следы. Коридор у них тут, из Дерадуна идут, через Гангу по отмелям, вниз – к Корбету. А потом обратно, когда жара наступит. В десяти шагах может стоять, а ты ни сном, ни духом. Наше невежество, анекдотическое: мол, как в посудной лавке. Бабочку скорее увидишь на таком расстоянии, чем его. Тише травы, незримей кошки. Разве что когда дерево валит, ветки рвет. Но и люди тут ходят, дрова собирают, – поди разбери по звуку, кто там в зарослях. И потом, эта всегдашняя близость домашних, вот они – покорми с руки, обними за хобот, дом рядом, люди... А дикий – такой же ведь, только помет темней. Такой же ногой – просто вминает тебя в землю. Но, говорят, бывает и так: ногу уже занес над тобой, и вдруг – глядьвается в тебя и уходит.

Помнишь тот монастырь слонов в Гурваоре? В схиме растяг их с молодых ногтей. Сто восемь слонов-монахов, храмовых. Хуторок пальм, обнесенных стеной. Цепи от ног к стволам. А тот, первый, у входа, стоит, плачет, в три ручья текут. Протянул к нему руку, а он вдруг схватил, обвил хоботом, тянет, выкручивает, смотрит в глаза сквозь слезы. И я, белый от боли, тоже в глаза смотрю ему: что тебе, что? Только потом узнали. Гон у них в сердце, мужская течка, стоят в цепях, нервы оголены. Ночью гуру порвали, хозяина. Не первый. Рвут и плачут. Ошибка, сказала, люди это ошибка. Все должно было быть не так, – помнишь? И ветку даешь ему сочную – тому, в глубине, другому, а он не видит, глаза – как слежавшийся снег. Слепой. Как же он ходит в шествиях? Кожей чувствует, хоботом. Взял, ест. Свернули за угол: лежит, развалился в неге. Трое над ним со шлангом, льют, скребут, моют. Четвертый сидит у ноги, педикюр делает. Нож, тряпка, палочки для прочистки. А тот счастлив. Вот уж точно как слон. Рот разинул ковшом, голову приподнял, смотрит на свой хвост, млеет, пукает, глаза закатывает. А эти, баншики, поглядывают на нас, смущены. Струя из шланга чешет ему живот, пах, бедра, а он ногами сучит, хоботом дирижирует. Лужа вешняя, русская, слон в ней лежит, по нему три индуса ходят, голые, с запахнутыми бедрами, облака плывут. А рядом – может, брат его, охапку ветвей над собой держит хоботом: тень устроил себе, как под зонтом, да?

Не слышишь. Другое тебя беспокоит. Вглядываешься в кроны деревьев чуть впереди, скользишь по ветвям взглядом. Это ты верно подметила: полная непереносимость нас – как вида. Вот и в цирке их нет. Тигры на тумбах сидят, сквозь горящие кольца прыгают. А леопардов нет. Хоть с грудного воспитывай, не поддаются. Говорят, суфии их приручали, ходили с ними. Давно это было. И еще неизвестно, кто с кем ходил. Кто кого первым вводил в транс. Борхес пишет, что на их шкурах – письмена Бога. Красиво. Но какого? Уж не нашего. Он еще будет взвешивать, затаившись в ветвях, вниз глядя – пропустить тебя или прыгнуть. А почему колеблется? Страх? Нет. Хоть всей деревянй иди на него с ружьями и мотыгами. Нет страха. Ничего нет, кроме холодной ярости. И презренья, как на флаге у Лермонтова, к огнестрельному оружию.

Помнишь, сон тебе снился, когда это было? В Лакшман-Джуле, за день или два до приезда сюда. Он кинулся с дерева на меня, и мы бились в крови, клубком выкатываясь по земле, а потом встали, обхватили друг друга, лицом к лицу, и я, в испарине, сознание теряю, теку меж его лап. И вижу тебя за его спиной с этим длинным кинжалом, взмахнула и всаживаешь с двух рук в темя ему, до рукоятки, и с мокрым хрустом там проворачиваешь. И оба валимся, и ты оттащить меня от него не можешь, будто спеклись мы. Рассказываешь наутро, еще в постели. Да, говорю, не открывай глаз, да, Тамара, это тебе не Мцыри.

Вот ты ходишь по лесу, все на деревья поглядываешь, думаешь, не замечаю. Вся тревога твоя – там, а слоны в стороне где-то. Ну и ладно, я даль вижу лучше, а ты близь. Как с тигром, да? И

вдруг, сжав твою руку, замер: идет... Кто? Кто? – шепчешь, вглядываясь, ты ж близорука немного. А он прямо на нас идет по просеке, опустив голову, будто не видит. Любушка, говорю, а он все ближе, это не леопард. Тигр. Да? Так говорю, как если бы это не ветка – змея, не пятна солнца в траве, а тигр. Так мне тогда казалось. Мол, леопард – это просто кошка, чуть выше колена. Ну не совсем, ладно. А что в том колебании меж «да» и «нет», что решает? Не письмена Бога. Черта. Незримая, которую заступаешь. Вперед, сказала. А он лег в куст и задернул его, ждал, пока подойдем, станем у самых лап. Ждал, знал? Может, и знал.

Снова что-то шуршит вверх. Нет, не кабан, помельче. Заяц? Мангуст? Хорошо б не змея. Леденцы, «взлетные», большая радость. Жаль, кончаются. Сколько осталось? Четыре и за щекой пятый. Жаль. Как ты умудрилась найти их там, в Химках... Магазин напротив Вечного огня. Когда это было? А потом год лежали, забытые, в Лакшман-Джуле. «Взлетные», их разносили стюардессы на подносе, вместе с лимонадом в пластмассовых кружечках. В самолетах Ан-24, Як-40... Тебя еще не было. Странно, будто тебя когда-то могло не быть. Будто я шел, шел и, земную жизнь пройдя до середины, не оказался в солнечном лесу. С тобой. Будто пол моей жизни тебя на свете не было. Не говоря о прочем. Что это я в виду имел – о прочем? Имел. Откуда б тогда ты знала все, что до тебя было, все, что я жил? Может, ты как-то юркнула туда, вспять, и быстренько все прожила экстерном, и дверь прикрыла, пока никто не заметил? Тут какая-то тайна. Почему ты мои штаны носила, те серенькие шорты на шлейках крест-накрест и на груди карман, между четырьмя и пятью, а потом мы из них выросли и все равно носили? А газировку мою, два сиропа, если проволоку с крючком просунуть туда, где возврат монет, и подергать? Можно и весь стакан одного сиропа. На углу Петра Запорожца, почему? И книжки мои читать – все. И по дорожкам моим ходить – всем, повсюду, и так руками размахивать. И даже в Ворзель приехать. Впервые на край света укатить, и где оказаться – в Ворзеле, и девственность потерять там. В Ворзеле, о котором днем раньше понятия не имела. А кто имел? Я. Лежал там в детской коляске на крыше сарая, задолго еще до тебя, смотрел на вишни. Вот-вот, вишенки... А говоришь – не было.

Яблоко к утру становится. И река кажется чуть слышней. Может, тьма для звука менее проникаема, чем свет? Хотя и не свет еще там, снаружи, даже не полсвета. Начало пятого. А светает в шесть. Волк, собака, затем мы, а потом и свиной голос.

Там, меж валунов, где сидим, тоже где-то начало пятого. Было. Вечера. А теперь уже солнце слабенькое, еле висит над лесом, седьмой час. Ноги сомлели, спины, ждем. А на верхушке дерева две птицы сидят, большие, величиной с ребенка. Думали, это птицы-носороги, те, что летают над лесом, как двуспальные диваны с мерным тяжелым скрипом, но нет, из той же семьи, но поменьше, и клюв не желтый. Сидят на ветке, он ее сзади крыльями обнимает, к груди прижал, одна голова над другой, час уже так сидят, вдаль смотрят. Как мы, только мы спиной друг к другу. А еще Малевич ходил на том берегу – ноги тонкие синие переливчатые, клюв длинный алый, а меж ними белый квадрат: то в рулон свернет его, то крыло вынет, – угол, разрез, проекция. Подошел к воде, клонул циркуль. Стемнело.

Тут они и пошли. Двумя колоннами, по обе стороны от нас, из леса и прямо в воду, быстрым шагом, в шинелях и гимнастерках, прижимая к груди детей. И уже плывут, подняв над головой оружие. Буруны, пена, темень, оружие над головой и дети. И всё, стихло. Только тени на том берегу. Тени во тьму уходят. Встали, выглянули из-за валуна: нет, не всё. Одна. Из леса выходит, к реке спускается. А за ней ребенок, совсем маленький, может недели две, три. Еле еще на ногах. Вошла в воду, не оглядывается на него, а он в камнях путается, спотыкается, бежит за ней. Она уже на середине реки, на стрежне, сносит ее к порогам, петлей тянет. Выбралась. Не оборачивается. Идет во тьму, к лесу, в глубь острова. А он захлебывается, река несет его, бьет о камни, исчез из виду, нет, вон он, вынырнул, вскинул передние над собой, пытается выскочить из водоворота. А она стоит вдалеке, на том берегу, лишь силуэт во тьме. То ли ждет, то ли нет ее там – один силуэт, сквозной, будто вырезанный по контуру, где она прошла. А малыш уже на том берегу, выбрался, семенит к ней, к этой скважине, уже едва различимой.



Ночью, когда вернулись, увеличили на экране тот единственный снимок, который ты сделала, когда они еще только вышли из леса. Приблизили и обожглись. Это был не ее ребенок. Вообще не самбар, а читал, пятнистый олешек. А на следующий день, когда мы вглядывались в плывущих с острова, этого малыша уже не было в стаде. А мы все ждали, ждали, не уходили.

Помнишь тот пронзительный фильм, документальный, о львице, потерявшей своих детей? Ушла из прайда, а потом ее вдруг увидели с маленьким олененком. Оба едва держались на ногах, он чуть впереди, пощипывал траву, она за ним, тоже пытаясь ее пожевать, а потом ложились под дерево, пережидая полуденную жару, и она облизывала его с такой безысходной любовью, с такой израненной нежностью, какую трудно представить и в родной матери. Видела ли она в нем свое дитя? Легче всего сказать – да. А если нет? Что тогда в ее голове творилось? Шли недели. Почти тенью стала, от ветерка покачивает. Что она ест? Воду. И землю лижет. Да и он доходяга, едва живой. Но ни на миг не отходит друг от друга, так и бредут по саванне – вдвоем. А потом ее видят одну, без него. И опять она исчезает. И возвращается – с маленьким олененком, другим. Глаза ввалились, кожа в язвах. Идет, подталкивает его носом, а он пошатывается на нетвердых. Останки какой-то туши, мимо, голову отворачивает. И вдруг: лев, видит их, подошел, схватил олененка, почти безжизненного, как тряпичную куклу. Кладет на землю, шевелит лапой. А тот на него лишь смотрит снизу, влажным, тихим. Она в шагах десяти лежит, задние лапы ее не держат, не может встать. А он – то на нее глянет, то вниз, на этого доходягу: кровь, от котья. Впился в горло и уволок. А она все лежала, глядя в тот куст, – ночь, день, а потом навсегда исчезла.

Кто мы, где мы живем? – говоришь. И что наши страсти, сны, книги... Да, лубушка, сюжетов всего четыре, он говорит. Это у нас четыре. А потом подумал: та индийская девочка, которая вышла замуж за кобру, помнишь? Где-то в это же время, когда львица вылизывала олененка, девочка сбегала из дому в лес, становилась на колени, звала его из норы, молоком поила, гладила, разговаривала, целовала, а потом они танцевали, гуляли по лесу, с ним, с трехполовинойметровым самцом кобры. А потом свадьбу сыграли в лесу, всей деревней, и родители благословили ее. Где она, что с ней теперь? Но вот что странно. Обе истории пронзительны и невероятны. Обе – на грани, на самом краю нашего зрения, психики, дальше – обрыв, тайна. А поставленные рядом, обе эти историю вдруг оказываются не там, где они есть, да? Будто что-то передергивается, и их – две, разных – берут под руки как одну и уводят.

Выбрались из валунов, поднялись на просеку, а там еще темней, ночь почти. Да, замешкались, всё ждали, волнуясь, чем это кончится – с олененком, переплывет ли? Ходьбы до гостиницы – минут сорок, если быстрым шагом. Да, минут сорок всего, но лес-то совсем другой. Хотя и братья. Как день и ночь. Не сторож ему он, тому, дневному. Ни фонарика, ни земли под ногами. Вдруг видим: впереди, в просвете – а солнце еще не зашло, это здесь, в лесу, темень, – слоны. Четверо, кажется. И два слоненка. Или один? Не разберешь. Дымом идут, клубясь во всю ширину просеки. Сколько до нас им, минут пять-семь. А для слонихи, если она побегит? Раздели на три. Значит, минуты две у нас. Путь к дому отрезан. Спрятаться, переждать? Справа – откос, река. Слева – ночные джунгли. Только назад, от них, по просеке. А куда она – бог весть. Выведет, но когда? К утру?

Быстро идем, оборачиваясь на них – то ты, то я. Расстояние держится. А теперь они миновали просвет и почти с темнотой слились. И у нас дорога вильнула, сузилась. Тьма, шорохи, топоток в зарослях вдоль обочин. Кто-то вскрикнул, переметнулся через тропу. Месяц выглянул, как усмешка. Взял тебя за руку. Что там? Гибкая такая тень стелется, чуть выше колена ростом. Видишь? Нет. Только что там была. Трижды так мы его и не видели – леопарда.

Выбрались, выйдя на ту самую дорогу, которая охватывала гору сзади, как бы беря ее в ключ. Еще на подходе к гостинице заметили какое-то странное мельтешенье огней. А когда вошли в ворота, думали – цирк приехал. Воздушные акробаты, шесты, лестницы, веревки, стригущие тьму лучи света. Три кипариса, окруженные людьми, головы задраны вверх. Смертельный номер. Где-то там, на самой – три «а» в этом слове – верхушке. Она раскачивается высоко во тьме и гнется, там кто-то есть, в луче фонаря вспыхивают глаза, рубиновые. Все на арене, весь персо-

нал, управляющий взбирается по лестнице, приставленной к кипарису, его поддерживают с двух сторон кастелян с Раджасаном, в руках у него длинный шест из наскоро связанных тонких реек. Пытается дотянуться к верхушке, шест гнется дугой за спину, клевет землю. С другой стороны кипариса работа кипит, как на петровской верфи. Готово. Ринулись на бордаж. Гиканье, крики, смех, петли, трапедии, прожектора, лестницы, дробь барабана. Рубины мечутся, вьют верхушку и вдруг взмывают, летят по небу... Где? Где этот киборг? Вон – на соседнем дереве. И все повторяется. Один Калу сидит в стороне, переводит взгляд с управляющего на верхушку, потом на нас, рот приоткрыт, язык на боку: ну и дела, думает, порвалась связь времен, собачья жизнь теперь у хозяев. Как дети – нашли забаву и счастливы. Ты посмотри на него, на управляющего – костюм, галстук, а он как ребенок, во сне летает, там, меж деревьями. И ведь что им надо – разве ж его поймать, сбросить наземь? Нет ведь. Расходятся, сматывают веревки, идут, взявшись за руки. А тот бедолага сидит в небе, в тьму вцепившись.

Может, это тот самый Швондер, который в прошлом году стол на нас опрокинул? Цапнул с тарелки кусок курицы и назад – двойным салто, бежит к забору, прихрамывая, окорочок как наган в руке. Да, наверно. А урла его за оградой ждет, головы в плечи, брови насуплены, в кулачок покуривают, переживают: взяли бату.

Поднялись в номер, даже свет не включали, легли, одеялами привалились. А соседняя койка искрит во тьме. Чичиков там, во фраке брусничном, лежит, ворочается. Бричка его за углом, второй день в Раджаджи. А за ним Плюшкин с тем блином на груди, прошлогодним, пальцами по нему постукивает, как в бубен. А за ним Собакевич – на боку лежит, нянин бок грызет. А за ним – Ноздрев, пьян и весел, весь в шенках, а над ним в изголовье зять стоит: отпусти, говорит, меня домой, жена у меня молодая... А Ноздрев: дрянь, небось, женка твоя, а? Да что ты, она славная такая, милая, такие ласки оказывает, прямо слезы берут. А за ними Коробочка, сидит в чепце, ноги свесила, всматривается поверх кроватей в наш угол. Глаза мышиные, поблескивают, а нос как у Гоголя, свет в окне. Копейкин там ходит вокруг фонаря, скрипит протезом. Калу подошел, понюхал: столб как столб, поднял ногу. Вот и все, лобушка, день закончился, из шести первый.

А когда ж мы эту пещерку заметили? На третий? Да, когда вышли на тот песчаный мыс, который сейчас напротив нас, за рекой, он был весь испещрен следами. Будто это не джунгли, а тесный вольер, где тигры и леопарды с оленями вперемеж, и так густо, что кажется, стой они там, в своих следах, сквозь эту толпу не протиснуться. Следы и тишь. Даже птиц нет. И еще эта башня высоковольтная, на границе меж лесом и мысом. Гудит, дрожит, разлапистая, высоченная. Зловеще. А у основания ее – деревья, тянутся вверх, заплетаясь, вращая в сталь, вспениваясь, как от перекиси, этой мелкой, чуть красноватой листвой. Следы, тишь и этот голый электрический стул, взметенный над лесом. На нем и решили устроить наш пост наблюденья. Верхние ветки дерева вцепились в железо, образуя что-то в виде гнезда. Метров семь от земли. Мы еще все гадали, дотянется ли слон до нас хоботом, если станет передними на фундамент? А леопард или тигр смогут ли по этим железным балкам взобраться? Но главное было дойти сюда – до рассвета, затемно. Вначале по просеке, потом по слоновьей тропе, дальше сквозь заросли, вдоль реки – к мысу. Сильное напряжение. Страх, безотчетный, внезапный, и никуда не деться. Как мышь в кулаке.

Лезли на башню, мокрую от росы, она гулко дрожала, деревья вибрировали, мы вглядывались в округу, прижавшись друг к другу, стуча зубами, пока светало. А потом они подсыхали, деревья, и мы вместе с ними, солнце из-за реки всходило, чуть правее пещерки, где мы сейчас. И уже дрожали не так обреченно, помнишь? Вот, думали, жизнь у этих деревьев, как у приговоренных, а казнь все откладывается. И перед каждым рассветом они в этом гулке холодном поту. И тело уже срослось с железом, – пальцы, впившиеся в него, локти, шея, спина выгнута, как от удара тока... Да, хорошее же у нас гнездо. Гнездо кукушки. А дерево? Цинциннат?

Вот оттуда мы ее и увидели, эту пещерку – на той стороне реки. Крохотное ушко у верхней кромки обрыва, а над ним дерево, рослое, одинокое, на краю стоит и корнями будто когтит эту пещерку чуть ли не на весу. Смотрим – а мы уже там лежим, в ней, спиной к спине. Ночь, кувшин, «взлетные» карамельки, одна осталась.

Кто же здесь жил? Отшельник? А с какой бородой? Спутанной, смоляной с проседью, и раздвоенные концы у сердца? Чтоб когда мантры читал, эти два конца чуть расходились на гласных и схлестывались? А потом расчесывал ее у реки, волосы чесал, перекинув на грудь их через плечо, медленно, долго чесал, до заката. Да и как тут к реке спустишься? Круто вниз по песочной стене съезжать на пятках? Лет под семьдесят было ему, да? Выстирал шаль, высушил, обернул вокруг тела и как в огне стоит, не сгорая. Набрал воду в кувшин, поднимается по обрыву. Может, у него тут веревка была, от дерева спущенная? Нет, конечно. Зачем? Плыл по воздуху – воздух по воздуху. Привалил ко входу этот колючий древесный ворох, о который ты исцарапалась, вполз в пещерку, зажег фитиль, Рамаяну читает.

А того, в верховье Ганга, медведь из пещеры выкурил. Дожди шли, который месяц, и медведь стоял, раскачиваясь, перед пещерой, поревывал, вздымал лапы, пришлось уступить, самому тепле раскачиваться на задних. Тяжелый год, говорит, был, но ничего, стерпелось. А когда душило, уходить не хотел, медитировали друг на друга. Говорит, повернув лицо ко мне, а руки в огне, хлеб печет, чапати. Волосы до крестца, а борода до сердца, чуть раздвоенная. Со временем, говорит, тебя зверь принимает. Тоже путь. Такой вот лесной тантры. Некоторые практикуют. Я – нет, у меня это так случилось, пришел, и всё. Потом многие приходили. Змеи тоже. Тот. А этот? Может, он здесь еще? Над нами сидит, под деревом? Сидит, светает, а вокруг темень.

А потом день рожденья твой, позавчера, да? Кто тебя поздравлял? Самбары – раз; читалы – два; кабанчик – выскочил на дорогу, хрюкнул и убежал – три; заяц – петлял по берегу меж камней, Ом выписывал для тебя – четыре; орел-погорелец, весь обуглен, а голова – белый остывший пепел, в нем глаз – уголек с подувом – пять; лангур – кинул тебе орех и с ветки свесился, вдгон глядя, – шесть; красный волк – не скажем, что это шакал был, – красный волк бежал вдоль берега, поглядывая на нас через реку, – семь; я – зашел за куст и вышел с букетом рогов оленьих – восемь. И главное – девять: ты его видела, хоть и в бинокль, – единорога, нильгау, он далеко был, за поймой, стоял у какого-то красного капельного куста, почти неподвижно, и обрывал эти тлеющие капли губами, а потом затуманился вместе с кустом и исчез.

Девять, не считая зеленых чудес, выбежавших тебе навстречу: деревьев, цветов, трав. Но здесь молчу. Это ты ботаник у нас. Ботаник русского языка и языковед растений. Мне это просто радость, а ты еще и назвать умеешь. Да, чуть не забыл. А бычок? Белый, домашний, шел по лесу, один. Шел, качаясь, вздыхая, совсем как тот, по досочке. Только этой досочкой под ним весь мир был, да? Вся земля. И рог у него один, как поднятый большой палец, чуть съехавший набок. О котором, казалось, он давно уже забыл.

Всё это утренние события. А вечером было только одно. Одно, но большое и целиком твое. Смеркалось уже, мы шли по просеке, ты чуть впереди оказалась, странно, тот редкий случай, когда ты была чуть впереди. Почему? Может, я отвлекся на что? Обернулся? Шнурок завязывал? А там поворот как раз, ты сворачиваешь, и вдруг отшатываешься и отбегаешь на те несколько шагов, которые нас разделяли. Там, шепчешь, слон. Вот такой, и глаза поднимаешь к небу. И я понимаю: здесь, в двух шагах, прямо за поворотом. Бежим, говорю. И ты мчишься за мной – назад, влево, в заросли, вверх, в гору. Стоим, дыхание переводим, вглядываемся, прислушиваемся. Мы в шагах двадцати от просеки, от него, но видно плохо, хоть и пригорок, – листва, ветки. Влез на дерево, невысоко, чтобы успеть, если что. Нет, ничего не видно. Треск в кустах – за спиной, близко. Будто ветки ломает, рвет. Слон? Больше никому. И еще, теперь в другой стороне, выше. И вот, справа, слышишь? Только и успеваем головы поворачивать. И ничего не видно. Сколько их? Разбрелись, пасутся. А мы меж ними, в ловушке. Только вниз остается, к просеке. Выйдем и на него наткнемся. Он в какую сторону был развернут, когда ты его увидела? Боком. Поперек стоял, а хобот высоко над собой, ветку тянул из кроны. Шепчем, почти по губам читаем. Да, боком стоял, но больше сюда, в нашу сторону. Тянет ветку, а глаз на меня смотрит. Ну вот, значит, может стоять уже здесь, на дороге, как раз под нами. Тянет ветку и смотрит вбок, на меня, такой огромный, коричневый, а бивни – аж туда, за обочину уходили. Коричневый? Да. Может, мамонт? Сам ты маленький. Я говорю: мамонт. Тише. Вот, снова, – слышишь? Здесь, за кустами. И тут же в другой стороне – гулкий треск и паденье ствола. Спустились, выглянули на просеку: нет его, бежим.

Как близко? – спрашиваю, когда присели передохнуть. Ветка, говоришь, за которую он пригнал дерево, была от него дальше, чем я. Вначале даже не поняла, что это слон, взглядом его не могла охватить, так близко он был, чуть не ткнулась в него. Просто стена из темно-охристой глины, и смотрит сверху вниз, на меня. Странно, говорю, обычно они серые. Может, свет на него так лег? Не слышишь, ты еще там. Там на тебя он все еще смотрит, чуть скосив глаз, и ветку тянет, обвив ее узелком. Да, говорю, возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Да лобзает он меня лобзанием уст своих. Левая рука его у меня под голову, а правая тянется к ветке, укрывает от света. Голени его – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Оборачиваешься ко мне в недоуменье, чуть приоткрыв рот в полуулыбке. Положи, говорю, меня, как печать, на сердце свое, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, она – пламень весьма сильный. Ты что, ревнуешь? Запах аблок, говорю, от ноздрей твоих. Выйдем в поле, побудем в селах. Обняла, прижалась. Побудем...

А потом было вчера, пятница. Управляющий сказал, что сегодня приедут студенты из Дели. Девяносто человек. С ночевкой. Тут мы переглянулись. Нет, говоришь, это ты переглянулся – с самим собой, я об этом не думала. Думала. Думали мы об этом, но все никак случая не было. А если честно, то не решались. Да? Да. Заночевать в джунглях, в той пещерке. А солнце уже высоко, часа три до заката. Успеем?

Раджасан снарядил еду, завернул в фольгу, и как все у него так ладно выходит, руки танцуют, а голова как бы вовсе не при чем, вдаль смотрит. И улыбка – где-то там, в глубине, всегда за губами. Два одеяла, два фонаря, бинокль, нож. Всё. И камера. Вышли. Уже у ворот Раджасан догнал, протягивает две заточки метровые, толстая проволока, почти негнущаяся. Зачем? Овощи, говорит, гриль, и вообще в лесу пригодятся.

Подшли к реке, вон и пещерка, на том берегу, брод ищем. Вот, кажется. Камеру обмотали кульками, разделись, рюкзаки на плечах, входим. У тебя две палки в руках, у меня – две заточки эти. Поначалу еще ничего, а потом – в три погубели над водой, лицом по ней чуть не стелемся, переставляем палки. Ледяная вода, камни по дну волочит, метет по ногам, спину не разогнуть, рев, буруны, пена. И еще выбирать надо, куда ступить так, чтоб залило не выше пояса, ну хоть груди не выше, камера в клапане рюкзака, у загровка. Если посуху до того берега – минут пять ходу, а сколько шли, как калеки брейгелевские, – часа полтора. И темнело, будто ждало, пока перейдем, досмотрело кино и выключило.

Развороченный берег, валуны, меж ними тропа петляет, едва видна. Идем по теченью вверх. Вдруг – коряга, вскинулась перед нами: семь рук, пять ног, земля с нее сыпется, спутанная, заросшая, а голова где? Вот, приблизилась, в лицо клокочет на каком-то рваном наречье. И тычет рукой то в небо, то в сторону, где пещерка. Шер? – спрашиваю, тигр то есть? Нет, выше, а там серп, трех дней от роду. Хатхи? – говорю. Хатхи, хатхи, – ходуном заходил, ужас изображает. Отошли, обернулись, а он все бьется во тьме, как зверь в сетке.

Идем по камням, уже без тропы, слева обрыв песчаный, справа река ревет, втягиваясь в пещеркаты. Что это, говоришь, впереди, на том берегу, у воды? Вглядываюсь: слоны. Большое стадо. Воду пьют? Нет, переходят реку, двое уже вошли, мать и маленький. Быстро, говорю, костер разводи, здесь. А сам вперед бегу, обернулся: споткнулась, выронила зажигалку, а фонарь где? Тьма, не видно тебя. Добежал, стал напротив него, через реку. Вглядываюсь: огромен, навис над рекой, до воды бивни. Вожак. А семья где? Плывет? Переплыла? Стоит, клубится, черный, в отблесках, мокрый, что ли, или это так кажется, водяная сыпь над порогами, клочья пены. Обернулся: огонь то вспыхнет, то гаснет, – там, далеко, где тебя оставил. Поднял голову и кричу ему во весь голос – туда, на тот берег: гха! гхой! гхэй! хэй... Бог знает что, какой-то набор звуков. «Я, человек, существо, небожитель». Да? Как в Алмазной сутре. Особенно небожитель. Или как Мохаммед-хан Арундати кричал. Просто шлю ему голос – туда, через реку: здесь я. А кто этот я – не в словах ведь. И вдруг в ответ этот пронзительно резкий – будто поезд на всем ходу тормозит у ног – звук. И сразу вослед – тяжелый трубный, с чуть разболтанным «р», хобот поднят, луна над ним. Кричу, он в ответ, я, он, оба... И начинает бить хоботом по воде: трубит и бьет, вверх трубит и с размаху

бьет по воде у ног. Оборачиваюсь: горит костер твой. Луна скрылась. И нет его, где стоял. Тишь. Река шелестит, всплескивая. Вслушиваюсь. Зренье кожей. Вот сейчас обовьет хоботом шею и над землей вздернет. Я и свою-то ладонь не вижу. И тут, чувствую, напряженье падает, отпускает. Физически чувствуешь эти фигуры энергий. Будто живые шахматы во тьме. Слон, ты, я... Только кто играет? Нет их. Вышли на берег, шагах в десяти, наверно, и свернули с тропы, туда – вверх по течению.

Костер у тебя бедовый, исцарапана вся, в крови, ссадинах. Лицо подняла – в слезах. От дыма, что ли? Кулаком утираешь, смотришь искоса. Обнял тебя. Отворачиваешься. Всё уже позади, шепчу в твои волосы, они ушли, понимаешь, свернули с дороги, нам уступили. Увидели – тебя, меня, пригляделись, немножко подумали и оставили жить. Слушаешь. Ухо слушает, а лицо отвернуто. Разжег, сидим, разговариваем, то есть я говорю, а ты потихоньку в себя приходишь. Я так боялась не справиться, подвести. Я ж не умею, как ты, а тут лишь трава и камни. Трава колючая, рву и скатываюсь по обрыву. Не горит – вспыхнет, как паутинка, и всё. А ты кричишь там, во тьме, что – к тебе бежать или ты бежишь... И, помолчав: огнем и словом остановили их. И, улыбнувшись: огнем и словом... Да, говорю, красиво звучит. Хорошо, что они не слышат.

Посидели так с полчаса и пошли по берегу, по следам их, а куда денешься – река, обрыв, а пещерка там, впереди. Фонарем светим, вглядываемся, река шумит, ничего не слышно. Следы сворачивают вверх, на обрыв. Поднялись, фонарем обводим: ворох колючий привален ко входу, узкий лаз, крыша ветошная, вровень с краем обрыва, но набекрень как-то. Обошли ее, смотрим: след, огромный, две трети его на песке, а треть – полумесяцем прогнула крышу. Да, наверно, во-жак. Намасте, говорю в этот лаз, есть там кто?

Намасте, любушка! Как спалось? Озираешься в изумленье, песок с лица смахиваешь, смотришь на меня: а ты кто? Отшельник, говорю, мы с тобою и есть тот отшельник, человек божий.

Серенько еще, зябко. Птицы пробуют голоса. Туман над рекой, тот берег едва виден. Идем, брод ищем, чтоб не так, как вчера. Два часа, пять, десять. Нет брода. Ты совсем вымотана жарой, такое марево, что хоть ножом его режь, а мы все идем, идем, берег, песок, реки лекало. Худо тебе, села на землю, в глазах плывет: сейчас, шепчешь, сейчас... Встала, идешь, чуть не теряя сознание, поешь, тоненько так, легче воздуха, про тот гвоздик, белым по белому. И вдруг замерла, смолкла. Вот он. Вышел из леса, смотрит на нас. Единорог, голубой нильгау. Неопикуемый, цвета конфорочного огня. В тень перешел, под дерево, и теперь – как из стекла тягучего, темно-синего. Спиной стоит. Длинные тонкие ноги, а от крестца к холке тело ширится под углом к небу – ввысь и вдаль, и опять сужается – там, далеко, в текущей шее с маленькой головой, обернувшейся вспять, к нам. Видим его, не дышим. Ты, я и тот, о котором еще не знаем, в твоём животе. А он медленно отводит взгляд, к дереву поднимает голову, к исподу его листвы и – нет, не рвет, а лишь теребит губами, будто нашептывает туда. И дерево это над ним, оно ведь то самое, из того сада, и сам он оттуда, всегда там был, и когда сад опустел – был, и потом, когда ангела у ворот не стало, – был, вдоль незримой стены ходил, рядом с нами. И оттуда смотрел, вот так, через плечо, вдаль, все эти тысячи лет, сквозь стену – на нас, на мир, несуществующие.

### 3.

Нет у Земли места в космосе, так они думали. Всем научным сообществом. Не было, а после Коперника и совсем не стало. И вот Галлей, тот самый, чья комета, которую он не открывал, говорит: почему не можем высчитать расстояние до Солнца, а значит, и определить место Земли и других планет, можем – через Венеру. Дважды с интервалом в восемь лет она проходит по солнечному диску, и случается это примерно раз в столетие. Умер, не дождался. Готовятся экспедиции, десятки стран, сотни наблюдателей. Нужно навести приборы из разных точек планеты. Странный разброс: французы почему-то едут в Сибирь, русские в Альпы и так далее. Годы пути, войны, болезни, кораблекрушения. Не многие добрались. Француз в одиночку шел в Сибирь, меняя кареты, лодки, сани, прижимая к груди инструмент. Дошел, нацелил. Шаман, решили сибиряки.

Линзы разбиты, сам едва ноги унес. Другой – год плыл в Индию, не успел: Венера в небе, волны под кораблем. Не сломлен, сошел на берег, строит пост наблюдения, ждет восемь лет второго пришествия. Ясное утро 1769 года, все готово, и вдруг наползает облако и скрывает Венеру ровно на те три с чем-то часа, пока она не исчезла. Сел на корабль, дизентерия, циклоны, порты, вернулся домой одиннадцать лет спустя. А его уж похоронили, ни имени, ни имения. Это французы. А двое англичан – Мейсон с Диксоном отправились на Суматру, попали в плен, бежали, в день Венеры в море болтались, у Доброй Надежды. На обратном пути высадились на Святой Елене, где встретили Маскелайна, чьи наблюдения сорвались из-за облачности. Крепко, как пишет Брайсон, подружились и очень приятно провели несколько недель, составляя график приливов и отливов. В общем, так или иначе, все экспедиции не удались. Лишь один малоизвестный мореплаватель, высадившийся на Таити прогуляться на холм в погожий день, а попутно и сделать некоторые измерения, зафиксировал прохождение Венеры, потом открыл Австралию и был съеден. Кук. Земля обрела наконец свое место в космосе.

Да, говоришь, обрела, а мы потеряли. Нам и не снилось...

А помнишь, в Чавакаде, еще не взошло, воздух как рыбная чешуя, и бьют ее, рыбу, оземь в ледниках, смерзшиеся поленья, в поля увозят, а рыбаки из полей идут, лодки их, как собаки, лежат во тьме, ждут, нос в песке, оборванные поводки. А мы у Башира, хижина тростниковая, перешептывается на ветру. Два стакана – белый и черный, тебе молоко, мне кофе. И что-то ты вдруг спросила меня, простое, школьное – про Луну и Землю. Или про Солнце, Луну и Землю. Типа о смене времен года. Нет, что-то покаверзней. И я уже рот открыл, чтобы ответить, и опешил, застыл. Не помню. Смотрю на стол. Стакан молока, стакан кофе и пончик с ломтиком банана запеченным. Но если кто-то один когда-то сумел додуматься, значит, в принципе, и другой может, если оба люди. Так с детства еще казалось. Волк, коза и капуста. Сижу, передвигаю их, эти Солнце с ломтиком, Луну молочную и кофейную Землю. Башир муку замешивает, хлеб печет. Хижина шелестит, огонь полощется, океан вдали чуть светлеет, рыбаки стоя идут, исчезая между волнами, вниз, вверх. Нашел, помнишь? Ответ нашел. Как Авраам, библию лет спустя – такое чувство, неопишемое. Полумесяц на губах у тебя, у меня земля, осадочная, а солнце поровну. Встали, вышли, светло там, ни ты, ни я, неузнаваемо.

Встречал нас Рамана, пожилой цыган, бессменный водитель единственного в лесничестве джипа, похоже, выдавшего виды не меньше, чем его хозяин. Ехать пришлось минуты две, до конца улицы. За воротами – несколько домиков в сумраке под исполинскими деревьями. У крыльца – четырнадцать лесников, ждут. Чай, печенье. Что и когда, и как они могут нам показать, и что б мы хотели увидеть? Говорят на телугу, переводит Рамана, на телугу же. Впечатление такое, что речь идет о планах народа на ближайшие лет четыреста. Двое, сидящие чуть в стороне, как-то странно приглядываются к нам, встают, исчезают и возвращаются с большой деревенской кроватью из пальмовой плетенки – взамен той, обычной, уже застеленной в нашей комнате. После ужина все расходятся, остаются Рамана и служанка Бхагилакшми.

Пуджу надо бы сделать, говорит Рамана, выходя на крыльцо. Пуджу, повторяет Бхагилакшми с тарелками в руках, глядя на звезды. Рамана берет фонарь, кокос, пучок цветов и ведет нас в коил, маленький храм на краю деревни, почти в джунглях.

Идем. Плетни, заросли, хижины, чьи-то пятки белеют, переступаем, хлев, корова лизнула, ребенок всхлипнул во сне или старуха, снова заросли, резкий запах жасмина, камни, гроты, ручей. Вот, говорит, снимем обувь. А вокруг ничего, валуны. Протиснулись между ними, пригнувшись, и оказались внутри.

Алтарь, Ганеша, огонь, ступени, дыра, темень. Оттуда, из разлома камней, голова всплывает, а потом и весь – шерстяной, полуголый, туго сбитое тело с голым лунным лицом. Нерослый, до груди нам, лет семидесяти, с озорными глазами. Лунным, как та луна, слева от Пана, врубелевского. Стоит спиной, огонь, как белье, стирает. Взметывает, полощет, бьет о камень. А обернется – и нет лица: луна, лирика. Сел на пол, нас манит. Подсаживаемся. Не поет, не читает мантры, молча

делит огонь на куски ладонями, мнет, лепит, растягивает, как ткань отмеряет, дает – по штуке каждому. Показывает, чтобы мы повторяли за ним: разворачиваем огонь, обмахиваемся им как полотенцем, откладываем. Берем из его ладоней другой, пригоршнями, споласкиваем им лицо. Взял кокос, расколос, молоко в чашу, щепоть цветов, немного мякоти, перемешал, шепнул, дунул, плеснул Ганеше. Теперь вплетает тебе цветы в волосы, мокрые, в молоке, улыбается, уменьшает-ся, исчезает в дыре ступенчатой.

Возвращаемся. Ганеша, говорит Рамана, бог чудес, путешествий... Дети есть? – спрашивает. Важный человек, говорит, изображая этого огнетворца, и пальцем в небо тычет, – будет большая помощь.

Да, в ту ночь, когда плетеная сетка под нами, казалось, вот-вот порвется. Большая помощь. А за ставнями странный дождь – струи тяжелые, рваные, будто веревки с неба сматывались, на землю падали с кратким скомканым звуком, похожим на вскрик. Рождество. Ночь на Рождество была. Тогда и зачали его, огнем святости. Или все же в Раджаджи, в джунглях? Нет, ни там и ни там. Чудо, значит.

А наутро я понял, что это был за дождь. Те исполинские деревья, как-то странно вчера светившиеся во тьме, стали совсем седыми. И под ними – белым-бело. И кроны их ходуном ходят, на стволах вращаясь, будто это и не деревья вовсе, а какие-то мешалки для вспахтывания сметаны. Едва светало. Может, мерещится? Пригляделся: женщины! Много их – в белых ночных сорочках, – взмывают из крон и наматывают круги, то за руки взявшись, то по одной. Женщины, длинные сомкнутые ноги в красных чулках и ночные сорочки, белые, с разрезом чуть ниже бедра. А там, на вершинах, их гнезда, подлетая к которым они выгибаются и машут, машут, запрокинув головы на тонких шеях, будто сила какая их втягивает туда, а они противятся: нет! нет... – и как-то несуразно и долговязо валяются, уступая, своя за спиной руки, поджав плечи.

В шесть утра договаривались выехать. В семь – стук в дверь. Лесник, пятнадцатый. Писатель, говорит. Что пишете, спрашиваем, стихи? Романы? Повел показывать. А в кабинете – пять шкафов рукописей, и еще на шкафах – папки до потолка. Вот, разводит руками, мои труды. Отчеты по лесному хозяйству с 1978 года.

В девять въезжает джип. Рамана. Бидоны, корзины, кастрюли, завтрак. Теперь ждем Сандипа, молодого начальника. Четырнадцать лесников бродят в сумраке меж деревьями и поочередно звонят ему по мобильному. Сэр! – вскрикивают они через каждые три слова, вкладывая в этот возглас все свое бесстрашие и самоотверженность. И заканчивают разговор: сэр-сэр-сэр-сэр-сэр... – до последнего патрона звука. В джипе уже пятеро. Нет, двоих заменили на четверых, опять вычли, добавили, разделили, – теперь там сидят все другие. Плюс четверо на переднем и последний – Сандип с большим грессбухом в руках, рядом с Раманой, тронулись, кажется. Нет, не заводится. Время уже к одиннадцати. Какой там лес в эту пору, но их это, похоже, не беспокоит. Подтолкнули, выехали из ворот.

Не успели отъехать, остановились – как раз на перекрестке посреди деревни. Вышли и разбрелись. Хотим тоже выйти. Не надо, показывают, оставайтесь в кузове. Возвращаются. У Раманы в руках катушечная рулетка. Начинают измерять джип – вдоль, поперек, по диагонали, потом вокруг, затем под колесами, теперь в стороне от джипа – просто воздух, уже неизвестно что – расстояние между тем воздухом в стороне и тем, что нашли под колесами. Час уже ходят вокруг машины, опутывают, растягивают, глядят в измерения. Перекресток бойкий, ларьки, лавки, а на той стороне – с земли торгуют. Смотрят, но как? Не поймешь, насколько это для них необычно. Бычок подошел, лизнул рулетку, пытается зажевать, тянет. Отогнали. Стоит, наклонив голову, смотрит, струя под ним. Может, это не лесники? Чинари? Вот Введенский, вот Хармс, Липавский, Друскин... Вдруг свернули рулетку, сели, едем. Ни слова. Будто и не было ничего. Да, чинари на природу едут.

В лес сворачиваем. Тропа глухая, ямы, ухабы, заросли. Трое прыгивают, идут впереди, расчищают путь, камни разбрасывают. На поляну выехали. Пастух, козы пасутся. Хотите поговорить с ним, спрашивают. Нет. Дальше едем. Медведь, медведь! – зашумели, выскакивают из машины.

Где? Вот, показывают: рытвина, рыл здесь, дня два назад. Сели на корточках вокруг ямы, разглядывают, землю перетряхивают в ладони, к глазам подносят.

Тиковый лес. Сухие листья, большие, пыльные, висят на деревьях, как фольга шелестят, душно, жарко им. Птиц почти нет. И зверей, по следам судя. Может, тот медведь – последний тут? Могилу роет, ищет, никак в смерть не ляжет. Как человек у Платонова. Некому ж хоронить. В Европе недавно процесс был, медвежий. Бродил в горах между Австрией и Германией. Две страны никак не могли решить, что с ним делать. Министр указ подписал – убить. А дальше что, куда девать? Немцы прикончили, а медведь австрийский. В холодильник сунули, год решали. Может, и до сих пор он там сидит, замороженный.

Сандип грассбух листает, карандашом подчеркивает. Куда едем? К роднику. Вчера о нем полвечера говорили. Какой-то очень важный родник, наверно. Вот, приехали. Трава, камни, лужа. Пузырек всплыл, лопнул. Сильное возбуждение. Рамана палку сует туда, дно колета, взвизгивает, пузыри вскипают. Чудо! Все девять следят заворожено, неотрывно. Еще! – просят. Еще! Сандип рассказывает, как и почему такое возможно. Кивают, слушают, но от лужи глаз не отводят, особенно когда та вскипает. Зовут нас поближе стать, чтобы мы это сфотографировали. И еще в этом ракурсе. И вот отсюда, сверху.

Небольшая прогулка по лесу. Впереди Сандип с грассбухом. Называет деревья. Троекратно: на латыни, английском и на телугу. Хорошо подготовился. Пробуем дички, жем листья, нюхаем травы. А вот об это дерево кошки когти точат. Тапси, называется. Когда нужно определить, есть ли в лесу леопарды или тигры, ищите это дерево. Вот, видите, расчес от когтей. По высоте расчеса и глубине когтя определяете вид, пол, возраст. Мягкая древесина, из нее еще в медицине капсулы делают, которые хорошо рассасываются в кишечнике. Ходим так – от дерева к дереву, от цветка к цветку. Девять лесников в камуфляже и нас двое, в руках ветки, во рту плоды. Вот этот цветок, говорит Сандип, заглядывая в грассбух, называется... Цветок, шепчу тебе на ухо, цветок мы будем звать Андреем, он нам ровесник по уму. Да, улыбаешься, этот – точно.

Теперь к водопаду. Машину в предгорье бросили, дальше дороги нет – валуны, песок. А валуны откуда? Вон с той горы, в небе сидит в каменном шлеме, оттуда скатывались. Там леопарды спят, говорит Рамана. Та самка, которая полстада убила две недели тому назад, – она оттуда. Я ходил, говорит, видел ее, мертвую. Собаки загрызли. Дикие, много их, большая стая. Всю не ели, только живот. А где ж ребенок ее, спрашиваю, который школьник. Не знаю, чешет за ухом, может, и жив еще, сидит в расщелине.

Помнишь, читали с тобой в «Индустан таймс» – крестьяне в Раджастане поймали такую же мать и повесили на суку вниз головой. Да, не редкость. Правительство вдруг решило, что этих кошек у них хватает, объявило их вне закона. Идут на чайные плантации, где вода почище, детей рожать, а там их травят, а малышей в приюты сдают, пожизненные. Нет нужды, говорят, выпускать в природу, и так достаточно. Слава богу, на севере Индии этого нет. Закон тот же, культура другая. А на кого там слона выменяли японцы, не помнишь? В той же газете было. Им слона, а они индусам в обмен – двух журавлей и какого-то грызуна, да? А леопардов не меняют, никому не нужны, избыток. Правильно делают, что ненавидят. А за что любить? Хоть один на земле зверь смотрит в наши глаза открыто – с ненавистью.

Идем по ручью вверх, разбрелись на полкилометра. Сандип впереди где-то, а в хвосте Рамана, не видно их, лишь голоса на весь лес, перекрикиваются. Хороши егеря. Хотя и без них иди мы, вряд ли кого увидели б. Ни следа. А идут, как люди. Гремят, хрустят, проламываются, экспансия очертаний. Бритва Оккама: не плоды лишних существей – в звуке, шаге... Не бурчи. Может, половина из них впервые в лесу. Видишь, возбуждены как.

Полвторого. А вот что Тоголь делает? Смотрит на пуговицу на сюртуке, и вот камера как бы отъезжает, и уже не пуговица, не комната, а дом, улица, город, а камера все отъезжает, и вот уж поля за городом, леса, дороги, вся Россия видна, весь мир, во все концы света. С Луны смотрит, пуговицу разглядывает, зумом играет. Киношный ход, до кинематографа.

Сумрак, термитники в рост и выше, до трех метров. Змеи там, говорят, квартируют, зимние



их квартиры. Кобры и эти, как их, крысиные, да? А мы, поначалу, любили с тобой привалиться спиной к этим термитникам, передохнуть, чайку хлебнуть. На рассвете, в Раджаджи. Век живи, два учись. Учись и помни обо мне. А королевские кобры гнезда вьют, в башнях сидят незримых, из слоновой кости, эльсиноры высиживают.

Водопад. Занавес изумрудный, в иглах лучей, а сверху радуга. Обходим, взбираясь по бурелому. Поднялись. Святое место, говорит Рамана, вот он, след Рамы. Садится в эту каменную чашу в виде отпечатка стопы, счастлив, пьет из божьего следа. Медленная вода, обтекая его, плавно обрушивается со стены.

Дальше идем. Немного вперед вырвались. Лес оживает. Обезьяна – переметнулась с ветки на ветку, села спиной. Ждем. Медленно нехотя оборачивается, смотрит. Что за лицо! Будто маска была, а ее отодрали, с кожей, с мясом. Жгучие раны глаз, рот чуть приоткрыт, как рубец, и выгнут. В шинельке сидит, короткой, а руку к лицу поднесла – рукава длинные, только кончики пальцев видны, как у детей.

Рамана зовет, возвращаемся. Спустились, сидим с крестьянами на краю поля, орехи лесные поджариваем на костре. Рядом со мной старик, лет сорока. Тело – лет сорока, а голова и руки – вдвое старше. В руке топорик на длинном древке, как у гуцулов. Леопарда он видел, столкнулся вчера с ним – там, на ручье. Близко? – спрашиваю. Показывает до дерева. И что? Ничего, говорит, он стоял, я стоял. Долго? Кивает. А потом? Разводит руки. Орехи лущим, разговариваем – он на телугу, я на английском. Еще есть палочка и земля у ног.

А на обратном пути, помнишь, мать с младенцем сидит на обочине, а кругом – поля, луга, ни души. Рядом с ней ведро и тазик, моет его. Сидит на этой красной земле цвета окалины, ноги разведены, меж ними тазик, а справа ведро. Подняла взгляд к нам – глаза большие, черные, и такая же черная река волос течет вниз до земли. А младенцу – неделя от роду, смотрит на нее из ведра, как солнце. Да что ты, сказала, когда отъехали, какая неделя? Дня три.

Сидим на веранде, чай пьем. Змея, говорю, привстав, не шевелится. Ползет из проломленного асфальта в двух шагах от нас, медленно, сонно, во тьму. Около метра длиной. Цвет землистый. Рисунок, может, и есть, но блеклый. Червячная голова, без сужения к шее. Иду рядом, свечу фонарем, никакой реакции, лунатично движется, даже голову не поднимет. К забору ползет, на котором наши вещи стиранные развешены. Ветхий забор, за ним дом, пустой, полуразрушенный. Кто ж это? Не кобра. Не крысиная. Не водяная. Не удавчик... Рамана, кричу во тьму, к тем домикам, где живут лесничие, Рамана, сюда, быстрее! А сам беру палочку, присел, преграждаю ей путь. Пытается обминуть препятствие – влево, вправо. Вправо – это ко мне, чуть отступаю. Тычется как слепая – в палку, в траву, в воздух. Ты за спиной стоишь, не делай этого, говоришь, отойди от нее. Бегут. Все четырнадцать. Она, кажется, прозревает, к руке скользнула вдоль палки, отдернул руку. Рамана, кто это? Стоят в метрах пяти от нас, фонари включили, светят, галдят: пиджера, пиджера! Да нет, какая пиджера? Пайтон, маленький пайтон! Пытаюсь перекричать их: ядовитая? Да! Нет! Не очень! И поди разбери – это ж все на телугу, английского с гулькин нос. Что за пиджера – гадюка, что ли? Да – нет – не очень. И всё громче галдят, полосуют светом по нам, но дистанцию сохраняют.

Встал, отбросил палку. Подходят. Показываю им, откуда выползла, – может, там еще есть? Да, кивают. Нет, покачивают. Вы же тут босиком ходите, живете здесь, говорю. Да, нет, не очень. Крайне возбуждены. Как от просмотра фильма. Будут его еще долго взволнованно обсуждать. Но прямой связи с их жизнью, похоже, в этом они не видят. Кто ж это был? Снимок разглядываем. Ползет, слепое лицо, и голова так повернута, будто руками незримыми лицо прикрывает, дом за спиной, ползет за городскую стену, – кто? Эдип?

Сидим на крыльце, чай остыл. Если все же это питон был, маленький, новорожденный, то сейчас, где-то под нашими пятками, – мать. А может, и двое. Как нас двое. Странные люди, эти лесничие. Представь это дерево в раю со змеем, и их – полукругом, с фонариками...

Наутро, еще затемно, мы тихо вышли, сели в бричку и укатили на пятничный сход племени койя. Солнце встает, леса-поля, с горки, в горочку, поворот, стоп, приехали. Ну, любушка, как об

этом сказать, помоги мне. Вот есть звуковая волна, да? Сильная звуковая волна, которая тебя отбрасывает. А тут – зрительная. И не то чтоб отбрасывала, ослепляла, а с равной силой – и отбрасывала, и втягивала. Трепетанье такое, да, зрения? Будто зрачок взорван этим разгулом ожившей живописи. Взрыв, а потом уже мир, трепет. И вихляющий след взгляда:

...и текут к жертвеннику со всех сторон: белые быки, запятнанные алыми отпечатками детских ладоней, громыхающие телеги с мельничными колесами, больше похожие на корабли, в которых раскачиваются поющие женщины в кольчугах бус на голое, кольца, серьги в ушах, носу, а в руках петухи, куры, бьют крыльями, бусы взмывают, а те и глазом не поведут, шеи в обручах, фески бисерные на затылках бритых, а за колесницами – жилистые, будто выкорчеванные из земли, приплясывают мужчины, бьют в барабаны, дуют в трубы, черных козлов ведут за собой на веревках, те упираются, красную пыль бороздят коленями, а взвинченные обезьяны, с веток свесившись, скалятся, смотрят, как те наматывают круги у святилища, и шаман заходитися, красное и зеленое ввесь взметая, кричит рваное, в пыль валится, перекатывается к затону, к жертвеннику, над которым солнце стоит – в пуху, перьях, а они выплясывают в этой бурой пыли, безголовые, бьют по земле крыльями, перекувыркиваются с этого света на тот и обратно, мертвые через живых, и затон, в котором их оголяют, ал и мутен уже, и они, подоткнув юбки, стоят там, полоща, ошипывая и вспевая вдруг этим мокрым гортанным взрыдом, а чуть в стороне веревки натянуты между двух деревьев, на них головы петушиные, лапки висят, будто нотный ряд, а в подлеске – костры, дымы, чаны уже кипят, дети к ним руки тянут, а на жертвеннике черный козел распялен в двенадцать рук, голова задрана, и тесак над хрипящей шеей, только руки, двенадцать их, влажно-глинистые, терракотовых, на иссиня-черном, судорожном, кровь взметнулась, и голова со стеклянным взглядом – отсеченная, стоит на доске, на нас смотрит.

Так, да? Только потом, понемногу, зрение начало приходиться в себя. Вон колодец за жертвенником, купальня. Две старухи идут в каких-то небесно-голубых топиках и трико. Сестры, похоже. Головы запрокинуты, по четыре серьги в носу и на ушах гроздь, вспененное мочало волос. В руках – черные курицы, за ноги держат, вниз головой. Подошли к жертвеннику, вон она уже – бьется крыльями по земле, а голова висит в нотном ряду, вместе с лапами. Семян к затону, скользко там, поддерживают друг друга, вошли в воду, щиплют, моют. Под деревом старик сидит, голые ноги, ключицы подростка и седая стриженная голова с мягкими, чуть задымленными чертами лица. Под девяносто ему. То есть, ей.

Дурно тебе от этой крови, пуха, перьев, жары, запаха жалкой животной смерти и одури этой сплоченной жизни, нарывающей круги. Или ему, о котором не знаем еще, в твоём животе, дурно. И вдруг – кто-то кладет на плечо мне руку. Оборачиваюсь. Телевиденье. Здравствуйте, говорят, давайте вон к тем деревьям отойдем, там поспокойней. Зачем же отходить? Ладно, включают камеру. А несколько дней спустя, в Какинаде, только с поезда, раннее утро, зашли в булочную, а продавец так изумленно смотрит нас, складывает у лица ладони: свами, – говорит, – свами... Только что видел вас по первому каналу. Прекрасная речь, божественная. Я такого об Индии в жизни не слышал. Да, думаю, особенно на фоне той куромахии за спиной.

Чуть полегче тебе. Костры в лесу, семьями там сидят, пьют, едят, празднуют, нас зовут, машут. Идем по тропе, лес, за ним река, поле. Девочка лет пяти с каким-то фарфоровым лицом выглядывает из-за дерева. Или слегка набеленное? Вот опять, из-за другого дерева, – пол-лица. Как же она переместилась? Идем. Снова, теперь от тропы слева. Фарфоровое, мертвенно-взрослое. Выглядывает и не исчезает, смотрит таким странным взглядом... как маленькая упавшая с неба судьба. Чуть впереди, и ждет.

4.

Ума не приложу, как описать это место. Куда прикладывать? Одна улица, она же единственная. От нее закоулки виляют – вниз к океану, вверх на холм. Длина улицы – минут десять медленным шагом. Начинается она, по идее, продолжением дороги, которая ведет к этому месту. Идея есть,

а дороги нет. Любой мало-мальски оперившийся шторм из нее вьет веревки. Не говоря уж об осенних изуверах, не оставляющих от нее и нитки, – чистый эйдос. Других дорог нет, если не считать ту асфальтированную тропу, которая шарахается влево в самом конце улицы. А шарахается она, потому что перед ней всененный залив с узкой горловиной, через которую перекачываются волны. Дорога прядает влево, но с этим испугом уже ей не справиться. Да и куда ей себя длить? Залив размывает перспективу.

Станем в центре этой десятиминутной улицы. Над нами муниципальная башня, на ней часы. Для одной стороны улицы на них четверть седьмого, для другой – полтретьего. Так и живут – в двух временах. Ни то, ни другое реальному не соответствует. Те, у кого четверть седьмого, – портные, аптекари и парикмахеры. Дома двухэтажные: на втором живут, на первом лавка, без фасадной стены, просто проем, где сидит, например, портной и строчит на местном зингере. Где ж эти люди, кому они шьют, если портных – треть населения? А по ту сторону времени – продуктовые лавки, харчевни. А базар – в межвременье, под башней.

Взойдем на холм и посмотрим сверху. Белокаменная Ницца. Где же эти дома, улицы, раскинувшиеся вдоль побережья и взбегающие по холмам? Необъяснимо.

Ладно, попробуем к океану выйти. Попробуем, потому что эта прямолинейная улочка ничем его присутствие не выдает. Идет себе параллельно ему, из никуда в ниоткуда, и, кажется, понятия не имеет, что он рядом. Свернули и оказались в районе неприкасаемых, пробираться нужно едва ли не сквозь хижины. Вышли.

Вышколенная европейская набережная. Ни души. Ни соринки. Фонарь, под ним скамейка, индеец сидит, перья в голове, смотрит на волны, лошадь привязана к дереву. Дальше. Кусты, заросли. Там люди, полуголые, бегут – кто с камнем, кто с копьём, кто тетиву натягивает. Маленький динозавр, ребенок совсем, раненый. Дальше. Лужа в лилиях. На берегу человек в костюме, очках, белый, газету читает. А перед ним, в луже, – русалка, держит в руках русаленка. Как тот – газету. За деревом – Шива со всем своим пантеоном живых и мертвых, а чуть поодаль – животные, замерли, от тигра до муравья. И аист – взлетает с дерева, но не летит. Назад, на набережную. Лодка посреди дороги стоит, плывет то есть. В ней человек двадцать, гребут веслами по асфальту, привстали, вперед глядят: что-то там невероятное впереди, – рты распахнуты, кричат, видимо. А из волн по молу Ганди идет, черный как смоль, сияет. Точнее, не сам идет, а его ведут на веревке – мальчик, такой же черный. Дальше. Конкистадор на коне, тоже из океана. Меч в руке вскинутой. Сломан, один огрызок, на нем ворона сидит, вспорхнула. Гуси переходят дорогу, не сходя с места. Рыба на берегу, мифическая, величиной с дом, рот разинула: входи, Иона. Хижина, женщина на пороге, чешет волосы, олень напротив, смотрит на нее, чуть набок склонив голову. Дальше. Поляна, дети в траве и на дереве. Тропинка, поворот, кусты раздвинули: Христос, овечки... Назад, ручей, пригорок: битва. Греки, Елена, троянский конь...

Сели на берегу, молчим, неподвижны, как те фигуры. С нескольких шагов и не отличишь. Кто ж сотворил эту несусветную фантазмагорию? Местный Пиросмани? Таможенник Руссо? И – не главное, конечно, но все же – для кого? Ведь никого вокруг. Лишь паруса по кромке горизонта скользят в дымке.

Встали, идем по набережной. Старик на парапете, сидит на корточках, ладонями голову обхватил, седые волосы взметены ветром, сигара во рту. Отлично сделано, как живой. Прошли мимо, обернулся: нет его. Вон он, по песку идет.

Это хорошо, что вдвоем мы. Да, втроем. В этом зазеркалье. Вот если бы в ту нору, куда Алиса упала, перед тем упало ВДНХ. Так примерно, да? И еще что-то. Типа вон тех огненных пирамид или громадных бுவ... Что это за странные терракотовые конусы в конце набережной, за оградой? Подошли. Кладбище. Пирамидальные надгробья от земли до неба. Запрокинули головы, читаем металл эпитафии. Целая глава, готическим, старонемецким. Нет, датчане. *Здесь покоится дитя моря* – последняя строчка. 1675 год. И ниже – череп и кости, веселый роджер. Да-да, говорит из-за спины старик, тот, с сигарой, она все еще у него во рту, мы и не заметили, как он подошел, это пиратское кладбище. А тут, ведет нас между могил, англичане лежат, а здесь швед, хороший камень, дорогой...

Каждое утро этот старик открывает ворота кладбища и на закате их запирает. Вход бесплатный. Посетителей нет. Целыми днями год за годом он бродит от гробницы к гробнице, протрет камень, перечитает надписи, посидит рядом, выйдет на берег, пересчитает волны, вернется, прогонит бычка, заглянувшего погастись, глянет на солнце, пора обедать. А харчевня в двух шагах, несколько столиков под соломенными крышами, как курени. Сядет, притушит сигару, рис ест, рыбу. Он в одном курене, мы в соседнем. А бычок между нами, то к нему тянет голову, то к нам. Вроде в море их хоронили, пиратов, да? А тут такие мавзолеи величественные. Даже у Тамерлана поскромнее, я видел, в Самарканде. И где – на краю земли, на пустынейшем из берегов. Датчане. Времена Шекспира. Доест, раскурит сигару, смотрит, как рыбаки возвращаются. И мы смотрим.

Идут из горизонта на этих щепках с домотканым парусом. Синие паруса и желтые, белых почти нет. В лодке пять-шесть рыбаков, стоя, всегда стоя, высота борта – до колена, а волны – выше голов. Самое опасное место – горловина залива, волны лютуют, пена, грохот. Мы как раз напротив сидим, над обрывом, смотрим. Лодки выстраиваются дугой – от горизонта к той первой, которая приближается к горловине. Теперь у нее секунд десять на то, чтоб убрать парус и поймать волну, которая ее перекинет через это грохочущее месиво и, слабея, протащит дальше – на спокойную воду залива. Лодки, одна за другой, выходят на эту исходную точку и – одновременно – взмывая с волной к небу, срывают парус. И исчезают в гребне, в пене. Нет их. И возникают, всплывая, – по ту сторону океана, в заливе. Сидим, смотрим. Одна, другая, пятнадцатая...

А за углом – конец той улицы, где дорога прядает влево, видя тех рыбаков, всплывающих. И на углу стоит чернец за прилавком, сок продает свежесжатый. Сын, лет двенадцати, ему помогает. Отец молчалив, не улыбается, никогда. Сын еще не умеет так, хотя очень хочется походить на отца. Глаза выдают. Да и улыбка, когда отворачивается. Пьем у них дважды на дню. Сейчас они лед колют, большой брус. Отец колуном машет, а сын собирает куски, осколки. Они уже знают, кому какой наливать. Да, тебе безо льда. Знает, ресницами улыбается, дрогнули, на пятый день.

Идем, сворачиваем в переулок. Старый баньян растет, под ним муравей сидит, книгу читает. Близорукий, в больших очках, почти носом водит по ней. Утром шли – в той же позе сидел. У колонки девушки набирают воду, в очередь, во рту щетки зубные. Отворачиваются застенчиво, взглядывают украдкой, одна через другую, а щеток изо рта не вынимают. Пифия местная, идет-поет, на голове корзина, из нее рыбий хвост свесился. Нищий квартал – рис на костре готовят, огромный чан, на всю округу, пересыпают его из одного в другой, паром всех заволакивает: там руга, здесь голова, не от этих рук, развеялась пелена – под тобой дети сидят, как под елкой.

Океан за хижинкой, как тот чернец, – бос и черен, колуном машет, улыбку прядет. А сын лодочками играет у него за спиной. Обернешься – холм; то есть, то нет. На холме ковчег, цветными флажками украшен, детскими. Орлы над ним – все его прихожане, других нет. Зигзаги лестниц, на белую нитку. На ступенях козы, длинноногие, одинокие, фотомодели, вдаль глядят пристально-затуманенным. А у подножья затон в зарослях. Переливчат, как нефть на солнце. Купальня буйволов. Лежат в ней, тихие, в лотосах, принимают грязь.

А левей, в стороне от мира, отель. Никого, кроме нас, в нем. Тишь, беседка уединенная, вид на берег и океан. У двери горшок, в нем растение живет. Диффенбахией ты его называешь. Просыпаешься с легкой улыбкой и, не открывая глаз, шепчешь мне в шею: еще полежим немножко, мне тут досмотреть надо, потом встану, полью свою диффенбахию и пойду к океану.

Хорошо нам здесь, любушка, как нигде. А спроси – почему, что в деревушке этой такого особенного, – не приложишь ума, что ответить. Как-то в пору она нам, именно в эти дни, так в пору, что и не чувствуем, что в нее одеты. В пору и по душе. А еще знаешь, что хорошо? Этот пустынный, пустынный берег – в обе стороны, до горизонта. Песок, песок и волны, накатывающие на него. И мы, далеко-далеко, вон под той лодкой полузанесенной на берегу.

Как же мы здесь оказались? Случай. Взял за руку и привел. Правда, мы и не упирались. Помнишь, еще в Какинаде, километров триста отсюда к югу, такой же пустынный берег, волны, лодки вдали, паруса. А на песке фигуры стоят: табунки женщин, мужчин, облущенные, расколотые, голова к воде откатилась, чайка об нее клюв чистит. Ветер песок метет, приоткрывает одних, других

заметает. А эта девочка с птичьим лицом – вся белая почему-то. Так задумана? Или о ней забыли на полпути к воплощению? Лежит на спине, ладони свела у лица. Точней, одну. Другая рядом лежит, песок в ней шевелится. Идем, никого вокруг, только ветер песчаные вихри крутит – то здесь, то там. Ветер, и этот мальчишка в лохмотьях, вьется вокруг, тербит за локоть, денег просит. Дали. Не отстает, второй час уж. А так хотелось вдвоем побыть – сейчас, сегодня, когда узнали... Бублик. Чудное имя. А ты, значит, Бубликоносец, да? Смеешься. А он все вьется, кланчит. Взял палку, провел линию перед ним на песке. Стал, смотрит на эту черту. А я ладонями пасы делаю вращательные, лицо сурово. Отошли, обернулся: а он все стоит перед той чертой, как вкопанный. Видишь, говорю, чистая магия.

Или это в Янаме было? Тоже хорошее имя – Янам. Маленький городок неподалеку от Какинадой. Такой же берег пустынный, устье реки. Река называлась. Легли на песок, накрылись шалью твоей, спим. А случай в ногах сидит, карту разглядывает. Вот, Ришиконда, триста километров отсюда, Бенгальский залив, холмы, горы. Курорт для местных. А дальше – Орисса, как раз по пути нам, туда – на север. Орисса, говоришь, и Россия – хорошо рифмуются, да?

Сели в автобус, приехали в Ришиконду. Отели, террасами взрезающие горы над заливом. Ужас. Как на открытке какая-нибудь Хорватия лет через десять. Вышли на дорогу, уже вечерет. Возвращаться не хочется, а впереди что? Смотрим в карту – а ничего там, тонкая линия вдоль побережья, а куда ведет? Очень мелко. Можешь прочесть? Да. Бимунипатнам.

Стоим под деревом у дороги, голосуем. Машин мало. Скользнул взглядом по стволу дерева: ящик на нем висит. Похож на почтовый. А на нем написано: для пожертвований. А ниже: презервативы, которые вы решили пожертвовать, опускайте вот сюда. И, пожалуйста, заполните следующие параграфы. И ниже – расчерчена таблица: имя, количество штук, дата, подпись. Нет, ты неправильно прочла. Наоборот: это какие-то миссионеры жертвуют, а пользователи заполняют анкету. Вот так чудеса у лукоморья. Поднимаем взгляд выше, а там лицо человека в бороде и цветах, Рави Шанкар, написано. 7 января, 21.00, холм № 9. И тут как раз автобус тормознул и подобрал нас. Вовремя. А то бог его знает, что там еще могло быть, на этом дереве, повыше.

Борхес в «Синих тиграх» пишет: мы полагаем, что индусы избыточны. Особенно это «мы полагаем» в устах Борхеса, да? Как у Кафки: мы, китайцы, строители Великой стены... Правда, уже через несколько строк Борхес забывает и об индусах, а потом и о тиграх, и погружается в математические изыскания. Мы тоже полагаем, что это дерево было избыточным.

А через несколько дней нам попалась на глаза местная газета, с первой страницы глядело то же лицо. Его святейшество Рави Шанкар, девятый холм. И телефон для справок. Послушать легендарного музыканта, да еще и в Рождество, на ночной горе над Бенгальским заливом, – почему бы и нет. Звоним, называемся журналистами, просим аккредитацию. Да, конечно, с радостью, говорят, ждем. Взяли рикшу. Дорогу, говорим, знаете? Еще бы. Какой же индус скажет: нет. Проехали с ним километров десять. Всё, говорит, пересадка. И передает нас другому рикше. Еще с полчаса трясемся по каким-то пустырям, и снова пересаживаемся в следующую бричку. Последний, четвертый рикша колесил уже безоглядно – по горам, полям, дорогам, без остановок, потом резко заглушил мотор и ушел в перелесок, весь взволнован. Вернулся с мальчиком, тот немного говорил по-английски. Но переводчик уже был не нужен. Вдалеке, в стороне океана, мы наконец увидели этот холм, к которому отовсюду текли люди, коровы, машины, повозки, лимузины, полиция, скорая помощь...

Еще на поддороге к вершине холма мы отпустили рикшу и пошли пешком, стиснутые со всех сторон густой толпой ходоков. Казалось, вся Индия тронулась с мест, чтобы увидеть Его Святейшество Рави Шанкара. Вот что значит быть талантливым музыкантом в этой стране, думали мы, обводя взглядом стадионное поле, залитое прожекторами, сцену, утопленную в цветах, и десятки тысяч людей, сидевших на земле в ожидании. Пробрались к сцене поближе, сели. Слева мать с грудным младенцем, справа старик с пуховым лицом. А вон отгороженный правительственный угол, вельможи с женами и детьми. Странно все это. Женщины в униформах раздают бумагу и карандаши для записок.

С той минуты, как на сцену вышел Рави Шанкар, мы окончательно перестали что-либо понимать, все еще надеясь, что это – обман слуха, зрения, памяти... Особенно – когда он, в пышных веригах цветов, прервал свою сладкую проповедь и вдруг запел, и весь холм, сведя ладони и раскачиваясь, вторил ему на тысячи голосов. Тщетно мы искали глазами ситар за его спиной и вглядывались в его лицо – но мало ли как меняются лица с годами, тем более, здесь, в Индии. Когда же, после его многократно повторенной мантры счастья: «Голова – пуста, сердце – полно, руки – заняты», холм впал в долгую медитацию, мы потихоньку начали выбираться оттуда.

Да, подтвердил нам человек из охраны, уже во тьме, на выходе, да, это Его Святейшество Рави Шанкар. Какой музыкант? Впервые слышу. Может, однофамилец?

А потом, на следующий день, когда ты полила свою диффенбахию и мы шли к океану, я говорю: давай попробуем, может, получится, да и волны сегодня, смотри, поспокойней. К рыбакам спустились, на пальцах объясняемся, на песке рисуем. Нет, по заливу мы не хотим, тем более на моторе. Берег рисую, волны и парус на горизонте, – вон туда. Нет, покачивают головой, нельзя: отберут лодку, лишат работы. А кто, спрашиваю, может решить. Начальник порта. А где ж порт? Разводят руками: нету. Лет двадцать уже как нету, смыло. А начальник – вон над обрывом домик, там он. Подошли. Дом зарос плющом – ни дверей, ни окон. Точней, полдома. Вторая съехала по обрыву. Нет, рыбаки машут с берега, правее. А что правее? Флигель? Да. Комната голая, стол, три стула и карта на стене, старая, выцветшая: ветры Бенгальского залива. За столом начальник. Костюм, галстук, лысина. Поднимает глаза на нас. Грустные. И улыбка – тоненькая, как лекарство пьют. Вот такие дела, говорит. Вышли.

– Слушай, – говорю, – это, конечно, дико звучит, но не съездить ли нам в зоопарк? Почти кощунство в Индии, да? Но черт его знает. Тем более странный такой – вдали от города, на полдороге к нам. Да и город-то не из тех, откуда ломятся в зоопарк, – верфи, доки...

Едем, а по пути жучишь меня, сетуешь:

– Нашел кому предлагать заплыв – кто быстрее.

– Ну да, он же думает, что мы ни плавать не можем, ни посуху ноги переставлять.

– Перестань, ничего он не думает. Разве ты не заметил – это дым был, дым в форме человека, погасшего двадцать лет назад.

– Вот, – говорит рикша, – приехали, вас подождать?

– Нет, мы надолго, на всю жизнь.

Хороши шутки, так оно и могло обернуться.

Людей нет. Но и животных не видно. А что ж перед нами? Нужно только немного любви к миру, чтоб сочинить такое. Любви и понимания своего места в нем, скромного. Тишь, лес, ни клеток нет, ни вольеров. Джунгли, тропы. И у каждого зверя простор, огороженный еле заметным препятствием. Ров, вода, камень. Разве ж это преграды? Как это высчитано, кем? И спросить не у кого, нет служителей.

Невысокий песчаный обрыв, сели на край, ноги свесили. Сумрачные деревья. Нильгау. Вышел, смотрит. Ветка ему мешает. То вверх нее всматривается, то вниз шею тянет, до земли, и оттуда глядит. А мы не двигаемся. Выпрямился, чуть отвел голову, думает. Подошел ближе. На груди у него хохолок, как плавник меховой. Полумесяц, ты говоришь. Будто воткнувший в грудь полумесяц. Да, а свет от него внутрь течет, внутрь этого темно-синего облака.

Помнишь, тот самонадеянный демон, которого ты знала до Индии, пел тебе: наживкой для лова единорогов являются, как известно, девственницы. Простоволосую отроковицу наживляют на росное поле в предутренней дымке. Они лежат на спине, разметав руки в восходящих потоках своих сновидений. Он приближается, сведя глаза на мушке своего певчего рога и, опускаясь на колени, кладет свою белую влажную голову, весь тягучий ее меловой период на подрагивающие, туго сведенные лебяжьи крылья ее бедер, и зашелкивает свой горящий конфорочный глаз. Так он пел тебе, да? И где он теперь? Косишься на меня. А тот все смотрит через плечо, покачивает головой, не уходит.

На кого ж он похож? Зрительно – где-то между мустангом и жирафом. Будто синеватый утренний свет стусился в этом призрачном промежутке. Но думать так – значит допускать, что это существо как-то связано с происхождением видов. Может, и связано, но не так, как мы. И всегда одно ходит. Как чудо. И пока поэты, рыцари, каббалисты и прочие ересиархи духа бредили им, искали его днем с огнем, оно все эти тысячелетья мирно бродило по Индии, смотрело сквозь ветви на крестьян, собирающих рис, и те поглядывали на него с краткой улыбкой и возвращались к своей работе. Вот – стоит, смотрит. На тебя. Как на чудо. Знаешь, такое чувство, когда он вот так смотрит, будто в книге мира была страница, может быть первая, навсегда исчезнувшая, и он единственный ее свидетель. Или сам он эта страница? Ни слова на ней – темно-синий пробел.

Идем по тропе. Лисицы шнуруют стволы в перелеске. Остренькие улыбки, похехивающие. Помоешницы! – шепчешь с придыханьем на втором слоге, аж на цыпочки встала от удовольствия. Что-то у тебя было с ними, в твоих прошлых жизнях, а? Глаз не отведишь. Лисы и сурикаты, помоешницы и часовые любви – вот кто тебя встретит в Судный день, дружки твои. А за буреломом кто? Дремучая голова, тяжелая, до земли, шукура. Повернулся, уходит. Чулки белые, котурны, а попка – как у штангиста. Гаур.

Где же на карте были змеи отмечены? Кажется, здесь. Озираемся. Никаких помещений. Поляна. Несколько рытвин. Подходим к одной из них. Кобра, написано на табличке. Где? Яма, метров десять в диаметре и глубиной полтора. Дно ровное, трава, песок. А посреди – деревце, невысокое. Если стать у края, крона его на уровне глаз и чуть дальше, чем вытянутая рука. Ни стекла, ни изгороди, просто яма с деревцем. Обходим ее, вглядываемся. Вот они. У ствола, под корнем. Две, переплетенные, неподвижные, едва различимы. Хочешь сфотографировать. Сели на корточки на краю, ищем ракурс.

Идет по тропе, худенький, в брезентовой робе, на плече грабли. Приблизился, что-то говорит на телугу. Руками разводим, не понимаем, показываем, что хотим снимок сделать. Спрыгивает вниз, сует грабли под дерево, зацепил, тащит. Слава богу, хоть деревянные грабли, не металл. Это потом доходит. А тут стоим в оторопи. Выпрастываются из зубьев, вскидываются, вскипают. В шаг от его ног. А он оборачивается к нам, машет рукой мне, мол, спрыгивай, хороший снимок. Нет-нет, отмахиваюсь. А он все спиной к ним, давай-давай, и как бы шелкает камерой у лица. И тут, я уж не знаю, как, зачем, спускаю ноги в яму, ты меня за ворот хватаешь, оттаскиваешь. А они взвились – одна напротив другой, и стоят, вибрируя, как под током, не сводят друг с друга глаз. И та, что чуть покрупней, резкими бросками жалит ее, меньшую. Жалит, не открывая рта, кажется, в миллиметре от ее запрокинутого горла. Холод в глазах, как азот, и слюной давится. А эта, меньшая, медленно отводит голову, затылок ей подставляя. И та сверху вниз кидается, гасит губы свои о ее капюшон. Нет, в миллиметре. Служитель все еще спиной к ним, в шаг.. Ну что? – на камеру кивает. Обернулся, ткнул в них грабли, отбросил их друг от друга. Выбрался из ямы, отряхнулся, ушел.

В себя приходим. Одна – все еще там, внизу, в той же стойке, лицом к стволу дерева. Как к стене. А второй нет. Вглядываемся в крону, в каждую ветку. Нигде нет. Смотрим на ту, у ствола-стены. Стоит. Лицом в стену. Взглядом в нее, в упор. Мел на капюшоне, полустертый, как на школьной доске. И никого за спиной. Сад, окна, птицы поют..

Вот она, шепчешь, и отводишь назад голову, и меня осторожно оттягиваешь от края. Вот она, на расстоянии руки, в листе, заплелась вокруг ветки и смотрит на нас оттуда. Два холодных немигающих глаза. В спину глядят, уходим.

Тропа в зарослях, сумрачно, сыро, маленькие болотца. Так бы и мимо прошли, не заметив. Крокодилы. Лежат неподвижно, разинув пасти. Ни шороха. Лист упал, и опять тихо. И вдруг – ветви раздвинулись, человек вышел с тачкой, катит ее впереди себя. В такой же робе брезентовой, но не тот, постарше. Разбрасывает куски мяса, а те лязгают, схлопывая, и вновь неподвижны, лежат с куском, защемленным меж зубов. Быстро петляет меж ними, едва ногой не касаясь, в рабочем темпе, разбрosal, скрылся в зарослях. Тишь, ни движенья, как нарисованные.

Маленький черно-белый барбос с бородкой выбежал из кустов, огляделся, засеменил к ближнему, матерому, тянет у него изо рта, упираясь лапами, скользит по траве, а тот смотрит, зрачок – как щель для монет. Отнял, уволок.

Вышли из сумрака. Львиный рык, где-то рядом. Свернули с тропы. Вот он, точнее, она, шагах в десяти, лежит под деревом, лицом к нам. Вот здесь мы и остались с тобой до конца дня. И все, что мы видели в то утро до этой минуты, тихо снялось с мест в памяти и отступило. И тот медведь, который сидел, привалившись спиной к дереву, и трудно дышал, держась за сердце, один, на берегу пруда. И белый тигр в траве, на боку, как рыба мороженая...

Лицо этой львицы, взгляд ее втягивал в себя так, что уже не оставалось ни места, ни сил ничему другому. В глазах ее были моча и пепел, конец книги царств. Если б они смотрели с болью, эти глаза, с тоской, гневом, ненавистью – с любимым из чувств. Нет. Даже тупой усталости не было в них. Они глядели с того света, хотя все еще из этого тела – дряхлого, разлагающегося, на все никак не подкашивающихся лапах. Запекшиеся, одутловато-рвотные черты лица. Позевывает, и язык завинчивается над ней в длинный лиловый бант. Привстала. Живот волочится по земле. Стертая бесприютная шкура елозит по ребрам. Но и под ребрами – чуждое все, проклятое, чужое. Исподлобья глядит, желтыми заволоченными. Течет сукровица, запекаясь в шерсти. Смрад лица. Кажется, даже мухи пьются в воздухе. Демон, выродившийся, затравленный, вмятый в грязь сапогом. Нет, хуже. Что-то в этом лице было страшнее всего, что мы до сих пор знали.

Жизнь, ты сказала. Жизнь, накачанная санитарями, вздувшаяся, с заплывшим лицом и мутным взглядом. Жизнь, понимаешь, не ее, не наша, – жизнь вообще. Вот что.

Да, это были гуджаратские львы, вымирающие. Их осталось всего на свободе не больше сотни. Там, прижатых людьми к океану. Дюны, ветер, песок. Падшее царство. Остатки династии. Жмутся друг другу. Лижут дохлую рыбу. Высолы на лице, язвы. Дети с лицами стариков. Свет в глазах тлеющий, трупный. Кровосмешение. Распад.

Солнце уже гаснет, а мы все сидим, не отрывая взгляд от ее лица. И она смотрит на нас, землю скребет под собой, в горсть сжимает и отпускает. Кажется, смерть и жизнь по сторонам от нее – припадают к ней и отшатываются. И ей головы не поднять, исподлобья глядит, скребет землю: в чем моя вина?..

А вдали, под деревом, царь лежит, на нее смотрит. Ни ее не видит, ни нас, ни леса. Лежит, положив голову на лапы, как костер разворошенный.

Сколько же мы сидели там, часа три-четыре? Их двое и нас. А потом она встала, пошла к нему. Как на костылях. Ошибаясь ими, пошатываясь. Голова до земли свесилась, живот волочится. Обернулась. И ни санитаров уже, ни души в мире.

## 5.

Я очень взволнован, лобушка. Я нашел своего бога. Он у меня был, я помню, в детстве. А потом, года в три, видно, я как-то отвлекся. И он тоже. А теперь – вот, я узнал его. Такое счастье. Он здесь, в Корапуге, на другом конце света. Как и твой шарик. Ты тоже нашла его здесь, столько лет спустя, целую жизнь. Волшебный стеклянный шарик с маленьким перышком или паруском внутри. Он выкатился из твоего мира, примерно тогда же, когда и мой бог. А теперь нашла и так же взволнована, как и я.

Шарик, он ведь тоже бывает не меньше бога. Но о нем легче сказать. Просто гуляли с тобой по улочкам Корапуга, вышли на окраину, а там цыганка из племени дурва сидит на обочине, всякую всячину продает по одной рупии. Целая горка этого милого хлама, цветной мишуры. А мы что? Идем, разговариваем? О Пушкине, например, да? Быть атеистом, он говорит, так же глупо, как и верить, что мир стоит на носороге. Ум хочет с Богом быть, ищет его, а сердце противится. Лет двадцать пять ему было. А потом скажет: главное в жизни – семья, дом, религия. Что-то ты привираешь. Ну, религия точно. И семья, кажется. Или дом. А сердце противится – зачем же ему двоебожие? И тут ты вдруг замираешь, глядя в одну точку. Шарик, шепчешь, шарик... Даже не



шепчешь, голос пропал, только дышишь так: шарик, шарик. И не дышишь, спугнуть боишься. И как ты его заметила в этой свалке вещей? Может, два взять? Их два у нее, одинаковых. Нет, испуганно покачиваешь головой, нет, он один, он может быть только один. Взяла в ладони, смотришь, к глазам подносишь, по сторонам озираешься и опять на него глядишь. Ну надо же, я такой тебя еще не видел. Идешь, светишься, достаешь, смотришь, прячешь, потом вдруг спохватываешься, ищешь... И перед сном шепчешь туда, в кулачок, кладешь под подушку. Это он, понимаешь? Не точно такой же, а он. Тот, который был у меня в детстве. У меня ж ничего и не было, кроме него. Ну еще буденовка. Вот и все, понял? Ну тише, тише, я все понял. Что ты можешь понять, маленький человек? Могу. Конечно, могу. Уже второй день. С тех пор, как нашел его, своего бога.

А как я пришел к нему? Как мы здесь оказались? Вначале был Янам. Потом Какинада. Потом время из одного стало двумя, это уже Бимуни. Я не могу поверить, говорит Сократ, что двойка получается из сложения двух единиц, и судить не решаюсь о разделении единицы на два. А потом железнодорожный поезд под облака, и сквозь, и над. И на самом верху – 49. Зеркало, огонь, а между ними – станционная старуха Симург. Шла, закрученная, как улитка, в тяжелых, перевешивающих ее очках, а внутри нее, казалось, летели все старухи мира, во все его времена. А потом таборный поезд вниз – от землистых небес с их толкотней к синеве холмов в утренней дымке. Последний вагон, куда никто не садится. Никто, кроме женщин племени дурва. Они останавливают поезд посреди поля и закидывают в этот вагон огромные тяжелые мешки с рисом, зерном, бобами, как пуховые подушки. Мешки по всему вагону, до потолка, а на мешках – женщины, полуголые, полыхают. Уже Орисса, та, что в шашки букв играет с Россией. Маленький городок Корепут посреди голубых холмов, волошинских. Гора за углом, на ней храм: белый рубленый камень с утопленными в него черными барельефами. Будто в родинках. Джаганнат. На пороге двери голова лежит. А тело внутри храма, в тени. Глаза прикрыты. Лежит, в крохотный барабан постукивает. Полдень, никого вокруг. Облака плывут, башню лижут. А по периметру подворья, спиной к обрыву, лицом к храму боги стоят в нишах. Зарешеченных. А замок внутри, а ключ во рту, сами знают, когда их час. Стоят, смотрят на тебя, обходящего храм, передают взглядом тебя друг другу. Много их, кольцом стоят вокруг храма. И все они вместе – один.

Вот здесь и закончить бы, да? Молчание. А как о них скажешь? Чем? Или слова, или бог. Это там он был словом, в той больничной религии. И с чего это ему за нас жизнь отдавать, за нас, а не муравья или куст сирени? Такие цацы? А вот в Джаганнате – и муравей, и мы, и куст сирени. И взвинченная радость жизни. Но в напряженной тишине, зловещей. Там шаровые молнии в нем ходят, как церемониймейстеры, в пустынных гулких залах, и свет густой клубится, там, под маской. А с виду – кукла, пугало, пришелец, цыганским золотом расшит, плюмажи, бисер, мишура. Стоит, тарашит очи и нож улыбки прячет, но так, чтобы ты видел, где лежит. А сам сияет, весел и любим. Мол, я не я и песня не моя. Так, примерно?

Машешь руками на меня: ай-яй-яй, как не стыдно. Ты же бога своего нашел. Скажи просто. Скажи так, как ты смотришь на них, глаз отвести не можешь, от всех сорока, или сколько их? Скажи так, как ты приплясываешь, с этим, прости, блаженно-идиотичным лицом. Надо же, я тебя тоже таким никогда не видела. Начни с того, какого роста они. Ниже среднего, так? На кого похожи? На людей? Животных? Ну так я же и говорю: ряженные марсиане с совиными глазами, серебро, золото, цыганская мишура. Нет, ты говорил: самоварные бабы небитыя. Вот-вот, но веришь в них больше, чем в самого себя. А еще ты сказал, что они похожи на сыны Параджанова, снящиеся Кустурице. И еще, что в этих снах и Гофман с Андерсеном, снящиеся Кецалькоатлю, и вообще все сны мира, на медленном огне. А который из них твой? Вот тот – из нежно-зеленой глины, завернутый в простыню, как Катулл в бане, губы цветочком, а глаза распаренные? Или этот Али-баба в юбке, сверкает, весь в сокровищах, поперек себя шире? Нет? А ты просто скажи, чтоб понятно было, наглядно. Что это фигуры, куклы, скажи. Уже говорил? А елки, а золотые шары, а волхвы, звездочеты, цари и злодеи? И где черевички? Теперь хорошо. Теперь ты уже ничего не сказал, всех запутал. Особенно с Джойсом. И счастлив. Иди с богом.

Так мы и проводили дни. Не успев открыть глаза, ты уже тянула руку из-под подушки, разжимала ладонь, а в ней шарик. А я уже натягивал штаны спросонок, прыгая на одной ноге, и мы спешили на гору, к бегу.

Вот, кажется, я понял, в чем дело. Все, с чем человек сталкивается, затрагивает те или иные его эмоции, чувства, да? Но не бывает так, чтобы затронуты были сразу все одновременно, да еще и в равной степени. Любовь, страх, радость, тоска, гнев, грусть, смех, отчаянье, стыд, гордость... Все, одновременно. Вряд ли. А как же тогда говорят: вся гамма чувств? Преувеличивают. Вот и я так думал. Пока не увидел их. И что удивительно – чувства звучат все, а тональность светлая, радостная. Это потому что ты смотришь как художник, эстетически, отсюда и наслаждение. Ну да, а как же мне еще смотреть на этих ряженных духов, пришельцев святочных? Еще есть вера, этика, много чего. Ты же на убийство не будешь смотреть как художник. Можно, конечно, но это уже пафосно. А ты на шарик свой как смотришь? Этически? Или религиозно? Чудесно смотришь. Как я – на этих небесных цыганских баронов. Ты только глянь – еле сдерживаются от смеха, а надуты, как смерть. Да-да, говоришь, и губы в крови. Где? Вот у этого, слева от твоего.

А голова все лежит на пороге, то прикроет глаз, то посматривает, бубном обмахивается. Трусики свои ты вывесила сушить в гостинице, а мы съехали наутро и забыли о них. Любимые, одни у тебя такие. Может, бог с ними? Вынула шарик, смотришь. Ладно, говоришь, но тогда купи яблоко, что-то снова меня мутит. Может, домой пойдем, полежишь? Да. А я к Патаку схожу.

Шри Патак – главный лесник края, как Нарасимха в Варангале. Стена, проволока, камеры слежения. Информация для внутреннего пользования, карты, статистика. Сдвинули на край стола, а сами с карандашами, третий час рисуем следы зверей. Как определить след медведя на сухой траве? Чем отличается помет леопарда от помета тигра? А гиены от обезьяны? Рисуем помет. Сравниваем. Как определить давность следа – например, два часа назад и четыре? Зовет помощника. Несут папку № 19, «Помет млекопитающих», находят страницы, ксерокопируют. Сверяем с нашими рисунками. Ты бы видела эту картину. Ворох бумаг: следы, помет, цифры, стрелки, диаграммы, а над ними двое полулежат на столе – тучный распаренный индус с галстуком на плече и худощавый русский в майке «Умственные эпидемии».

Дни двугорбые, с холма на холм, а меж ними базар, на окраине, где дурва и койя торгуют. Жара, пыль, товар на земле горками – фрукты, овощи, а за ними женщины сидят с капустными листьями на головах, живопись. Я видел фламандцев, но это лучше. Когда свет помягче, часам к пяти. А потом идем в Джаганнат на вечернюю. По той улочке, где имели неосторожность спросить кипяtilьник в лавке электрохлама. Хозяин, ты его Йгги Попом прозвала, а для меня он ковбоем был, такой пожилой ковбой-неудачник навеселе. Шляпа с полями, рубаха, завязанная узлом, широкий клепаный ремень, брюки клеш, остроносые туфли, а сам индус. Всё пытался вскочить на незримую лошадь и мчаться домой за кипяtilьником, но промахивался мимо лошади, отряхивался и говорил: дэфинитли туморроу, сикс о клок. И еще вослед нам кричал через всю улицу: дэфинитли, дэфинитли! Так я его и звал – Дэфинитли. А ты Йгги Попом. И каждый день эта сцена повторялась. Идиот, кричал он, завидев нас еще издалека, идиот, и швырял свою шляпу оземь, и бил себя кулаком в лоб, идиот, забыл! Дэфинитли, вопил он уже в спину нам, во всю длину улицы, сегодня в шесть, как пить дать! Мы бы уже сто раз купили этот кипяtilьник в соседней лавке, но. Расписан расписание действий и неотвратим конец пути. Где-то у Бёлля был такой эпизод. Некий коммивояжер, поселившись в гостинице в глухой деревушке, заказал на ужин сыр с перцем, который вообще-то не любил, а может, и вовсе терпеть не мог, но в ту минуту как-то вырвалось у него: сыр с перцем. Необъяснимо. Наутро радушные хозяева, не дожидаясь заказа, опять подают ему сыр с перцем. И к вечеру сыр с перцем его уже ждет на столе. И так день за днем. Конечно, он мог бы, но. Да, говоришь, хорошая история, хотя в нашем случае, кажется, мы и коммивояжер, и хозяин гостиницы.

Идем, грызем яблоки, рыхловатые, не сезон. Только у одного продавца, там, на углу, сочные и с кислинкой. Как раз для тебя. Надо бы запастись на потом, а то все чаще немножечко очень сильно, как ты говоришь, тебя поташнивает, особенно на этой жаре. Зашли в этнографический

музей, жалкий, с кринкой для пожертвований. А рядом – ученая часть, домики с кабинетами. Сидят, пан жуют, в окно кровью сплевывают. О племени бонда спрашиваем. Что вы, что вы, отмахиваются, мы туда на ноги, очень опасно. А как же вы материал собираете, книги пишете? Жуют, сплевывают. Вышли от них. Вот те на, говорю, у них за углом то, ради чего этнографы на край света едут. А эти в стол уткнулись, ни шагу из кабинета. Может, пишут они, эти доктора наук, не о племени бонда?

Спросили у лесников, как добираться. Непросто, оказалось. Три пересадки автобусом, потом пешком – километров тридцать по джунглям. А ночевать где? С ними? Пока обдумывали, узнали, что в этот четверг у бодо базарный день в одной из горных деревушек. Тоже не ближний свет. Автобусы как повезет, а потом часа три пешком. Завтра.

Старуха Симург снилась. Помнишь эту великую старуху на пустынном перроне, а внизу текли облака? Один поезд в сутки, проходящий. И каждое утро она шла к нему. Голова свешена чуть ли не до земли, и эти огромные очки с телескопической диоптрией все время падали, она не могла их поднять, опираясь на палку, глядя на них почти слепыми глазами, в нескольких сантиметрах от этих очков. А потом садилась на асфальт перрона и водила у лица открытой вверх ладонью. Думали, нищенка, давали милостыню. Она кивала, улыбаясь, не видя и не слыша тех, кто склонялся над ней. Кому, чему она подставляла эту ладонь? Не людям, казалось, уже не людям. Снилось, что мы летим, летим, и эта вселенная, где летим световые годы, – ее лицо. И там, в самом начале мира, лежит – я и слова не подберу – не уязвимость, не открытость... Такая незащищенность, какая, должно быть, не знакома ни одной из форм жизни. Там начало. А иначе ничто на свете не могло лечь в его основу. Силы бы не хватило, крепости. А потом уже эта улыбка – облетающая, тополиная.

Три автобуса мы уже сменили и еще часть пути проехали в кабине грузовика, вшестером, потом он свернул в какой-то яр, а мы пошли в горку, полями-лесами, через мостки. Они сидели у тропы, в тени дерева. Три женщины с суровыми, чуть задымленными лицами, бритые головы украшены бисерным разноцветьем, шеи в тяжелых обручах – по числу лет замужних, а от шеи к ногам – яркие занавески бус, за которыми голое земляное тело. Спросили – можно ли сделать снимок. Да, кивнули. Не успели мы отойти, как они нагнали нас. Мутный взгляд исподлобья. Махуйя, наверное, шестидесятиградусная, древесная. Деньги. И ножом у лица водят.

Возвращались во тьме. Обессилели. Глаза обессилели – видеть, жить. Сидели на камне, весь день, в самой гуще базарной, смотрели, вглядывались. В эту задымленную жаровню женщин с мужскими лицами. Зачем? Чтоб остались в словах, в памяти? Зачем они ей, этой дикой, униженной, высосанной, нестигаемой красоте?

## 6.

Я помню разрозненное. Собственно, дней-то не было – затуманенные пробелы. А по краям – сумерки, утра. Может, оттуда туман? Белые утра, черные сумерки, а между ними размыв, как в акварели. Бумага влажная, шероховатая. Черно-белые дали, чувства, сны.

Помню избу с егерями. Сидят, покачиваясь на стульях, как бедуины. Небритые лица, блуждающий, заторможенный взгляд. Целыми днями сидят так в избе, молча раскачиваясь. А к ночи костер разводят на заднем дворе, в огонь до утра глядят. Не объясниться. Да и если б они говорили, то на бенгали. Вот лес, но туда нельзя. Можно – с проводником. Но его нет. Вот телефон, он не работает. Есть директор, но он в другом городе. Лес опасен, нужна бумага из министерства. Непокойно. Звери – да, но в основном люди. Нет, в лес не ходим. Убить могут, а вас выкрасть. Машины нет, разбита. Маленькая деревушка, стиснутая лесом со всех сторон. Черным, глухим. Под мутным, полиэтиленовым небом. Тропы, дороги, ведущие в эти леса, тихи и пустыни. Иди, куда хочешь. Но нельзя. У Кафки тоже все черно-белое, да? Помнишь ту притчу о страннике и воротах? Вся жизнь он идет к небесному городу – и вот уже видит его в проеме ворот, они открыты, но он все ждет, когда стражник его пропустит. Дни, месяцы. Просит его пропустить, а тот

молчит. И вот уже силы его оставляют. Почему? – шепчет он, умирая. Этот вход был только для тебя, отвечает стражник и запирает ворота.

Я помню первого человека, которого мы встретили в той деревушке. Покосившийся терем на окраине. Окна, двери забиты. Лесничество – вывеска на прогнившем заборе. Выглянул из-под крыши, показал рукой, чтобы мы обошли с тылу. Поднялись по шаткой лестнице. Стены разрушены, голые комнаты, мусор. Два стула, матрац в углу. Сидит, чай из термоса наливает. Пьем. Орнитолог, около сорока, издавела приехал, один живет здесь, уже два года. Стервятники его тема, особый подвид, который гнездится в этих лесах. Он и отвел нас к тому горкхе, у которого мы поселились.

Горкха, как его звали? Да, Таратапа. Когда-то все эти земли принадлежали им, горкхам. Тесак на боку, типа мачете, в деревянных ножнах. Самоуверен, коренаст, молодец, седой бобрик. В деревне его уважают, не любят. Слишком самостоятелен и зажиточен. Домашний ботанический сад с орхидеями. Комнаты для гостей. Разве они бывают? Да, лет десять тому здесь оказались два голландца, пили всю ночь – вот из-под виски бутылки стоят в тумбочке. Предлагает купить ножи, показывает, как вынимать из ножен. По Станиславскому. Вот, например, тигр, а вот здесь – я. Пригнулся, крадется, замер. Веришь? Теперь берешь вот тут, левой нельзя придерживать, пальцы срежешь, и – раз, вынул. И потом: хха! хха! Это он выпадает инсценирует, лицедей, – голова гордо поднята, тесак в ножнах. Вот и всё, говорит и добавляет шепотом, скороговоркой: я потомственный охотник. Да, думаю, хороший спектакль, особенно для тигра. А потом, когда мы в саду еду готовили, он все стоял, смотрел, и жена его из-за плеча выглядывала, в ухо ему шептала, цокала языком, а он отмахивался, и вдруг будто вспомнил о чем-то, исчез, вернулся с большой рогаткой. Вот, говорит, это еще лучше, чем нож. Смотри. Вложил камень, отянул резину, прицелился в небо между деревьями и отпустил. Так мы и стояли с ним, задрал головы, пока ты помешивала и снимала с огня. Все в роду у меня охотники, говорит, и вынимает ложку.

Я помню, как мы пошли в тот лес, незадолго до сумерек. Думали, чуть осмотримся и вернемся. Шли по пустынной дороге, печенье ели солоноватое. А на развилке стояла часовня, такая маленькая, что, наверно, стоять в ней можно было только пригнувшись. Кашлял там кто-то, надсадно-сухо и как-то по-детски беспомощно. Обошли вокруг. Одной стены нет, проломлена. И в проеме старик – тоненький, белый, в длинной ночной сорочке. Пусто внутри, голо, сыро. Даже огня нет, хотя лес – вот, рядом. Слон проломил стену. Вчера ночью. Бил, расшатывал, с корнем пытался выломать эту часовенку со стариком внутри. А зачем? Бог его знает. Двадцать лет здесь этот старик живет. Стоит в проломе, машет нам вслед кулачком с печеньем.

Я помню этот тяжелый свинцовый лес. Даже свет сквозь него не мог протиснуться. Только тонкие спицы в кронах. Тяжелые ветви, листья, не шелхнутся. И стоит непролазной стеной, будто за руки взявшись, плечом к плечу. Ни единого следа зверей. Но чувство такое, что все они там, за стеной этих зарослей. А здесь, на тропе, только патруль слонов, вот их помет, свежий, вот ветка надломанная. И тяжелая тишь, темнеет. А мы всё меняли тропы, сворачивали, и теперь уже смутно помним, в каком направлении дом, как к нему путь срезать, а возвращаться той же дорогой – поздно. Идем, какой-то просвет впереди, поле. Кажется, мы его видели – слева и вдалеке, часа три назад. Звук мотора. Оборачиваемся. Джип, черный, с фургоном. Инфернальный какой-то, жуткий, похожий на труповозку. Сбавил скорость и едет прямо за нами, в спину дышит. Отошли в сторону. Не обгоняет. Остановились, и он стоит, заглушил двигатель, стекла темные, ничего не видно. Еще метров сто прошли, тронулся, поравнялся, стал. Дверь открылась, человек вышел. Черные очки, лицо в оспе. За ним другой, третий, много. Семеро или больше. Не то что не держатся на ногах, а так, будто подошвы к земле приклеены, а тела раскачиваются из стороны в сторону, все семеро, вразной. Двое с ружьями, чуть позади, а этот, в очках, палец выставил, указательный, и водит им перед нами: ты и ты, мол, ничего не выйдет. А те четверо к кустам отошли, отливают. Идем. Не оглядывайся, говорю. Едут. Поравнялись. Стекло опущено, палец наставлен, целится. Пух! – стреляет, дует на палец, подымает стекло, объехали, газанули. Ждем, пока пыль уляжется. Ночь, лес, поле.

Еще – тот подросток, который сидел на крыльце во тьме, ждал нас. Подошел к нам позавчера на рынке и, узнав, что мы из России, так был счастлив, что дар речи утратил, так и замер с распахнутым ртом, схватившись за голову. Искал нас потом, ждал повсюду. В английском пугался, трудно было понять. Бубнил вниз куда-то, будто что-то высматривал там под ногами. «Один, один, папа нет, никто умер, никого не бояться, люди плохо, мама там, где нет никого, бог в животе, не бояться, один, один, рис, ничего, а вы из России, да, правда?» Лет двенадцать ему на вид. Двадцать два, оказалось.

Я помню, что и полгода еще не прошло, как умер отец. И не было с ним меня. Один уходил. И здесь никого не осталось, и там никого. Не к кому ему там идти. И на моем сердце камень, и он не меньший туда понес. А тронешь камень, и сыпется, сердце сыпется, защемленное, а он стоит, не сдвинешь. И там, и здесь. Я помню наш разговор. Последний. С другого конца света ему звонил. «Я с тобой», – говорю. «Слова, – ответил. – Где ты, а где я». Снился. В каком-то полуразрушенном доме. Сумрак, доски висят, арматура, куски стен. Ищет там что-то на чердаке, а я внизу, вижу его сквозь дыры в потолке. И он знает, что я здесь, но не смотрит вниз, ищет, перекладывает, бумаги какие-то, разрозненные листы. Я ведь и матери, когда он умер, не дал пойти в его дом, может, вещи какие взять. Она так порывалась. Не надо, говорю, его там нет. Затуманенные пробелы, размыв, черно-белые.

Я помню твое лицо, в утренней электричке, спишь на моем плече. Чай носят, держу два стаканчика, расплескиваются в руках, думаю, будить ли? Буди-буди, шепчешь во сне, не буди Бублика... Жаль, что отец не дожил, всего полгода. Может, будет похож на него? Вряд ли.

Я помню ночь в Джальдапаре. Кружили по лесу на джипе с Аджив Кумаром, директором заповедника. Он за рулем, рядом помощник с ручным прожектором, а мы на заднем. Ты первой его увидела – леопарда. Глаза сверкнули в луче. Лежал в низине. Пригормозили. Встал, смотрит. И нет его. Некуда было ему там деться. Просто перешел из одного состояния в другое. Не сходя с места.

А потом сидим на смотровой башне, в той стороне, куда не пускают, ночь, звезды, река во тьме, носороги фыркают в плавнях, за ними огни деревни вдаль. Аджив рассказывает, как недавно там леопард забрел в брошенный дом на окраине. Местные окружили его, вооружившись, кто чем, а он затих там, не выкурить. Пятеро егерей в джипе и врач. Винтовка с транквилизатором. Подъехали вплотную к дому, только приоткрыли дверцу, и вдруг – прыжок, и он уже в джипе, на горле егеря. Крик, кровь, оба хрипят, врач не может ружье нацелить, тесно там, и вдруг протягивает руку – ему, зверю, чтоб отвлечь. Тот смотрит, разжал челюсти, лапой вышиб ружье, и снова в дом. Залег, ни звука. С тех пор никто его и не видел. Такая тварь. Встает, берет фонарь, спускаемся, садимся в джип, тот самый. Помнишь?

Ну конечно, слоник! Сколько ж ему – месяц? Сирота, егеря поймали его, привезли. Стоит за плетнем, ноги слабые, подгибаются. А когда мы подошли, встал на задние, опираясь на изгородь, так щемяще, – думали, сердце у нас оборвется. Трогает наши лица хоботом, ему и держать-то его еще трудно. В ухо дышит, в щеку. Вдыхает. Переминается. Спустились к реке с ним. Он семенил за тобой и подталкивал сзади. Ты рвала ему травку, и он брал у тебя с ладони, разглядывая, и отправлял в рот. А потом взял букетик и на голову тебе положил. И смеялись, все четверо – ты, я и он – аж приплясывал от удовольствия, и тот мальчик, которому поручили присматривать. И еще один – надменно глядел издали, поверх высокой травы, взяв нас на мушку своего рога.

Помню, Чичиков ехал в бричке, читая теорию струн, помню туман и тебя в нем, и птиц – тех, с двухэтажными клювами, летели над нами, скрипели уключинами. Помню пальцы твоих ног, сны твои, которые были моими, но я их не помнил, пробелы, туман, может, нас там и не было?

А ты – что помнишь? Наверно, другое. Совсем другое.

## 7.

Очевидно, ад и рай находятся в одной точке. Для наглядности назовем ее Гувахати. Внутри нее – распределитель, зал прибытия и отправления. За пределами ее находится то, что мы назы-

ваем мир. Точку эту можно пересечь, не заметив: внешняя сторона рая является внутренней ада, и наоборот. Так что человек не чувствует никаких изменений. Тем более сидя в вагоне, завтракая, разговаривая, глядя в окно. Переезд длится минут двадцать, и еще минут десять стоянка в центре. Вокзал крытый, ничем особенным не отличающийся от других – те же перроны, толпы, тюки, запах мочи и металла, голос из репродуктора. Гувахати находится на въезде в землю Семи Сестер, в этот защем между Гималаями и Бангладеш, оставляя Индию за спиной, где заходит солнце.

Месяц тому назад оно как раз заходило, когда мы въехали в Гувахати. И вышли направо – в ад. Город, если это был город, передергивался склизкими кишками улиц, домов, людей, всей фантомной своей перистальтикой. Автобусы с висящими на них людьми буксовали в этой зловонной жиже, казалось, годами не сходя с места, объявляя следующие остановки. Дома стояли шеренгами, накренившись, глядя в плывущую под ними землю. Плывущую, как исход крыс. Канализации в этом кишечном завороте работала в обратном направлении, захлебываясь и затопляя улицы. Люди брели по колено в этом смраде. Люди. Это были не индусы. Но и не те, кто населял ближайшей земли. Люди, заглоченные живьем. Они еще подергивались той памятью – до поворота направо. Подергивали головой, когда мы спрашивали номер в гостинице. Нет мест. Ни в одной из пустующих. Подергивались мутными невидящими глазами, чуть приоткрытым ороговевшим ртом. Направо, все улицы вели направо, сжимая эти концентрические круги. Нет мест в аду. Пройдите дальше, кивали наместники.

Тяжкое снилось. Будто люди уходят. Нет, не вскрывают вены. Просто отказываются от зачатия. А как началось – неясно. То ли сговор такой, вирус разума, то ли религия новая, та, что чаяли, объединяющая. Непонятно. Не радость жизнь человечья. Если прямо взглянуть. От рождения до смерти – сколько их, этих пуговок радости? Именно что как пуговок на костюме. На том и держится. Пуговка Бога, пуговка творчества, пуговка власти... Инерция, инъекции, обесмысливание, усталость. Вялое сопротивление во сне. Как любое во сне насилие, – скован, будто тяжелой водой наполнен. И взгляд вязкий. Детей не будет, они решили. Чистенько, вежливо, не надрывно. С пониманием. А проснулся: твоя рука в моей, влажная, и лицо отвернуто.

Сели в автобус утренний, он все никак не мог из города выехать, будто подкатывал к горлу и слгатывался, возвращаясь. Ты у окна сидела, прижав к губам яблоко, только глаза вверх – в никуда. И вдруг что-то сдвинулось, тронулось, какой-то камешек под колесом, и поплыли поля, холмы, цвет, звук, воздух... И надо всем этим – небо, живое. Небо, ты прошептала в яблоко. И этот парень с пришедшим в движение лицом вдруг обернулся с улыбкой, протягивая удостоверение, мол, он тоже индийский солдат, хотя и без кителя, как у тебя. В Казирангу ехали. Месяц тому назад.

Месяц. Окраина Мариони, полицейский участок, зашли, рюкзаки оставили. Поезд у нас ночной, а пока, думаем, к Брахмапутре съездим, на паром, что полдня плывет на тот берег. Рикша, с лицом как скovyрнутый асфальт, мотнул головой, мол, поехали. Добрались, а паром от людей кренится. Нет, пойдем вдоль реки, к пустошам. Река студено-зеленоватая, длинные белые отмели. Одежду выстирали, развесили на кустах. Легли на песок, глаза закрыли.

Уф-фу, уф-фу... И тихие всплески. Что это, слышишь? Уф-фу... Gangetic dolphin, шепчешь, не открывая глаз. Да? – говорю сквозь сон, кладя руку на твой живот. – Разве не Бубликом ты его назвала? Очнулись, когда уже солнце садилось. А это они и были, марсиане среди дельфинов, рядом совсем, у ног.

Как, изумился тот ученый из «Маленького принца», который все ждал путешественников, чтобы писать с их слов, вы были в Гувахати и не видели золотых лангуров? Он даже привстал от волнения из-за стола, заваленного брошюрами и фотографиями седобровых гиббонов, которым посвятил свою оседлую жизнь в маленькой избе на краю леса в Мариони. Там, сказал он, подняв палец, в Гувахати, течет река Брахмапутра, на реке посреди города – остров, окруженный крепостной стеной, за ней – индуистский храм со священной рощей, где с давних времен живет семья золотых лангуров. Это едва ли не единственное на земле место, где их еще можно увидеть так близко и на свободе. Они стали почти ручными среди браминов. Моя жена как раз занимается зо-

лотыми лангурами, пишет о них, ездит на этот остров, который, кстати, почти непосещаем, город занят собой, а этот островок индуизма, в общем-то непопулярного здесь, стоит себе в стороне, омываемый рекой. Она о лангурах пишет, а я о гиббонах, встречаемся редко, на симпозиумах. Поезжайте, это редкий шанс их увидеть. Остров называется Умананда. С вокзала выходите на левую сторону города, потом рикшей или пешком до реки, наймете лодку – и вы там. А может, и по дну перейдете, сейчас в тех местах воды почти нет, минут десять ходу.

Да, ровно месяц назад мы впервые услышали о них, когда только подъезжали к Гувахати со стороны Бенгалии. Вагон на том перегоне был наполовину пуст, по нему шатался пьяный верзила со стесанным лицом неопределенного возраста. Подсаживался, хлопал по спине, развязно брался, заваливаясь набок.

Кумла! Кумла! – шли разносчики мандаринов. А вслед за ними: дой, дой, медодой! Что-то в маленьких кринках с бумажной крышечкой. Может, ряженка? – облизнулась. Ну да, будет тебе тут ряженка, тощие коровы с подростковым выменем, литр в день.

В купе, напротив нас – отец с сыном. Лесник, форменная пилотка со скрещенными саблями, маленькие круглые очки времен британцев, свет и печаль в лице. Лет шестидесяти, тихих сосновых лет, неяркое солнце, смола на стволах, запах хвои. И сын рядом, гибкий, ладный, лет двадцати, из той идиллии об отце и сыне, когда неразрывны, как лес и воздух. Обычно в семье речь переимчива – ритм, интонация, длина волны. А тут вроде бы ничего общего. У сына угловатые взволнованные периоды. А лесник с тихим и мягким голосом, будто рукой говорит, ладонью, вполкасанья. Даже казалось бы, что молчит, если б не это односложное «гха» с повышением тона и со знаком вопроса в конце каждой полуоборванной фразы. Будто в горле першит, но на деле – скорей от застенчивости. На кого ж он похож? На Индию, хотя совсем не похож на индуса. Как, наверное, Чехов не был похож на Россию.

От них мы впервые и услышали о золотых лангурах. Маленький заповедник в десяти километрах от станции. Даже не заповедник, просто лес на холмах. А станция – Кокрадхар, граница Ассама с Бенгалией. Трудно сказать, сколько осталось их на Земле. Меньше, чем нужно, чтоб выжить. Они мельче обычных лангуров, и меняют окрас по времени года – от светло-серого до золотого.

Вот, говорят, уже подъезжаем. Стоянка – всего минута. Большинство поездов промахивают эту станцию с наглую закрытыми окнами и дверьми. Тут и в мирные времена беспокойно, а в последние годы совсем худо. Но вы не волнуйтесь, если надумаете на обратном пути, вот телефон, встретим. Машут с перрона: обязательно, ладно? Будем ждать.

Месяц спустя ранним утром поезд подходил к Гувахати. Налево, теперь через мост над путями налево. Города не было. Нельзя так искушать человека. Таким чистым девственным светом нельзя. Чтобы даже время слегка отдавало жасмином, чтоб тишина сияла, чтоб жизнь вдруг проснулась такой молодой и счастливой, как до изгнания, – нельзя.

Если опустить ткань в черную краску, она чернеет не потому, что чернота переходит к ней от краски, но потому, что Господь имеет обыкновение при данных обстоятельствах продуцировать в ткани акциденцию черноты. Чего Он мог бы и не делать, и это было бы нисколько не более «чудом», чем обычный процесс, говорят восточные мудрецы.

Спустились к реке. Рёры мои рёры, зажмурилась ты, обнимающая меня на пустынном берегу, какой же ты худенький, боже, одни речки, как воздушный змей... А я – твое пузатое счастье буду.

Молочная была река, и берега утренние кисельные. Бредем по мелководью, сели в лодку посреди реки, плывем молча, лодочник на корме, подгребает за спину. Или это остров к нам подплывает, стены древние, лестницы, сад, и на вершине храм, садху сидит на пороге, чай пьет, шурясь на солнце, зовет внутрь. Нет, спасибо, налево идем, к склону горы, деревьям.

Вот они. Прохаживаются по ограде, поглядывая на нас с якобы безразличием, будто высматривают что-то вдали. Мать с детенышем под мышкой, юноша с задумчивым лицом и, похоже, вожак в золотистой дохе. Протянул ему мандарин. Взял, поднес к глазам, повертел, понюхал, отложил в сторону. А в котомке у нас бандердима, древесный плод, с виду похожий на дикий гранат,

гиббоны его любят, мы и везем его из того леса. Взял медленной рукой, как антикварную вещь оценивает. Пошел веткой выше, обдумать. Другой приблизился, сидит в расписном охристом шлафроке, смотрит, чуть склонив голову набок: пушистые бакенбарды и лицо, в улыбках света напоминающее то Андерсена, то Пушкина. Когда б не хвост – длинный, искрящийся, как зимняя солнечная дорога.

А чуть ниже по склону – чайная под тенистым деревом. Пьем наперстки, на реку смотрим, а в ветвях – дети, перемазанные пирожными, играют листьями на ветру, солнце встает, лодки плывут, а у ног кошка, семицветная, перекачивается в мурлычной пыли. И ты, Пятница, положила голову мне на плечо, и не ждем корабль.

Вернулись. А город – цветы и книги. Шелест страниц, манускрипты благоуханий. Книжная улица, цветочная, свернем налево. Детская. И на углу – карточный домик с вывеской на уровне живота: диагностика плода. Переглянулись, пригнулись, вошли.

Земляной пол, подвесной раковинник с пипочкой. Узкий коридор во тьму. Трое в очереди. Мужчина, похожий на того, пикассовского, но без шара и девочки. Женщина, поздняя, осенняя, с тем же дымком листовым. И школьница в сиреневой униформе на шлейках, с очень взрослым лицом и ладонью у губ.

Несколько шагов по коридору, дверь, каморка, и – маленькая Силиконовая долина. Здравствуйте. Доктор Хазарика. Ты лежишь на кушетке, мы припали к экрану.

– Вот, вот он, крутит, как на педалях, выкидывает колесца!

– Да, да! – привскакивает Хазарика, подталкивая меня под локоть, – а вот рука, забросил за голову, видите?

– Дайте взглянуть! – твой голос с кушетки, но мы не слышим, тычем в экран, вскрикиваем. Доктор так возбужден, будто это его ребенок. Приходит в себя, протирает очки. Минут сорок, говорит, погуляйте, пока он распечатает снимки и заключение напишет. А в целом – все у нас хорошо, тринадцать недель.

– Мальчик? – спрашиваю. Улыбается, то ли кивая, то ли покачивая головой.

Зашли в кафе, сели в углу, смотрим на них, со стороны смотрим на этих двоих, взявшихся за руки через стол. Значит, не непорочное. Значит, ее зовут Джайна, родительница, поскольку, как говорят индусы, муж, войдя в жену, рождается от нее вновь. А его – Путра, поскольку сын спасает отца от ада, носящего имя Пут. Значит, сын рождается от самого себя, говорят мудрые. Она смотрит на него, чуть сузив глаза, и еле заметно шевелит губами. Он прикуривает, взглянув на часы на стене, и опять берет ее руку в свою. Значит, Бог воплощается там, становясь все более смертным. Семь сантиметров, он думает, это сколько? Смотрит на свой мизинец. И она повторяет за ним удивленно, чуть оттопырив свой. Кто дерзнет назвать дитя его настоящим именем, шепчет Гете, тех, кто пытался, распяли или сожгли. Сережа, вдруг она произносит, Сережа... Да, а бабушку звали Рая. А дочь, которая у нее родилась, Майя.

Направо, теперь направо.



Марина ПАЛЕЙ

## Salsa for Singles (Сальса для одиночек)

Трагикомедия-триптих на троих\*

### Пьеса №1 ПРИМЕРКА

Действующие лица:

*Продавец секонд-хенда.* (Актер А)

*Женщина.* (Актриса А)

Магазин представляет собой большой ангар, полный разнообразной одежды. Она висит на вешалках, грудится поверх ящиков, коробок, она разложена на полках (под ними, рядами, стоит обувь); на стенах висят костюмы, экзотические длинные платья, боа, веера, шляпы. В ангаре холодно. Это видно уже по тому, что *Продавец секонд-хенда* одет в толстый вязаный свитер, горло его обмотано шарфом, на голове – шерстяная спортивная шапочка (которая, не исключено, также камуфлирует лысину). Он курит трубку, одновременно наводя кое-какой порядок на вешалках. Время от времени притоптывает, потирая ладони и пытаясь согреть их дыханием.

В стекле витрины, с наружной стороны, появляется прижатое лицо *Женщины*. Она долго рассматривает содержимое ангара. Звенит колокольчик. *Женщина* входит в магазин и, не замечая *Продавца секонд-хенда*, целенаправленно устремляется к пестрому длинному платью, которое висит на стене, противоположной входу. Задрав голову, внимательно разглядывает платье, чуть отступает, вновь подходит, шупает подол...

*Продавец секонд-хенда.* Чем я могу вам помочь, мадам?

*Женщина.* Я бы хотела примерить это крепдешиновое платье... Но оно...

*Продавец секонд-хенда.* ...висит слишком высоко... Да, конечно, мадам... момент... (*Поддевает шестом вешалку, снимает.*)

*Женщина.* Благодарю... Есть ли у вас примерочная?

*Продавец секонд-хенда.* О, разумеется... Вон там... во-о-о-он там... вот.

*Женщина.* Вот здесь? Вот это? Это – примерочная?

---

Марина Палей родилась в Петербурге. Дебютировала повестью «Евгеша и Аннушка» («Знамя», № 7 за 1990). С этого момента по настоящее время – множественные публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Урал», «Нева» и др. Вышло пять книг прозы в России и шесть – за рубежом. Участие в многочисленных российских и зарубежных антологиях. Проза переведена на английский, финский, немецкий, шведский, японский, итальянский, французский, нидерландский, норвежский, словацкий, словенский, эстонский, латышский языки. Сама она переводит поэзию с итальянского, нидерландского, греческого, английского и словенского языков, а также фламандскую прозу. С 1995 года живет в Нидерландах.

---

\* Автор подразумевает, что в триптихе заняты одни и те же актеры: двое мужчин и женщина.

Примерочная представляет собой грязноватый угол ангара, кое-как отгороженный занавеской. Правда, внутри стоит зеркало, хотя и без рамы. Но освещение – так себе.

*Продавец секунд-хенда.* У нас секунд-хенд, мадам... А притом одна только аренда такого большого ангара обходится нам...

*Женщина.* ...обходится вам недешево. Понятно... Ну ладно... (*Примеряя, тихо напевает что-то латиноамериканское.*) Ла-ла-ла, ла-ла-ла... Ла-ла-ла, ла-ла-ла...

*Женщина,* стоящая сейчас в примерочной, и *Продавец секунд-хенда* разделены занавеской (мини-занавесом). Дальнейшие сцены примерки происходят в ситуации этой разделенности и взаимной незримости. А зрителям видны они оба.

*Продавец секунд-хенда.* Ну как?

*Женщина.* Боюсь, нет... Не подходит. Чтобы втиснуться в такое платье, мне надо не есть, по крайней мере, восемнадцать месяцев...

*Продавец секунд-хенда* дружелюбно хмыкает.

С благодушным видом начинает раскуривать трубку.

*Женщина (стаскивая платье).* Ну и холодно же у вас тут! Хотя и живописно. Прямо какой-то полярный пикник алеутов...

*Продавец секунд-хенда.* Секунд-хенд, мадам. Аренда помещения...

*Женщина.* Да ведь так недолго и заболеть! Ваши посетители еще не давали дуба от пневмонии?

*Продавец секунд-хенда.* Никакого дуба, мадам! Никакого дуба! От пневмонии в наши дни...

*Женщина.* ...дать дуба довольно сложно.

*Продавец секунд-хенда.* Именно так, мадам.

*Женщина.* Ах как жалко платья! Настоящий крепдешин... винтаж...

*Продавец секунд-хенда.* Настоящий, мадам...

Пауза.

*Женщина (стуча зубами, обхватывает себя руками).* И холодно же, черт подери!..

Пауза.

*Продавец секунд-хенда.* Так, может, предложить вам что-нибудь еще? Пока примеряете, глядишь, разогреетесь!

*Женщина.* Да. Предложите.

*Продавец секунд-хенда.* Что именно?

*Женщина.* Бархатные черные брюки. На мой размер. (*С оттенком интимности и самоиронии.*) Заметили, каков мой размер?

*Продавец секунд-хенда.* О, да... заметил.

*Женщина.* Ну вот. Бархатные черные брюки, желательно зауженные, с манжетами. Вельветовый пиджак цвета маренго или морской волны, или земляники со сливками, или шартрез – на мой номер бюста. Он у меня – пятый. Или «Е». Как вам более понятно.

*Продавец секунд-хенда.* Я сразу заметил... мне понятно...

*Женщина.* Далее. Поищите блузку... Мне нужна блузка из черного натурального шелка... Вязаная крючком кофточка, желательно бирюзового цвета, из натуральной шерсти, до талии. Затем (*на одном дыхании*): замшевый жилет цвета гелиотроп или королевский синий; юбка-годе, миди, джерси, цвета старого золота; шляпка-клош фетровая, палевая; туфли: тридцать шестой размер, платформа, цвета красного дерева, пряжка тяжелая, бронзовая; сапоги: индиго, «чулок» до сере-

дины бедра... Может быть, у вас есть другое крепдешиновое платье или хотя бы креп-жоржетовая блузка... я обожаю винтаж...

Пауза. *Продавец секонд-хенда* слегка ошарашен.

*Продавец секонд-хенда.* Мадам... мадам... но у нас же не бутик... У нас...

*Женщина.* ...секонд-хенд... Уже третий раз это слышу...

*Продавец секонд-хенда (послушно разгребая кучи барахла).* А что касается винтажа... Ну откуда ему здесь взяться? Разве только отдаст богу душу какой-нибудь птеродактиль... в смысле, какая-нибудь старушенция.... А внукам-правнукам жизненное пространство куда дороже этих пыльных сантиментов... Ну – заскочат сюда с мешком для мусора... да и свалят в угол тряпки покойницы... В смысле, гардероб пожилой леди, отбывшей в лучший мир.

*Женщина (пританцовывая).* Господи, как холодно... Да так ведь и в самом деле окочуриться недолго...Вы скоро ли там?!

*Продавец секонд-хенда (продолжая поиски).* Я говорю: весь наш винтаж – от покойниц. А также, если следовать логике, от покойников.

*Женщина.* А почему вы это знаете?

*Продавец секонд-хенда.* Городок у нас маленький, мадам... Если преставится кто-нибудь в кои-то веки, то другим, прошу прощения, это некоторое развлечение.

*Женщина (себе).* Вот-вот... Дело не в аренде помещения... Вы, сударь, не потому бедны, что аренда дорога... Вы бедны потому, что у вас фантазии нет...

*(Продавцу секонд-хенда.)* Ну?! Скоро?!

*Продавец секонд-хенда.* Вот... вот, мадам... и вот еще... Все, что смог... я вашу тенденцию понял... есть альтернативные варианты...

Не глядя, передает *Женщине* за занавеску свой «улов».

В мгновение ока она насаживает шляпку, накидывает плащ...

Грациозно выходит. Прodelьвает танцевальное па с поворотом.

*Продавец секонд-хенда (искренне).* Ши-кар-но!!!

*Женщина (напевая, возвращается за занавеску; продолжает примерку).* Ла-ла-ла, ла-ла-ла... А как вас зовут, можно спросить?

*Продавец секонд-хенда.* Отчего же нельзя? Дик меня зовут.

*Женщина.* Как?! Дик?! (Хохочет.)

*Продавец секонд-хенда.* А чего вы смеетесь, мадам? Обычное имя.

*Женщина.* Да будто вы уж и не догадываетесь, отчего я смеюсь. Разве по-английски «дик» не означает мужской половой член?

*Продавец секонд-хенда.* Ну так я же не англичанин и даже не американец...

*Женщина.* Правда?

*Продавец секонд-хенда.* ...не новозеландец, не австралиец...

*Женщина.* Надо же!

*Продавец секонд-хенда.* Даже не нигериец.

*Женщина.* А вот последнее – жальче всего.

*Продавец секонд-хенда.* Отчего же?

*Женщина.* Да уж так

*Продавец секонд-хенда.* Я – местный.

*Женщина (понимающе).* Да-да....

*Продавец секонд-хенда.* Называйте меня тогда Дирк. По паспорту я Дирк ван дер Фельтен.

*Женщина.* Очень приятно.

*Продавец секонд-хенда (льстиво).* А вас, мадам, наверно, как-нибудь по-иностранному зовут...

*Женщина.* Ла-ла-ла, ла-ла-ла... Это почему же вы так решили?

*Продавец секунд-хенда.* Акцент у вас... акцент у вас такой чудной... мне нравится!..

*Женщина.* Правда?

*Продавец секунд-хенда.* А чего ж неправда-то?! Сроду такого не слышал. Городок у нас маленький, иностранцев почти нет... так... разве что турки да парочка марокканцев.

*Женщина.* Это какой же у меня акцент? Ла-ла-ла, ла-ла-ла... Ла-ла-ла, ла-ла-ла...

*Продавец секунд-хенда.* Ну, такой... очаровательный. Вы откуда приехали?

*Женщина.* Ну, допустим, из Полинезии... Ла-ла-ла, ла-ла-ла... А родители туда из Ирландии приехали по службе... допустим.

*Продавец секунд-хенда.* А зовут вас как?

*Женщина.* А зовут меня Аннабел. И Роза. Полное имя – Аннабелла-Розалия. Ла-ла-ла, ла-ла-ла...

*Продавец секунд-хенда.* Аннабел. Красивое имя... Очень красивое... (*Наливает себе кофе из термоса.*) Ну, как у вас там? Подошло что-нибудь?

*Женщина* в это время стоит в рваной нищенской кофточке, которая ей отчаянно мала.

*Женщина.* О, божественно! Просто божественно! Я выгляжу в этом платье, по меньшей мере... как английская принцесса перед конфирмацией!..

*Продавец секунд-хенда.* Ну, замечательно... замечательно... (*Прихлебывая кофе.*) А работаете вы кем? Или еще учитесь? Вы так молоды...

*Женщина.* Благодарю вас. Я художница... А работаю таксидермисткой.

*Продавец секунд-хенда.* Такси?... Такси водите?...

*Женщина.* Нет. Ла-ла-ла, ла-ла-ла... Я, как и вы, имею дело с покойниками.

*Продавец секунд-хенда.* Не может быть, мадам.

*Женщина.* Может. Я обрабатываю специальным образом трупки кошек... собак...птиц... белок... То есть они околевшие, а я делаю их как бы живыми. Навсегда живыми. Хомяки... морские свинки... кролики... Вот сейчас, например, увековечиваю старого одомашненного козла...

*Продавец секунд-хенда.* Интересная работа, я полагаю...

*Женщина.* Творческая. Устаю только сильно, а так... Ла-ла-ла, ла-ла-ла... А вы женаты?

*Продавец секунд-хенда.* Я?

*Женщина.* Вы.

*Продавец секунд-хенда.* Да... женат. А что?

*Женщина.* Да так. И дети есть?

*Продавец секунд-хенда.* Да, двое... А вы?

*Женщина.* Что – я?

*Продавец секунд-хенда.* Вы – замужем?

*Женщина.* Конечно. Я – замужем.

Выныривает в умопомрачительном виде.

Хозяйка парижского салона 70-х годов на прогулке по Люксембургскому саду.

*Продавец секунд-хенда.* Оох!!! Не может быть!!

*Женщина* (*довольная произведенным эффектом*). Что – не может быть? Я не могу быть замужем? Потрясающе... Почему?

Нырять назад в примерочную.

*Продавец секунд-хенда.* Вы слишком красивы для... для... как это? (*старательно*) для рутины обыденной жизни, вот.

*Женщина.* Серьезно? Благодарю вас... А теперь спросите: есть ли у меня дети?

*Продавец секонд-хенда.* Есть ли у вас дети?

*Женщина.* Да. Двое. А теперь я спрошу вас: при чем тут какие-то дети?

*Продавец секонд-хенда.* Да: при чем тут какие-то дети?

*Женщина.* И спрошу вас: а кто она, ваша жена?

*Продавец секонд-хенда.* Да: кто она, ваша жена?

*Женщина.* Ваша.

*Продавец секонд-хенда.* Моя.

*Женщина.* Да, ваша.

*Продавец секонд-хенда.* Моя жена... она...ну... Она – женщина.

Миролюбиво смеются.

А кто ваш муж, если на то?

*Женщина.* Мой муж... (*Резко.*) Иногда он напоминает мне чучело тушканчика...

*Продавец секонд-хенда.* Тушканчика?..

*Женщина.* Ну да: чучело такого экзотического тушканчика, который уже родился мертвым – и потому сроду не прыгал.

Долгая пауза.

*Женщина* выходит в своей одежде.

У вас есть пакет? Я покупаю.

*Продавец секонд-хенда.* Все это?

*Женщина.* Да, все это.

*Продавец секонд-хенда (считает).* Семнадцать евро.

*Женщина.* Пожалуйста.

*Продавец секонд-хенда.* Благодарю вас.

*Женщина.* Не за что, Дирк. Ла-ла-ла... ла-ла-ла...

*Продавец секонд-хенда.* С чего это вы все время напеваете? Хорошее настроение?

*Женщина.* Как сказать... А, кстати, музыка какая-нибудь у вас есть?

*Продавец секонд-хенда.* Да откуда бы ей здесь взяться? У меня и розетки-то электрической нет...

*Женщина (указывает на что-то в дальнем темном углу).* А вон тот патефон?

*Продавец секонд-хенда.* Да... патефон...

*Женщина.* Он же работает?

*Продавец секонд-хенда.* А кто его знает? Я продаю патефон просто как старую вещь, а не как то, на чем музыку крутят.

Подходят к патефону.

*Женщина.* А пластинки-то к нему есть?

*Продавец секонд-хенда.* Да вон... кажется, вот здесь... валяются...

*Женщина* наклоняется к пластинкам... Внезапно ее отшвыривает к *Продавцу секонд-хенда.*

*Женщина.* Ааааа!!!!

*Продавец секонд-хенда.* Что случилось?!

*Женщина.* Мышь, мышь... вон там!!! ааа!!!

*Продавец секунд-хенда.* Ну так что? Они клеевую бумагу очень даже обожают... вот как мы, скажем, чипсы или попкорн...

*Женщина.* Да провалитесь вы с вашими чипсами... о, какой ужас...

*Продавец секунд-хенда.* Бойтесь мышей? А как же вы этим... такси... такси-драйвером работаете?...

*Женщина.* Во-первых, я никогда еще не изготавливала мышиных чучел... (*Крестится.*) Мыши не стоят того... А, во-вторых, к зверью применим тот же закон, что и к людям: не бойтесь мертвых, бойтесь живых. (*Глядя в злополучный угол.*) Ох!.. Мама миа!.. Вы плохо их травите.

*Продавец секунд-хенда.* Успокойтесь, пожалуйста... Я травлю их регулярно... Только этим и занимаюсь. Успокойтесь, Аннабел... (*Слегка обнимает ее за плечи.*)

*Женщина (отстраняясь).* Я вам не Аннабел.

*Продавец секунд-хенда.* Не Аннабел? А кто? Вы же сами сказали...

*Женщина.* Я вам... я вам... я вам вот кто... сейчас... момент...

Небрежно роняет пакет, садится на корточки, быстро перебирает пластинки...*Продавец секунд-хенда* пьет кофе, ковыряется в трубке... *Женщина* находит нужную пластинку, ставит ее, накручивает ручку... Шипенье иглы... Струится **тихое пение: «Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera; lamentando que mis ojos, liberada no te vieran...»**

Господи!.. Господи!.. О, Господи! (*Самозабвенно подхватывает, перекрывая пение Сесилии Круз*):

Porque tuve que marcharme,  
todos pueden comprender;  
Yo pensй que en cualquier momento  
a tu suelo iba a volver.

Pero el tiempo va pasando,  
y tu sol sigue llorando.  
Las cadenas siguen atando,  
pero yo sigo esperando,  
y al cielo rezando.

Y siempre me sentн dichosa,  
de haber nacido entre tus brazos.  
Y aunque ya no estй,  
de mi corazнn te dejo un pedazo-  
por si acaso,  
por si acaso no regreso...

*Продавец секунд-хенда (аплодируя).* Bravo!.. Bravo!..

*Женщина.* Вот вы заладили: аренда, аренда... А ведь у вас здесь, вне всякого сомнения, богатейший костюмерный цех... Как в театре... Цены ему нет... Пещера Алладина! Понимаете?

*Продавец секунд-хенда.* Не очень.

Исчезает за вешалками.

Оттуда, одно за другим, начинает вылетать и пышно оседать на полу множество ярких экзотических платьев...

Возможно, они изношенные и рваные, но зрителю это не видно.

Райские птицы... Цветы Венеры...

*Женщина.* Да у вас здесь роскошней, чем в театре. Я ведь раньше в кабаре работала, знаю.

*Продавец секонд-хенда.* Правда?

*Женщина.* Конечно, правда.

*Продавец секонд-хенда.* А чего же ушли?

*Женщина.* А влюбилась.

*Продавец секонд-хенда.* Влюбились? В кого, если не секрет?

*Женщина.* А в своего будущего мужа...

*Продавец секонд-хенда.* В чучело тушканчика?

*Женщина.* Ну да.

Пауза.

*Продавец секонд-хенда.* И я должен всему этому верить? Включая сказку про любовь к мужу?

*Женщина.* Ваше дело. Да... И смените, пожалуйста, пластинку. (*Высовывает руку с пластинкой.*)

Продавец секонд-хенда меняет пластинку. Шипенье иглы... Музыка!

Из-за вешалок выпархивает словно другая женщина.

Платье конца 50-х, босоножки...

Королева Рио!

Сальса с воображаемым партнёром.

*Продавец секонд-хенда (после паузы, растерянно).* Так что же это получается... Несколько музыкальных фраз... Несколько каких-то музыкальных фраз могут изменить женщине жизнь?

*Женщина.* Ха-ха. Несколько музыкальных фраз могут изменить жизнь планеты... (*Маленькая пауза.*) Отвернитесь!

*Продавец секонд-хенда* послушно оторачивается. *Женщина* переодевается (надевает свою одежду) на глазах у зрителей. Диалог спиной друг к другу.

А когда вы были со своей женой последний раз в театре, сударь?

*Продавец секонд-хенда.* Я? Минуточку... Кажется... кажется, лет тринадцать назад... Да: праздновался юбилей моего отца... Он уходил на пенсию и передавал мне этот вот магазин... Да-да, именно так... И вот, прямо из ресторана, мы всей семьей отправились в эту... как ее...

*Женщина.* Да нет, я спрашиваю: когда вы были в театре – с женой вдвоем?

*Продавец секонд-хенда.* Ну, я это не помню. Она, когда невестой была, сама меня приглашала, да. А потом уж одна ходила... (*со значением*) развлекалась, как говорится, самостоятельно... (*Пауза.*) И продолжает в том же духе.

*Женщина.* Что именно продолжает?

*Продавец секонд-хенда.* Развлекаться самостоятельно.

*Женщина (очень серьезно).* А вам не кажется, что... такого мужа следовало бы, как минимум, отравить?

Пауза.

Звенит дверной колокольчик.

*Продавец секонд-хенда.* О, простите! простите! (*Исчезает из поля зрения.*)

Мужские голоса – *Продавца секонд-хенда* и посетителя: «Как тебе погодка?» – «Вчера была получше...» – «В пятницу будет еще хуже... зато в субботу обещали...» – «Доллар падает...» – «Ты

серьезно?» – «Зато евро растет...» – «А цены на бензин? как тебе?» – «Ужас, ужас...» – «Правительство, похоже, совсем с ума сошло». – «Голосовать на выборах практически не за кого». – «Лично я буду голосовать за Партию защиты животных...» – и т. д.

*Женщина.* Надо все это быстро убрать... *(Подходит к вешалке, поднимает с пола яркие платья и закидывает их назад.)* Что я тут наделала... Зачем?..

*Женщина* подходит к патефону, тихо включает Сесилию Круз. Недолго стоит рядом, но словно не слушает. Медленно выходит на авансцену, в круг света. По пути подхватывает с пола платье, в котором она танцевала, и держит его в руке, как мертвую птицу (шкурку гнилого банана, знамя поражения). Мужские голоса смолкают. Звучит лишь тихая музыка сальсы.

Здесь, вокруг нас, – целые эпохи... царства... цивилизации... мириады возможностей – выбирай, что хочешь. И кажется, что все можно преодолеть – все, все, все – кроме, может быть, смерти!... Но... но душа умирает раньше тела... Господи, как холодно! Как здесь холодно... *(Исключительно с целью согреться, абсолютно механически, начинает пританцовывать сальсу.)* Как я могла позволить, чтобы ты запер меня в этой норе, Дирк? О таком ли спутнике жизни я мечтала? О таком ли соратнике, собрате? О таком ли единомышленнике, любовнике, муже? Зачем это нам было нужно, Дирк, чтобы мы вместе, как две старых, облезлых мыши, ежедневно и еженощно, без продыху, копошились, копошились, копошились в этом заледенелом тряпье? Как холодно, господи! Как смертельно холодно! *(Танцует чуть интенсивней.)* Вокруг нас – волшебные, неоценимые богатства, только протяни руку, только взгляни, осознай... Они всегда вокруг нас, они всегда внутри нас, пока жива душа. Но мы за гроши отдаем эти богатства другим, чужим, а те, чужие, пускают их на мелочную потребу слепого быта... неизбежно превращая в хлам, в хлам... холодно... *(Очень энергичные, но абсолютно механические па.)* холодно... как холодно, господи...

Музыка и танец обрываются.  
Небольшая пауза.  
Где-то наверху часы резко бьют шесть.  
Мертвая тишина.  
*Женщина* отшвыривает платье.

*(Совершенно другим тоном, в глубь помещения.)* Дирк, я жду тебя к обеду! Дети просили нас не задерживаться.

Уходит.  
Безлюдный ангар со старым тряпьем.

Занавес

## Пьеса №2 Я те не Пушкин, блин!

Действующие лица:  
*Мужчина-проститутка.* (Актер Б)  
*Мужчина.* (Актер А)

Просторная гостиная, довольно стильная. Материалы – стекло, белый металл, белая и черная кожа. Прозрачный большой стол (ближе к авансцене), несколько стульев, в глубине – журналь-



ный столик, кресло, музыкальный центр, телевизор. Прозрачные шкафчики с яркой подсветкой. В шкафчиках – ассортимент секс-шопа. Хорошо видны стоящие навтыжку разноцветные увесистые фаллосы. Стены тоже белые – с единственным цветовым пятном: картина-модерн. Прямо – входная дверь, налево – дверь в спальню (виден угол массивного ложа); направо – вход в кухню (виден большой холодильник).

*Мужчина-проститутка:* очень молодой, худощавый, гибкий, немного угловатый, среднего или высокого роста. Одет вызывающе-вульгарно – в дамские тряпки, но, в основном, обнажен. Много дешевой бижутерии, яркий мейк-ап. Обязательно(!): пышная балетная пачка. В целом, похож на страуса. Тенор.

*Мужчина (посетитель)* на фоне *Мужчины-проститутки*, в любом случае, выглядит пресно. Гораздо старше. Все параметры – очень средние. Хрипловатый баритон.

*Мужчина-проститутка.* Заходите, мужчина. Это вы делали заказ на вечер? в смысле – на семнадцать часов? Ну, чудненько, чудненько. Проходите, садитесь. В смысле: присаживайтесь. Вон в то креслице. Сейчас быстренько сделаемся. Виски, джин, водочку?

*Мужчина.* У вас вода минеральная есть? Мне бы виагру запить...

*Мужчина-проститутка.* И минералочка есть... Вам с газом, без газа?

*Мужчина.* Без газа...

*Мужчина-проститутка.* Без газа, чудненько...

Приносит бутылку и бокал. Ставит бокал на журнальный столик. Наливает воду.

Да: вас диспетчер информировала? Клиенты у нас вторично знакомятся с прейскурантом. Чтобы никаких потом траблз. Так что садимся воон там. Включаем воон ту красную кнопочку. Так-так-так...Ну, чудненько, чудненько. Слушаем прейскурантик.

Звучит аудиозапись. Гнусавый, лакейски-гнусный юношеский голосок: «Сексуальный сервис фирмы “Люберецкая Орхидея”. Интимные услуги в течение часа – две тысячи рублей, в течение двух часов – четыре тысячи рублей, в течение ночи – восемь тысяч рублей. Внимание! Экстра-услуги по истечению сеанса. Секс классический – тысяча сто пятьдесят, секс групповой – две тысячи триста, ролевые игры – две тысячи семьсот, услуги семейной паре – четыре тысячи триста, игрушки – три тысячи четыреста, минет глубокий – две тысячи триста, минет без резинки – четыре тысячи двести, секс анальный – тысяча сто, куннилингус – тысяча двести, strapon – тысяча двести пятьдесят...»

В этой сцене *Мужчина*, запив таблетку, делает вид, что рассматривает порножурналы, а *Мужчина-проститутка*, сев за стол и поставив перед собой зеркало, подновляет мейк-ап. На словах «секс анальный – тысяча сто», выкатывает глаза и, с перекошенной рожей, подсказывает к *Мужчине*.

*Мужчина-проститутка.* Мужчина, я, конечно, дико извиняюсь, но что-то я не понял. Давай-те-ка крутанем назад...

*Мужчина* послушно кивает.

(*Перегоняет назад.*) Чудненько, ну, чудненько...(Включает аудиозапись снова.)

«...две тысячи триста, минет без резинки – четыре тысячи двести, секс анальный – тысяча сто, куннилингус – тысяча двести, strapon – тысяча двести пятьдесят...»

*Мужчина-проститутка* подсказывает к большому столу и хватает мобильник. Его дальнейшие монологи идут на фоне этой записи. По окончании она автоматически включается снова, с самого начала.

«...анальная стимуляция – две тысячи двести пятьдесят, легкая доминанта – тысяча восемьсот, массаж классический – две тысячи двести, массаж эротический – три тысячи сто, массаж расслабляющий – три тысячи сто, массаж урологический – две тысячи восемьсот, золотой дождь (выдача) – пятьсот пятьдесят, золотой дождь (прием) – семьсот двадцать, «госпожа» – шестьсот, фетиш – две тысячи сто, игры – начиная от тысячи рублей, стриптиз не профи – пятьсот тридцать, стриптиз профи – пять тысяч двести, лесби не откровенное – шестьсот двадцать, лесби откровенное – тысяча двести сорок...»

*Мужчина-проститутка (в мобильник)*. Але... Але, цыпа... мне Сержа... Жан-Пьер Тэ-Тэ его спрашивает... Никаких «вышел», нах! знаю я эти «вышел»... Если сейчас не позовешь его, овца... Сержик? Хелло, Сержантик! Хау а ю?.. Сэнк ю диар, ай эм файн! Ну и что же ты мне впарить тут хочешь, птичулечка ты моя безмазовая, ммм? Чегооо? Я чё-то не въезжаю...

Поворачивается к *Мужчине*.

Потише сделали, мужчина!.. голубенькой такой кнопочкой против часовой... против часовой стрелочки... ага... Сэнк ю!

В мобильник.

Короче, Сержант! Ты меня, блин, что – уже через месяц разводить собрался? Без вариантов, май лав... Ноу... Ноу... Я сказал – ноу... я на этом не поведусь...

Поворачивается к *Мужчине*.

Мужчина, а мы пока потихонечку раздеваааемся, да?... возбуждаааемся... думаем о позитивном... только о позитивном... Мое знойное тело изнывает от желания и страсти...

В мобильник.

Ну ты, але, олигофрен! Ну, допустим...Йес... йес... Чего-о-о? Не понял юмора... ты чегоб? Это наезд или по неопытности? Фильтруй базар!!

Поворачивается к *Мужчине*.

Мужчина, а мы вот пока порножурнальчики смотрим... ставим порнокассеточки, какие хотим... лабриканты выбираем, воон там на полочке... игрушечки вон там в шкафчике... да... постоянным клиентам – скидка... У, ты моя лапулечка... сексулечка ты моя...

В мобильник.

Не парься, чувак. Ты с какого это переполоха за анал снизил цену?! С какого переполоха, мудила? Вдвое же снизил! Пустил по штуке сто! А у меня ты спросил? Как это с первого апреля? Какой кризис, нах? Нет, ты погоди! Ищи себе другого лоха. Сержик, мне этот трах совершенно беспонтовый. Это же мне вкалывать – мне, прикинь! За такие баблосы?! У меня задница не железная...

Поворачивается к *Мужчине*.

Мужчина, если хотим – ложимся сразу в постелечку... (*Показывает рукой, где спальня*.) Постелечка чистенькая, белье голландское, меняю за каждым клиентом, подушечки бельгийские, одеялки стеганые, хэндмейд, эксклюзив...

В мобильник.

Короче, это. Или ты сейчас клиенту говоришь, что насчет анала – полная лабуда, или тебе все, пипец, Юлиан тебя сделает, гад, обещаю. Даааа? Стремно-то как! Суперски! Вот только этого не надо! не надо! Не хер мне пургу гнать про абонементы! Плыви мимо! Никаких абонементов! Мы на стрелке уже два раза эту шнягу перетирали!

Поворачивается к *Мужчине*

Мужчина, а вот возбуждаемся пока, возбуждаемся... хочу тебя... хочу тебя, да?.. Гондончик у вас свой – или от фирмы желаете? Широкий выбор гондончиков французских – с усиками, с бородкой, с бакенбардиками, с челочкой, с конским хвостиком, с ароматической пищевой смазочкой, рекомендую... Ай лав ю... Ай вонт ю... Оу, фак ми, май дарлинг... А вот начали мастурбировать, мастурбировать начали потихонечку...

В мобильник.

Йес, я с тобой. Чегооо? Да убейся ты, чмо! Ты меня конкретно зачмырить решил?! Я тебе... Я ведь все Юлиану передам, мне – не запахло! Короче, с Юлианом будешь базар держать, понял?! Мне эта цена в лом, я сказал! Мне в лом! Все. Хва. Задолбался я тут с тобой... Все! Передаю трубу клиенту. (*С «калифорнийским» оскалом передает телефон*.)

*Мужчина (в мобильник, растерянно)*. Здравствуйте... (*Слушает*.) Да... Хорошо... Я понял... Да вы, пожалуйста, не беспокойтесь...

*Мужчина-проститутка (берет мобильник)*. Ага! И те тоже. Море удовольствий, ага. Бон суар. Чао. (*Мужчине*.) Мужчина! Все! Выключаем аудиозапись... воон той черной кнопкой.... ага... Теперь я – весь ваш...

Дальнейшее он декларирует с «просветленными», завывающими интонациями провинциальной отличницы. При этом принимает сексапильные позы.

Чтобы отдых был приятный,  
позабудь про все дела!  
Мармелад мой шоколадный,  
я всегда тебя ждала!

Для тебя я сердце – настежь!  
Для тебя я ноги – ввысь!  
Знаю: без проблем заплатишь!  
Отымей – и удавись...

(*Поправляет себя*.) Ой, в смысле – удивись! Да: отымей – и удивись!

Я – и друг, я и подруга!  
Вихрь чувств – и секса вьюга!

*Мужчина.* Вы... ты... расскажи лучше что-нибудь о себе.

*Мужчина-проститутка.* Чего рассказывать? А! Жила-была я такая вся из себя девочка-Олечка у своих мамочки с папочкой... А на майские, в седьмом классе, меня школьный учитель пеня такой соблазнил... Изнасилвал, в смысле...Да еще по-извратному... С особым, как говорится, цинизмом... Ну, и пошло-поехало...А потом задумалась я конкретно о своем гендере...

*Мужчина.* Гендере?

*Мужчина-проститутка.* Гендере. Ну, в смысле, я такая девочка-телочка, а хочу быть – ну, крутым таким, мачо. Ну, таким вот, как ты!

*Мужчина.* Да уж...

*Мужчина-проститутка.* Ну вот... сделали мне транссекс-операцию: чего надо пришили, чего надо – зашили, подрубили, присборили, обметали... Чего надо – накрахмалили, чтоб... ухх!.. Гормончиков, куда надо, ливанули... Ну и стала я мальчиком-с-пальчиком... транссексуальником таким, да... Фак ми...Фак ми... Ай вонт у, фак ми хард...

*Мужчина.* Скучно. Не торкает.

*Мужчина-проститутка.* Скучно?! Я моделью, между прочим, работал! у самого Славы Зайцева... Там телки такие прикольные – зашибись! А прикиды у них – маааааа дорогая! Раз примерил, два примерил...Ну – и как на иглу подсел... Пряма вот ноги бывает аж снизу доверху болят, так и болят – вот нужно им, блин, чтоб чулочки сексшоповые (*показывает*) на них красовались! Чулочки с кружевами, такие ажурные, ммм... моя слабость!

*Мужчина.* Да смени ты пластинку...

*Мужчина-проститутка (не слушая).* Ну и макияжиком стал баловаться... Меня девчонки-гримерши испортили...Как попробовал я ихний мейк-ап, как во вкус вошел – все, собственные родаки узнавать перестали... И теперь я такой весь из себя – Жан-Пьер Тэ-Тэ: транссексуал-трансвестит. (*Пауза.*) Как тебе, катит?

*Мужчина.* Неа

*Мужчина-проститутка.* А че?

*Мужчина.* Двести раз туфту эту слышал.

*Мужчина-проститутка.* Двести?!

*Мужчина.* Ну, сто восемьдесят восемь с половиной.

*Мужчина-проститутка.* Ну а тебе чего надо-то? Я и не знаю по-другому... Как говорится, ты же умная, придумай сама.

*Мужчина.* Кем говорится?... где?

*Мужчина-проститутка.* В анекдоте...

*Мужчина (устало).* В каком еще анекдоте?

*Мужчина-проститутка.* Ладно, мужчина, идемте в постелечку. (*Перечисляет, как официантка в ресторане.*) Анал традиционный, анал греческий классический, анал новогреческий, анал римский военно-полевой, анал по-карски, орал петтинговый, орал с глубоким заглотом...

*Мужчина.* Подожди...

*Мужчина-проститутка.* Чего ждатель-то? (*Смотрит на ручные часики.*) Сейчас ваша виагра должна быть в самом разгаре. (*Подмигивает громадными кукольными ресницами.*) Разыгралась виагра-то?

*Мужчина.* Ага. Либида, прямо скажем, как у покойника.

*Мужчина-проститутка.* А что – покойники не люди, что ли? Мы с любой клиентурой работаем...

Пауза.

*Мужчина.* Погоди... постой... как ты сказал?

*Мужчина-проститутка.* С любой клиентурой.

*Мужчина.* Да нет, не то...Оленькой, говоришь, тебя звали?

*Мужчина-проститутка.* Ну.

*Мужчина.* Ты Расскажи-ка по новой...

*Мужчина-проститутка.* Жила-была я такая вся из себя девочка-Олечка у своих мамочки с папочкой... А на майские, в седьмом классе, меня школьный учитель пения такой соблазнил... Изнасиловал, в смысле... Да еще по-извратному... С особым, как говорится, цинизмом... Ну, и пошло-поехало...

Пауза.

*Мужчина.* Олечка... милая...

*Мужчина-проститутка.* Сейчас я – Жан-Пьер Тэ-Тэ.

*Мужчина.* Оля, Ольга...

*Мужчина-проститутка.* Ну, чего?

*Мужчина.* Ольгушечка моя... лягушечка...

*Мужчина-проститутка.* Мужчина, идемте в постель. Там буду вам хоть лягушечка, хоть петушок, хоть кто скажете.

*Мужчина.* Оля, неужели не узнаешь? Ну не придуривайся же, пожалуйста!

*Мужчина-проститутка.* Мужчина...

*Мужчина.* Ну стерва же ты! С детства такой была...Ну не выкобенивайся же, богом молю!

*Мужчина-проститутка.* А... да-да... Вы ко мне приходили уже? Ммм... какое-то время назад?

*Мужчина.* Убью, шалава. Убью.

*Мужчина-проститутка.* Да-да. *(Подает плетку.)* Убейте, мои сладенькие. Убейте, желанные. Только посеките сначала хорошенечко.

*Мужчина.* Оставь это, дура.

Пауза.

Я же Игорь...

*Мужчина-проститутка.* Очень приятно.

Пауза.

*Мужчина.* Ладно. Тогда.... тогда... *(Кряхтя, влезает на стол.)* А подай-ка мне воон ту штучку... да не ту, подлиннее... ага...

Берет огромный розовый фаллос. Патетично, как жезл или факел, его вздымает. Одновременно – зловеще и торжествующе взывает (финал арии из «Паяцев»):

Ridi, **Pagliaccio,**

Sul tuo amore infranto!

Ridi del dupl che l'awelena il cor!..

Пауза.

*Мужчина-проститутка (потрясенно).* Игорь Октябрьнович!

*Мужчина.* Он самый.

Маленькая пауза.

*(Важно.)* Я же тебе рассказывал сто раз, что до того, как к вам в школу придти, я в консе преподавал... Рассказывал??

*Мужчина-проститутка.* Рас... рассказывал... да-да... рассказывал... Боже... Игорь Октябрьно-вич...

*Мужчина.* Что, девочка? Первый мужчина не забывается, а?

*Мужчина-проститутка (заикаясь).* С-с-с-слезьте, пожалуйста... Чего встали, как п-п-п-п-мятник?

*Мужчина.* Памятник любви, Оля. Заметь: люб-ви.

*Мужчина-проститутка* берет стакан, дрожащими руками наливает себе минералку.

Оль, тебе плохо? Может, таблетку?

*Мужчина-проститутка.* Да... типа таблетку...

Получает таблетку, кладет в рот. Вяло выплевывает.

Это же виагра... блин!..

*Мужчина.* У меня других нет.

*Мужчина-проститутка.* Ааах!

Брякается в обморок.

*Мужчина.* Оля, Оленька... Ничего... Ничего страшного... Сейчас... сейчас... все будет хорошо, Оленька...

Классическая сцена из рыцарских романов: *Мужчина* расшнуровывает на *Мужчине-проститутке корсет*, слегка бьет по щекам, набирает минералку в рот, брызгает ему в лицо... Берет с полки крупный яркий веер, энергично обмахивает *Мужчину-проститутку*...

*Мужчина-проститутка (плаксиво).* А сейчас... а сейчас, воспользовавшись моим беспомощным положением... вы меня снова насиловать будете, да?..

*Мужчина.* Ну зачем же так, Оля... Я тебя и в первый раз не насилывал...

*Мужчина-проститутка (передразнивая).* Не наси-и-иловал!..

*Мужчина.* Нет. Вспомни, как было. Только по-честному вспомни.

*Мужчина-проститутка (открыв глаза).* Сигареты дайте...

*Мужчина.* Давай на «ты».

*Мужчина-проститутка.* Сигареты, Игорь, дал! (*Отталкивая его руку.*) Мне твои на хрен не нужны. Вон там лежат. Угу.

Закуривают.

Ну, я, допустим, не отрицаю, что на тебя сама все время глазела...

*Мужчина.* Ага. Мягко говоря.

*Мужчина-проститутка.* Даже в классе заметили. Лешка Пятаков бывало прижмет в коридоре – шепчет, сволоочь: «А ты все по своему Карузо недорезанному сохнешь?»

*Мужчина.* Так и говорил?

*Мужчина-проститутка.* Ну. (*Маленькая пауза.*) Если уж совсем честно, то... конечно, я за тобой бегала... в прямом смысле... когда ты не видел...

*Мужчина.* Ну, предположим, я кое-что видел... А то бы... а то бы не пошел навстречу... так сказать, пожеланиям учащихся...

*Мужчина-проститутка (ностальгически).* Репетируете вы бывало на сцене... в актовом зале... А я за занавеской на подоконнике сижу, прячусь... А ты... ты ведь всегда ретро любил... и вот как

начнешь (*напеваешь*): «Для меня нет тебяааа... прекрасней...Но ловлю я твой взор напрасно...»  
Охх!..

*Мужчина*. Да уж. А потом я всегда: Ольга, прекрати прятаться! Я же знаю, что ты там, за занавеской сидишь!

*Мужчина-проститутка*. А я все равно там сижу.

*Мужчина*. А ты все равно там сидишь. А потом, вечером, идем по домам, и я тебе говорю: Ольга, отправляйся своей дорогой, я ведь тебя провожать не буду. А ты, колючка такая: а мне по барабану, Игорь Октябрьнович! Я вас сама провожу!..

Усмехаются грустно и ласково.

*Мужчина-проститутка (словно себе, самозабвенно)*. Или отпрошусь бывало с урока... как будто в туалет... А сама вниз, где начальные классы... Двери там везде стеклянные были...Спрячусь за косяком, а сама гляжу, как ты малышам на аккордеоне играешь... И слышно тоже суперски было...

*Мужчина (имитируя игру на аккордеоне, запекает)*:

В юном месяце апреле...  
В старом парке тает снег...

*Мужчина-проститутка*.

И крылатые качели  
Начинают свой разбег...

*Мужчина*.

Позабыто все на свете,  
Сердце замерло в груди...

*Мужчина и Мужчина-проститутка (вместе)*:

Только небо, только ветер,  
Только радость впереди!..  
Только небо, только ветер,  
Только радость впереди!..

*Мужчина* тихо, без слов, продолжает напевать мелодию.

*Мужчина-проститутка (кулаком в свой лоб, остервенело)*: Ёпэрэсэтэ! Жжжжсть!.. (*Закуривает.*)

Пауза.

*Мужчина*. Ну и кто к кому приставал, Оля? Если честно? Кто к кому?

Пауза.

Я бы даже так сказал: кто кого совратил? (*Пауза. Закуривает.*) Кто кого толкнул под многолетнюю угрозу уголовной статьи, ммм? Кто просил-умолял сделать ребеночка?.. Не помнишь? А кто потом клянчил деньги на аборт?.. (*Саркастически.*) Якобы на аборт... Какая это девочка клялась мне в любви, а сама... а сама залетала от всякой дворовой шпаны? Кто, чуть ли не регулярно, заражал меня венерической дрянью? Кто шантажировал мою Машу?!

*Мужчина-проститутка*. Я хотела быть с тобой... чтобы ты был только моим...

*Мужчина (не слушая)*. Дошантажировала-таки ее до развода... Кто довел мою мать до инсульта? Кто постоянно подстрекал моих детей то и дело сомневаться в порядочности их отца? Кто, в

итоге, раскидал всю мою семью? Кто? Кто жизнь мою навсегда исковеркал, Лёля? Ох, Лолита ты долбанная... Лолитка моя... улиточка... *(Плачет.)*

Дальнейшее происходит на фоне объятий и поцелуев.  
Дружеские ласки постепенно переходят в чувственные.

*Мужчина-проститутка.* Игорь... Игорь, не надо... Игорь, миленький, ну, пожалуйста...

*Мужчина.* Оля, Оленька... Как же ты так, девочка моя... кем ты стала?

*Мужчина-проститутка.* Игорь, Игорешенька, мой хороший... Я тебя тогда потеряла – все равно что с жизнью рассталась...

*Мужчина.* Оля, Лёлочка, Колокольчик...

*Мужчина-проститутка.* Игорянечка... Игорян...

*Мужчина.* Олюшенька... родненькая...

*Мужчина-проститутка.* Игорянечка мой...

*Мужчина.* Олюшенька... родненькая...

*Мужчина-проститутка.* Игорянечка мой...

*Мужчина.* Олюшенька... родненькая...

*Мужчина-проститутка.* Игорянечка мой...

*Мужчина.* Олюшенька... родненькая...

*Мужчина-проститутка.* Игорянечка мой...

Объятия плавно переходят в сексуальное совокупление.

То есть: оба, поодиночке, танцуют сальсу.

Соитие с воображаемым партнером.

Несмотря на партнера реального.

Музыка смолкает.

Подходят к дверям, обнимаются, целуются: прощаются.

*Мужчина.* Олюшенька... родненькая... Телефончик-то твой у меня теперь есть... встретимся... Вот, держи, пригодятся...

Выгаскивает из кармана купюры и запикивает их *Мужчине-проститутке* за резинку чулка.

*Мужчина-проститутка (всхлипывая).* Игорянечка мой... Буду ждать... я буду ждать...

*Мужчина.* Олюшенька... родненькая... Ты только не исчезай...

*Мужчина-проститутка.* Это ты не исчезай, Игорянечка...

*Мужчина.* Олюшенька... родненькая...

*Мужчина-проститутка.* Игорянечка мой...

Закрывает за клиентом дверь. Вид у него потрепанный. Сбрасывает тряпки и бижутерию. Остается в одной балетной пачке. Приносит из кухни чистый бокал и бутылку красного вина. Плюхается в кресло. Выпивает два бокала залпом, один за другим. Закуривает. Громко включает телевизор. Некоторое время как бы смотрит футбол. То есть тупо упирается в одну точку. Вид у *Мужчины-проститутки* теперь однозначно мужской, без «наворотов».

Наливает еще. Залпом выпивает. Наливает еще. Делает футбол тише. Подходит с бокалом и сигаретами к столу. Садится на него. Закуривает. Берет мобильник. Звонит по нему. Нервно покачивает ногой.



*Мужчина-проститутка.* Мне Сержа. Георгий его спрашивает. Ге-оргий. Ага, от слова «оргии»... *(Делает глоток.)* Хай, Серый. Слушай сюда. Короче, все, я завязываю. Ты в теме? Да, завязываю. Буду резко соскакивать. *(Передразнивая).* «Клиентура – зашибись реально» – это же ты мне втюхивал! А вот те практика жизни. Щас был у меня один чел, ушлепок такой. Ну, поооолный отстой. Сел, блин, и сидит, как свежепарализованный. Так я ему *(усмехаясь)* ваще – целую сагу о Форсайтах, в натуре, сварганил. Целую, блин, «Илиаду и Одиссею». А без этого у него не вставал. Ну ни за что не вставал! *(Пьет.)* Так я ему, блин, сказки Венского леса: *(кривляясь)* Игорь Октябрьевич, да я по те еще в школе сохла-мокла... За что ты меня бросил, Игорян... все такое... *(Видно, что он уже навеселе.)* А хер его знает, как его зовут. Мы не настолько близко познакомились. «Для меня нет тебяаа... прекрасней...» Как те? Прикинь, Серый. Французская новелла типа «Титаник». И все для того, чтоб у него на полторы минуты встал. *(Снова закуривает.)* Голоцентрическая страна, блин! А как? Так Юлиан говорит... Ну, лого-центрическая. Ага. Там же хером, только в зад. *(Долго слушает.)* Не, Серый, извини, мы так не договаривались. За те же баблосы – нет. Я те не Пушкин, блин! Я так не могу. У меня работа сугубо сдельная. Ну да, да! – этот клиент, допустим, мне помогал. Даже активно помогал!... Ага. Братья Гонкуры типа... *(Пьет.)*

Напряжение в футбольном матче. Голос комментатора делается все быстрее, быстрее, все возбужденней, как перед оргазмом.... Гоооол!!! Рев трибун...

Но я, Серега, не из-за того сваливаю... Не из-за того, грю, из бизнеса сваливаю! – не из-за бабла. А из-за чё конкретно? Те, как другу скажу, я уже бухой. Я скажу, только ты, Серый, никому, блин. Слушай сюда внимательно. Слушаешь? Ну вот. Мне остолеб... мм!... *(сжимает кулак)* этот конвейер.... Этот конвейер срррранный! Тоже мне, завод Форда... Уууууб!.. *(Зло, изобретательно кривляется. Язык немного заплетается.)* Жила-была я такая вся из себя девочка-Олечка у своих мамочки с папочкой... Жила-была я такая вся из себя девочка-Олечка у своих мамочки с папочкой... Жила-была я такая вся из себя девочка-Олечка у своих мамочки с папочкой... Жила-была... *(Громко глотает вино.)* Я щас, знаешь, если честно, на самом-то деле – крутой кайф с этим челом словил... Да не от фака его. Фак-то херовый был... Тоже мне, трах-тибидох... три раза дернулся, придурок, и все, дохлый. Уууууб!.. Я вот где оторвался по полной, ты слушай: «Игорь Октябрьичинович... ах, как я за вами, блин, бегала... лишь бы увидеть, хоть мельком... хоть издали...» *(Изображает старшего мужчину, басом):* «А чё те, надо-то, Оля? Ты скажи конкретно...» А она... *(Неожиданно словно трезвеет. По крайней мере, дикция становится четкой. Все очень, очень серьезно.)* А она: «Я не знаю... Лишь бы увидеть тебя. Хоть мельком... Чтобы потом думать о тебе постоянно... Ты как-то весь мир меняешь... Сразу, в один миг.... Ты словно кнопку тайную нажимаешь в моем сердце...» *(Трясет головой, отгоняя наваждение.)* Короче, слушай сюда. *(Пьет.)* Пушкин, говорят, шестьдесят тысяч долгу оставил, так? Ну, я, блин, не Пушкин. Так что оставляю долгу, ну, тыщ пятнадцать... Зеленых, конечно... Зато... зато... Это же театр, Серый! Это же настоящий театр!.. *(Насмешливо слушает.)* Ха!.. Ладно. Все равно те, чувак, в это не въехать. Покедова!..

Зло, с размаху, швыряет мобильник на пол. Соскакивает со стола, хватает с полки хлыст, начинает «наказывать» мобильник. Тот скачет по всей комнате. *Мужчина-проститутка* – за ним. Довольно громко, перекрывая футбол, включается музыка сальсы.

А, сука! Вот так те, сука... вот так те... вот, вот, вот, уууууб...

Хватает огромный розовый фаллос, с размаху вышибает им из шкафчика все «игрушки», яростно и упоенно топчет их. Полный разгром. Бежит в кухню. Выбегает оттуда с огромным поварским ножом. Крякая, вскрикивая, начинает сладострастно кромсать фаллосы – благо, большой стол позволяет – есть, где развернуться. В это время, с пола, звонит мобильник: это повтор музыкальной фразы – «Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно...», «Для

меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно...», «Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно...» На первом же сигнале мобильного музыка салсы обрывается.

Пауза. Снова, тихо-тихо, слышен футбол. *Мужчина-проститутка* опасно опускается на колени недалеко от мобильного. Оттопырив зад, выгибаясь, тянется к нему рукой, дотрагивается, отдергивает руку. Наконец берет. Мобильник разваливается в его руке, но продолжает звонить. Дальнейший монолог в той же позе – с отключенным задом.

Але? Добрый вечер... Жан-Пьер Тэ-Тэ слушает. Мы договаривались сегодня на двадцать один час? Ну, чудненько, чудненько... О себе? А что о себе... Жила-была я такая вся из себя девочка-Олечка у своих мамочки с папочкой... А на майские, в седьмом классе, меня школьный учитель пения такой соблазнил... Изнасиловал, в смысле... Да еще по-извратному... С особым, как говорится, цинизмом... Ну, и пошло-поехало... Ну, и пошло-поехало... Ну, и пошло-поехало...

Занавес

### Пьеса №3 Балтимор

#### Действующие лица:

*Девушка-сингл.* (Актриса А)

*Пожилый репортер.* (Актер А)

*Стажер.* (Актер Б)

За прозрачными стенами – летное поле, небо, солнце. Близкий и дальний рев самолетов. Иногда видны и сами они – на земле, над землей, в небе. Объявления по громкоговорителю. Кино- и телевизионные саундтреки. Гул пассажирской толпы. Совокупный звуковой фон – типичный и узнаваемый.

В углу сцены: несколько тележек для багажа. В центре, у задней стены, шеренга белых пластиковых стульев. На одном из них лежит оставленная газета. Сбоку от стульев – урна для мусора. В декоративной кадке высится раскидистая пальма. Рядом с ней – миниатюрный фонтан, пульсирующий в задранный пасти синтетического крокодила. В его приподнятой лапе – синтетический же американский флажок.

Сбоку стремительно появляется *Девушка-сингл*. Это спортивная, довольно миниатюрная особа, коротко стриженная, взъерошенная, как воробей. Одета просто: джинсы, серая тишортка, кроссовки. По груди тишортки, наискосок, красным выведено: MOVEMENT of the SINGLES. На плече *Девушки-сингл* – красный рюкзачок.

Подлетев к фонтанчику, она судорожно оглядывается и делает два-три быстрых глотка. В это время из-за пальмы резко выскакивает (прятавшийся там) *Пожилый репортер*.

*Пожилый репортер.* Добрый день, леди!

*Девушка-сингл* столбенеет.

Прошу прощения: можете ли вы уделить мне две минуты вашего времени?

*Девушка-сингл (справляясь с шоком).* Увы, сэр. Женские прокладки со скидкой мне не нужны, равно как и куриные крылышки с мексиканским бесхолестероловым соусом...

*Пожилый репортер.* Мисс, пожалуйста...

*Девушка-сингл.* Мне не нужна уцененная вполовину виагра для женщин, мне не нужна французская горчица с биодобавками для удвоения либидо...

На протяжении этой пикировки *Пожилый репортер*, с микрофоном в руке, сует за *Девушкой-сингл* по всей сцене; она ловко увертывается.

*Пожилый репортер.* Но, мисс, выслушайте меня, прошу вас. Я вовсе не...

*Девушка-сингл.* Меня не интересует ни туалетная бумага «Мечты сбываются», ни вагинальные тампоны «Нежный друг», ни, представьте себе, контрацептивные свечи «Ангел-хранитель»...

*Пожилый репортер.* Мисс, но...

*Девушка-сингл.* Меня не интересует ни двенадцатипластной миксер, ни шейкер на сверхпрочных литиевых батарейках, ни греческий фаллоимитатор из латекса, который (*передразнивает интонацию рекламы*) «прекрасно воспроизводит текстуру натурального члена»...

Из кулисы, откуда появилась *Девушка-сингл*, вылетает пустая тележка – и катящий ее *Стажер*. Не сбавляя скорости, он сбивает тележкой *Девушку-сингл*, которая плюхается в это импровизированное транспортное средство, и *Стажер* исчезает с ней в противоположной кулисе. Все действие занимает около двух секунд.

*Девушка-сингл.* Ах!! (*Из-за кулисы.*) Аааааа!!!

*Пожилый репортер.* Куда?! Куда?! Стойте!! (*Устремляется в ту же сторону.*)

Объявление: «Администрация аэропорта просит пассажиров, а также встречающих и провожающих лиц, сохраняя бдительность, не оставлять без присмотра детей и багаж».

*Пожилый репортер (возвращаясь).* Как это странно с вашей стороны, Брайен. Ведь я назначил вам здесь встречу на полчаса раньше, притом будучи в полной уверенности, что...

*Стажер (удерживая за предплечье Девушку-сингл).* Прошу прощения, мистер Боули, но я...

*Пожилый репортер.* А вместо этого...

*Стажер.* Я просто хотел бы...

*Пожилый репортер.* У меня создается впечатление, что вы норовите сбежать от меня, от нашей договоренности...

*Девушка-сингл (вырываясь).* Отпустите меня!

*Пожилый репортер (Девушке-сингл).* Так найдется ли у вас для меня... для нас несколько минут, чтобы...

*Девушка-сингл.* Я уже ответила.

*Пожилый репортер.* Нет, мисс, вы не ответили. Мы хотели бы получить более распространенные ответы. (*Предъявляет удостоверение.*) Я репортер газеты «**Iowa Herald**», **Элвис Боули**. Отдел рекламы и новостей.

*Девушка-сингл.* Где-то я вас видела, мистер Боули... Наверное, по местному телевидению...

*Пожилый репортер.* Наверное.

*Стажер (тоже показывает документ).* Стажер той же газеты, Брайен Роджерс...

*Девушка-сингл.* Да и ваше лицо мне как будто знакомо...

*Стажер.* Так мы же с мистером Боули – одна команда.

*Девушка-сингл.* Понятно.

*Пожилый репортер.* И вот мы хотели бы...

*Девушка-сингл.* Вы, наверное, хотели бы, чтобы я опоздала на самолет? Если честно?

*Стажер.* Ничего подобного... Мы только...

*Девушка-сингл.* Тише, тише!

Объявление: часовая задержка рейса на Балтимор.

*Пожилый репортер.* Это ваш рейс?

*Девушка-сингл.* Мой.

*Пожилый репортер.* Ну вот видите. Можно расслабиться.

Маленькая пауза.

*Девушка-сингл.* И все равно: какого дьявола вы ко мне прицепились? В смысле: почему именно ко мне?

*Стажер.* А можно ли сначала узнать, как вас зовут? (*Подносит микрофон.*)

*Девушка-сингл.* Ипекакуана.

*Стажер.* Как?..

*Девушка-сингл.* Ипекакуана. В переводе – «Рвотный Корень».

*Стажер.* Ваши родители – индейцы? В смысле: нэтив американ? Вы как-то не очень похожи...

*Девушка-сингл.* А на кого я похожа?

*Стажер.* Вы похожи на девушку, мамами которой могли быть Джулия Робертс, Кристина Эпплгейт и, пожалуй, Айшвария Рай... А папами, например, Орландо Блум, Роберт Паттисон и Джейк Джилленхаал, будь он постарше...

*Девушка-сингл.* Как – все они вместе?

*Стажер.* Да. Все они вместе.

Пауза.

Мисс Ипе...Ипопе... Мисс Рвотный Корень, вы так странно смотрите... Что вы чувствуете?

*Девушка-сингл.* Я опешила от ваших глубоко справедливых комплиментов.

*Стажер.* Весьма польщен. Но вы не ответили на мой вопрос о родителях...

*Девушка-сингл.* Моя мама уже пятнадцать лет совершает свой одинокий дрейф где-то в мета-га-лак-ти-ке... Может, и за ее пределами...А папа... после ее смерти помешался на лекарствах. Родись у него от какой-нибудь женщины сейчас мальчик...

*Пожилый репортер.* Мы не нуждаемся в таких интимных подробностях, мисс...

*Девушка-сингл (трямо).* Родись у него от какой-нибудь женщины сейчас мальчик, он бы назвал его, вероятней всего, Прозак... Или Моклобемид... Или, скажем, Милнаципран...

*Стажер (важно).* О, я полагаю, это мифологические герои древней Эллады?

*Девушка-сингл.* Не вполне... Так вы меня о папе собрались спрашивать? Не советую. Ничего интересного... Немного виски в субботу вечером, воскресный бранч, покер, гольф...

*Пожилый репортер.* Брайен, активней, активней!..

*Стажер.* Нас заинтересовала ваша тишортка.

*Девушка-сингл.* Двадцать долларов от Квинтона Сандлера, по заказу.

*Стажер.* Нет, я имею в виду то, что на ней написано...

*Пожилый репортер.* Да. Movement of the Singles – что это?

*Стажер.* Наше задание – сделать репортаж о маргинальных...

*Пожилый репортер.* ...об альтернативных...

*Стажер.* ...об альтернативных социальных группах...

*Девушка-сингл.* Синглы – это не группа.

*Пожилый репортер.* А что это?

*Девушка-сингл.* Это движение. И при этом каждый, внутри него, остается одиночкой.

*Пожилый репортер.* Разве так бывает?

*Девушка-сингл.* Еще как бывает.

*Пожилый репортер.* А как возникло это движение? Каковы его цели?

*Девушка-сингл.* Ну, истории я, допустим, не знаю. Разве история столь значима? *(Важно.)* Могу только сказать, что необходимость в этом движении назрела объективно. Взять, к примеру, матерей-одиночек, сидящих на вэлфэре – или одиноких стариков – или инвалидов без семьи – все они имеют определенные поражения в правах, начиная с налогообложения и кончая...

*Стажер (подхватив со стула газету, читает).* «Во Франции ей было трудно зарабатывать проституткой. Она вынуждена была вернуться в Россию и устроиться воспитательницей в детский сад...»

*Пожилый репортер.* И кончая – чем? Вы же не инвалид, не одинокий старик, не мать-одиночка... Или все же мать? Одиночка?

*Девушка-сингл.* Боже избавь! Но мать-неодиночка, по-моему, – еще хуже того...Идея семьи, в том традиционном виде, как она сохраняется... то есть как она агонирует... в этом виде идея семьи давно изжила себя... это любому дебилу понятно... Ласточки строят себе жилища из собственного дерьма... Человеки – тоже. И вообще я – чайлд-фри!

*Стажер (читает газету).* «Знаменитый актёр Хит Леджер, был найден мёртвым на полу своего дома в Манхэттене. Как выяснилось позже, смерть кинозвезды наступила от совместного действия шести медицинских препаратов: оксикодона, гидрокодона, диазепамы, темазепамы, алпрозолама и доксиламина. Эти лекарства относятся к трем фармакологическим группам: снотворные, антидепрессанты и обезболивающие».

*Пожилый репортер.* Ну, а в целом – синглы выстраивают какие-либо отношения? Хотя бы с кем-нибудь?

*Девушка-сингл.* Пожалуй, нет. Ну, то есть как? Вот, например, человек восьмидесяти лет... он, если захочет, имеет такое же право прийти на дискотеку... в смысле на специальную дискотеку для синглов... и будет там танцевать наравне с двадцатилетней девушкой... если сможет, конечно... И для нас, синглов, это не покажется странным...

*Пожилый репортер.* Я вас спрашиваю не о танцульках восьмидесятилетнего человека. Я спрашиваю о вас лично... Вот вы – строите ли какие-либо отношения? В смысле: вступаете ли в какие-либо серьезные, длительные отношения с людьми как таковыми?

*Стажер (читает газету).* «В процессе поцелуя происходит частичное отсасывание микрофлоры из ротовой полости партнера. Поцелуй с хорошим засосом... в смысле, отсосом... благоприятно воздействует даже на разрушение зубного камня...»

*Пожилый репортер (морщась).* Брайен, пожалуйста...

*Девушка-сингл.* Время сейчас – очень динамичное... акселерированное...

*Стажер (не отрываясь от газеты).* Йес: бодро и весело движется к Концу Света...

*Пожилый репортер.* Брайен, я буду способствовать тому, чтобы вас уволили.

*Стажер.* «Уволили»? Вы меня еще не рекомендовали для найма.

*Пожилый репортер.* Значит и рекомендовать не буду.

*Девушка-сингл.* Время сейчас – ускоренное. Контактных делается все больше, но они... как бы это сказать... становятся все короче... все менее обязательны... Или вот так: контакты делаются все мимолетней, зато их частота, их общая сумма у каждого сингла неуклонно растет!..

*Стажер.* Ой, микрофон заедает. Раз-два-три... раз, раз... фак, фак, фак...

*Девушка-сингл.* А в целом, мы, синглы, самодостаточны.

*Пожилый репортер.* Я... простите если я перехожу границы... Но вот, например, потребности молодого тела... Брайен, задайте тоже какой-нибудь вопрос, черт вас подери!

*Стажер.* Расскажите, пожалуйста: каковы у синглов потребности молодого тела? *(Снова демонстративно углубляется в газету.)*

*Девушка-сингл.* А, вы об этом! Потребности тела у синглов такие же, как и у всех прочих. Как известно, сексуальный акт как есть дополнительное кровенаполнение мышц малого таза. Оргазм есть кратковременное сокращение мышц малого таза с одновременным поступлением эндорфина и окситоцина в русло крови. Так неужели в этот маленький физиологический казус следует вовлекать... другого человека?

*Стажер* (воинственно отбрасывая газету). А любовь?!

*Девушка-сингл*. Что именно – «а любовь»?

*Стажер*. Ну это... когда... Ну вот...

Подкатывает одну тележку к другой – и, с громким щелчком, скрепляет их.

*Девушка-сингл*. А для фантомов собственной головы другой человек ... тем более ни к чему. Мы, синглы, в первую очередь, гуманисты. Нельзя тревожить ... другого человека – его суверенную личность, его уникальную душу – понимаете?

*Пожилый репортер* (читает газету). «Подавление естественной сексуальности.... Ммм... подавление естественной сексуальности рождает монстров... Группа британских ученых недавно установила, что...»

*Девушка-сингл*. А подавление интеллектуальности – это как?! А подавление таланта – интересно, что именно рождает оно?! Может быть, Ботичеллиеву Афродиту?! (*Выхватывает газету и, передразнивая, имитирует чтение.*) «Группа британских ученых установила: мелкие представители мошек и комаров, спариваясь, страстно трутся брюшными поверхностями и ртами. В конце спаривания самка высасывает внутренности самца через рот...»

*Стажер*. Мисс Рвотный Корень... я... мы...

*Девушка-сингл*. Ладно. Оставим пустые дебаты. Не хотите ли кофе, джентльмены?

*Стажер*. Да, но...

*Пожилый репортер*. Вы ведь сбежите, мисс Рвотный Корень, а мы не задали еще и половины вопросов... Я вас не отпускаю... (*Пытается взять за руку, обнять.*)

*Девушка-сингл*. То есть как?! То есть как это?! Ааааа!!

*Стажер*. Тише, объявление...

Повтор объявления: часовая задержка рейса на Балтимор.

*Девушка-сингл* (устало). Да ладно, не сбегу. Вот, оставляю вам в залог свой рюкзачок.

*Пожилый репортер*. Валяйте.

*Девушка-сингл*. Только бумажник возьму.

*Пожилый репортер*. Нет-нет! Вот... (*Достает из кармана пригоршню мелочи, протягивает.*)

*Девушка-сингл* берет мелочь и убегает.

*Пожилый репортер* (быстро). Слушайте, Брайен, а что если...

*Стажер*. Я подумал о том же самом, мистер Боули...

*Пожилый репортер*. А я ни о чем не подумал, Брайен. Если о чем-либо подумали вы, тогда скажите.

*Стажер*. Хорошо, мистер Боули. Я подумал вот о чем: а не порвать ли нам ее билет ко всем чертям? Только быстро, быстро решайте, мистер Боули... Глядите: она уже берет кофе...

*Пожилый репортер*. Если порвать билет, она купит новый... на следующий рейс... Надо, помимо билета, изъять всю ее наличность – раз, банковские и кредитные карточки – два. (*Нерешительно.*) Может быть, кроме того, спрятать паспорт?..

*Стажер*. Это радикально, мистер Боули, однако для начала следует взять в туалете резиновые перчатки... чтобы не оставлять на бумажнике отпечатков...

*Пожилый репортер*. Да-да-да...

*Стажер*. Ох, а времени нет!

*Пожилый репортер*. Сойдет с вас и моего носового платка. ....

*Стажер* (воровато хватая рюкзачок). Давайте!

*Пожилый репортер* (протягивает большой клетчатый платок). Вот...

Появляется *Девушка-сингл*.

В ее сомкнутых ладонях – три бумажных стаканчика. Из них идет пар.

*Девушка-сингл*. Чем вы тут заняты, джентльмены? (*Джентльмены смущенно молчат.*) Что у вас случилось? (*Молчание.*) Надеюсь, ничего экстремальней, чем жизнь, – у вас не происходит? В смысле: ничего экстримней?

*Стажер*. А вот, мисс Рвотный Корень... ну, например... если вы сами занимаетесь ублажением своих телесных потребностей...

*Девушка-сингл*. Ну – и?

*Стажер*. То кого вы воображаете партнером – юношу или девушку?

*Девушка-сингл*. Господи боже! Опять за старое! Лучше прополощите-ка свои мозги...

Протягивает обоим бумажные стаканчики.

(*Отхлебывая.*) Лучше спросите, кем воображаю себя я сама.

*Стажер* (*делая глоток*). Ну, допустим.

*Девушка-сингл*. Так это что – тоже для интервью?..

Подходит вплотную к прозрачной стене.

Прижавшись щекой, стоит в профиль, задумчиво глядя на летное поле.

Вы, Брайен, – извините за прямоту – вы никогда не отличались блеском ума и даже простой сообразительностью. (*Глоток кофе. Усталый вздох.*) Я не знаю, зачем папа взял вас на стажировку. Папуля, наверное, думает, что если он пристроит вас в своей газетенке, то это поднимет в моих глазах ваш чахоточно-анемичный рейтинг...

*Пожилый репортер*. Дочка, ты всегда была нахалкой... И, главное, эгоисткой... Да: заносчивой эгоисткой.

Достает из кармана флакончик, открывает, кладет на язык таблетку. Пытается запить ее кофе. Морщится: кофе горячий.

*Девушка-сингл*. Эгоисткой? Все синглы – эгоисты. Эгоисты делятся на здоровых и нездоровых. Синглы – здоровые.

*Стажер*. Вы не ответили на мой вопрос...

*Девушка-сингл*. А, этот все копает под тип моей сексуальности. Брайен, дорогой: поскольку всякий индивид обращен, главным образом, к самому себе, человек гомосексуален по определению.

Маленькая пауза.

Такая формулировка вас устраивает?

*Пожилый репортер*. Дочка, ты эгоистка, да. Я не знаю, здоровая ли ты эгоистка, но очень большая. Только вот – почему, почему?

*Девушка-сингл*. А знаешь, папа, почему... почему слон – большой?

*Пожилый репортер* горестно качает головой.

А вы, Брайен?

Та же реакция – у *Стажера*.

Так вот, джентльмены, мотайте себе на ус. Слон такой большой потому, что он – не маленький.

Пауза. Девушка-сингл продолжает смотреть на летное поле.

*Стажер.* Значит, мисс Боули, не пойдете за меня замуж? Сбежали прямо из церкви и полагаете, что...

*Пожилой репортер.* Хорошо, что этого всего не видит твоя покойная мать...

*Девушка-сингл.* Какое вам «замуж», Брайен?! Какое тебе «замуж», папа?! Я жизнь люблю, а вы мне – богадельню?! кастрацию?! Черт!

Решительно подходит к двум «спаренным» тележкам; резко клацнув, разъединяет их.

«Ячейка общества» хороша только в рекламе кетчупа...

*Стажер.* Я понимаю... Вам, конечно, не нравится, что я консервативен... не разделяю ваших взглядов...

*Девушка-сингл.* Консервативен! Ха-ха... Вот муторное кино! Обыватель всегда ласково именуется консерватором... ваааажно так именуется... И, главное, сам верит в это облагораживающее определение...

*Пожилой репортер* выхватывает из кармана флакончик – и щедро высыпает себе в ладонь целую пригоршню пилюль.

*Стажер.* Мистер Боули, помните про Хита Леджера!

*Пожилой репортер* с досадой вышвыривает пилюли. Они попадают в пасть крокодила.

*Стажер (снова обращаясь к Девушке-сингл.* Чем вам не нравится обыватель, мисс Рвотный Корень? На обывателе мир держится...

*Девушка-сингл (подойдя к крокодилу и вода пальчиком по его зубам).* В этом вы правы. На обывателе мир держится. То-то и гнусно. Потому он таков и есть, этот мир. Ха! Подумать только: величайшие умы человечества мучились в этом мире как проклятые! Метались, извивались от лютой муки, как на адской сковородке, – нон-стоп, нон-стоп! А эти – знай себе похрюкивают...

Снова отходит к стеклянной стене, прислоняется к ней, смотрит вдаль...

*Стажер.* Но он единственный, этот мир! Да! И он держится на обывателях. И нечего смеяться. На нас держится земля!

*Девушка-сингл.* Зато на нас – небо.

*Стажер.* На ком – на нас?

*Девушка-сингл.* На одиночках. Небо держится на одиночках.

Рев взлетающего самолета.

За прозрачной стеной – он сам: огромный, величественный...

И все-таки словно бы беззащитный.

*Пожилой репортер (машинально дует на уже остывший кофе).* И все ты лжешь, дочка.

*Девушка-сингл.* Что именно?



*Пожилый репортер.* Ты лжешь, что летишь в Балтимор на Панамериканский слет одиночек.

*Стажер.* Да, мисс Боули, объясните обывателю: какие же это «одиночки», если они собираются на слеты – и все такое?

*Девушка-сингл.* Ну вот, например, планеты...

*Стажер.* Хе-хе! Планеты!..

*Девушка-сингл.* Да: планеты. Они вьются вокруг своих солнц... вот как мошकारа вокруг лампочек...

*Пожилый репортер.* Ого! Чувствуется влияние! Тут и гадать нечего...

*Девушка-сингл.* Вот они вьются вокруг своих солнц, как мошकारа вокруг лампочек, а все равно остаются в одиночестве... У каждой планеты – своя собственная орбита... Свое расстояние в перигелии, в афелии... Свой период обращения...

*Стажер.* Это что – все синглы такие переобразованные?

*Девушка-сингл (восторженно идя на крещендо).* ...свой орбитальный эксцентриситет... свой собственный сидерический период... свой синодический период... своя долгота восходящего узла...

Прижимается к прозрачной стене лицом, поднятыми ладонями, всем телом.

....свой аргумент перицентра... да-да – свой собственный аргумент перицентра... свое число спутников... (*Плачет.*)

Пауза.

*Пожилый репортер.* Дочка, если ты летишь к своему астрофизику, то к чему весь этот балаган? К чему вся эта бравада, фронда, псевдоидеология... скажи правду...

*Девушка-сингл (сморкаясь).* Какую еще – «правду»?

*Пожилый репортер.* Я знаю – этот человек работает в Балтиморе...

*Девушка-сингл (не оборачиваясь, с вызовом).* И что дальше?

*Пожилый репортер.* Он работает в Балтиморе, в университете... как его... Джонса Хопкинса, да... Я все знаю, дочка...

*Девушка-сингл.* Так ты действительно «все знаешь»? Или тебе – правду? Это разные вещи, папа. Выбериай.

Пауза.

Хорошо. Я поняла. (*Оборачиваясь.*) Так вот: правда, папа, заключается в том, что астрофизик – да, тот самый, из университета Джонса Хопкинса, – он не любит меня. А я... я люблю его больше жизни. Все нормально, па! Все нормально, Брайен. Так и должно быть. Иначе и не бы-ва-ет.

*Пожилый репортер.* Как – «не бывает»? Как – «должно быть»?

*Девушка-сингл.* Бывает именно так, как есть у меня. Хотя я иногда думаю... я иногда думаю... Почему счастье не выпадает вот так – случайно? С размаху, обухом по башке? Ну вот так, как выпадает, скажем, рак?!

*Пожилый репортер.* Дочка, окстись! Брайен, не слушайте ее! Она с ума сошла!

*Девушка-сингл.* А впрочем, я счастлива. Разве нет?

*Пожилый репортер.* Для чего же тогда жизнь, девочка, если...

*Девушка-сингл.* Жизнь дана для того, чтобы ее оплакивать.

Пауза.

*Пожилой репортер.* Послушай, дочь. Я твой отец. И никакая газета, даже наша, лучшая в городе, не даст тебе того, что могу дать я... одним пожатием руки... поглаживанием твоей милой, твоей бедовой головы... Так мне, по крайней мере, кажется... Известно, как там все у тебя в Балтиморе сложится... Так что ты знай: здесь... я... мы с Брайеном... мы всегда...

Выхватывает из кармана флакончик, резко открывает его.  
Ссыпает пригоршню пилюль прямо в рот.  
Делает огромный судорожный глоток, даже не запивая.

*Стажер (в ужасе).* Мистер Боули!

*Пожилой репортер (Девушке-сингл).* Ты называешь нас обывателями...

*Стажер (ей же).* Вы обзываете нас обывателями...

*Пожилой репортер.* Ты называешь нас обывателями, а нам не обидно. Правда, Брайен? Ведь мы любим тебя.

*Девушка-сингл.* Папа...

Объявление: начало регистрации рейса на Балтимор.

*Пожилой репортер.* У меня теперь одно утешение... Я имею смелость предположить... я думаю, что, может быть, у астрофизиков какой-то особый характер... Такой, ну... по крайней мере, не мелочный... Все-таки, ежедневно имея дело с такими величинами...

*Стажер* берет три пустых бумажных стаканчика и выбрасывает их в урну.  
Садится на стул. Снова углубляется в газету.

Но, знаешь, дочка... Странная у русских поговорка: конь о четырех ногах, а спотыкается... Я-то как раз полагаю, что – чем больше ног, тем больше... как бы это сказать... ну...

*Стажер (не отрываясь от газеты).* Математическая вероятность спотыкания...

*Пожилой репортер.* Вот-вот... То есть сороконожка, она, наверное, только и делает, что спотыкается... а человек... вот ты, например... или твой астрофизик... ведь чем человек умней... ты меня понимаешь, дочка?

*Девушка-сингл.* Да, папа. Конечно.

*Пожилой репортер.* Он ведь, наверное, только звезды любит, твой астрофизик.

*Девушка-сингл.* Никакой он не «мой», папа. И потом: раз он любит звезды, значит, надо стать звездой. Может быть – одинокой звездой. Одинокий звездой до конца своих дней. И я – стану.

*Пожилой репортер.* И еще: вот говорят – человек человеку – цель.

*Стажер (не отрываясь от газеты).* Волк, мистер Боули.

*Пожилой репортер.* Нет, цель. Человек человеку – цель жизни! Но почему, дочка, путь к этой цели всегда лежит через, как бы это сказать... через множество людей, которые – только средства... Через временных людей на этом пути... Они отшвыриваются, один за другим, как что-то ненужное, лишнее... Как сор под ногами, как прах... Почему, дочка?

*Стажер* встает и, потихоньку, возвращает ему большой клетчатый носовой платок.

*Девушка-сингл.* Папа... папа, не надо... не плачь, я прошу тебя...

Объявление: регистрация рейса на Балтимор заканчивается через двадцать минут.

Ах, я уже опаздываю! Надо торопиться!

*Пожилый репортер.* Еще пять минут, дочка...  
*Девушка-сингл.* Ой, папа, смотри, смотри!

Указывает вверх – видимо, на свисающий монитор.

Мой любимый бразильский праздник... Энтрудо! Ну, супер! Энтрудо!

Глядя вверх, улыбаясь, она начинает огненно танцевать сальсу.

Я лечу в Балтиморrrr!! Я лечу в Балтиморrrr!! Я лечу в Балтиморrrr!! Смотрите на экран, Брайен!! Папа, папа!!

*Пожилый репортер* и *Стажер*, глядя на экран, начинают повторять движения сальсы. Все трое танцуют разрозненно, поодиночке, и при этом смотрят исключительно вверх.

Ради меня... папа, Брайен... я прошу вас, пожалуйста, ну...

Музыка сальсы делается все громче.  
Танец – все более диким.

Давайте все вместе... давайте все вместе... давайте все вместе – ну, на прощанье...

Сальса.

Павел ГУМЕНЮК

---

\* \* \*

молодость моя Θεοδοσία  
ситопалдия  
чёрная акация  
ползущий плющ  
по запросу в яндексе бутоны белые  
это чушь  
я прекрасно помню бутоны красные  
я прекрасно помню катер иван белоус  
чуть за галечным пляжем  
за всем must see ленинградского инженера  
за всем must have заполярника с длинным рублём  
в индийских джинсах  
есть дача  
точней была дача  
есть вилла табакопромышленника  
бывшего из бывших  
южнобережные табаки  
жёлтые табаки стамболи  
константин мескуади  
самуил крым  
здесь накрутили немало гильз  
кто-то выкрутил круиз до стамбула  
штабсгефрайтер – вечерний новосибирск  
маймыр новоберёзовку нарым  
все не то на что ставили  
в скором времени все перестали  
все преставились  
я прекрасно помню восемьдесят второй  
весну  
то ли родители разводились  
то ли что-то ещё  
сейчас не вспомню даже  
всё уже так далеко  
я на четверть остался в феодосийской школе имени ивана франко  
вдруг  
в тот год птицы отказались лететь на юг  
их трупы в апреле бульдозерами убрали с пляжа

---

Павел Гуменюк родился в 1976 году. Закончил Северо-Западную Академию Государственной службы. Живет в Санкт-Петербурге. Публиковался в журналах «Воздух», «Волга», в литературных Интернет-журналах «РЕЦ», «Новая Реальность».

\* \* \*

ведь можно стараться не вспоминать  
можно и помнить даже  
можно  
искренне любить  
чай с запахом смолёных железнодорожных шпал  
работая менеджером по продажам  
в сфере b2b sms оповещения  
частного строительства  
чёрта в ступе  
в зелёном масляном коридоре с зудящими лампами дневного освещения  
на бывшем заводе мичманский прибор  
за окном ледяная река  
серая с серым же набережным кантом  
за рекой охта  
или лахта  
или ухта  
или в стеклоблочной  
алый  
настенный ящик с пожарным гидрантом  
на груди  
приютил мои белые инициалы

\* \* \*

никогда не было – детство  
никогда не будет – смерть  
как янтарный слоник  
с телевизора  
потерял шестерых братьев  
в начале семидесятых  
в коммуналке на правды  
среди жёлтых обоев и жёлтых же гардин  
на антресолях  
помнишь катя мраморный лебедь был в семье один  
в несгораемом в коридоре  
увеличитель ванночки для фиксажа  
даже  
глянцеватель  
самоучитель игры на баяне  
баян баркарола  
ушёл вместе с другими вещами  
из четырёхкомнатной на коллонтай  
с другими вещами на которые плевать  
баян дедушкина память  
мы могли часами в красной ванной  
проявлять печатать глянецвать  
у меня было счастливое детство

жёлтый заводной робот  
полная семья  
пловдив феодосия  
отдельная комната  
я же мечтал иметь джинсы ливайс татуировки  
и нигде не работать  
в принципе так оно и вышло  
у меня было счастливое детство  
мне 33 и я  
все нюни проныл что по-хорошему давно уже должно...  
из четырёхкомнатной на коллонтай  
вынесли  
семь детских скрипачек  
та скрипачка уже с внучками  
живёт в мигдаль а-эмек или нацрат илит  
в один из разменов переездов  
в двушке  
на одной из советских  
разбирали хлам и среди каких-то ржавых плит  
гэдээровских выкроек тюков тряпья  
нашли к примеру старого мишку  
галя спросила сашу  
помнишь он нам обоим нравился очень  
мы даже немного ругались брат и сестра  
не по-человечески нести его на помойку  
давай отнесём к песочнице  
потом долго что-то искали  
нашли  
когда пошли к машине  
увидели что в песочнице дети мишку уже сожгли

## Полина СТРЕЛКОВА

\* \* \*

Вот ещё какие бывают ветра:  
небесный ветер (погода прохладная,  
много солнца, настроение  
очень веселое, ангелы боятся людей);  
древесный ветер (погода тусклая и холодная,  
с берез-невест опадают листья.  
Можно загадать желание и умереть ангелом);  
камышовый ветер (травяной);  
ветер Комариных лун  
лошадиный ветер  
тополиный ветер  
рыбный ветер.

Праздник Осени. Тишина.  
лай шершавых собак,  
в воде наверно русалки плавают  
цвета пожелтевшей травы,  
провода без птиц.  
Осень – время тусклых красок и печали.  
Зато можно летать вместе  
с птицами.

### **Фазы осени**

#### 1. р о д ы о с е н и

серую мышь  
назовём анной  
мёртвый камыш  
будет её мамой.  
купим цветы  
умрём в пыли.  
растворимся в осени  
как смогли

#### 2. с ч и т а л к а о с е н и

осенние окна запылённые  
осенние листья новорождённые  
осенние прогулки грустные  
осенние овощи вкусные.

---

15 лет, родилась и живет в Нижнем Новгороде. Печаталась в журналах «Волга – XXI век» (№3-4, 2008), «Волга», альманахе «Дирижабль». Автор книги «Подсолнышко».

3. месяцы осени

октябрь  
ноябрь  
сентябрь

4. ангелы, растворённые в осени

ангелы ноября  
держат в лапах хвосты.  
ангелы сентября  
держат в лапах сны.  
ангелы октября – худые и толстые.  
жуют мёртвых кротов.  
грядки осенью пустые и жёсткие  
ангелы октября – ангелы ветров.

ангелы октября  
спят на зацветших болотах  
на земле  
на сломанных качелях  
на крышах домов деревни  
на деревянных стульях без дна.

ангелы октября наивные и тихие.  
слышишь – шумит камыш?  
это ангелы волнуются.  
крылья у них разрезанные  
глаза большие и тёплые  
сквозь них видно заброшенное болото  
сердца у ангелов нет.  
если мы себя считаем ангелами,  
значит становимся ими.

5. ангелы и осень

ангелы и осень – главное в жизни  
это как две стороны листа.  
жизнь и смерть  
грусть и радость  
листья и мох  
ангел полина  
ангел арсения  
тишина заполняет все клетки тела  
разрежем воздух  
– он станет разреженным  
ангелы нам не помогут  
крылья у них разрезаны  
быть ангелом большое счастье  
спасибо родителям



6. дети осени

дети осени – капли и листья.  
спокойно созерцаем злых голубей.  
жёлтые песни поём для осени  
их размываем коричневым.  
вопрос: зачем нужно жить?  
ответ: для осени.

7. осенние птицы

голуби, галки, седые вороны  
глупые синицы  
воробьи  
грачи на деревьях.  
странные лесные птицы.  
снегири

8. деление осени

на пустыри  
на погоду  
на дожди  
на воду  
деление осени происходит моментально  
ах, осень

9. лампы осени

керосиновые  
стоящие на окнах  
детские  
рабочие  
настольные  
барышни склоняют головы и читают романы,  
используя настольные лампы.  
керосиновые лампы – для ангелов и птиц.  
для летучих мышей.  
они стоят на подоконниках  
сонных туманных домов деревни и безразлично смотрят на мир.  
им одиноко.

10. осень – молчаливая барышня

друг мой, сравним осень  
с молчаливой бырышней.  
кто она? полная девушка с зонтом.  
зовут варвара.  
иногда берёт пенсне и смотрит в книгу.  
– ах, – говорит варвара, – жизнь коротка.  
а через стены проникает ливень.

11. в е к о с е н и

день ветров  
день зависящих от ветра  
день ручья  
– это праздники.  
заканчиваем нашу жизнь  
веком осени

12. э л е м е н т ы о с е н и

вокзал, наполненный голубями.  
голуби ходят на красных ногах и пьют из луж.  
вода протекает сквозь стены вокзала.  
дни ветров.  
ветры дуют и не рассчитывают силу.  
падают шалаши и сараи.  
ангелов не видать.  
ветровал  
это укрытие из травы и веток.  
реже – из камыша  
мы отдыхаем в нём поочерёдно:  
сначала – мы  
далее – ангелы.

13. с е р о с т ь о с е н и

осень – жёлтая и чуть сырая девица.  
глаза коричневые у осени.  
тело осени – из трав и сухоцветов.  
из мух.  
из голубинового помёта.  
осень – радость на дне графина.  
цвета осени:  
кирпичный  
терракотовый  
цвет старых ваз  
коричневый  
коричнево-жёлтый  
красно-коричневый  
просто красный.

серость осени наступает к её концу.  
конец осени – её смерть.  
умирает осень не в больнице,  
а на первом снегу.  
вот что значит серость осени.

\* \* \*

В наши рюкзаки  
вмещается море,  
пустые просторы,  
ржавые якоря  
Грусть и горе,  
реки и горы,  
корабль и море  
и пустые слова

Леонид КОНЫХОВ

Леонид Александрович Коныхов – коренной киевлянин. Родившийся в 1940 году, Леонид впитал в себя, навсегда запомнил и удивительным образом выразил в своих многочисленных рассказах киевскую жизнь в период с сороковых по семидесятые годы – пеструю, бурную, странную для чужаков и закономерную для обитателей древнего Города, зачастую парадоксальную, насыщенную разнообразными событиями, вольнолюбивую, небывало яркую, в наше время ставшую легендарной. Одна из его книг, изрядно изуродованная цензурой – и все-таки, отчасти чудом, отчасти с помощью Виктора Некрасова увидевшая свет в киевском издательстве еще при советской власти, так и называется – «Там у нас, на Куреневке». Разумеется, о публикациях большей части смелой, талантливой коныховской прозы нечего было и мечтать. Проза эта распространялась в самиздате. Именно за самиздат и пришлось Леониду отбывать несколько лет тюремного срока. Эти годы он выдержал с честью. Один из самых значительных представителей киевского андеграунда, входивший и в круг СМОГа, в конце семидесятых Коныхов переехал из Киева в Подмоскovie. На склоне перестройки появились его публикации в периодике, вышла книга прозы. Живет он вдали от всяческой суеты, постоянно и сосредоточенно работает. Несколько томов его рассказов разных лет – ждут издания.

**Владимир Алейников**

## Рассказы

### *Непутевый*

Петр Миготуша – гениальный режиссер. Кто же в Киеве не знает Миготушу! Когда в «Молодежном» театре он поставил спектакль по испанской классике, знающие люди предсказали: тут ему и конец, прихлопнут как муху. Спектакль, действительно, производил потрясающее впечатление. Знающие люди понимают, что говорят. Ровно через неделю спектакль, что называется, закрыли. То есть из Министерства культуры пришло распоряжение – спектакль запретить. Не уточнялось, правда, что речь пока что идет о внутренней сцене.

Через полгода миготушинский спектакль в его первоизданном, нетронутым цензурой виде, вывезли за границу, в ГДР и Венгрию. В Германии и Венгрии работу театра оценили высоко, и на спектакле была солидная пресса. Труппа «Молодежного» уезжала домой с кипой газет и журналов. На внутренней сцене, однако, спектакль опять не пошел.

По тихому Киеву шумок все же прокатился. Сказано – гениальный человек. Ну и как это так? Куда очи глядели? Почему прохлопали? Собственный талант пропадает, ищет радости на стороне, признание получает в заграничье, чего доброго там и останется когда-нибудь, если, конечно, его туда еще один раз выпустят, а у себя дома, на родине, так сказать, артисты театра зубами стучат – нет режиссера и нет спектаклей.

Одним словом, с фанфарами вернулся Миготуша в Киев и повел театральные дела в столице. Дали ему возможность поставить пьесу по современному роману из украинской истории. Когда пьеса стала принимать миготушинский вид, спектакль у него, силами дирекции, отобрали, а на место Миготуши пригласили маститого режиссера Спивака.

Спивак высоко ценился начальством за умение работать по так называемому принципу дружины. Какие угодно гениальные штуки Спивак умел раскручивать назад, возвращая их в состояние покоя, равное небытию. И делать это он умел с любой труппой и любым спектаклем, пусть он там у вас обзывается как хотите, хоть авангардным, хоть сверхреалистическим, хоть фантас-

тическим. Таким образом, тихо, легко, а главное, ненавязчиво, маститый режиссер Спивак обставил свое дело солидной театральной скукой, соперничающей лишь с бессмертностью каши. Однако – провели работу в воинских частях и отдельных учебных заведениях, где дисциплина и ответственность не на последних местах: усилили театральные буфеты, дефициты пицеторга выбрасывали в антракты и погнали, как говорится, спектакли на воронях.

Какому-нибудь сильному мира сего сказать «тут ему и конец, прихлопнем как муху», это самое простое дело, долго думать не надо. Но родимый театр, родная культура – это на деловом языке называется «приличный балласт», а балласт, как известно, бросается за борт при натуральной беде, да беды пока что никакой нет, дела у всех на мази, и никакого тебе застоя, совсем наоборот: такие варятся у всех дела, голова кругом идет. Убыток, правда, от театра есть, но таков повсеместно театральный расклад, не от Спивака он пошел и не Спиваком кончится.

Прорезал Миготуша киевский мрак, сделал историю «Молодежному» театру и пропал с глаз, исчез с горизонта. Скрылся куда-то в Прибалтику. В дождливый осенний сезон он снова объявился: в длинном кожаном пальто и черном берете. Привез опять сотню штук гениальных идей и продавал их желающим людям бесплатно. Еще он привез разработку спектакля по роману известного латиноамериканского писателя, любимого у нас в стране больше, чем у себя на родине. Сплошной театральный ажур режиссера Спивака Миготуша вслух не критиковал, собрал потихоньку свою команду, и поработали полгода на добровольных началах.

В Министерстве культуры дознались про работу. Был к ним звонок из Комитета госбезопасности. Предложили разобраться и навести порядок, пока они сами за это не взялись, но тогда уже разбираться будет поздно. Перекрестной работой двух ведомств, Министерства и Комитета, установили, что самостоятельность идеологически вредная, и даже очень вредная, однако, если направить дело по нужному усилу, то она, самостоятельность, может оказаться и полезной, и даже очень полезной. В самый раз предложить хороший компромисс. Какая тематика в искусстве хромает больше всего? Ответ ясен даже ребенку: сельскохозяйственная тематика хромает больше всего. Значит, дело следует поставить следующим образом: пусть Миготуша сделает спектакль на сельскохозяйственную тему, запланированный еще три года назад, можно и без особых выкладок, на обычном театральном уровне, просто тема горящая, горит самым подлым образом, как бы самой Культуре по шапкам из Комитета не надавали. А ежели поступит Миготуша умно, пусть тогда ставит и свой спектакль, даже и в таком виде, как он сейчас есть, обрезать новаторские крылья не будем, а получив «добро» сверху, Миготуша этих новаций введет и побольше, тут сомнений быть не может: время работает на Миготушу. А поскольку даже само время желает работать на Миготушу, не грех от своих идей слегка и поотдохнуть, поставить хороший и нужный по плану спектакль; все равно талант, закаленный в мытарствах, уже никакая холера не возьмет.

А годы шли. В сорок миготушинских лет на его режиссерском опыте взросло уже второе поколение ребят, кинорежиссеры студии Довженко – Олесь Квитка и Марат Урулгиев сделали себе прочную карьеру, не говоря уже о заграничных чудаках: которые пользовали в своей прессе термин «театр Петра Миготуши» и засылали на его адрес солидных мужчин и блистательных женщин, чтоб каким-нибудь образом выведать тайну на скрытой Украине. На вопрос «Что происходит сегодня в вашем театральном мире?» – Миготуша упадающим голосом нервного человека отвечал: «Ничего не происходит». Ему не верили. Но и не обижались. Тайна есть тайна. Это хорошо понимают и на Западе.

Отчитал Миготуша лекции в институте Карпенко-Карого, выпил последнюю трехлитровую банку домашнего вина (изабелла, урожая 1979 года) и уехал к тетке в город Житомир – дать передышку нервам, облагодетельствовать, сколь возможно, лицо, отдохнуть на периферии и продумать дела всех пропадающих спектаклей. Житомир к таким делам располагает.

Тетка у Миготуши – толковая женщина. Она на хорошей должности, и тоже в отделе Культуры. Очень интересная тетка. Она всю жизнь провела в трудах. Крученая, как воловья жила. При этом к искусству сумела сохранить житейский интерес. Не балованная жизнью тетка, до всего доперла своим умом и все на свете она понимает. Все на свете понимала миготушинская тетка,

одного не могла понять: почему непутевость такая сложилась у племянника. Что за притча такая, театральный режиссер? Кто виноват? И в чем таинственная механика?

– Послушай, Петр, – говорила тетка, выкручивая какие-то веревочки из волос, – вот там артисты – с ними мне все ясно. Им роли играть, вот они и играют на нервах. Директор – это ясно. С директора весь спрос. Администратор – свои сложности. И чтоб не пили, не водили по комнатам баб, броню опять же держать. А вот чего такого делает режиссер? Чего такого можешь сделать ты, чтоб тебе не ставить никаких пьес?

– Я вам уже все объяснял, тетя.

– Ой, темнишь ты чего-то, Петр. Думаешь, как мы из Житомира, так нам не понять. Не такие уж мы темные, как про нас бают. Если хочешь знать, так все ваше искусство нашей провинцией питается. Силы таланта у нас берет.

– Да при чем тут все это. Вот тихо у вас. Часы по-старинному маятником тикают. Грушами в комнате пахнет. С вами приятно посидеть. Чего больше на сегодняшний день человеку надо.

– Я так понимаю, что ты у них своих принципов добиваешься. А ты их тоже понять смоги. Может, для твоего театра у них и возможностей таких нету.

– Их возможность – это я сам и есть. А я сам пока что жив есть. Вот такой каламбур, тетя.

– Ну ты-то особо не возносись. Ты лучше о себе правильно подумай. Сдается мне, что дело твое – обман. Дуришь ты родную тетю.

Миготуша брал свои тетради и уходил работать в сарай. Там и курить можно и походить по двору сколько надо. Такая была у режиссера привычка: для пущей раздумки ходить туда-сюда. Тетка тем временем возилась по хозяйству и подкручивала веревочки в волосах. Задиристая была и с любовью – что коза. А уж цепкая, как банный лист... Сидит Миготуша в сарае, пишет и думает, разноцветную паутину видит перед глазами, свою собственную тклет. А тетка и в сарае достает:

– Ты уж меня извини, одного не могу понять, сынок. Ролей ты играть не играешь, билетами не ведаешь, спектакли не ты сам сочиняешь, чего ж такого делаешь ты?

– Сколько ни говорю, а вы ровно ничего не слышали, тетя. Ладно, накрывайте на стол и вино из погреба тащите. Поговорим еще раз.

Все рассказал о театре Миготуша – гениальный человек. С голой сцены, можно сказать, начал и всю механику режиссерского дела изложил.

– Поняла, сынок, – вскинулась тетка, зарумянилась вишневой наливкой, натруженным кулаком зажала над столом мысль. – Все поняла. Кажись, ухватила. По-семейному будем рядить, без политики. Они тебя так, как я, ни в жизнь не поймут, у них такой линии нет. Ты меня добре послушай, сынок. Жил тут у нас один вроде тебя. Коля Миняйло был такой. Тоже непутевый. Сам он красивый, на цыгана похож. Музыкант был. Музыкой и прославился. На гармошке сильно играл. И водку по-страшному умел пить. На спор всех перепивал. Люди с ног падали, а он не пьянел. Сам при этом тощий, худой, вот как и ты, одного вы с ним поля ягоды. За ним из разных мест люди приезжали, звали поиграть. Нарасхват был человек. Случалось, что он уже играть не мог, не хотел, кушать-пить на чужих торжествах отказывался. По сараям сидел, от людей прятался. Его все равно находили. Такой уж был музыкант, необходимый и, конечно, особенный человек. А тоже уставать стал. Да и сам посуды: всю жизнь тебя под руки уводят, волокут за собой. Не злой он был человек, вот однажды взял да и от людей в леса ушел. Даже в магазин за продуктами редко заявлялся. Сам себя кормил. Ягоды собирал, грибы, рыбу ловил и так далее. Гармошку забросил и пить совсем перестал. Хватит, говорил, с меня этого дурмана. Видно, говорил, я свою норму жизненную выпил, больше нельзя, я теперь вместо водки лучше буду речную воду пить, хоть и с грязью. А дело хитрое получилось прошлым летом. Он хату свою, значит, забросил, в лесу шалаш оборудовал, там и жил. И прибежали к нему в шалаш трое. Мужики как мужики, сам Миняйло рассказывал, как все люди наши. Сказали, что они в Дубках живут. Ты же Дубки знаешь, двенадцать километров по трассе. Так вот, у них, мол, свадьба, сказали, музыкант вот так нужен. Коля Миняйло отнекивался. Сил моих играть больше нет, инструмент не могу в руки брать, пища

застольная опротивела, вся на один вкус и рыбной желчью отдает... Ничего не помогло. Посадили в легковую машину, силой, можно сказать, увезли. Потом оказалось – четыре дня без передышки играл, пальцы крючьями стали, мало сам на том месте не погиб... Ну вот, привезли его, значит, в избу. Людей битком набито, и все там один народ – мужики. Чего им вообще играть? А они в один голос требуют: давай. Миняйло заиграл, мужики пошли все топтать да плясать. Молча, без слов. И ни детей вокруг, ни баб, одни только хмурые рожи. Молчат. Пляшут. Да еще водку пьют и Миняйлу пить заставляют. Водка при этом казенная, они ее, как в магазине, из проволочных ящиков берут. Изба от плясок таких ходуном ходит, шатается, а этим, сколько не играй, все мало да мало. День играй, два играй... Да это уж Коля потом сосчитал, когда малость очухался. Там-то он не соображал ничего, потому как время шло, но ничем не отмечалось: сплошная ночь четыре дня стояла. И передыхи нет, не дают. Понял вдруг Коля Миняйло, что несдобровать ему быть с этой веселой компанией. Последние силы в пальцы вложил, рванул гармонь – и мехи разорвал. Лопнула музыка, и полетело все к чертям. Что было дальше – он уже не мог толком рассказать... Очнулся Коля после глубокого сна. Лежал он на краю болота, голова кисла в воде. И ни хаты той, ни людей. А на груди у Миняйло лежит его гармошка. Только уже не разорванная, а сшитая чертовым шнурком. В полном смысле слова. Совсем не понять, какой дрянью сшита. Починили, значит, ему инструмент. Играй, гармонист, дальше. Да кто из наших пробовал, ни один человек из гармошки звука извлечь не смог. Черти, значит, вернули инструмент, а музыку себе оставили. Выходит так, что бесовским искусством владел Миняйло, иначе он бы чертям не понадобился. Через неделю, как вернулся с гармонью домой, он и сам куда-то пропал. Исчез бесследно. Шутка ли сказать: четыре дня без перерыва чертям в болоте музыку играл... Послушай, сынок, – выдержала долгую паузу тетка, багровая, как и ее наливка, – а может, и ты таким искусством занимаешься. А-а, сынок?

Миготуша поперхнулся, перестал жевать.

– Возьмись за ум, – продолжала тетка. – Кончай ты эти свои дела. Делай, что от тебя требуется, и тихо живи. Коля Миняйло был крепкий человек, а погиб во цвете лет, как корова языком слизала.

Взмахнул Миготуша рукой и вытаращил глаза на тетку гениальность.

## На детской площадке

Голоса казались детскими, хотя само пение не очень-то.

Они и на самом деле были детскими, голоса на улице, соперничающие с гомоном птиц. Птицы, слетевшись на ветки старых тополей, развели громко чирикающий концерт. От их голосов глохнул, сотрясался воздух, напоенный солнцем и запахом тополиных почек. Апрельский день до краев был исполнен весеннего восторга, придающего живой силы голосам.

Под тополями проходили шеренгой по двое воспитанники детского сада. Они держались за руки и пели песню выпускников школы:

Вот и стали мы на год взрослей,  
И пора настает...

Дети пели серьезно, старательно. Даже и с тем чувством грусти, которое присуще человеку, прощающемуся с детством. Вышколенности детей стоило подивиться. Однако лицо воспитательницы было усталым, недовольным, хотя день только начинался и до конца его еще далеко.

Домашнего вида плотная женщина в сбившемся шерстяном платке и кургузом пальто привела детей на площадку, где среди переломанных фанерных вещей еще можно было угадать терем-теремок и ракету, поставленную на попа. Кроме того, горка для катания и песочница с кучей песка, в которой вечно торчит забываемая кем-то лопатка. Территория детской площадки обозначалась покрывками автомобильных колес, обработанных серебрянкой. С легкой руки неведомого миру

дизайнера-распорядителя отработанная резина покатила по всей стране, ставши эмблемой детских пространств в городах и всех, символом детства.

– Горка свободна! Ура! Кататься! Кататься! – зазвучали голоса, как щебет птиц.

– Не шуметь! Не расходиться. Парно. Парно, – был голос воспитательницы.

Она села на скамейку. Солнце слепило, кричали птицы. Дети стояли.

– На горку пойдут те, кто сегодня хорошо шел. А вы как сегодня шли, а? Говорите.

Дети молчали.

– Я жду.

Молчали.

– Я бы и сама могла сказать. Но вы тогда подумаете, что я говорю неправильно. Поэтому я хочу, чтоб вы сами сказали. Честно. Ну, я долго буду ждать?

Дети не выдержали психической атаки. Они знали, что надо сказать. Надо сказать: плохо.

– Плохо, – прозвучал первый голос. За ним еще.

– И сейчас не лучше, – сказала воспитательница. – Давайте все вместе, хором, членораздельно и дружно скажем: мы шли плохо.

– Мы шли плохо, – проскандировали дети в тон воспитательнице.

– Так лучше, – сказала она. – Теперь вы сами видите, что я права. Сами видите, что я ничего лишнего не придумываю... Кто у нас сегодня хорошо шел? А, командир?

Из шеренги выступил мальчик, отчеканил:

– Витя Кузнецов, Гуля Чулыкина, Ляля Бутова, Сережа Потапов... – мальчик запнулся, нахмурил лоб.

– И ты, командир. Хватит, – остановила воспитательница. – Вы идете кататься. Остальные на горку не идут. Будете кататься пять минут.

Пятеро убежали, остальные смотрели вслед. Женщина села на лавке поудобней, расстегнула пальто, распустила платок.

– Можете играть в песочнице, – сказала она.

Солнце припекало. На крышах домов надувались, гулькали голуби. Ленивой стаей прохаживались собаки. Грелись на солнце коты. Все вообще слегка дурело от весны.

– Я тоже хорошо шел, – вдруг осторожно, но уверенно сказал тихий мальчик, один из тех, кто в садике ведет себя хорошо и старается хорошо ходить по улицам. – Вы, может, не видели. И командир сегодняшний не заметил.

– Никто не видел. Отстань, – откликнулась воспитательница.

– Я хорошо шел, – решительно сказал мальчик. – Я старался.

– Не канючь, ишь ты какой! А еще тихоня называется.

Мальчик отвернулся, спрятал лицо.

– Обиделся, да? – стряхнула лень, встрепенулась воспитательница. – Посмотрите на него. Он обиделся. Вот это да. А чего обиделся? Чего? Ты ж по траве шел? Шел. С ноги сбивался? Сбивался. Так это я тебя наказала? Дети, это я Павлика наказала? Дети, кто его наказал?

Дети молчали.

– Ну же! Я жду.

Дети знали, что надо сказать.

– Он сам себя наказал, – вразнобой, но почти одновременно сказали дети.

– Вот так, понял? – Воспитательница посмотрела на часы. – Две минуты, – сказала она.

– Две минуты, – подхватили дети.

Пятеро на горке задвигались побыстрей. Спешили накататься.

На краю лавки сидела девочка. Когда все подавали голоса, она молчала. Уткнулась в коленки острым подбородком и грызла конец косички.

– А я вообще не люблю кататься с горки, – сказала она. И повторила еще отчаянно и с вызовом: – Я не люблю кататься с горки. Не люблю, понимаете. И не пойду, даже если попросите. Даже если очень и очень попросите.

– И чего плетешь? Чего врешь? – все так же лениво, но уже с большей досадой, с раздражением сказала воспитательница. – Да по твоей же физиономии видно, что ты просто вредничаешь, а сама аж пищишь, так хочешь кататься. Вот за это, за твою дерзость, я тебя и в другой раз на горку не пушу.

– А я и сама не пойду, – ответила девочка и отвернулась лицом. Только для того, чтоб ее слезы не видела воспитательница. Было ясно, что кататься девочка хочет, а врать как следует пока не умеет, и чтоб не остаться в дураках, в этой жизни ей еще предстоит научиться врать так хорошо, чтоб никто никогда по ее нервному личику – по лицу – по внешности не мог узнать, чего она на самом деле любит, а что нет: чтобы, узнавши, не смогли обратить против нее.

– Ишь, бесстыдница, – закончила воспитательница. – Врет, как собака. Да еще и прячется. – Она посмотрела на часы, сказала: – Одна минута.

– Одна ми-ну-та, – хором прокричали дети.

– Ну, и влетит же нам сегодня, ребятки, – сказала воспитательница. – Мы песню выучили?

– Не выучили, – ответили дети.

– Когда у нас урок пения? Сегодня?

– Сегодня, – ответили дети.

– Ну, давайте, милые, сейчас. Все разом. Дружно. По моему сигналу. На раз-два-три...

Воспитательница взмахнула рукой, и дети запели.

## Ах, но все-таки

*Посвящается Тале К.*

Мне кажется, что однажды со мной это уже произошло: я встал на перила и оттолкнулся от балкона, стараясь отлететь так, чтоб не упасть на большие буквы «гастроном», а потом я стал жить тихо и спокойно, понимая великую закономерность случайностей.

Этот дурацкий козырек гастронома – он внизу, и мне всегда казалось, что меня обязательно проткнут гудящие неоновые пики, и я похромаю во мраке Грегором Замзой, с гниющим яблоком в спине. Брр!

У меня всегда так.

Но все получилось гораздо лучше – меня унесли настоящие ночные кони. Все было красиво; потом они проскакали еще раз. Третий будет последним – как в сказке.

Я это говорю без эмоций; не так, как сказал однажды моей подружке: «Хочешь, я выпаду с шестого этажа».

Понятно, что выпивши; потом мне было стыдно. Такие вещи не следует говорить никому, даже себе. Потом я прекратил читать свои стихи. А ведь было дело, читал на кухнях и на балконах, за самоварами и под столом, в купе и в тамбурах, у любимых памятников и в общественных туалетах, где при моче и хлорке особенно не считаешься, но бывает, что так надо.

Если надо, у меня в запасе всегда имеется парочка новых стихов, которые я еще никому не прочитал, немногого из того, что у меня есть в запасе: два-три стиха в месяц, не то, что было раньше: писалось и думалось целыми книгами.

Что ж из того? Умножить на 12, равняется 22 или 36. Это же целая куча. Получается, что впереди у меня огромный запас.

Такое же количество пустых бутылок, грязной посуды, спитого чая, кофейной гущи, а еще пепел и собачья шерсть Папы Карло, которая стелется ковром на полу.

– А это тоже полезно, – ответил я своей подружке. – Например, связать носки. Кстати, вот ты мне и свяжешь.

– Я тебе саван из нее свяжу, – ответила она.



Она мне это ответила как нормальному человеку, у которого могут быть в запасе какие-то стихи, а может их и не быть – так что не в этом дело. Ей тоже было наплевать, что выражение в лице у нее такое, как у человека, не имеющего в запасе никаких стихов. Она торжествовала потому, что она хороша и без этого дурацкого запаса, а при мне она только поганеет и чахнет. В нашем возрасте надо бы жить получше. Но мы не такие дураки, мы до этого не допустим. На турнире жизни мы не будем терзать друг друга. Все равно мы когда-нибудь встретимся, и нам будет о чем поговорить...

Нет, она вовсе не жестока, она только придумала себе это и ей стало нравиться. Если б вы видели мою подружку: густые волосы цвета вороньего крыла (какое-то количество седых, так это уже моя работа), фигура совершенно роскошная; она могла бы показаться чуть полноватой для современного эталона, но у нее бедра уже, чем у женщин ее комплекции, а главное, длинные ноги, а лицо красивое, как луна.

Это не только мое восприятие, один мой знакомый, художник написал ее портрет в обрамлении веток цветущей вишни. Он-то мне и сказал однажды: «С твоими делами, старичок, ты рано или поздно ее потеряешь. Смотри сам».

Когда это уже произошло, я ей кое-что рассказал про этих самых лошадей. Совсем немного рассказал, и не на самом деле, а как будто... Как знакомый художника Барского Аркан Пчук рассказал моей подружке очень страшную историю, почему одичал и не впускает к себе людей Барский.

Сначала Аркан Пчук давал подружке почитать стихооткровения, красиво написанные черными стоячими буквами-пиками, мистические зарифмовки, как будто их составляла электронная машина, «медиум» и «партнерша». Он просил читать это не как стихи, только воспринимать душой и никаких мнений не высказывать, потому что он этого не показывает никому, ни друзьям, ни жене, и может поделиться такой информацией лишь с партнером по духу, с единственным человеком, который есть дух, а не самец или самка.

Моя подружка иногда умеет посмотреть на себя критически, даже насчет своей красоты сомневается, когда не может достать крема для снятия волос или после посиделок в моей квартире с булками и ночным чаем, после чего отекает тело, а субботнее бельишко из комплекта «недельки» в пятницу насковозь пропахивает табаком, но когда в тебе открывают возможности, о которых ты сам не подозреваешь, попробуй тогда удержаться, чтоб не ступить дальше. А он принес почитать машинописную книжку о путях любви-дао. Там были снятые на кальку эротические картинки, подписанные красивыми черными буквами-пиками, тоже весьма эротическими, и в ней объяснялось, что наше спасение – научиться любить женщину, не переливая в ее тело драгоценную сущность своей сверхэнергии. Очень много имеется рецептов для того, чтоб не отдавать.

А потом он рассказал ей историю, почему Барский закрылся у себя в мастерской, и на него не следует обижаться, а можно только его полечить. Потому что с тех пор, как он написал ее портрет, он безумно влюбился – в нее, в этот портрет, в ее голос, которым она пела под гитару, в ее молчание, если она не поет; но он понимает, Барский понимает, что у нас с ней такие та-а-кие отношения, что я (то есть я-я) такой интересный человек, и вообще – друг, так что третьему между нами не втиснуться, а поэтому надо уйти от всех, спрятаться и самому отказаться – а что она думает по этому поводу? Он внимательно смотрел через очки.

– А что думаешь ты? – спросила у меня подружка.

– Я думаю, что когда Барский узнает про эту мистику, он набьет Аркану морду.

– Почему это? – с небольшим, правда, раздражением спросила она.

– Ты видела, с какой рожей он орудует своими нунчаками?

– Видела, конечно. Он мастерски работает.

– Вот этой штукой он может пробивать голову кому угодно. Но здесь не его парафин. В электронную машину эти тонкости не запрограммированы. Он тебе рассказал про себя, а не про Барского. Ему надо тебя прощупать. Чтобы знать, как оно действует. И если вы соберетесь лечить душу художника, так в его мастерской ты переспишь с ним, с вот этим. Может быть, Барский

ничего и не будет знать. Тут самое главное, готова ли ты сделать первый шаг, или надо еще влиять. Вот такая сверхзадача.

– Какой же ты все-таки въедливый, – сказала моя подружка.

– Ты можешь жить, с кем хочешь, – ответил я, – но этот друг тебя должен уважать.

Тогда-то я ей рассказал про лошадей, чтоб она не думала, что мной руководит одна только дикая ревность, что я вцепился в ее тело и душу и буду держать сто лет, пока сам не постарею и ее не замучаю.

– Ну, ты даешь! – сказала она. – Скоро совсем чокнешься. У нас же конного завода нет, и никаких лошадей быть не может... Постой, я все поняла. Это были съемки. У нас ведь киностудия рядом.

– Документальных фильмов, чудачка! – ответил я. – И было темно и совершенно тихо. А ты знаешь, как они начинают баззать, когда снимают свой очередной «кадр века»?.. «Лошадь, вы слышите, лошадь? Лошадь, войдите в кадр. Вам за это деньги платят...» А потом: «На сходях, твою мать, на сходях! Дура, ты можешь пройти как на сходях?!» Актриса пятнадцатый раз сбегает с лестницы, режиссер дает ей по шее, она плачет, а тогда выясняется, что по-русски это будет «на сносях», что она как будто беременная, но режиссер за себя уже не отвечает, потому что язык кино – язык очень матерный, и все опечатки надо уметь прочитывать и самой понимать правильно – и я сам это видел слышал и чувствовал запах того воздуха необыкновенного месяца мая каштаны цвели белые грозди белые пирамиды белые треугольники покрывающие лучистую зелень шершавых листьев и акации белые яблони и морели цвели китайские розы и пахло липовым цветом в самом центре нашего города с двойным дном как шляпа волшебника где очень много всякого рода ведьм или ведьмочек цвели китайские розы возле консерватории там где сейчас вода ровным слоем течет по мавзолейным плитам интересного сооружения для отдыха души в центре города пахло липовым цветом и салатной зеленью листьев нет это не были отдельные запахи в местах наших встреч и любования сам воздух пах удивительного месяца мая липовым цветом как будто все эти тополя с наваждением пуха и клены и березы и сосны побывали у парикмахера а он обдал их своим дешевым одеколоном чтоб они стояли на улицах и пахли как провинциалы в театре липовым цветом сам воздух пах днем и ночью когда было уже свежо совсем прохладно и тихо очень тихо только где-то далеко от балкона город дрожал лишь в глубокой тишине покоя и сна слышимой дрожью а тогда грохот копыт покрыл улицу Бажова табун лошадей процокал копытами по асфальту откуда эти кони и куда? почему табун без единого ездока скачет по улице? что за кони? – и если б я не слышал видел лоснящиеся под сиренево-тусклым светом фонарей бока животных и лепешки навоза (ходил смотреть утром, ткнул носком туфли) клевали на асфальте воробьи так где же наездник? думал я ведь табун куда-то скачет а потом я уже знал какой им нужен всадник эти кони прискакали за мной и они увезли меня – нет я все еще стоял на балконе но мой конь! мой конь! уносил меня галопом лошади мчались быстро теперь когда я знаю что это уже произошло никто не в обиде я не настолько чувствителен если речь идет о моем запасе пусть мне и не наплевать я не хочу сказать ничего плохого.

Моей подружке я за многое благодарен, окажись все попроще, и наша история получилась бы дешевой, как в плохом кино, она не разменялась, и когда стала жить не со мной, и все же она зря сказала. Она ведь лучше других знает, что у меня есть в запасе.

Стихами я никого не соблазную. Если кому-то нравится, так это уже другое дело. Почему стихи вообще нравятся? Если, скажем, человек десять – а это уже много – приходят и им нравится, то как это происходит? Поэт снимает печать стыда или запрета и этим открывает ход. Что поэт – привратник у входа куда-то, это само по себе неплохо. Но дальше – стоп: ведь для глины слов нужна тоска Пигмалиона. А что говорит наука, понимающая в этом деле толк куда больше нас? Очумелый мальчик с пиками взгляда на осциллографе очков. Иногда он носит бороду, иногда нет, и разговаривает парадоксами. Он поглощает искусства, как кони олимпийцев съедали амброзию. Но они же ее пожирали не для информации, они ее переваривали, а утром лепешки навоза клевали воробьи на олимпийских путях – не на асфальте улиц банальных, только и всего – неужели только?

Но меня уже давно тошнит.

Мне по душе более бесхитростные вещи. И я рассказывал, как голыми руками раздвигал прутья парковых оград, когда меня преследовали веселые ребята из дружины, как вышел в окно из одной квартиры, потому что думать про дверь, это уже было совершенно глупо, и как сумел за какой-то там февраль, этот месяц неполноценный и довольно дурацкий, пропить дом моей тетки, доставшийся мне в наследство. И при этом я говорю: февраль. В марте это может любой дурак сделать. Друзья во хмелю сажают тебя в поезд, ты еще и не думаешь, что второй месяц нового года уже кончился, а просыпаешься в марте, да еще в Киеве, в этом странном городе, где живешь в ощущении праздника, потому что пахнет едой и цветами. Да и кому он был нужен, этот дом – обыкновенная развалюха. Зато когда я уезжал из теткиной Глевахи, я увидел девушку в электричке. Не мою подружку, нет, но не менее очаровательную девочку очень тонкой конституции. В этом я разбираюсь. Она читала книгу; потом мы пошли покурить в тамбур; я немного почитал, она попросила еще. Потом сказала, что с этим интересно жить и что встреча наша неслучайна, пригласила к себе, пожить на даче и поработать, я записал адрес, тут же его потерял, но это была не такая встреча: девушку-то я навсегда запомнил. Я уже много раз садился в ту электричку – и утром, и в час пик, но больше не встретил. Такие девушки ездят в электричках, я это знаю точно, но когда она войдет в вагон, меня там не будет. Очень жаль. У меня всегда так. Поэтому я иногда ежжу. Сажусь и читаю, просто так. Одна моя знакомая дочитывала интересную книжку. Она зашла в универмаг, встала в самую большую очередь, раскрыла книгу и стала читать. Дочитавши, она закрыла книгу и вышла из универмага вон. Она так и не узнала, за чем стояла в очереди, хотя ей тоже надо было что-то купить.

– Надень темные очки, – сказала моя подружка, – возьми в руки гармошку, будешь ходить по вагонам и рассказывать эту историю. Люди тебе накидают монет в шапку. По крайней мере, получишь хоть какой-то гонорар... я тебе говорила, что ты когда-нибудь заплачешь, но будет поздно.

– Не заплачу, – сказал я. – Потому что ты тогда будешь смеяться.

Нехорошо получилось. Ерунду сказал, моя подружка обиделась, хотя виду не подала. В последнее время она не выдает своих слабостей. Собралась в кулак и держится, как скала, но и она свое зря сказала. Ведь так можно договориться, что и ее я сам себе выдумал, чтоб вывалить на голову все, что у меня есть. А ведь что было – то было. Придумывая, мы совсем не ввали. Искусство вообще не такая штука, с ним не сыграешь партию в бильярд. Оно само прибирает к рукам и оставляет в дураках. Узнал об этом и лепа с княжеской фамилией, похожей на Темирязев. Сейчас он живет в окрестности Парижа и голову, надо думать, уже никому не морочит. Свою Французскую подружку он называл Маней и очень много при ней ругался матом, она тогда русского совсем почти не знала, а ему приятно было объяснять все наоборот, и еще он показывал эти кому-то незримо при нас существующему, как он плевать хотел на всяких заграничных Мань, и с паническим страхом делал все, чтоб она его скорее отсюда вывезла. Однажды ночью к нему кто-то позвонил, дверь он, понятно, не открыл, подумал, что на этот раз за ним уже пришли, французская Маня как раз была в Париже или его окрестности, а это уже все равно фигня, и он тогда сжег в унитазе все свои бумаги и машинописную книгу моих стихов, которую он взял почитать для Мани. Я спросил у него: где книга – он показал мне обгорелый и треснувший от огня унитаз. Есть такие люди, которым не следует ругаться матом, у них это очень противно получается, хочется по роже дать.

Сначала он начал писать японские танки, нет, сначала его бросила жена, начинающая киноактриса, потом он начал писать печальные танки. Никаких намеков на подражание японцам, обранный строй и система мышления – русские, потом он сказал, что танки уже похерил, изобретя совершенно оригинальный способ выражения. Лепа Темирязев притащил увесистую папку, где на каждом листе была одна строка. Многозначительностью страницы она переводилась в разряд стиха, над которым надо было сидеть и размышлять, куда идет твоя нога.

У нас с подружкой не было на это времени, мы тогда любили побродить ночью по улицам, посидеть на скамейках, покурить, и рот ее пах так, словно в молоко упали табачные крошки. Ведь влюбленность затем и дана, чтоб узнать, каковы превращения ночи, и на холодной и прекрасной заре встречать на улицах бродячих собак.

Так стоит ли жалеть потом? Ведь и у нас было – когда вкус на губах, как пахнут полынь и кровь, и в глазах утонувших, в пропавших глазах стояло знаком любви: единым ртом, единой слюной, сладко вяжущим соком живящихся клеток, а телу повинно узнать, как неколюч бывает чертополох и прочие разные колючие проклятые незабвенные травы и камешки, которых так много и полным-полно на этой жесткой, мелкими камешками засеянной земле, и только травинка какая-то, ненароком приставшая, ощутима до хлопот, пока не отлепишь ее от тела, и ткань на сжатых бедрах тепла и жива, как плоть, а на прощание моя подружка подарила мне собачку: помесь таксы с эрдельтерьером.

Папа Карло быстро вырос и стал собакой. Эрделю моей подружки нравятся только маленькие собаки, он в них влюбляется по уши, лижет им хвосты и лапы и дарит кости. Вот они и выкинули номер с Кларисой, чистопороднейшей таксой знакомых моей подружки, которые были без ума от Кларисы, от ее породы и достоинств. Приплод испортили, хозяева огорчались, Клара их понимала и сочувствовала, сама от тоски захирела и очень скоро умерла. С таксами это бывает. При них вообще очень сильно огорчаться нельзя, они сами от природы печальные.

Я слышал про всякие чудеса, которые умела проделывать Клариса, но мой пес выделяет еще и не такое, когда я прихожу со службы, сажусь на пол, и мы начинаем общаться. Иногда мы танцуем, иногда поем. Про то, что он понимает родную речь, и говорить не надо – это умеют все собаки.

– Теперь у меня в запасе будет еще и щенок, – сказал я тогда.

– Собака... Запомни, – вот что она сказала.

Сначала я вышел с псом, а потом потащился сам. На эту прогулку, где как шаги по асфальту – углы, повороты, прохожие навстречу – идут со мной уличные абзацы. Случайные прохожие; такие же случайные слова. Но прохожие вообще-то не случайные: они где-то здесь живут, работают, им здесь что-то надо. Да и я не случайный. Улица – хитрая штука, ничего так просто на ней не бывает. Чем закончится эта прогулка? Чем закончатся слова?

Во сне я увидел буквы. Сначала старый дом, как будто на Гончарной, старинный автомобиль летящий над городом с названием «Киев», потом слова большими красными буквами, как дурацкая вывеска «Гастроном» (дался мне этот гастроном, и чего пристал?) только на нем буквы голубовато-серые, дрожат с противным жужжанием ночной электромухи, даже на шестом этаже слышно, и какая-нибудь из них одна все время дохнет, а те буквы в глубоком и синем мраке были яркие, даже не красные, а серебристо-малиновые, и плыли словами: спящий одинок спящий счастлив одинок счастлив и одинок... Этот выпуск светогазеты плыл по кругу, как у попа была собака, кто-то же старался там для меня, может быть, знает, что в последнее время мне хочется читать детские книжки с большими буквами – вот и старается кто-то у светового табло, увы и ах разве этого мало майский воздух пахнет зелень изумрудная свежая как на просторе сна над озером как будто серебряный глаз в чаше улиц на дне города с тем же древним названием как глаз на зеленом лице взлетел самолетом автомобиль но воздух был крут автомобиль замер еще не упал и я в страхе подумал что он же висит над моей головой что потащило меня на эту прогулку? а потом брызнула желтая кровь а они уже все лежали на берегу мои друзья в виде школьных тетрадок лежали только больше в длину потому что были они тела и я их листал называя как книги по именам неужели только и рыдал горько пахнул липами майский воздух а пес во сне рычал. Воробы доклеивали лепешки.

Входили в гастроном, выходили. Очумелые забулдыги, как много коричневых. Животы детей Бахуса, коричневая отрыжка, остекленевший глаз. Входят, выходят. Корзинки, сетки, пакеты из пластика с надписями. Слова, слова, слова... Кресс-салат. Радует зелень. Весна, и всем хочется травы. Воробы тоже чирикают на асфальте. Шумят. Каждому свое. И никакого дела до знаков лошадиного табуна. А здесь могла бы стоять толпа зевак. Дудки! Только воробы что-то понимают да мой пес чувствует враждебность чужого поля. Что-то здесь не так. Идут, не видят. Вот уже кто-то вступил. Вытирает подошву, проклинает. Воробы-то кричат, да кто ж их станет слушать? Противно смотреть: нету даже дураков. И несут помидоры. Красные праздничные шарик, ис-

торгающие свет. Собаки греются на солнце. Спят своим чутким сном без сна. Над рекой запах лип пропал. Воздух замутился, как одеколон разбавленный водой. Встал мутный запах – тяжелый, сырой, холодная вода кажется совсем тяжелой. Медленно ползет парходом – речной трамвай, на котором прогуливающиеся взрослые кажутся детьми. Много светлых одежд, в нашем городе любят одеваться, мода и мода, а в воскресенье с моста все равно кажется, что и дети, и взрослые – все в матросках, не хватает только флажков и дородного усача в полосатой фуфайке, как у Анри Руссо, Таможенника, все это не кануло в вечность в начале века, живет в четвертом измерении города, который я называю Четвертым. Москва – Ленинград – Киев – и Киев – четвертый. Есть и проза четвертая. Слава Клен передал свою книгу, напечатанную в «Ардисе». Почему-то не очень рад. Ау, Создатель, ау, аве. В Четвертом городе мы сами воскресим усатого силача в полосатой майке, который канул в вечность и утонул в воде времени, но ведь ты, Создатель, должен был научить его плавать. Ау, аве. Дети кричат. Музыка кричит. Оркестр на пароходе. «Прощание славянки». Сколько можно уезжать? Кто же здесь останется? Трамвай отчалил от берега, а пены-то, пены... Как будто уже в Америке. Слава Клен перед отъездом сходил на Гончарную, простался с улицей и старым домом. Улица старая, как гончарный круг. На стекле двери кружевная мамина занавесочка еще висит. Из круглой дырки в окне – дымовая труба с конусом колпачка. Все предусмотрено, чтоб не бояться искр. В правом нижнем углу входной двери – кнопка звонка. Если лопух – Славе поклонись; не дурак – носком обуви жми. Опять пахнет. И ветер подул. Всколыхнул всю эту массу света и запаха, перемешал. Воздух сверкает и свет пахнет. В центре города пахнет. Цветут китайские розы. Розовой пеной. Вот здесь, под китайскими розами, я и встретился с моей подружкой. Зеленое платье с букетами розовых цветов. Какая она? Соперница розового дерева. На ее щеки могли бы садиться пчелы. Тело ее благоухает, а розовые полосы на стигах колен пронизывают темным током. Дарить ей следует васильки. Синий резной лепесток и копыто конечеловека; грустный взгляд кентавра Хирона.

– Как поживает Папа Карло?

– Отличный пес.

– Я знала, что тебе подарить, – вот что она сказала цветущим ртом, соперничающим с розовым деревом, как будто только благоуханием Олимпа отличаются грехи богов.

– Рассказывай, ну, рассказывай...

Мы присели на лавочку, закурили под китайскими розами, две пожилые женщины посмотрели враждебно на нас, отравляющих дымом микроклимат сквера; розовые букеты на темно-зеленом платье пахли всеми лепестками, ветер срывал цветы роз, и все перемешалось, и в розовом дожде я рассказывал о том о сем, одним словом, в Твери опять напьюсь и пьяным в Петербург на пьянство прискачу...

– Так тебе весело, – говорила моя подружка.

– Это слова Давыдова, – сказал я.

– Того, что ли, самого, который Денис? А я подумала, что это стихи Володьки Бобкова.

И мы вспомнили времена, когда все это началось. В Питере мы позвонили пожилому поэту, стихов он уже тогда писал мало, но поддерживал молодежь. Я, Володька Бобков и Слава Клен – мы тогда были молодые и задиристые, нам ничего не стоило прогреть и загреть, мы так каждый день жили. Перед этим мы пили только сухое вино, вперемешку с тонизирующим напитком «Байкал» (хорошо идет). Мы сказали, что не уйдем, откуда он нас не выслушает. Мы сказали:

– Не удивляйтесь, что в прихожей так сильно запахло. Это сухое вино. А «Байкал» содействует. На ваших стихах мы тоже учились. Правда, у нас своя школа. Все это может жить и без нас. Живет и будет жить. Остались такие мелочи, как переплет и гонорар. Но без этого может быть плохо.

– Как это понимать – плохо? – спросил маститый поэт.

– Слово – это энергия, а мысль – материальна. Если слово только давить, это даст плохие результаты. И винить надо будет не нас.

– Я к вашим услугам, – сказал поэт. – Буду слушать за весь Союз писателей. Читайте по очереди.

Первому предложили мне, но я отказался; все ж таки я был самый молодой гений.

– Таланты. Бесспорные таланты, – сказал поэт, он добросовестно всех прослушал, часа три прошло. – Но можете не шуметь. В нашем Союзе вы издателя себе не найдете.

– Нас все равно читают. Слушают, записывают на магнитофон. Бывает, что и за чтение платят. Собирают, кто сколько может дать. Ничего не поделаешь, путешествие из Петербурга в Москву и еще дальше всегда чего-то стоило и стоит сейчас.

– Таланты талантами, – сказал поэт, – но вы сами уже срубили тот сук...

– Вы же хороший поэт – зачем говорить ерунду? Ваши книги стоят на наших полках, и мы их не сбрасываем. Мы не сможем уйти бесследно, даже если этого кто-то сильно хочет, потому что время это – наше. А во времени пустоты не может быть. Пустота не живет.

– Не многовато ли вы на себя берете, молодые люди?

– Много, это когда получаешь в кассе, за то, что живешь – не платят.

– Главное, ребята, обходитесь без скандальных историй. Эта слава впереди вас идет.

– А вы продолжайте жить так, как будто нас нет. Посмотрим, какие это даст результаты. Будет много скандальных биографий. Вы только ахнете, когда не узнаете своих детей. Но сделать уже ничего не сможете.

– Пора уходить, ребята, – сказал Володька Бобков. – Мы и так три часа отняли. Надо сказать «спасибо» и айда на Литейный. Слышите? Музыка какая хорошая...

А из всех окон гремела «Манкберри мун дилайт». «Рэм» – это все-таки были отличная пластинка.

– Так тебе весело? – говорила моя подружка.

– Весело, – говорил я.

– Это прекрасно, – говорила она.

– Это здорово, – говорил я.

По-своему она была права. Но дальше я должен был идти один.

Нет, воздух еще запахнет липами, и красавицы в цвету будут стоять под розовыми деревьями, и оглушительно защелкают соловьи в рощах, и воздух от соловьиных звуков будет растрескиваться, как арбуз, проиграл цокающими звуками, когда ночью копыта опять прогрохотали по асфальту, табун лошадей проскакал улицей, под балконом моим, без всадника, и мне оставалось только оттолкнуться второй ногой и полететь, оседлать этого – бледного коня, и плевать я хотел на эту вывеску, на эти буквы, когда за тобой прискакали уже такие силы, тебя может не интересовать такая ерунда, как светящиеся пики, какой бы там хрен они из себя не изображали, и тогда я подумал, держась за перила балкона, подумал: мой пес! мой пес! – когда он об этом узнает, он ведь так безнадежно завоет, и кто ему тогда сумеет рассказать, что это все не так, а в одно прекрасное утро...

## Вячеслав ГОРБ

Вячеслав Феодосиевич Горб – мой старинный друг и земляк. Родился он в 1938 году. Его отец геройски погиб на войне. Вячеслава, вместе со старшей сестрой, вырастила и воспитала мать. С детских лет Вячеслав, человек от природы талантливый, наделенный ясным и глубоким умом, всего добивался сам. С золотой медалью окончил среднюю школу, с отличием – Киевский политехнический институт. Везде и всегда все, за что бы он ни брался, что бы ни делал, он старался сделать не просто хорошо, а очень хорошо. Достигнув устраивавшего его результата в какой-нибудь конкретной области человеческой деятельности, будь это изобретение новой газовой горелки для нужд производства, игра на гитаре, спорт, шахматы и все прочее из обширного перечня пристрастий, забот, обязанностей, он мог на время потерять к этому интерес, поскольку обостренное честолюбие было не в его характере. И только поэзия, да и вся литература, оставалась его неизменной, долговечной любовью. Оба мы выросли на Украине, в Кривом Роге. В этом степном, колоритном, большом промышленном городе существовала в начале шестидесятых годов прошлого века группа молодых поэтов, в которую входили и мы. Был я в ней самым младшим по возрасту, но вскоре чувствовал себя на равных с моими более старшими друзьями. Уже тогда Вячеслав Горб, помимо стихов, писал и особую, единственную в своем роде прозу, тяготеющую к поэзии. Такие вещи французы называют – версе, версеты. Хотя это лишь одна из разнообразных их особенностей и граней. Кряжистый, внешне – сдержанный, но внутри – с океаном страстей, спортивный, подтянутый, рассудительный, неторопливый, мыслящий смело, по-своему, оригинально и точно, Горб пользовался в нашей компании уважением и авторитетом. Периодически собирались мы в маленькой, уютной квартирке, где жил он вместе с матерью, в хорошо знакомом нам доме, находящемся в так называемом старом – заросшем огромными деревьями, заполненном птичьим щебетом, звоном трамваев, отголосками музыки, людским гомоном, шумом дождя, шелестом листьев, солнечным светом и представляющимся мне сейчас то ли непрерывным празднеством, то ли волшебным сном – центре города, читали друг другу стихи и прозу, спорили, беседовали, – это была счастливая, с бьющей через край жизнотворной энергией, с день ото дня непрерывно возрастающим числом эмоций, впечатлений, открытий, откровений, незабываемая, молодая пора. Весной 1965 года Горб стал участником СМОГа. Вскоре он переехал в Москву. Будучи хорошим инженером по сварке, он работал по специальности. Человек по-настоящему творческий, он много работал как писатель. Московский его период, последовавший за более ранним криворожским, оказался плодотворным. Новые его вещи появлялись довольно часто – и неизменно радовали всех нас, его друзей. А друзьями и знакомыми Вячеслава был в шестидесятые и семидесятые годы практически весь тогдашний отечественный андеграунд. Проза его, как и у всех в нашей среде, получила известность вовсе не в официальной печати, а в самиздате. В самом конце семидесятых Горб переехал в любимый им Киев, где прошли его студенческие годы. Став киевлянином, он сохранил былые дружбы. В девяностые – начали появляться его публикации в периодике. Ныне есть основания говорить о том, что вскоре выйдут в свет и его книги.

**Владимир Алейников**

## Невесомая тяжесть

Тополиный маршал с пушинкой на плече, как узнал ты ее невесомую тяжесть?  
Вот идешь в тополях, затопивших июнь.  
Глухо в сердце стучит тополиное лето.

О! Ты, мальчик, гордишься.

Тополя затопили глаза.

Ты откинул лицо, так они подсказали в аллее. И лицо уплывает уже среди листьев все выше и выше, все прозрачней.

Что же будет теперь?

Птицам некогда петь, птицы заняты жизнью, им некогда, кучу птенцов накорми и мгновенно усни, когда кончится солнце, озабоченный писком сквозь сон. Когда солнце погаснет, они засыпают мгновенно.

Кто услышит, как пух отделился от ветви и отплыл навсегда, кто поймет, что он повествует о чуде безветренного солнечного дня, когда лишь отдельные листья, да и то изредка, поигрывают, лениво перебрасываясь словечком?..

\*

В менее чем часе езды от Феодосии, от моря, в ложбине между гор лежит, нет, не драгоценный камень, но городок, в котором что-то случилось.

В пришкольном саду школы-интерната стоит белый домик. В одной из его комнат спят четверо влюбленных, еще утро, а в другой, гонимый здоровой завистью и дальше, сижу я, в комнате, где белые стены и несколько пустых раскладушек.

Снаружи звучит милый, милый, тысячу раз любимый, высокопарный, торжественный, тихий дождь. Он колдун и волшебник, он мастер вызывать в памяти заповедные детские сумерки с просветом над поляной и одинокой птицей, летящей на ночлег. И пока я говорю, она уже засыпает. Как медленно, как быстро, она исчезла.

Зачем же мальчик шел в лес и чтобы найти дорогу назад, бросал хлеб. Его склевали птицы и затерялись в ветвях, сумерках и просветах над полянами, и ропот крыльев догонял их.

Густела тьма, росли страхи и убежали вкось, и спипались веки, и большие глаза смотрели из темноты. Измучившись, он заснул.

Странно однако, ведь все еще легкое, как перышко, утро, и все лепечет смешной дождик, а я думаю о вечере, где перемешались любовь и печаль, о недоуменных глазах сумерек, ночи рождений и смертей, кованом пятаке рассвета и сегодняшнем утре, возвратившем всему речь и понимание. Вода течет мне как она живет и открывается смысл листьев, и каплям подарена простота, и надо бы у них чему-то научиться.

Я запомню прохладу Старого Крыма, четыре огромных тополя рядом, так, что закидываешь голову до лопаток, черный дым из трубы и деловитую квочку возле дороги. Цыплята лезут ей под ноги и отлетают из-под ног вместе с землей.

\*

Море...

И сразу звуки. И волны. И летящий над проливом и рассыпающийся на лету букет цветов.

Шампанское в вашу честь, мадам!

Дайте забыться на секунду на летящей, замкнувшейся с небом кривизне моря, дайте, дайте. Но берег, на котором я стою, лишь чуть-чуть качается.

Я вижу сухую и тусклую гальку на берегу и мокрую, похожую на черную икру больших рыб. Их чешуя серебрится вдали.

Абсолютно круглое солнце в центре круга и гулкий зной, со звоном переворачивающий размякшие болванки людей на наковальне пляжа.

Мы прижаты к горам. О, я готов быть и прикованным.



\*

Даже мы, их южных областей, попав в Крым, чувствуем себя северянами! Оказывается, мы способны наслаждаться самой ничтожной крохой солнца, тепла, моря – и чувствовать себя необычайно уютно за чудесным воротником из гор, поднятых за спиною.

Здесь всегда как будто впервые я понимаю свое родство с землей, природой, ее материнство, ее защиту, лежа в пахучей, стрекочущей, зеленой траве предгорий или у самой воды, когда разыгрывается ветер и из-за разнорослых гребней станут вылетать грязноватые хлопья туч и уноситься, замедляясь, в море.

Так же внезапно нахлынут воспоминания, теряя свои черты и превращаясь в одно лишь прозрачное ощущение прожитого, – и оно, это ощущение, намного острее и счастливее своего прообраза. Но если ничего не вспомнишь и не станешь счастливее, не пойдешь в порт, вниз в ветреный город. И там похожее раздвоение: из переулков рвешься к морю, отплывая – тянешь руки к людям и огням. Если ничего не вспомнишь – ты испугаешься, как ребенок. Тебе захочется прижаться к теплой гальке и тихо молить солнце об одном луче.

Он непременно придет к тебе, как светлый жених. Наденьте же белую фату. Я, быть может, закрыл глаза или сплю, я собираюсь расцвести. Странный цветок! Кончики пальцев тянутся вверх, глаза предутренни, губы шепчут, шея гнется, как стебель. О, Мука Раскрытия! Я почти до конца понимаю его, между нами сейчас нет разницы. Я нем и счастлив, как листья, я чист и нужен, как звонкий и шелковый воздух, я весел и влюблен, как ручей, обжигая. И этот пламень – от сверкающих снегов. «Божественно прекрасным телом тебя я странно обожгу» – от тех снегов.

Пусть ты музыкант и пальцы твои волшебны, так как они все же настоящие. Пусть и скрипки не видать, только льющийся из сияющей пустоты звук. Но право же, музыкант, я сам исчезаю, как скрипка, со всем, что есть. И остается только неясная, иногда сияющая музыка, умоляющая разгадать.

\*

Кончается дождь. Из-за головы возникает орлиная пара, которая очень спешит – и, со свистом рассекая пружинящий воздух, оставив в ком-то неприметную трещинку, растворяется в белом пространстве, как будто теряешь зрение, слепнешь.

Магнитность каких-то скоротечных событий, всасывающая их, действует и на меня, как крик ребенка притягивает мать, как ребенок притягивает грудь и потом все, что круглое и белое, как пес, точно на пожар, спешит на жалобный собачий скулеж с темпераментом дружинника и строго озабоченным его лицом, так и мы бываем сверхмагнитны друг другу.

И вот опять любимое солнце вдохнуло в море радостную возвышенность повадки. И ласты, медленно проплыв по воздуху, ушли под воду.

\*

Если лицо мое повернуто к завтрашнему году, и руки потянулись к нему, и глаза тревожно и пристально глядят в неясное, то к спине и затылку, призванные, притекают прошлые листья, вода, что уплыла, и вербы, чей текущий шум замедляет, усыпляет, обманчиво успокаивает.

Шагнув, наконец, в одиночество своего пути, я не знаю, сколько крепости в моих руках и как выносливы мои ноги, достанет ли сил моему духу расколоть ядро кедрового ореха, но верю, что дорога эта запредельна.

Довольно я медлил, теперь я все уношу с собой, чтобы сравнить дорогой, узнать знакомое в новом и укрепляться им.

Когда в совсем недалеком детстве я называл имена природы, то думал: что за ними? Я играл

в игру, которую можно назвать «все в одном». В одном вечере соединялся свет многих вечеров, от чего он не был светлее, но становился дольше. Множество листьев слеталось к одному дереву. Приподнявшись на скамейке, я показывал рукой на прилетевшие листья девушке, сидевшей рядом со мной, говоря: «Смотри, вот листья каштанов, они ароматны и коричневые, когда их разомнешь в пальцах, но что за поверхностью имен? Нужно почувствовать себя листом, чтобы понять глубину за поверхностью. Ведь что-то есть!» – «Нужно побыть листом, чтобы понять человека», – сказала девушка, рассеянно взглянув на каштан.

Я услышал репортаж с большого стадиона, увидел толпу, стоящую под «колоколом». Услышал крики играющих в сумерках детей за оградами школ. Время ощутимо текло, и я за ним не поспевал.

Я называл имена природы, чтобы потом они оказались мне знакомы хоть нераскрывшейся тайной. Иногда услышу: «Эта книга – итог раздумий и переживаний». Но даже смерть не вольна подводить итоги. Почувствованные дороги уходят на нее и теряются в бунтующем пространстве, как реки в горячих песках.

И потому хорошо, что сейчас неслышно, как на войне, проплывает под облаком лиловый самолет, улетающий с собой грусть, а ее ведь невозможно взять с собой: она – память.

Значит, он просто взбудоражил, задев своим гуттаперчевым крылом. К этой чистой радости я обязательно подмешаю утром танец бабочки на солнечном луче.

\*

Сегодня я прост и доверчив перед лицом любви. Я думал о детстве и вымыл душу слезами. Я вспомнил, как ходил с томными глазами, когда нас смешали с девочками. И сейчас не знаю в жизни лучшей минуты, чем урок в классе, в белых стенах которого, нечаянно залетев, пугливо обнаружила себя зима.

И парты, и выключатель, и доска виделись сквозь какой-то холодок. Мягкий белый подсвет во все вдохнул приподнятость.

Нет! Это умеют только дети.

Если за окнами зима, поэмка скользит по льду, то и в них зима, и где-то за глазами чувствую снежные поля, страх и возвращение сюда – а здесь не холодно, почти уютно, можно опять выглядывать в зиму, вернее в себя.

В лицах... Господи! Какая утрата! Я не помню их. Помню только, что они были приподняты и нежны, темные глаза, черные брови, прозрачная, тонкая кожа девочек, оживленные – принесли снегу в класс, дышат морозом, начали бросаться снежками, впихнули за шиворот, беготня, шум, потом какая-нибудь геометрия, или функция.

Но первое все-таки – это за окнами ясно, морозно, бело, а в классе Некрасов. Или зимние сказки: отставшая утка в замерзающей полынье, – и каждый день к ней все ближе подбирается лиса.

\*

Химический карандаш, спрятавшийся в пальцах коротышка, – и я вспоминаю школу, подготовку к сочинениям в библиотеке, выписывание цитат. Потом без всякой связи вспоминается начало марта 1949 года, когда, сидя в четвертом классе, мы все в большие одинарные обклеенные окна видели поединок зимы и весны, солнца и снега.

В марте мне уже так сильно хотелось солнца, как пройти, наконец, длиннейшее «имя существительное» и начать «прилагательное», потом «числительное». Прилагательное – это апрель, числительное – май, а я заглядывал вперед и пасся в книге уже в апреле и мае.

В тот день на протяжении четырех уроков я так хотел, чтобы солнце победило, что был почти неспособен понять величия и скромности гибнущего снега. Я так слепо хотел выжить, что прятался от мыслей о нем. Хотя тогда еще и мыслей не было, думал я – всем телом.

Едва появлялось солнце, тут же его застилали живо набегавшие жиденькие тучки, и уже летел косяк колючий снег, штриховавший все, что едва родилось за окном, как будто жаждал его зачеркнуть. Он отвоевывал у солнца твердую землю – и, пав смертью храбрых, белел островками, грязноватой подмерзшей кашей застывал в лужах. Но вскоре тучи иссыкали – и в их рваные прорехи снова неуклонно устремлялось солнце.

Глядя, как оно пламенело в отдалении призрачной надежды, я всей тоской детского тела по лиственному шуму, сонной от зноя речке, дорожной пыли на ощупь ног тянул его к себе, как тоскливый насос, и в то же время оплакивал расставание со сказочным миром зимы – волками, лисицами, медведями, зайцами, ветром, тишиной, морозом-воеводой, дозором обходящим владенья свои.

Зима Некрасова и Пушкина просвечивала еще сквозь лицо прозрачной послезимней бледностью и чувствительностью. Я ходил на переменах, постоянно возвращаясь в мыслях к близившейся на дальних дорогах неопределенной радости, ощущал ее в себе как чистый уютный праздник, как единственное в природе осветление мира, по которому безошибочно угадываешь, едва проснувшись, – выпал первый снег.

Когда после уроков я выбежал на улицу, война, а может любовь, продолжалась, хотя все заметно переменялось. Улица до самого края покрылась лужами, по небу неслись синие послевоенные окна, и я, постепенно наполняясь опустошением, увидел глубокое небо луж. Да это ведь драпала зима со всех задыхающихся кривошипов, одышечных шагунов, под мои слезы и победные марши весны.

В огромной ветреной стране свистел уже мартовский, еще почти февральский сквозняк, стуча костяшками голых веток друг о друга, рассылая в разные стороны проносившихся, как пули, воробьев. И снега уже не было. Снег кончился, его колючие иглы затупели и растаяли совсем.

На следующий день, по смирному ветру, солнце не спеша принялось за свою работу. Потянулось медленное и мягкое потепление. Лед на речке покрылся слоем воды и кое-где протаял. 18 марта пошел теплый дождь, и чем дальше он шел, тем больше теплел и нежней.

И, наконец, все было готово, чтобы 22 марта вылупились скороспелка – первый теплый солнечный день. Утки по этому случаю уплыли к другому берегу разлившейся реки, чтобы спокойно половить рыбку в мутной воде, все скворцы были на местах и приветствовали его рождение пением. Одни, не в меру крича возле своих скворешников, делились впечатлениями с пролетающими сородичами, другие – торжественно сидели на отваленных плугом пластах чернозема, очень похожие на этот чернозем.

Прозрачнейшая надежда сбылась, и я забыл о ней, как и о любви и о смерти. И помню только солнце, уток, разлившуюся реку, скворцов... весенние каникулы.

\*

Вот и юг. Вот и ветер его. И солнце, и местность, где не помнится ни одной детали, но все знакомо. Ее сизоватый дух, наклонность ветвей, наклонность домов, сомкнутость вокруг головы женских рук. Куда бы ни дул этот ветер, здесь не уцелеть.

Но я возвратился сюда к родной, но опостылевшей клоунаде галстуков, рубашек, анекдотов, звучащей на улицах, шумящей под звездами. Затихают цветы. Жара и пыль уже. Еще преддверие, еще голубая с овалом солнца и кругом облака осень, как выздоровление, о котором не знаешь, что последнее.

Кого любил, где-то здесь они, огорчения, удручения.

\*

Прибой не жалуется, требует ответа у берегов. А в море корма – приют, скворешник для питомцев, чьи крылья исподволь полетом тяжелеют. Их горла в шарфах. Горы на глазах сливаются

с туманом, смыкаются друг с другом и круглеют, их линии чернильно вечереют. И хвоя памяти ветвями по лицу, и пятна света скачут по волнам. И все равно, глаза открыть или закрыть, – желание воздуха, падения и крика.

\*

Я здесь, в себе – значит, с тобой, с ним и еще с кем-то. Я с дворниками, которые, услышав утреннюю скрипку, замирают, взволнованные, зажав метлу в руках. То, что обычно улицы оказываются подметены, следствие сплоченности профорганизации ЖКО, где уже давно стала традицией известная с незапамятных времен поговорка: «мой дом – твой дом, моя жена – твоя жена, твоя жена – твоя жена». А пока дворники организывают осень в кучи, чтобы видели «край четвертой кучи», пока они с отсутствующими голубыми глазами слушают утреннюю скрипку. Некто с душою дворника, а то и больше, входит в вечность. Я люблю места, где осень не организована в кучи, тогда она кажется высокой красивой женщиной с сухими губами. В нее можно влюбиться и, конечно, безнадежно, мечтать о ее любви, ее дети и муж – все в неопределенной возможности в будущем, из-за которого она только что пришла. Значит, юность далеко-далеко забегает вперед, а осень чем-то кровно связана с юностью. Есть зеленые абрикосы и летать во сне она, наверное, смогла бы сейчас. Дым сигареты, как дым отечества. Если бы люди не научились курить, она сейчас лежала бы на земле, обнимая листья. Все так отчетливо, чисто и точно отпечаталось в памяти. Но вот она поворачивается и уходит. И уже не слышно шуршания листьев под ногами, просто какая-то женщина удаляется в желтое и багряное. Конечно, она еще обернется, даже остановится, может улыбнется, грустно или ослепительно, но потом уйдет еще быстрее. Осень сделана Ван Гогом – густые желтые пятна прямо из тюбов, она течет, как смуглый мед между пальцев, сжавших соты.

\*

Осенью я плачу небу, весной я плачу веткам, летом я плыву в волнах тепла. Вчера, в феврале, я болел гриппом. Я уже совсем выздоровел, это было рядом, рукой подать, а сейчас в каждом следе на улице и где бы то ни было вода.

Этими такими мартовскими полночами я хожу и плачу от любви к чему, не знаю, и умираю на каждой сломанной ветке. Останется ли у меня хоть одна смерть для настоящей? Или перед настоящей вымышленная отступит или растворится в ней. Я пошучу: «я умер, забыл это, к черту память, рождаюсь снова».

Рождается мальчик, плачет и капризничает. Только сам он споет и сыграет, как надо: «Все не так!» А мелодрама станет простою и близкою всем, когда большая и косая тень перекроет его и его тень, маленькую и прямую.

\*

Это простая радость – заменить тусклую лампочку на яркую матово-белую. Я хожу по своей кухонке, как новый, сижу, как новый, слушаю, как милый, становлюсь, как шелковый. Сегодня суббота – веселый день у простого человека, а у меня развеселый, чудный день. За стенкой клуб, как гудок теплохода, как тормоз, как стоп-кран. Духовой оркестр загоняет джаз-банд. Какое сердце стучит в тот барабан? Звуки в рабском обожании ползут под ноги, их длинные лики медленно поворачиваются. Пляшут на их лицах, на груди, на спинах. Кольца червленого золотого огня меди заходят друг за друга, и звук летит стрелою через двенадцать секир; кто-то рассыпает яблоки, покармив усталых лошадей случайно или по доброте. Они катятся по полу, в них впииваются тонкие каблуки, к ним склоняется лошадиной мордой оркестр.

\*

Девочке хотелось игрушку. Она одно знала, твердила: «дай!» Так случилось, игрушку она не получила. Она заболела, игрушка заслонила все, что она видела, она пережила смерть желаний от его же иступленности. Каждый день она снова погружалась в любимую боль. Память тоже со все возрастающей влюбленностью медленно поворачивала события, до мельчайших подробностей различимая музыка ей смертельно надоела. Она пошла к людям, на которых дулась, прошла по улицам.

«Где ты пропадала?» – оживленно, искренне, как о снова повешенном на стену наброске, спросили ее. Иногда и не спрашивали.

Сквозь лицо ее все еще просвечивало одиночество. Понимая это, природа была с ней ласкова. Ах, как все это обычно! Игрушек она больше не боялась, как нас приучили спокойно ходить мимо богатых, лишь застекленных витрин. Может быть, это и убило в ней сильные желания.

До поры, до времени!

\*

Сначала в зеленоватых расплывчатых очертаниях гор метались огромные тени. Чудилась возня и рычание. Затем, бормоча и чертыхаясь, все стихло, будто уснуло.

Внезапно, сразу по пояс, как одноглазый Али-баба, увешанный дробовиками, над горами выпрыгнуло солнце и, хищно наклонившись, оперлось о горы и вонзило свой единственный глаз в лежащий внизу город, прикидывая, что предстоит сделать и сколько имеется для этого времени. Город был погружен в прохладу и тень. Непроизвольно выкрикнув что-то гортанное, солнце в ярости бросилось вниз, поскользнулось на собственных лучах и понеслось кубарем, срезая листья, рассыпая серебро и золото, расширяя лоб о подоконники.

\*

Еще на листьях капли и от недавней ночи тихо. Глухой бы увидел, слепой бы услышал, далекий бы узнал, что мир стал другим, что вытянутое, беспокойное солнце, белесый ветер и сизая пыль кончились. Вчера об этом целый день захаживались капать тучи, но прятась под деревьями, люди понимали дождь, как дождь, и тучи, как пасмурное небо. Сегодня на листья капли и тишина. И в ней возникает минувший дождь буйнолопающимися пузырями в лужах, недолговечным светом радуг, вздрагиваньем и лопотаньем листьев, тягучими стонами вершин надо всем. Они поладили, дождь и ветер, и глубоким утром оставили мир наедине друг с другом, чтобы произошел краткий миг узнавания. И они придут вовремя, чтобы вымыть и выветрить из него твердое зерно памяти и не дать расцвести его загорелым цветам. Они считают, что мы должны жить открывшись, впитывая, но не растить печальные цветы прошлого, замыкаясь в себе.

\*

Солнце здесь не кажется жестоким, ибо все живое под ним живо своей доблестью. Воздух настолько высушен и прогрет, что каждую секунду может воспламениться и во мгновение ока вознестись в небесную дальность, где его мягко потушит холодом высотных снегов, невозмутимых в ослепительном спокойствии.

Вот солнце посильнее нажало на цветы, листья, траву, и выступившие капли растаяли и разбредлись по воздуху, придав ему душистость. Он запах то ли лимоном, то ли сохнувшим сеном, то ли дубовыми листьями. Цикады с ревностным усердием пият его до того бесконечно, что это уже не воздух, а твердый и пористый ракушечник. Среди звуков и цветов других существований цикады парадоксально воспевают свое солнце. Их трещотку можно слушать, можно и не слышать, когда они, как фильтры, смиряют в себе мощное биение солнца.

\*

После очередных экзаменов наступало лето. А немного раньше, когда учебный год еще не заканчивался экзаменами, лето начиналось цветением абрикосов.

Если вспоминается детство, то солнце затмевает многое, но неизменно присутствует во всех картинах. Оно всегда медленно встает над тем пределом, куда достигаешь лишь воображением, как будто на земле существует только утро. Оно раскрывает радость, которая нежно и в неведении спит в каждой клетке тела наподобие почки, зажигает ее, и она волнами пробегает от правой ступни до левой кисти на отлете шага, от края и до края. Нога прочнее упирается в дорогу, а сердце уже всосало, наполнилось и живет той нежно холмистой землей, куда никогда не дойти. И оказывается, что любовь в нас влита с рождением. Мы знаем ее из своей безмятежности, лучше, чем взять рукою чашку, но не называем ее этим словом. Она меняется, растет вместе с нами, ее забывчивость как засыпание, пробуждаясь по законам жизни и времени, она когда-нибудь впервые узнает себя и скажет: я любовь. Но это еще бесконечно далеко, и мне не из-за чего думать, глупость это, трагедия или жизнь.

Я вечно люблю то время, когда солнце, грузный корабль, кренящийся со скрипом, поворачивает к весне, и улавливаю этот крен мгновенно и безошибочно. Подсыхает наш глиняный двор. Островки лоснящейся земли, вытопанные в море земляной жижи и месива наконец сливаются в тропинки, дороги, и обыкновенные добрые волшебные галоши, оберегавшие от неюта и слякоти земли, переносившие в огромный мир воображения и чувств в себе, становились ненужными.

Грани, целые объемы голубого воздуха вторгались, проходили насквозь, восстанавливая связи с внешним миром, нарушенные осенью и зимой, воскрешали родство, неотделимость, и земля, и воздух так громко звучали о новых временах, что школа казалась грустной, теряющейся в отдалении мелодией и почему-то оставлялась так же, как однажды были сняты галоши. И легко бежалось без них, и целый день потом, чем бы я ни занимался, я с радостью вспоминал о пришедшей весне, и смотрел на крепнущее голубое небо, как будто ощупывал в кармане найденный пророчинный ножик, и сквозь вельвет курточки чувствовал – есть.

\*

С девяти лет я играл в баскетбол. Я был маленький, и казалось естественным, если я проскочу между ногами у большого взрослого баскетболиста. Гордость не позволяла мне сделать этого, она была улыбочива и просила снисхождения, если что. Проскочу я хоть раз у кого-нибудь между ног, я, может быть, стал бы знаменитостью нашей секции, хотя секции сразу не было, а было полтора десятка ребят и с ними – чудо энтузиазма. Они были влюблены в баскетбол, а если присмотреться, то в себя, присмотреться еще лучше – друг в друга, так как каждый старался прыгнуть дальше других, а все – его достать. Но побежденные нужны победителю, а всем нужен предел, так почему нельзя сказать, что это любовь, если дело касается баскетбола.

Митя так неподражаемо тянул носок ноги по земле, когда делал два шага, что об этом думали с восхищением. Подражать ему было невозможно, и он казался счастливым обладателем сокровища, особым человеком. Однажды я слышал, как он легко и точно насвистывал какое-то сложное место из Чайковского, которое я никак не мог запомнить, но это позднее. Он жил метрах в трехстах от стадиона через речку. Я не раз видел, как под вечер он спускался к мосту в свежееглаженных белых брюках, красной обтягивающей шведке, белых кедах, легкий, юный. Он заходил на стадион, заглядывал на площадку и шел в парк, там были танцы, девушки. Но иногда, если на баскетбольной площадке была азартная игра, он оставался, девушки откладывались на завтра.

Валя Савранский вырабатывал какую-то особенную технику броска. У него были длинные и чуткие пальцы. Как-то он появился после долгого отсутствия на площадке в туфлях, серых брюках и белой шведке. Был конец августа. Он сдавал экзамены в Днепропетровский металлургический институт, поступил. Днепропетровск славился своими баскетболистами. Он привез оттуда

замечательный бросок. С дальнего расстояния он запускал мяч, закрутив его концами длинных пальцев. Мяч летел по высокой траектории и, едва коснувшись щита, пролетал сквозь кольцо, забрасывая сеточку с цирком наверх.

Так вот, на заре баскетбольной эры каждый щит был прикреплен к двум толстым столбам. Площадка – земляная, так что к середине лета она бывала вытоптана ногами и сильно пылила. Обычно собирались под вечер. Поливали ее из шланга водой и, дав ей немного подсохнуть, начинали игру. По особому нарядно она выглядела, когда на влажный, упитанный чернозем наносились белые линии разметки. На них могли бы ориентироваться парашютисты, соревнующиеся в точности приземления. Весной нам никогда не хватало терпения дожидаться, пока земля достаточно просохнет, и мы начинали играть, а земля приставала к кедам и мячу, но куда там...

\*

Осень спешит. У нее куча дел. Надо север притащить на юг. Надо, чтоб были вовремя «в багрец и золото одетые леса», надо не спутать ветра, чтоб поблескивала бабьелетова паутинка на солнце, горизонты становились далекими и холодными, все сделать так, чтоб не возникало сомнений, что это осень, а не лето и не зима.

А они и не возникают. Вытаскиваются из ящиков шкафа свитера, кофты, пахнущие нафталином, плащи, покупаются новые пальто, шарфы, шляпы. А вечером забывается дневная суета. Вот когда люди блещут смелостью и красотой. Вечером не бывает осени! Конспекты, занятия, телевизоры, огорчения, дела, болезни летят в сторону. Взгляд в зеркало, на часы: «Ой, надо бежать!» – «Смотри, не поздно!» – Девушки спешат на свидание. Сначала их не узнают мамы, а сегодня их не узнают знакомые парни. Они будут вглядываться в глаза, губы, ресницы, ждущие прикосновения, не понимая, что это, не понимая, что сами должны сделать это прикосновение, пусть нечаянно, и если его нет, они так же, как и вчера, беззаботно смеются.

Прилавки, магазины, универмаги выдерживают ежедневную осеннюю осадку. По команде «нейлоновые рубашки», «французские плащи», покупатель, как дрессированный, яростно бросается на бордаж прилавков. «Дайош французский плащ!» – страшно кричит покупатель. «Больше одного не давать!» А продавщицы? Продают плащи.

И я там был... помяли ребра, французские плащи видел. Парень, стоявший впереди, купил последний. Светло и радостно на душе, что отечественные макинтоши имеются в магазинах в избытке.

Вечером не бывает осени.

Днем, когда голодный общежитский студент в кафе блаженно допивает кофе, когда в повестку дня общецеховых собраний включается вопрос о подготовке к зиме, когда на кухне нарезанный лук выедаёт домохозяйкам глаза, воздух прозрачен и чуток, и я, может быть, единственный, кто слышит легкую, как девичий смех, глубочайшую осеннюю музыку. О чем она?

Должно быть, о «снегах Килиманджаро», недостижимых и слепящих, о том, как «спококонвіку Прометея там орел карае», а сердце «знову оживає і сміється знову», о «неотправленном письме», о ночи, глухой и тревожной, о море, усталом пловце, об отце, целующем детскую фотографию...

\*

Как облетает, скользя, листьев гаданье неспешное, больше, наверно, нельзя жить красотой неизбежного.

Что-то в тебе норовит душу радеть и – «лови ее!» – крикнув, потом полюбить тихой осенней лавиной.

Тихой осенней рекой, к телу прижавшею тени, прячущей в рыбах покой, сон разметавшей по сени.

Пусть острями огней путь и звездами исколот, что же ей чудится? Чей хочет, чтоб властвовал холод?

В стылых полях тишину с новой улыбкой сбегает. Клин журавлиный, в луну врезавшись, гра-  
нью сверкает.

Если душа ножевой веткой безлисто распята, осень в тебе проживет красным испугом заката.

\*

После двух черных дней утром по небу бежали маленькие белые облака. Было много и неба, и солнца достаточно, то есть, оно было, и сияло еще над домами. И маленькие облака высылали вперед одиноких вестников своего прихода. Это цветение утра. Облака – лепестки. Позже, я знаю, придут облака большие, серые и лиловые, а утро станет взрослым. Но пока еще оно только родилось, и мы знаем, что оно... лучше поспешим насладиться каждым его мгновением, выпьем его до дна, оставив все, что не утро. Дождь двое суток, да еще выходных, да еще... и если в понедельник такое утро, – остро.

Хотелось тебе написать о том, как утром начинаются облака, хотелось, чтобы это на весь день, может, на жизнь. Облака есть пар, но мы так любим землю, что в это не стоит верить. Но вот уже большие облака заполнили небо, движутся и ниже, и поспешней. А ты проходишь по улице и не очень-то помнишь о небе. Это хорошо. Но еще на одно мгновение оторву тебя от земных дел. Ты проходишь под листьями и время здесь, над тобой, не песок, а ветер, струющийся между ними. Они опадут осенью, и только в сердце не умрут. С высоты бессмысленной башни времени и пространства я вижу эти тополя, как с вертолета, и вдруг... я вижу вертолет сквозь листья твоими глазами, своими глазами, теперешними, так как в детстве взгляд не был так голоден: чудеса перли на нас сплошным потоком, и никому не пришло бы в голову набивать ими сундуки. Насладившись одним, мы переходим к другому. Так однажды над листьями плыл зеленый вертолет, неся с собой широкий рокот, и вдогонку ему летели возбужденные наши детские крики, пыль теплой земли и тонули в нем. Мы бежали... А сейчас воображение пытается разгадать три движения: движение по воздуху и два вращения. Одно вращение – мощное, открытое всему, а другое – капля, шепотка, с которой равновесие идеально. И потому возможен полет, все зрелище – чудо, человек приблизился к точности природы.

\*

Ночью поля молчат копнами сена...

Задаю себе вопрос: где находятся в пространстве, заполненном чувствами неба, ветра, листьев, облаков мысли и что они есть в природе? Приходит ответ: мысли бывают разные. Есть, рождаются, как почечные камни, выходят через мочеточник, есть опасные, как шпага на своей прямой, есть... Настоящие, мне кажется, только те, которые ни на йоту не уменьшают свободы движения, существующей в природе.

А что есть мысль? – возможность.

\*

Когда приходишь к улице Мира, когда приходишь к лицам улицы, когда приходишь к овалам лиц, взмаху бровей, всплеску глаз – тоже ведь частицы моря, а что в их горючей горечи – неужели море? Нету моря! К нервности пальцев. А это разве мера? И все должен смыть дождь и снова открыть солнце. И каждый раз красками владеет тот, кто из них последний. И все в той последней сиюминутной краске. Все в пределах закона. Неужели не выбиваются? Неужели не выбиться? Когда чувствуешь недоброе, когда синева сверкает на неожиданном углу и наискось пересекает твой путь не однажды. И вот оно ожидаемое или долгожданное идет в атаку, как может ходить только море, со свистом хлещет по глазам и мнет глину моей души и тела, хоть и ранит, а вдруг да не убьет? – неужели убьет? – может, выбросит на берег, а если выбросит, то печальный или слепой



от горя, со слезами или в слезах, а то и просто мокрый приползешь, может спокойный приедешь к мраморному старцу, где нет человека, а есть только образ, где уживаются дух доброты и камень – невмешательство, где нога, на которую уронишь лоб, не отшвырнет, а рука не погладит. И то и другое одобрено мною. Впервые я увидел море в Алусте из троллейбуса в так называемых тусклых лучах заходящего солнца. И блеск его был соответственно тускловатый, граница блеска и тени была прихотливой. Дальше туман и невидимый горизонт. Прищурился глаз, можно было провести по нему рукой, но зачем? Для того, чтоб... И это можно было делать сколько угодно. Только сейчас я заметил, что море живет в моем воображении. Я смотрел на него и думал – ничего особенного. Оно действует не мгновенно, а исподволь. А ночами, огнями пароходов, которые были высоко, воображенья призмой, и тыща километров воды, и трагичный зов маяка достигал, казалось, далеко, но не в нем дело, а скорее во мне.

Я тогда оставил свои притупившиеся чувства на произвол судьбы, и они становились к морю так, как им становилось, и, наверное, брали все.

А сейчас, когда я думаю о тех местах, то падаю на колени и рыдаю, но зачем. Я снова пробегаю, пролетаю по Крыму и думаю, как надо с ним прощаться. Начинать надо с самых дорогих мест. Уезжая, уходя, оборачиваться и мучиться: навечно ли? Шлепают ноги по камням, стучат колеса, грустно, скучновато, солнце жарит, глаза прищурены и болят от солнца, моря; мыслей нет, кроме одной – мы прощаемся, но мы придем сюда еще не раз. Это я говорю сейчас. Стучат ноги по прибрежным городам от Феодосии к Севастополю. Города. Мостовые. Асфальт. День. Пыль. Усталый калейдоскоп людей, спешащих или не спешащих хватнуть моря, солнца, гор. Жара. Асфальт в пятнах вина или масла. Едкий дым жаровен, шашлыков. Булькают жидкости, перегреваются фрукты. Расползается мороженое, липкое и сладкое. Вечер. Свежесть. Белые рубахи. Потная музыка. Ноги стучат по горам вдоль моря. А зачем? Кто знает. Пьяные или трагичные вечера. Ночь, звезды. Волны брюхом о берег. И Луна. О perke de la Luna – а...! Утро. Тяжелая от вина, мыслей, тоски голова. Ноги упрямо уходят, море не отпускает. И потому надо уйти? О, необходимо так загонять себя. Вся дорога позади. Душа устала, не то что ноги. Все покрывается пылью древности, забвения, скуки, ах, никогда этому не забыть. Целую светлейшую майскую зелень, еще никем не забывую, ничем не покрывшуюся.

\*

Мы, пираты и насмешники, нахалы и наглецы, мы знаем, что такое пиастры и каков их звон, и какая отличная рифма: один пиастр – один букет астр – пиастры – остров, – и что пиастрами мы платим за женщин, которые жалки не в раздвинутости ног, а в испуге глаз, и когда нам настойчиво и волнуяще предлагают на себе жениться, мы, дети юга, отвечаем: «Извини, дорогая!» – слегка приподняв при этом шляпу. Их жизнь предопределена с рождения до смерти и избавлена от случайности. Их пошлость – безотказное оружие, доводы разумны до сумасшествия, но мы – дети юга, и в нас издавна сидит солнце, контрабанда и насмешка, как граната, мы – случайность! Мы, влюбленные моря, неба, листьев, солнца, петухов, и в наших проветренных карманах звенит по несколько золотых пиастров.

Талант – это случайность, дурак же – закономерность.

\*

И еще один скелетик.

Думаю, что когда-нибудь почки моих извилин превратятся в листья и ветви, и я смогу одеть его мясом, жилами и пропустить по ним электричество (свое!) и кровь (чужую! – своей на всех не хватит, разве что придется подбавить для густоты!)

Итак...

\*

У нас запахло весной. Сейчас у меня на кухонке открыта форточка и сквозь нее приходит расплывшейся афишей музыка. Кончается фильм на девятичасовой сеанс. Женщины – для меня вражеское племя. Мой мгновенный портрет: «своей дремоты превозмочь не может воздух».

\*

Сейчас я забрел к двум сестрам, они живут с музыкой – вот такую бумагу они дали мне. Столик возле окна. Чьи-то письма и два маленьких букета – две птички горечи, которая вызывает слезы и никого и нисколько не трогает. Так ей приказано! Глупышка она, жалейка.

Одного человека я оставил на каких-то пустынных дорогах. Он хочет выпустить воду из коловца и набрать в ведро мслянистых звезд. Он хочет поест? Нажраться звезд?!

Мы встретимся. Я пуст – так лучше – пустые мозги, пустой желудок, пустые карманы. Но чем их наполнить. О горе, заломлены руки, разбиты колени, закрыты глаза. Никогда не полюблю этого места за эти письма. Но я пуст и смеюсь в луженую глотку!

Я вышел и пошел к другу. Проходя мимо «Легкой кавалерии» я заметил картинку – три дровосека рубят лес – и рассмеялся – три черных человека рубят дрова. В лесу раздавался тапер дровосека. И попер дровосек на тапера: тот взял не ту ноту по мнению дровосека. Потом я вспомнил палача из «Каина XVIII», карету, организацию, квартальный план и новые обязательства, духовную сторону дела – песенку «Я простой человек, у меня семья, и работа моя не таперная» – «ясное дело» – понимающе хохотал я, – «головы рубить» – и он хохотал до коликов и пьянел от выпитого. Красное сукно сумасшедшее стекало от подбородка к ногам, а голубое вокруг возносилась к небу. Он смешно заносил топор и терял равновесие, ломал ногу и получал сто процентов по больничному.

От любви к уюту стукачи поднимают воротники.

У друга – замок. Иду к приятелю – здесь и пишу. Здесь не столик, а приемник.

Я жду, когда растает лед. Мне не вылечиться. Это страшнее, чем тоска о счастье. Безнадежность. Тает и уплывает. Улетают раскинутые руки. Так холодно. Упадут! Кого благодарить и бояться. Доверчивость меня мучит – я не могу ответить. Тает и уплывает краска и суждена ли мне. Вывихнули душу, а единственное плечо далеко. Но ты не плачь. Постарайся. Выпей. Закури. Рыдать – это моя весенняя кампания, веселая Кампанья, весельная кампанелла.

\*

В плену у ящика темнеющий цветок, у темноты – белеющий балкон. Фонарь, лежащий за щекой ветвей, сарай, живущий в пазухе щеколд.

Автобусу положенный маршрут, шоферу под сидение вожжа, кондукторша – раскручивай билет, а улица в плену у городов. Глаза у фонарей на якорях, как дети за оградой кричат, а девушки у нежности в руках, у мальчюга в руках калейдоскоп. Из времени торча лишь булавой, Хмельницкий схвачен прошлым за сапог.

Обожжены ладони, спрячь в карман. Сбежавший месяц, как бычок, дурит – шафран пятна на золотых рогах у комнаты в дыму среди бумаг и друг простуженный...

\*

Чудно, Крым есть Крым! И все? Успеть бы поставить вопросы, об ответах я и не думаю. Видно, отвечать на это не моя судьба, хотя еще посмотрим. «Все, что мигнуло, все, что брэнно», – я сейчас медлен, рассеян и считаюсь больным, так оно и есть. Я освобожден до понедельника, а

сегодня четверг. Это – фантастика! Я бы сделал фейерверк в какой-нибудь области, но я сейчас не представляю себе никакого фейерверка. Горит лампочка возле моей кровати...

\*

С простудой – ветер сырой, с распутицей беспризорник, с распутною бражной порой, водою в разбавленных взорах.

Он наспех набросил пальто в заплатках на голое тело и в небе крутнул решето редящих туч оголтело.

И мучивший зуд озорства, терзавший миллионом желаний, забросил до птичьих собраний прохожим, похожим на ланей, под ноги, слепя, расплескал.

С разбойною этой порой смешал наши «охи» и «ахи», мольбы разбивая о страхи и чувств перестроивши строй.

Волненья никак не осияют, февраль разрешая на слом, асфальт, отливающий синью, и небо, густое до смол.

\*

Так привыкаешь дышать крымским воздухом и только как предание его чистота. Но глаза видят точнее, уши тоньше слышат, ноги – легки, и легкие под стать горам, и рукопожатия крепче. И ты бегаешь в горах, как удивленная птица, и заглядываешь в чьи-то руки.

\*

Крым, видно, не такой, как мне хотелось. Это-то и отлично! Прозрачным и предутренным он, наверное, бывает в апреле. Хочется походить среди голых деревьев, потом будет весна. От горестей останутся только тени, тогда займемся делами, городами, книгами, красками, женщинами до новых мук. Эх, душа-львица, душа-птица, душа-овечка! Ослабили веревочку, она и побежала, все в умилении – свободный бег души, но вот та нашла травку, щиплет!

\*

С разных листков бумаги, где исправления выросли до пяти этажей, я списываю отрывки, которые мне пришлось написать под каким-нибудь впечатлением. Они мало открывают и больше скрывают, как тесаные камни упавшей колонны, перекрывающие друг друга. Нагруженная большим весом, – чем большим, тем лучше, – она не упала бы. Но в этом падении нет самого падения, она утратила высоту, а не возвышенность. Тем живее она возникает в воображении, влюбленная в гармонию созвучий и соцветий.

Пожалуй, хватит такого слога.

\*

По городу ходили штангисты, как памятники здоровью. Им нравились полные цветущие девушки. И когда они появлялись вместе, такие цветущие, такие сияющие, с матовым румянцем, то замурзанные, зачуханные и кроме них сколько угодно оглядывались, и я с усмешкой и скукой шарил в пустом кармане мгновенных ощущений. И попадалась копейка. И я смеялся, что знаю, что и их дети тоже найдут себе здоровые и цветущие пары, что связался сразу с тремя, что тень безразличий и страхов холодком забралась в самую душу, в нишу. И чего только не взбредет в праздный ум!..

\*

Не надо посещать старые места.  
Чувство неудовлетворенности.  
Пыль вздули шиной губастой.  
Это не женщина, это скульптура.  
Французское вино и женщины легкого поведения.  
Легкое вино и французенки.

Шампанское и легкомысленные женщины, голубой воздух и сверкающие брызги, темные спины рыбине, лениво перебирающих плавниками (как бы они плясали на сковородке!), раковина, раскрывшая створки, словно губы для поцелуя, сияющая жемчужина.

Женская кожа, теплая, как жемчуг. Потому-то его и любят!

Я знаю, что бы ни случилось, мир великолепен. Животное, нищенка на огромном крыльце, она хочет замуж.

Ночь-негритянка, месяц, утро.

Базар – великолепия. Простите за банальность.

Тоска – вы прекрасны, мадам Тоска, вы никогда не были иностранкой, дома немножко не-ряшливы, непричесанны, помада стерта.

Скука – жалость, в чьей постели...

Свинячий аппетит, солнце в чемоданы, домой.

Время состоит из мгновений, когда брызги стоят, до них они долетают.

Клоун и арена.

Блаженный, раздающий счастливые билеты.

Ветер, холодно, за что целуете? От ветра.

Когда едешь в Крым...

\*

Как оживали мы к луне, и как густели наши губы, усвоив истину в вине, ту, для которой днем мы грубы.

Что звезды вовсе не товар в отчаянном тобою мире, чтоб торговать, а отворить рубашку августа пошире.

Что божеству случайных волн, владея нашими телами, дано творить одним дыханьем и щиколотку, и живот.

И от прозренья недалек, что я злосчастно болен музою, всю ночь стучится о висок залив, светящийся медузами.

\*

Часа два дня. Солнце едва-едва завалилось к вечеру, к прохладе. Середина лета. Затерянное в бесконечности лета мгновение. Зенит лета. Черт его знает сколько солнца было до него, и еще долго-долго можно будет ходить в одних трусах. На фотографии на лоб спадает выгоревший до соломы непослушный чуб. Только что мать накормила меня обедом. Я вышел и сел на горячее крыльцо прямо на солнце, еще и прислонился к горячей стена дома. Я слышу и представляю, как она ходит по кухне в свободном платье, чувствую, как пылает от жары ее чуть вспотевшее лицо и знаю запах ее платья, как щенок запах своей матери. Но не знаю, что она будет делать потом, – может быть, шить. И о чем она думает. Может быть, о человеке, который полюбил бы ее детей и стал бы тем, кто знает, что он первый, среди живых, и будет равный с убитым на войне после смерти. Иногда он пил бы прозрачную водку, пел бы какую-нибудь песню Утесова о шофере, баранке и дороге от Москвы до Берлина. Когда я вырос бы, то понял бы его больше умом, чем

страданием, захлебываясь от собственной положительности. Так как сам он пережил какое-то горе, глаза его были бы добрые, с грустью, отсветом войны. Но такого человека не нашлось, а другие оказались, как я думаю, не нужны. И часто по вечерам мать со своей подругой пела русские и украинские песни на два голоса. «Ты не стой, не стой на горе крутой», «Степь да степь кругом», «Дывлюсь я на небо» и другие песни были их любимыми. После обеда я всегда на пять-десять минут садился на горячее крыльцо и от резкого притока тепла почему-то вздрагивал, как от холода, но затем тепло от солнца и крыльца с блаженством завладевало мной и длилось минуты две, пока мне не становилось жарко, и тогда я уходил куда-нибудь.

Сначала я шел во двор огромного дома через дорогу, не дойдя еще до угла, за которым открывался большой тенистый двор в виде сквера, со скамейками, я сильно свистел условным свистом и ждал какого-нибудь ответа. Но обычно ответа не было еще час-полтора. В это время все спало. После обеда спали ребята, спали столбы, сонно висели провода, стоя куняли каменные заборы, никала трава, рыба в это время престаивала клевать и только изредка сонно расходились на воде круги от хвостов красноперок.

Жара. Все оживает только к пяти-шести часам, начинается клев, появляются рыбаки, к вечеру рыба обезумевает и хватает даже поплавок.

Когда сядет солнце, Гошка возвращается с речки с двумя огромными низками красноперок, верховодок, окунцов. Он поднимается на высокий берег, и тут же его окружает орава кошек. Они отчаянно кричат, заглядывают в глаза, но его улыбки и смеха не понимают и слышат только рыбу. С веранд, оторвавшись от кухонных столов, смотрят домохозяйки, показывая друг другу на рыбу. И, кажется, они довольны своими детьми.

Из мальчишек Гошка самый ловкий и удачливый. Рыбу он ловит так, как будто ему всегда везет. В баскетбол, волейбол, футбол играет с неожиданной выдумкой. И, помню, когда он, случалось, не приходил на тренировку, мое ожидание бывало в чем-то обмануто, я чувствовал разочарование, не отдавая отчета. Все мальчишки когда-нибудь становятся одноклассниками, но тогда он был старше меня на два года, был моим заветом. В чем я никогда себе не признавался. Но не только мою жизнь наполняло током то, что он был, что-то делал рядом, – то ли мы вместе ловили рыбу, то ли играли в баскетбол в одной команде. Его любили все мальчишки, и продолжалось это не один год, а все время. Он смело, и даже красиво, дрался, был справедлив, зорек и насмешлив. А когда его пытались свалить, он смущался, иногда с явным оттенком злости. Это прибавляло к любви и уважению, потому его первенство всегда, как и сейчас, было для меня бесспорно и естественно. Ко мне он относился в основном насмешливо, а если я пытался приблизиться, он живо ставил меня на место, в общий ряд, который он врожденно держал на некотором точном расстоянии, приближаясь иногда сам, иногда безошибочно пресекая такие вещи, когда душа нарастает и из нее вот-вот польется на тебя море пьяной любви, и тебе все простят и согласятся с любой твоей чушью. Он никогда не лез в первые, но всегда участвовал и честно побеждал в соревновании, а первенство признавали вслед, когда оно уже не имело значения. Да, именно так, признание первенства после совершенного поступка, когда это уже и не важно. Но для души открывались тогда просторы, бесконечно большие, чем пресловутое и проклятое «я выше тебя, хоть на миллиметр, а выше».

Года два-три длилось самозабвенное увлечение лаптой. Для игры нужен маленький мяч и штуки три биты. Участвовать в игре может от десяти до тридцати человек. Двор или любое другое пространство разбивается на два кона и поле. Между конами расстояние метров пятьдесят или более, оно-то и служит полем, распространяясь вширь. Итак, одна команда в поле, другая на кону. Каждый из тех, кто на кону, имеет право на один удар по мячу битой, которую подбираешь по вкусу, и один из них, называемый «маткой», имеет право на три удара. Когда выбивают мяч в поле, те, кто использовал свой удар, стремятся пробежать от кона до кона и назад, то есть вернуть себе право на удар, полевая команда старается попасть в пробегающих, чтобы выгнать в поле команду, которая на кону. Но если мяч, летящий по воздуху от удара биты и не коснувшийся земли, поймает кто-нибудь из полевых игроков, то полевая команда сразу переходит на кон, а другая – в поле.

Встав с горячего крыльца, я перешел улицу, поклонялся немного по пустому двору, повистел условным свистом, – никакого ответа, – и пошел на речку. Вскоре я уже играл в ладки с компотиком, – тому, кто ловит, все брызгают в лицо, просто поят его водой. Поиграв с полчаса, я услышал со двора крики, мигом выкрутил труссы и, дрожа, побежал туда. Там уже делились на команды. Сначала – орел-решка – мы попали на кон, потом поймали наш мяч и выгнали в поле, потом мы опять отвоевали кон, долго держались, и когда начало темнеть, нас снова выгнали в поле. И так не хотелось нам кончать этот день проигрышем, что после нескольких удачных ударов мы напряглись, и я почувствовал – сейчас должно что-то произойти. «Матка» коновой команды бил свой второй удар и смазал: мяч, беспечно вращаясь, падал в семи метрах от кона. И Гошка прыгнул метра на два вперед, поймал его в воздухе и упал на локоть, плечо и спину, скруглив падение, как футбольный вратарь. На этом и кончилась игра – стемнело. Много позже я узнал, что его отец долгое время был главным механиком металлургического завода, и я попытался представить, каким должен быть отец такого мальчика, как Гошка. Получалось лестно для механика. Я никогда не откажусь, не переиграю то, что я тянулся к нему, и теперь эта тяга переросла в уверенность, что Гошка был очень талантлив и, к счастью, в победе для него был важен душевный простор, открывающийся с нее, с ее вершины, а не возвышение над побежденными. Так, насколько это было возможно, он делил с ними победу, делясь открывшимся выше тщеславия простором, и оставалось с ним только то, что невозможно, да и не стоит делить. Я одним из первых пользовался приглашением в большое и, как это часто бывает, наслаждался его победой и радовался больше него самого, порой неловко перехватывая его отрезвляющий, резкий с легким презрением взгляд. Вот так неожиданно и резко он иногда пасовал в игре.

Мне не хватало победы. И так было очень долго, всю жизнь до него и после я увлекался другими талантами, поклонялся им, начисто забывая о себе, радовался их успеху, утешая себя скромностью. Природа вложила в меня достаточно доброты, но, казалось, забыла положить немножко эгоизма. И получился болезненно неуверенный в себе человек, у которого ничего не выходило ни так, как хотелось, ни по-другому. Я старался подражать своим кумирам, ибо у каждого взял то, что мне нравилось, но, никогда не делая собственных открытий, изнутри, оказывался безоружным перед жизнью, с вложенной в растерянные руки неудачей. Неудачи накапливались, повисали сонной тяжестью на желаниях, грозили превратиться в фатум; тогда я в отчаянии убегал от них, как мог; старался забыть. Но юность все же брала свое, хотя спасала меня только до поры до времени; выращивала во мне новые надежды и снова бросала к ним. И были непостижимы самоуверенное превосходство, эгоизм и другое его лицо – равнодушные, но «я выше тебя, хоть на миллиметр, а выше» уже на всю жизнь внушало желание отомстить.

Вот тут-то, уже разуверившись в дружбе, я и встретил совсем юного парня, в котором ничего не предвещало будущего друга. Дружба завязалась исподволь, когда мы сходились во мнениях, что стихи должны быть подвижны, как живое, свежи, как, допустим, сирень после майского дождя, солонь и зернисты, как крымская каменистая земля, нежны, как Таманские заливы и тревожны и переменчивы, как сама Тамань, – ведь за плечами испокон веков косоглазая Азия кочевников. Мы вместе искали, и он нашел раньше. Я по старинке потянулся к нему, как к таланту. Но кой-чему я уже был научен, и у парня оказалось большое сердце. Он разглядел во мне живое и помог поверить в себя. А Гошка из детства неожиданно осветил мою жизнь, и мне показалось, я прозрел... прозрел навсегда.

\*

Один из дней лета.

Стадион. Приходим с утра играть в баскетбол. Утром еще прохладно. Играем на два щита или на один, потом часть расходится, остаются не наигравшиеся или, может, те, кого больше ничего не привлекает, часов одиннадцать, солнце начинает припекать, появляется сонливость, вялость, а с ними и скука, от которой пытаешься как-то отмахнуться, но она почему-то возвращается, снова

отмахиваешься от нее, но она опять напомнит о себе то тем, что ногам в кедах уже жарко, как в парной, вызывая в памяти ощущения нежной прохлады, когда горячие и потные ноги вынимаешь из кед и потом идешь по щекочущей подошвы ног траве футбольного поля к крану, где моешься, то порывом ветра, поднимающего с площадки пыль, которая маленькими камешками стегнет по ногам, а волосы сделает жесткими, серыми. И вдруг от этой пыли, поднятой ветром, охватит такая острая до слез и необъяснимая жалость к себе, что тут же ее испугаешься, постараешься забыть, спрячешься. А в то время твои товарищи и ты сам бросаешь мяч по кольцу, он стучит о щит, звенит кольцо от его ударов и далеко слышен звук его ударов о землю: дынь, дык, дынь, дык. Солнце припекает все сильнее, и ближайшее будущее несет еще большую жару, сон и запустение. И вдруг – чудо: малюсенькое облачко набегает на неумолимое, непобедимое, несущее тепло солнце, и на мгновение я как будто очнулся и смотрю на небо, когда будут еще. В это время горизонт уже заполнен облаками – и, приближаясь, они разбегаются по пространству неба, раскинувшегося надо мной. Это похоже на величественный парад. Сегодня в 10.00 состоится парад облаков. И все великие законы, от которых бывает радостно, будут соблюдены. Сначала будет утро и прохлада, небо и солнце, потом пойдут маленькие и одиночные облака, потом они пойдут строем, потом большие и наконец тяжелые грозовые. Парад завершится фейерверком из молний, пальбой громов, которых сменит равномерный и успокаивающий шум проливного дождя, продлившегося полчаса. По улице неслись бурные и грязные потоки, мальчишки в одних трусиках, промокших и прилипших к телу, бегали под дождем, радостно крича между собой, пересекали мутные дождевые реки. Упали с листьев капли, витал пар, ожили птицы, одинокая капля упала с листа в потаенную лужицу и вызвала на ее поверхности ужасное волнение, продлившееся целых пять секунд, после чего солнце благоволило, наконец, взглянуть на умытую природу.

Сегодня и вечно в 10.00 состоится парад облаков. Я смотрю на небо, но несколько маленьких облачков по моим расчетам не ползут на него. Солнечное марево...

\*

Я летом иду купаться блаженно, светло и рассеянно. Сквозь драные крыши акаций веселое солнце просеяно.

\*

Цветок. Невзрачный. На лугу среди многих. Весна. Юн, весел. Не срывают. Ничего. Летом печален, перед осенью молит. Молит: сорвите. Руки. Разные, всякие происшествия с руками. Реакция цветка, он негодует, сердится, ненавидит, страдает. Есть одна нежная и грациозная рука, при виде которой он замирает, но она его не замечает. Руки в кольцах, в татуировках, женские, может, мужские. Они витают около, они улетают, превращаясь в чаек. Потом уже скоро осень. Какая-то музыка. Одна скрипка. Сухонькая и чистая рука старушки. Цветок оказывается целебной травой. Сухонькая рука передает дымящийся стакан с настоем в ту самую руку, при появлении которой он, цветок, замирал. Рука, эта нежная, гибкая, грациозная рука теперь дрожит. Ага, там еще он, казалось, уже погиб, чахнет от страданий, но утром солнце, дождик, небо, ветерок, он оживает, потом смеется. Вот результат мучений, страданий и так далее. Защищается он колбочками, потом пчелами, может при этом – свист реактивных двигателей. Забавная, лукавая у него должна быть мордочка, когда к нему в окружении пчел не решается протянуться нежелаемая рука. И еще: цветы мне говорят прощай, головками кивая низко, – и это он просит. Убегают, убегают, убегают, задыхаясь. За ними гонятся с собаками. Вот-вот настигнут. И вдруг дождь, или снег, или ветер развеял запахи – спаситель.

\*

Я среди трав и птиц стараюсь быть таким же, как они, шумлю и тихну, и внимаю ветру, что катит тучи как чертополох, приносит хвою или кукушку, канувшую в лето. Сюда я ухожу от тех, кого люблю, но возникают глаза одних в голубизне голубки и рыжий волос в ржавости листа и тот же голос в птичьем заиканьи. А поле, там, где щедростью бровей от солнца выгорел и захлебнулся колос, от злой руки упрячет лошадей, и воле их сопутствует испуг. Но в темноте, как в первой тишине, я чутко притаюсь сквозь веки. Зачем я здесь, зеленая душа! С больною страстью листьям подражать и вслушиваться в утро над глазами. Я знаю, что и мне обещан первый луч, который пальцы темноты отбросит и замкнутое горло отворит. И в каждой точке белым острием прокалывал и изгонял потемки. Послушные судьбе зеленые полоски к летучей вышине наклонно уносились. На черных, точно с детского рисунка, тончайших ножках голубые птицы струили трелей красное вино в оранжевое опьянение неба. В башке у муравья крутилось солнце. Я стоял растерянно и тихо, свет внутри предметов слабел, уходило солнце, влача пурпур; я побежал сквозь слезы, напрямик, и в красный мир бегу без теней по кривизне, по лезвию, крича: О Солнце! Мне ты не сказало Слово.

\*

Сейчас возьму крем, пойду в ванную, а на обратном пути захвачу пепельницу. Чай пью обязательно на блюде, чтобы потом не вытирать заварку, которая всегда попадает на стол, если чашка не на блюде. Сулгуни удобно нарезать для бутерброда и чистить не надо. Хозяйка, когда я ей хвастаюсь, как я экономлю время, смеется надо мной: провинция прилежно учится в столице. А летом, в июне, прихожу с работы. Дверь на балкон целый день открыта. Все лето была открыта дверь. В нее свободно залетал тополинный пух, который начинал танцевать с моим приходом, нарушившим сонный покой воздуха. Комната оживала. Вихри увязывались за мной и едва поспевали на своих детских заплетающихся ногах. Я спешил, а спешить мне было не к кому.

\*

Нет, таки происшедшие в последние дни события, приметы и предчувствия предсказывают мне, что жизнь моя вскоре вступит в новую счастливую полосу. Об этом говорит все, и мне уже не так трудно уверить себя в приближении неминуемого счастья.

Все началось с авоськи. Прекрасной прочной авоськи, плетеной из лески, с крепкими ручками из заменителя кожи. Я был так рад ей, что это наверняка была авоська моей мечты. Ее мне подарил Жорж, который завтра уезжает в Киев. Но это только ее механическое появление. На самом деле она появилась, как приبلудная кошка, немного потасканная, но судя по пушистости и длине меха, бывшая очень красивой. Так это ж ведь сущий пустяк: взмах волшебной палочки воображения – и она выходит из белоснежной мыльной пены в тазу, как Афродита на берег Кипра. О, Киприда, как ты прекрасна!

Из миски она попадает в нежнейшие полотенца, потом высыхает, и от расчески по ее меху пробегает голубое электричество. На мой взгляд, недостатком рождения Афродиты из морской пены было отсутствие зрителей. Ну хотя бы один какой-нибудь мужичок, и рождение ее было бы полноценно, но его видели только боги, сами по себе довольно-таки избалованные женской красотой, и поэтому ее рождение вызвало лишь оживление в лицах, в которых мы не нашли бы и грамма страсти, а не то что пожара. Или пусть бы хоть какие-нибудь люди, понимающие значение семейного очага и несущие его ответственность, как факел в крошечной тьме. Или дети такого семейного очага, ухоженные, в выглаженных маечках и чистых трусиках, к которым доносится из-за листвы женский голос: «дети, сюда!», «дети, обедать!» – а стол пестрит салатами.



Лучшая, несущая на себе благодное прикосновение семейного очага, приبلудная кошка окрывается вниманием и заботой настолько обильными, что не будь она приبلудной, это ей надобно бы. Но пока она снисходительно внимает и свежей рыбе, и цукатам.

Сегодня я возьму эту авоську с собой и за тот час, конечно же подаренный мне уже счастливой судьбой, между концом работы и отъездом Наташи на юг, наполню ее свежими помидорами, свежими и малосольными огурцами, зеленым луком, свежим черным и белым хлебом, яблоками, и поеду провожать Наташу, которая уезжает на юг.

Среди рабочего дня я звоню ей по телефону.

– Без четверти шесть будь на Курском вокзале, поезд «Москва – Николаев», десятый вагон. Вчера я смотрела «Анжелику». Эти французы – необыкновенный народ! Ну, обычный фильм, придворные интриги, но как это все! Платья, слова, манеры! Вот и Аполлинер пишет, что Париж – это город мечты.

– А что-нибудь «интересное»? – спрашиваю.

– Голых девочек показывают!

– Что же тут интересного для тебя? – удивляюсь я.

– Голого мужчину, он убегает от любовницы, спину показывают.

– Мускулистый зад?

– Нет, нежный, но видно, что мужчина! – и мы смеемся жизнеутверждающим смехом.

Вчерашняя встреча с Наташей и Жоржем прояснила, что каждому из нас была нужна не встреча – что-то другое, и каждому в отдельности. Шел двенадцатый час, Наташе пора было домой, а мы с Жоржем, выйдя на балкон, говорили о буддизме, о йогах. Усталый до слез, я слушал эти ненужные мне рассуждения, отвлекаясь при малейшей возможности отвлекаться. Вспоминал перистое облако, стоявшее у края неба в течение заката, и малиновую искру самолета, вспыхивавшую прерывисто и проглоченную его темным чревом. И тут мы услышали «собачий вальс». Я обернулся. Ее силуэт выражал далекость и скуку. Она взяла сумочку и ушла.

– Ей скушно, Жорж, пусть идет одна!

– Вот и у тебя Наташа завелась, – долетает до меня голос беременной женщины, моей сотрудницы. Она продолжает то ли какие-то свои мысли, то ли какой-то наш разговор.

– Наташа – это Володина жена, – объясняю я, как будто его знают все.

– Вот и у тебя есть девушка, – повторяет она с убежденностью, что и у меня все должно быть благополучно. На секунду оторопев, я не думая соглашаюсь с ней.

И вот, наполнив приبلудную авоську вещами, ее достойными, спешу на вокзал. В метро зубами жадно впиваюсь в яблоко и на вопрос девушки, не в яблоках ли веселье, несу околесину, что, мол, у нас в день веселья все ходят грустные от избытка юмора, зато на следующий день, если кто-нибудь вдруг рассмеется, то пугаться не надо: вспоминает день веселья.

Наташа уезжает, и мне не грустно. Теперь я размахнусь на всю Москву. Я раскрою объятия и шагну к ней.

...– Силь-на, силь-ней! – слышен крик рулевого со струящейся мимо восьмерки. Гребцы подхватывают этот ритм, входят в него, как в упряжку, и уже до самого конца дистанции тянут его с железной точностью. По Химкинскому водохранилищу, крашеному закатом в розы от нежно-молочных до яростно-вишневых, так и не стягченных летом, тонов разгуливают две четверки, двойка и восьмерка. Они вразнобой совершают колебания с амплитудой метров восемьсот. И от легкости, с которой они пробегают в одну сторону и возвращаются обратно, работая лишь вполсилы, от ажурности строения, вызывающей недоумение, каким это образом один из гребцов еще не вывалился и вся лодка не перевернулась, кажутся легкомысленными. Однако, присмотревшись, понимаешь, что они-то как раз и есть произведения классической современной красоты, пожелавшей придать силе изящество и стремительность.

Когда гребцам остаются последние сотни метров, это можно почувствовать: лодка бежит веселей. И в самом деле, спустя минуту две лодки замедляют свой легкомысленный бег, останавливаются в полукилометре, замирают, покачиваются. Прислонившись друг к другу носами, они

молчат о чем-то, известном только им, плаваясь в солнечном озере, точно они из воска. Потом уходят в бухту, как будто тонут, и по опустевшей глади пробегают последние отсветы солнца одинокими бильярдными шарами.

Каменный парапет, за которым начинаются ниспадающие скамьи трибун, такой же теплый на ощупь, как и на набережных черноморских городов по вечерам. Как и там, на него склоняются, садятся. Люди приходят и уходят, все время сменяясь, перемешиваясь. Многие в спортивных костюмах. Это гребцы, приехавшие на спартакиаду со всего Союза. Они живут рядом и приходят сюда, как во дворик своего дома на родине. Мое внимание привлекает появившийся грузин. Его профиль четко вырисовывается на фоне темнеющего неба, потом к профилю добавляется сигарета. Он загадочен, как спиралодиск, все время повернутый в профиль, скрывающий свою спираль.

И вдруг на землю резко падает ночь. Верее, я замечаю, что она уже упала. И людей, оказываясь, совсем немного. И желания, отдаленные раскачиванием лодок в солнечном пятне, оживают с новым отчаянным порывом. И тогда появляется женщина, которой день оказался по плечу. Он еще бунтует в ней, выплескивает пламенем живости, переливает через край не истраченной до конца энергией. Она грызет семечки. С верхней трибуны парень кричит ей:

– Мада, неси семечек!

Почему же, если тебе неизвестно сколько лет и живот у тебя подтянут, и кровь в твоих жилах никогда не иссякнет, почему же не принести человеку семечек.

И она спокойно поднимается по ступенькам, хотя, казалось, могла бы и по воздуху.

\*

Однажды... вспоминаю я и задумываюсь. Что же было однажды? Сейчас, когда я уже взрослый, очень взрослый, я знаю, чего мне недоставало всю жизнь. Уж так у меня повелось, что, как теперь стало понятно, я всегда жил чувствами. Одно ощущение сменялось другим, оставляя след в моей душе, не догадывавшейся о своем существовании. Некоторые из них по силе воздействия, космической беспричинности и неожиданности можно сравнить с падением тунгусского метеорита, принимавшегося долгое время за космический корабль. Исключая, очевидно, последствия: ощущение не оставляло разрушений и пустынь. Мне страшно теперь представить, что их могло не быть. Я поздно осознал в себе желание писать. У меня не было, как у Бабеля, деда, который всю жизнь писал роман «Человек без головы», и я не написал в восемь лет стихов о кошке, тоскуя о ней на кавказском берегу Черного моря, не прочел в десять лет всего Шекспира, как это сделал мой друг, в шестнадцать лет уже написавший строчки: «Тучи ушли на запад, бок земле холодя, только остался запах спелых капель дождя».

В двадцать пять лет другой мой приятель, показав стопку из штук двадцати от корки до корки исписанных тетрадей, сказал, что уже десять лет чувствует себя литератором. Это был труд. Стопка была весома, тяжела, но страсть, вложенная в нее, может поспорить с силой земного притяжения. С тех времен зарождений у него было два друга. Все трое – евреи. Считалось, что он станет прозаиком, другой писал стихи и верил, что будет поэтом, третий имел способности к математике, но не знал, кем ему быть. Каждый из них по рассказам будущего поэта обладал достоинствами личности и знаниями. К Марку приходили учителя консультироваться по русской литературе девятнадцатого века. Он был влюблен в украинскую литературу: «Коцюбинский – это умница чрезвычайная». Но кумиром его был Гете. В книге Николая Вильмонта о Гете его рукой было сделано множество надписей. Иногда они спорили с текстом. Порой были наивны: «Молодец, Вильмонт». – «Чудак ты, Марк», – думал я, читая книгу. – «Если тебе скушно, – говорил он, – бери хорошую книгу и наслаждайся умным собеседником». С заимствованной высоты олимпийца поэт, которому никогда и в голову не приходило походить на Гете, казался ему легковесным и вызывал снисходительность. Далее судьба, не желая долго ломать голову, поступила с ними обычно. Она разлучила их. «Математик» уехал в Польшу, а потом в Израиль, поэт служил в армии на Чукотке,

третий остался на месте из-за порока сердца. Письма. Марк дал мне прочесть несколько писем «математика». Они были нежны и доверчивы: дорогой Марк! ты мог бы понять меня..., – таков был и почерк автора, ровно, я бы сказал, даже невинно, уложенные на линиях листов, вырванных из школьной тетради, эти буквы еще не были затронуты житейской суетой, обманами, разочарованиями, ложью волевых поступков, которая дорого обходится художнику. Его письма дополняли до объема впечатление об этом человеке, отложившееся из рассказов о нем. Пригвожденный нарывом в горле к постели, он, извиваясь на душевной простыне, говорил своей тетке: «Почему он не послал эту болячку вам?» Тетка верила в еврейского бога, а он не принял бы его смирение и на смертном одре. Самонадеянному юноше, похвалившему его в присутствии поэта: «Твой приятель мне нравится, он неглуп», он отвечал: «Я о тебе такого не сказал бы». И когда юноша от своего имени начал рассказывать что-то странно знакомое, остановил его: «Так думает Элигий Ставский, а как думаешь ты?» Юноша покраснел, как от пощечины. Письма с Чукотки были редки, сдержаны, в них не было ни грамма нитья, слова о своих чувствах. С Чукотки возвратился мужчина. Это немало – пройти Чукотку. Был шестьдесят второй год. При редакции газеты «Металлург» стихийно собралась группа молодых. Там я и познакомился с Юрием Каминским, молодым поэтом. Теперь он уже меньше писал о звездах: «Я хочу, чтобы жизнь моя кончилась многоточием звезд...» Писал о Чукотке, где «будто люди ушли с Земли» и заснеженное стадо сопок уходит, как стадо мамонтов. Там был предок, который вырастил рыжий и острый, как нож, побег костра на снегу, потом получился цветок, и человек вырвал единственный шанс у жизни и для нас. Писал об отъезде: «Вот здесь лежит Счастливая Звезда, и здесь же Белый Парус похоронен, и Женский Взгляд, забытый навсегда на харьковском перроне».

Мы собирались по понедельникам. Без взрослых, без старых, мы росли. И с нами было все, что случается с такими яростными и жадными до стихов группами молодежи. Прекрасно было это незнание жизни, эти ежедневные с распахнутыми глазами на вдохе открытия того, что знали все, кроме нас. Мы жили... А девушки, которые были способны на такие вещи, на которые они потом уже не были способны! Все они не миновали извечной женской темы младенца под сердцем, закатывая при чтении глаза на небеса. Писать стихи они, к счастью, почти все бросили и в скором времени решили эту тему практически с полным успехом.

Из центра до остановки «Третий участок», вблизи которой находится редакция газеты «Металлург», мы добирались на трамвае. Он подходил к остановке «Центр». И обливал ожидающих янтарным медом своего света. Неприметно мы пили этот мед. Соблазненные подлинной красотой мгновения, родившейся, казалось, из нашей души, а не родившей в нас всего лишь свое отражение, мы вскакивали на подножку трамвая, как на трап корабля или веревочную лестницу дирижабля. Ну, а коль ты через минуту отплываешь на борту океанского лайнера или улетаешь на дирижабле, то ты грустен, но ты – мужчина, и некий ехидный ветерок уже навевал на твое лицо возвышенную меланхолию, разметал кудри, и лицом теперь ты так похож на Цезаря Августа. Мы легко очаровывались собой, но в этом есть доброе зерно, очень важное, на мой взгляд. Причиной тому было наивное убеждение каждого, что душа его представляет какую-то ценность. И ценность ее в том, что она способна рождать красоту. Мир бессловесен, я хочу говорить от его имени, и если я его правильно понял, мир красив, а красота есть истина моего видения. Два последних слова означают, что и я говорю миром, что мы неразделимы, и, может быть, важнее то, что я хочу говорить им.

Юноша, решивший сделаться поэтом, вскоре начинал лестно задумываться о себе, хотя не создал еще ничего стоящего, хотя горе не ложилось еще на его плечи, хотя не выверил он свое решение одиночеством, и жизнь еще не давала ему никаких поводов для столь гадательных надежд. Никто из нас еще не умел отказываться от себя. Производить на кого-то впечатление было очень важно. Отсюда брали начало недолговечные дружбы. Мы помнили, кем был посеян этот дух, и дарили ему горькое забвение.

Но что ж приуныли вы, о други? Что увидели в себе? Дайте мне ваши руки. Сложим наше тепло. Истина зовет нас. И звезды Вселенной рождаются трудно.

Чтобы можно было представить себе, как проходил понедельник, я расскажу, как мы приходили к нему. На воскресенье, что чувствуется уже в семь-восемь часов вечера, всегда лежит печать завтрашних забот, завтрашней работы. Думаешь о том, чтобы лечь спать хотя бы в двенадцать, чтобы утром найти в себе силу воли обуздать и вернуть в скупое русло свои чувства, разбредшиеся и расслабившиеся за выходной, припоминаешь дела, которые нужно продолжить завтра, и как бы заранее готовишь себя к марш-броску натошак. А ты уже знаешь, что на дистанции будет тяжело, будешь задыхаться, и помимо воли внутренне готовишь себя к ее преодолению и выкуришь пару сигарет, и вино пьешь отдельными глотками, и есть стараешься поменьше, ибо с пустым желудком лучше думается и легче бежится. И обязательно нужно проводить подругу, которой не заикнешься, что тебе нужно раньше лечь спать, а подъем рано, ох как рано – в полшестого, и к семи на работу. Из выходных дней я всегда больше любил субботу, несдержанную, свободную, щедрую, идущую до конца, до того момента, когда усталость сама собой притушит постепенно веселье, и то гораздо большее, что ты ждал от него, настроит немного печально, но ты полон тяжестью созревших плодов вечера, и мысль по инерции блуждает в неподвластных пространствах памяти, так похожих на безлюдный город, по которому идешь. Момент прощаний в чьей-то гостеприимной квартире выпал, мы перескочили через него и идем по городу. А город тих и звонок, город доверчив, как любимая, которая едва приоткрылась, и это страшно спугнуть. Переулки уходят в глубокую темноту. На мокром асфальте лежат пятна холодного света. Потрескивают люминесцентные лампы. Пока мы сидели в квартире, толика дождя пролилась на него, вымыла листья, тротуары, и воздух полон возвышенной грации или легкого безумия ветра. На асфальте лежат одинокие листья, до времени сбитые дождем. Наш негромкий разговор слышен далеко, но случайному прохожему не до него. Вот и торопливых шагов его не слышно. Беззащитность спящих людей невозможно постичь умом. Уютная улица, над которой в глубокой вышине огромные бересты и тополя качают ветвями, приводит нас к висячему мосту. Мы идем посредине проезжей части, машины редко заезжают сюда. Проходим мимо дома, который с детства я знаю, как «дом профессуры». Через двор этого дома можно пройти к «дому ИТР». Есть еще «дом ЮРТа». Названия эти родились в начале тридцатых годов, когда в городе начал выплавлять чугун металлургический завод и организовался горно-рудный институт. Они построены в стиле конструктивизма. Напротив «дома профессуры» большая баня, ныне милиция, и сразу за ней переулок, приводящий к восьмой школе, которая потонула в ночи, ветвях и ребячьем гаме. На мосту кажется, что река под нами раскинула руки до невидимого горизонта, обнимая огромную душу ночи. И, может быть, потому нам сладко жить, что в этом объятии спящий город, медленно кувыркающиеся тучи, звезды, скрытые за ними, и мы со своей неумелой любовью к миру. За мостом мы проходим по сухому руслу Коммунистической улицы, протекаем по дну шума ее осокорей. Прощаясь, говорим простые слова. О, мгновение мира и покоя, помедли! Ночь, ты одна говоришь откровенно, как много в нас заронено за этот день, как мало мы успели сделать. Затем я быстро пробегаю домой и с размаху бухаюсь в сон.

И вот наступал понедельник, обычный день между прочих. Я бросался в его бурное течение со смутной мыслью о вечере, до которого еще предстояло доплыть. А чтобы хорошо плылось, то мысль должна быть на время забыта. Она придет, когда ей можно будет прийти, когда ты почувствуешь под ногами дно и плыть уже не надо, нужно выходить на берег, и сколько ты плыл – неважно. Я не оглядывался, чтобы хоть одним взглядом окинуть день, настоящий пролив неизмеримо тверже отливается в памяти. И тогда начиналось опережение. Еще на бегу к трамваю я уже мысленно ехал в нем. А двадцать минут дороги после дыбом стоящего за спиной грохота завода сокращали лишь сады от Трампарка до Широковской, точнее их живые листья, спеющие вишни, абрикосы, яблоки, виноград. (Я знаю теперь, почему сталевар Валька Савранский лежал на берегу затопленного рудника на вытоптанной пляжными волейболистами сухой траве, когда солнце пробило вторую половину лета. Солнце стояло в небе неподвижно. Земля приняла чело века в ложбинку. Вокруг кричали, разговаривали. Но было так тихо, что многое можно услышать. Слышно было женщину, сидевшую рядом с ним. Мы улыбались все трое. Не помню почему, мо-

жет быть, у нее распускался быстро живущий цветок смеха на лице, и улыбку тоже можно было услышать.) И наконец трамвай спускался под уклон к хлебозаводу. Пока я плескался под краном, чуть ли не влезая в самый кран, мать ставила на стол ужин. Я съедал его с удовольствием, и уже более не думал ни о чем, кроме редакции «Металлурга».

Приходил вечер понедельника. Он разворачивал над городом темные свои знамена и зажигал первые звезды. До отъезда на литобъединение еще оставалось полчаса свободного времени, и я не мог удержаться, чтобы не пройтись немного по городу. Почему-то было необходимо до момента, когда занесешь ногу на подножку трамвая, то ли попрощаться с чем-то, то ли отрешиться от него. Наверное, все же попрощаться, возвратиться и попрощаться еще раз. Потому что весь пестрый букет вечерних впечатлений, охапку, которую захватил как попало, которая тает таинственным образом, хотелось унести с собой. Услышанные, но непонятные обрывки разговоров, недолговечные всплески смеха, белеющих ситец платья и его узор, вкрадчиво завоеванный темнотой, запахи листышки, пыли, духов. Духота! Ты выпросишь таки дождь на свою голову. И вдруг широкий до окраин крик фонарей: «Да будет свет!» Лица, глаза явленного мира. «Здравствуй, здравствуй, здравствуй» знакомых. Дашь ли ты мне счастье?

«Где ты, счастье? Лечу на такси, руку в окошко высунув. Где оно? У кого спросить? Кому свои мысли высказать? Растопыриваю пальцы щупальцами. Что-то в них упругое прыгает. Ощущаю и даже прошупываю, а схватить не могу пригоршней».

Юноша с крепкой улыбкой... В той улыбке не было сияния или азарта, она была, спокойное и ровное горение, только внешним знаком большой и веселой внутренней энергии. С ней победа была несомненной. Спустила четверть часа мы уже ехали в тесном и тряском трамвае. Я вижу себя в трамвае, медленно отсчитывающим остановки «Школа», «Шириковская», «Трампарк»...

Слух о молодых поэтах распространялся с вездесущей быстротой запаха. Вскоре наши собрания, насчитывавшие вначале шесть-восемь человек, стали многолюдными и пестрыми. Среди появившихся людей, – а мы всегда с восторгом приветствовали новые лица, – были совсем юные девушки, написавшие по нескольку стихотворений. Они пришли учиться. Те из пришедших, кому было больше двадцати пяти лет, относились к нам скептически и не бывали у нас больше двух-трех раз. И мы потом удивлялись, что они больше не приходят и решали впредь быть сдержаннее. Саркастическая игра случая выплеснула на наш берег нескольких конференсье, в глазах которых холодным, стенчивым, стальным блеском сверкал голод по известности. Тщеславие, до времени таящее свои лезвия, гнало их на сцену, взвинченную добела темным волнением зала. И они летели на нее, как бессмысленные бабочки на огонь. К нам они пришли пригубить, откусить и вкусить сомнительной славы провинциального поэта, этой порядком горчившей сладости. Но воздух, которым мы дышали, воздух, пропитанный табачным дымом и едкий от насмешки, вредно действовал на их красивые лица, уже мирно плывшие к холености. Дух вольности, в котором медленно выплывалась воинственная и бескорыстная в своей любви к истине дружба, не пришелся им, но главное – они ему не пришили. Их исчезновение прошло незамеченным. С ними исчезли и стихи о балюстрадах, палевых небесах, гладиолусах, с образами, громоздкими, как машина времени, сделанная из фанеры.

Общая жажда писать была сравнима с... Представьте, как ребенок тянется к яркой игрушке, как мальчик ест мороженое, как девочка хочет куклу, как в майский день впервые мама позволяет выйти на улицу босиком, потому что земля уже не холодная, как хочется в детстве научиться кататься на коньках, как ждут любви, мучительно и радостно пытаюсь угадать ее в надвигающихся днях. Вот так нам хотелось писать. И в этой горячке немудрено было потерять голову.

Некто Ольшевский, долгое время веселивший нас своими бездарными стихами, вдруг принес хорошие стихи. Поверить было трудно, а он тем временем уже читал их с эстрады. Наконец, мы поздравили его, но вдруг распространился слух, что эти стихи кто-то читал в книге Галчинского, польского поэта, с которым мы были мало знакомы. Я был изумлен, это не укладывалось в голове. Гадливость помешала нам избить его. И тогда он появился, как ни в чем не бывало. Он вырос в дверях, все обернулись к нему, затихли. Сообразив, что нам уже все известно, он пошел в атаку:

– Ну и что здесь такого, – начал он, затем переходя на крик, – я сейчас пишу рассказ и...

– Слушай, Галчинский, тьфу, Ольшевский, – тихо перебил его Каминский, поворачивая указательным пальцем мраморное пресс-папье, – ты так несерьезно отнесся к делу. Разумнее было бы использовать кого-нибудь из материковой Австралии. Польша ведь рядом. – И вдруг, подняв лицо и повысив голос до звона: – Бездарный поэт и бездарный вор, ты достоин вот этого мрамора. Беги, а то здесь тяжелые чернильницы, книги и стулья. Спасай самолюбие.

– Вы еще услышите обо мне, вы пожалеете, вы все здесь ничего не стоите, – кричал на лету Ольшевский, выбитый из дверей взрывом хохота такой силы, что бедная комната задрожала, словари подпрыгивали на полках, чернила покрылись зыбкой рябью. Каминский хватал воздух, как после удара под ложечку. Наконец, лампочка дважды мигнула и погасла. Смех, обессиливший нас, стихал.

– Ангел, – сказал я в темноте.

– Нужно сменить лампочку.

Загорелся свет. Все оглядывали друг друга, тяжело и глубоко вздыхали, кто-то снова расхохотался, дошло, значит. Блаженно улыбались.

В тот вечер мы, как обычно, говорили о стихах, напечатанных в «Юности» и других толстых журналах, о Вознесенском, Евтушенко, Ахмадулиной. Рассказывали новости, смешные случаи. Каждое остроумное замечание незамедлительно награждалось вспышкой смеха и всеобщей любовью, тотчас же подхватывалось и всему исчерпывалось до дна во множестве вариантов. Когда живость, накапливавшаяся всю неделю, чтобы вырваться шипучей и искрометной струей в нашей незавидной комнате, растранивалась и утихала, мы, опустошенные этой легкомысленной бурей, уже были готовы к новому восприятию. Так земля на упавший с вызовом дождь и вызывающее солнце задорно отвечает травой. Кто-нибудь вставал и читал первое стихотворение, которое сразу же обсуждалось, и вслед за тем каждый по ходу солнца высказывал свое мнение.

\*

Там Днепр, а над ним Гора, на горе колокольня. Исполинская, она надвигается, увеличиваясь, и остается на месте, огромная, вдали, на другом берегу. Это прошлое маячит огромным остовом? Бросает вызов? Годами чувствовать его и не принять? Чем же ей возразить на этом берегу, на низком, с которого она видна во всем величии. Может, этими домами, опрятными, как кухонная мебель, облицованная пластиком. Нужно ли? Можно ли? И вообще, есть ли вызов?

Господи, но какие чужие здесь дома! Как бездомно мне среди них. Выгоняют. Отовсюду выгоняют. Зачем-то помню какой-то по-простому теплый воздух, которому подчинялся. Вот намек на него. Осенняя оттепель. Истомой, дремавшей во мне до сих пор. Так, начиная с улыбки, лезвие идет к сердцу. Можно умереть удивленным, если хочешь знать. Что это за сила и по какому праву она может сделать удивление моей последней минутой. Почему должно ей подчиняться. Должно или нет? Возможно ли ею владеть?

Отрешенность. Только загадки, а разгадки утеряны неизвестно где и когда.

\*

Прекрасно утром выходить и идти по дну потока, мокрого от ночного дождя. Как жаль оставлять следы – и в то же время это что-то естественное.

\*

Тополиный маршал с пушинкой на плече, я вижу, как ты идешь среди тополей, влюбленных в июнь. Листьев больше, чем ветра.

Так любит тополь, говоря: вот тебе для начала шум и тень погуще в жару и еще сколько хочешь на лето разбужу в моих почках.

Глухо в сердце стучится тополиное лето.

Ты, вижу я, мальчик, гордишься.

Тополя затопили глаза.

Ты откинул лицо, это они подсказали. И лицо уплывает уже среди листьев все выше и выше, все прозрачней, обернись поскорее, они исчезают...

Птицы заняты жизнью, им не до песен, нужно птенцов накормить. Они засыпают мгновенно, когда солнце зайдет, на постели из песка.

Слышишь, пух отделился от ветви и отплыл неизвестно куда. Ты вбегаешь под своды деревьев.

Ровным слоем на сухой земле лежит пух.

\*

Так много людей. Все со своим. У каждого комплекс Времени, и души, наверное, не хватает. Значит, самому, значит, любви ждать неоткуда, хотя надежда никогда не покидает. Тем и живы. Пусть простые (я с ними) любят и приходят с благоговением и жаждой ответной любви к летящим от тяжеловесности и порывания к небу едва забрезжившей зари. Но их любовь существует только лишь как Слово, не более, когда сам временами теряешь надежду любить и быть любимым. Наступает мужество и тоска. И не кончается безысходность, и не кончаются призрачные, ах, такие голубые по временам надежды, и вечно продолжается дорога. До выбеленных дождем и ветром костей, забывающихся и неотрывных.

\*

Протекает время привычное и безобидное, доброжелательное, как сестра. Протекает в размышлениях о том, почему мне плохо, а не хорошо. Как сделать «хорошо»? И мысли такие: нужно жить по плану, нужно заниматься спортом, нужно трудиться... Мысли верные и скушные ужасно.

Вот что я сделаю!

Я создам улицу. Мысленно я ее вижу. Она приходит не спеша к большой, шумной улице. Это просто тропа, спускающаяся вниз по траве, пожухлой от осени и от этого теплой. Здесь выросли деревья только от того, что названы. Дикая груша с опавшими и дозревающими грушами под ней. Они утром холодные и сладкие. А листья ее парят то на фоне облака, то на фоне неба. Кто умеет, может услышать или понять, зачем они необходимы в этом воздухе. Здесь также тополь, берест, акация и верба, яблоня, уже без яблок, с поредевшими ржавыми листьями. Ты будешь проходить там весной и летом. Когда-нибудь осенью ты спустишься по этой тропе мимо моих деревьев, листьев, плывущих в медленном и спокойном воздухе, в облаке и небе, и взгрустнешь мимолетно. Возможно, будет ветер и он будет косо сносить листья к земле. Сбегая вниз среди других людей, ты вспомнишь обо мне – и мы с тобой мгновенно помолчим.

1965 – 1969

## Олег ХМАРА

*Олег Илларионович Хмара (1936–2001) – еще один старинный и надежный мой друг, со времен криворожской юности. Родился он в казачьем селе Вольном, расположенном на реке Самаре, под Новомосковском. Затем жил в Днепрпетровске, где окончил среднюю школу и институт. По образованию он – горный инженер. В Кривом Роге он работал на рудниках и шахтах. Мы познакомились и навсегда подружились в 1962 году. Олег писал стихи – и, разумеется, входил в нашу тогдашнюю группу молодых поэтов. Порода сказывалась в нем: отец – из древнего запорожского рода, мать – донская казачка. Стройный, ладный в движениях, легкий на подъем, всегда собранный, державшийся прямо, элегантный, магнетически притягательный для женщин, обладал он многими достоинствами, в числе которых была врожденная рыцарственность, верность друзьям, готовность по первому зову прийти на помощь, умение понимать людей, способность совершать решительные поступки. Был Хмара, к тому же, заядлым путешественником, рыбаком, исходил на яхтах и катерах весь Днепр и впадающие в него реки. Жил Олег – поэзией. Стихи его, пронизанные грустным и светлым лиризмом, были мгновенно узнаваемыми и радовали всех нас. В своих суждениях был он тактичен, сдержан, но, при необходимости, решителен и прям. В СМОГе Хмара – с весны 1965 года. Вскоре его потянуло в Москву. И начался новый его период. Жил он в Люберцах. Работал по специальности. Постоянно ездил в командировки. Часто бывал в тех местах страны, где находились угольные и рудные шахты. Изобрел уникальный прибор, позволяющий заранее определить наличие газа в шахтах – и тем самым предотвратить губительные для шахтеров довольно частые взрывы. В Москве он дружил с теми же представителями андеграунда, что и я. Стихи Олега распространялись в самиздате. Попытки издаваться оказывались тщетными. Только в период перестройки появились его публикации в периодике. В 1989 году вышла его первая и единственная книга стихов. Олег был для меня другом, которому я абсолютно верил, с которым мог порой говорить о наиболее сокровенном. Сам он сказал обо мне однажды своим знакомым: «Он мне как брат». Бывало, мы вдвоем с Олегом путешествовали, на его катере по Волге. В девяностых – он приезжал ко мне в Коктебель. Стихов написал Хмара не так уж много. Но достаточно для того, чтобы их любили и помнили, чтобы они остались в русской поэзии.*

**Владимир Алейников**

\* \* \*

Мы курили просто для солидности,  
как хинин, глотая никотин.  
Знатоки футбольных знаменитостей –  
мы в футбол играли, как один.

Мы боксерской подражали этике,  
но ходили – лица в синяках.  
С синяками мы по арифметике  
приносили двойки в дневниках.

И тогда у мам слезинки плавали  
и сгущались ниточки бровей.  
Наши мамы очень часто плакали  
от обид любимых сыновей.



Но опять мы, как кривые штопоры,  
ввинчивались в каждую из драк.  
Наши мамы нам сорочки штопали,  
временем зачисленные в брак.

Наши мамы нас ругали, ладили,  
обещальным верили словам,  
до полночи нас, уснувших, гладили,  
гладили по рыжим головам.

А болели – ставили горчишники,  
покупали кеды и футбол...  
Мы росли тяжелыми мальчишками  
стадионов, матерей и школ.

1961

### **Шахтерам Кривого Рога**

После смены – усталых, натруженных,  
в день, который начнется с утра,  
вас в клетях, до предела загруженных,  
выдают, выдают на-гора.

Вы устали. Вы матом ругаетесь.  
Вы привычно «Шахтерские» курите.  
На «Шахтерские» вы полагаетесь  
и другие курить не рискуете.

Сгоряча вы клянете начальников,  
а начальники – злые и добрые.  
Вы мочалками спины мочалите  
и в нарядных воюете с догмами.

Вас, как школьников, нужно воспитывать,  
обучать языку и словесности.  
Вас на крепость не нужно испытывать –  
вы покрепче кварцитов железистых.

Вы в работе похожи на дьяволов.  
Вы сверкаете бронзою лиц.  
Вашу крепость не внес Протодяконов  
ни в одну из своих таблиц.

1962

**Стихи про моего деда**

Дед мой уже состарился.  
Ему девяносто лет.  
От дела всего и осталось,  
что кожа на скелет.

Дед мой уже «с заплатами»,  
не «мертвый» его захват.  
Оставил многих горбатыми –  
сам теперь горбат.

Дед мой богатым не был.  
Бедность ему сродни.  
И никогда не пел он  
«Боже, царя храни».

Полжизни прожил безбожником,  
потом ему вера далась –  
стала для деда богом  
советская власть.

Дед мой законы новые  
утверждал клинком.  
Имел кулаки пудовые,  
но не был он кулаком –

К колхозу имел отношение  
и повторял слова:  
«У головы на шее  
была бы голова...»

Помнят об этом поникшие  
старые тополя.  
Помнят об этом погибшие  
дедовы сыновья.

Ему мы награду первую,  
ему бы звезду с небес.  
Но деду не дали пенсию –  
ошибся, видать, собес.

А дед мой уже состарился.  
Ему девяносто лет.  
От деда всего и осталось,  
что кожа да скелет.

Но скоро к нему поеду я,  
а может быть, полечу.  
Пенсию эту деду я  
все-таки схлопочу.

## Прощание с Москвой

*Владимиру Алейникову*

Последним вереском, последнею верстою  
ты говоришь мне: не прощай – прости.  
Ты говоришь: я этого не стою,  
чтобы по мне талантливо грустить.

Но если так, то отчего я плачу  
на бездорожья, в стороне от всех,  
свой промах молодой, свой неуспех  
разменивая на твои удачи?

Тобой не признан, но тобой храним,  
Москва моя, я временный твой житель.  
Я не какой-нибудь там херувим  
и не какой-нибудь там небожитель.

Я есть поэт. Я волен. Я свободен.  
Тираны и лжецы уличены.  
Я на твоём туманном небосводе  
горю звездой второй величины.

Горю. Свечу. А на земле зима.  
А на земле, как будто бы нездешни,  
стоят в обнимку темные дома,  
похожие на темные скворешни.

И свет мой мал, и свет мой так далек,  
что не поможет темноте скворешен.  
Москва моя, сажай меня в острог –  
ненужным сочинительством я грешен.

Кори меня. Но только не транжирь  
на города, что суждены мне после.  
Случайный гость, транзитный пассажир –  
я помню твой серебряный компостер.

Я помню, как тогда шумны, базарны,  
от злого одиночества в ночи  
Меня спасали Спасские казармы,  
вручив кольца Садового ключи.

Я помню, как тогда своим набатом,  
что слышен даже на краю земли,  
Меня встречала церковь за Арбатом,  
где Пушкин обвенчался с Натали.

Я помню, как тогда, когда, недужен,  
светил я светом немощным с небес,  
сказала мне, что все же свет мой нужен,  
наследная царевна поэтесс.

И вот теперь последнею верстою,  
последним вереском ты говоришь: прости.  
Ты говоришь: я этого не стою,  
чтобы по мне талантливо грустить.

1964

\* \* \*

Приемлю Францию и говорю давно:  
под этим небом и под этим солнцем  
воистину не каждому дано  
поэтом быть и быть работником.

Пусть одному – крахмальное жабо.  
Другому пусть – наследственная грыжа.  
Тебе – бессмертие. Живи, Артюрь Рембо,  
на улицах и площадях Парижа!

Поэзия, хмельны твои права,  
а власть – сильнее власти миллиона.  
Вот почему кружится голова  
от завещаний Франсуа Вийона.

Вот почему, когда на сердце лед,  
когда в тиски берет меня холера,  
все хочется подряд и напролет  
читать прекрасного и желчного Бодлера.

1971

## Юрий КАМИНСКИЙ

Юрий Зиновьевич Каминский (1938–2008) – третий давний мой криворожский друг. Весной 1962 года, когда мы познакомились, этот невысокий, но крепко скроенный, бронзоволицый, кудрявый, худой, сверкающий глазами, тогда еще молодой и полный сил человек поразил меня своей вдохновенностью и великой любовью к поэзии. В нашей компании молодых поэтов он был значителен и совершенно необходим. Писал он много. Постоянно читал нам свои новые вещи. Стихи его, пружинистые, мускулистые, блестящие образностью, лаконичные, тяготеющие к обобщениям, узнаваемые, пантеистичные, пронизанные вселенскими токами, уже в ту пору говорили о нем как о сложившемся, ярком поэте. Жил он в старом доме дореволюционной постройки, с типичным для южных областей внутренним двором, где на виду у всех шла жизнь его многочисленных соседей. Мы любили бывать у него. Страстный книголюб, мечтатель, фантазер, да еще и человек с потрясающим чувством юмора, Юра был душой наших сборищ. Будучи очень образованным, закончив институт, работал он, тем не менее, слесарем. В армии служил он на Чукотке, и это навсегда закалило его. Характер был у него – настоящий мужской, без всякого нытья. Случалось, что совершал он поразительные по своей решимости поступки, а иногда и настоящие подвиги. Юра тоже был из поколения, опаленного войной. Отец его – погиб на фронте. Мать – вырастила сестру и его одна. Семья жила более чем скромно, порою впроголодь. Окрылила и спасла Каминского – поэзия. Изредка его стихи публиковались в украинской периодике. Выручал – самиздат. В СМОГе Каминский – с весны 1965 года. Сознательно никуда он не уехал, остался жить в провинции, в родном городе. Именно здесь было все, что питало и поддерживало его творчество. Бывали у него неприятности с властями. Но, волевой, твердых правил, непререкаемо честный, знающий свою правоту, он и в сложный период сумел выстоять. Написал он множество стихов. Поэзия – была панацеей от всех трудностей жизни и бед. На протяжении четверти века печатали его в периодике по-прежнему редко. Наконец, в 1990 году, вышла его книга в Москве. И вслед за ней – чередой начались издания книг Каминского на Украине и за рубежом. Он дождался признания. Верный друг, истинный поэт, соратник, Юрий Каминский остался жить в своей замечательной поэзии.

**Владимир Алейников**

\* \* \*

Где-то гул голосов над бульварами,  
Ну а здесь тишина за версту;  
И как в лузу шары бильярдные.  
Звезды падают в темноту.

Мои губы в мучительной мимике  
Созревающих слов, чтобы я  
Смог окликнуть потом по имени  
Самый краткий миг бытия.

И качает меня вдохновение  
Здесь, за городом, у реки...  
До последнего сердцебиения  
Мне искать панацею строки.

Не на койке, среди соболезнований –  
Сжав слабеющие кулаки,  
Я наверно умру на лезвии  
Самой лучшей моей строки.

1962

\* \* \*

Темнеющей небритостью антенн  
Рассвет осенний землю оплетает,  
И птицы грустно с неба облетают,  
Нависшего над нами, словно тент.

На улице безлюдно, где народ?  
Все ждут дождя и прячутся в квартирах,  
А ты идешь, глазастая задира,  
С улыбкою, кипящей в полный рот.

И вдруг взорвался ветер у земли,  
И тучи по-пластунски поползли.  
А ты спешишь, и в осень – смехом с маху,  
Вся, словно зайчик солнечный, светла.  
И каждый взмах руки подобен взмаху  
Расправленного сильного крыла.

Темнеют безнадежно горизонты,  
Как будто утро повернуло вспять...  
Стою последним бастионом солнца,  
Который невозможно взять.

1962

\* \* \*

Упругим ветром в улицах повеяло,  
Все ширится вдали, светлея, щель;  
Ты видела, как утро в речку веером  
Закидывает удочки лучей?

Я нынче вижу все это воочию.  
Гляжу, усевшись прямо на песок,  
Как речка, желваками чуть ворочая,  
Из солнца выжимает жаркий сок.

Склонилась над водою ива около  
И смотрит напряженной рыбака,  
Как жирные, загадочные окуни  
Хвостами подгоняют облака.

А солнце поднимается все выше  
И даже начинает греть слегка,  
И так блестит за речкой чья-то крыша,  
Как в первом классе школьная доска.

1962

\* \* \*

Надвинув низко козырек луны,  
Заглядывает зимний вечер в окна;  
И вырастаешь ты из тишины,  
Как долгожданный берег из бинокля.

И вот уже, неистово звеня,  
Грудную клетку взламывает сердце,  
Ноходишь ты уверенно в меня  
Прекраснейшей сестрою милосердия.

Ты просишь меня ласково: усни,  
А губы мои шепчут имя милое...  
Мне кажется, что сделаны они  
Из твоего светящегося имени.

Ликуя, бьется сердце, сон дробя...  
Мне кажется, что весь я из тебя.

1962

\* \* \*

На скамейке сидит одноногий Терентий.  
Щелкнул будто ружейный затвор портсигар,  
И уходят под сонные кроны деревьев  
Кольца дыма и водочный перегар.

А вокруг столько смеха и белой сирени,  
Но, устало вздохнув, неуклюжий, худой,  
Улыбаясь смущенно, уходит Терентий,  
По планете стуча деревянной ногой.

Я гляжу ему вслед, мне не хочется спрашивать,  
Почему он уходит от нас, от луны...  
И густеет в ушах – эхо – самое страшное –  
Деревянное эхо минувшей войны.

1963

\* \* \*

Один, как в первый день творенья,  
Лежу под боком у земли  
И звездное столпотворенье  
Насквозь пронзают ковыли.

Навстречу таинствам природы  
Я раскрываюсь целиком...  
Как слова первого зародыш,  
Ворочается в горле ком.

Еще не стал Парнас лучиться  
И нет крылатого коня,  
Но просто горы есть и птицы,  
Уже вошедшие в меня.

Иду, как в первый день творенья,  
И даже кудри как венок  
Несу, и жадно жду мгновенья,  
Когда вдруг брызнет из-под ног

Рассвет. Широкий и багровый,  
Он мир возьмет в прекрасный плен...  
И вспомню я: «и было слово...» –  
Как слава солнцу и земле.

1963

\* \* \*

Я один на один с мостовой неизбитой  
Аладдином, лишившимся лампы своей,  
И реклама над крышей электросбыта  
Предлагает мне лампы в сто двадцать свечей.

Я – горой за великую силу прогресса –  
Телевизоры, лазеры, звездных дел мастера...  
Но порою меня ах как тянет погреться  
У простого костра.

Я один на один с обезлюдевшей осенью,  
Урны с листьями высятся урнами с прахом,  
Как на гуще кофейной, ночь гадает на озере  
На меня, словно старая дева на брата.

Я не верю в гаданья, в талисманных уродцев.  
Обманув предсказанья врагов и родни,



Мое сердце когда-нибудь вдруг разорвется,  
Как пробьется подземный неожиданный родник.

Потому и напрасно неоновым спичем  
Мне прерывисто светит рекламный монтер...  
Я куплю за копейку коробочку спичек  
И такой разожгу первобытный костер!

Будут птахи озябшие дружно посвистывать,  
Как молодки семечки лузгают;  
И придет ко мне Муза вдовою неистовой,  
Очень греческая, очень русская.

Я уйду от округлых друзей и советов –  
Я ведь тоже бываю чертовски хитер, –  
Чтоб маячил в ночи полустанком рассвета  
Мой костер.

1964

## Рудольф КАН

*Рудольф Кан – четвертый мой давнишний криворожский друг. Родился он в 1937 году. Живет в родном городе. Журналист по профессии, Кан работал и работает в различных городских газетах. Он чудесный человек и друг. Это я понял еще в 1962 году, когда познакомился с ним и сразу же подружился. Именно Рудик дал всем нам возможность собираться в редакции газеты «Металлург», сотрудником которой он был тогда. Именно он сумел в дальнейшем найти для наших сборищ и другое помещение, в центре города. Именно он, со свойственной ему тактичностью, но решительно и твердо, всячески способствовал сближению и общению местных творческих людей, далеко не всех подряд, – была в его действиях умная и справедливая избирательность. Высокий, очень воспитанный, несколько стеснительный, предельно скромный, оберегающий свой внутренний мир от ненужных вторжений, он раскрывался в наших задушевных беседах, длившихся часами, годами, десятилетиями. Жили мы неподалеку друг от друга, на Гданцевке, в заречном, расположенном в низине и закрытом от степных ветров довольно высокими холмами, густо заросшем самыми разнообразными деревьями, переполненном цветами тихом районе, который когда-то вовсе не случайно назывался Тихий Притулок – то есть тихий приют. Я приходил к Рудику, в его небольшую квартирку, расположенную в угловом доме. В окна виден был стоящий на площади памятник Богдану Хмельницкому, своей булавой указывавшему в сторону Москвы. А вокруг дома – шелестели зеленой или желтеющей листвой, в зависимости от времени года, высоченные тополя. Мог я сказать Рудику – все. Знал: он поймет. И сам он порою говорил мне такие важные и серьезные вещи, каких никогда не сказал бы никому другому. Он писал стихи, хорошие, грустные, но и светлые, потому что привык он побеждать боль и верил в торжество добра. Как и остальные наши общие друзья, он тоже с весны 1965 года был в СМОГе. До Москвы, ко мне, он так и не добрался, хотя собирался много раз. Но я-то постоянно приезжал на родину – и беседы наши не прерывались. В конце шестидесятых составил я первый, машинописный, общий наш сборник стихов и прозы, куда включил тексты всех своих криворожских друзей, – его читали в самиздате. Стихи Кана при советской власти не издавались. Публикации в украинской периодике появились только в девяностые годы. Более сорока пяти лет вспоминаю я и твержу строки доброго моего друга. Негромкий, чистый голос Рудольфа Кана слышен и в общем звучании поэзии, и в сложной, но зато и прекрасной музыке бытия.*

**Владимир Алейников**

\* \* \*

В семи сентябрьских ветрах  
храни свои приметы лета,  
пока еще не все ответы  
запомнил в этих вечерах.

Ты это принимай от жизни,  
пока еще не грянул миг  
желаньем поздней укоризны  
поднять осенний воротник.

И пусть потом неотвратимо  
последних яблонь час придет,  
и ветры мчатся мимо, мимо...  
и станет таять первый лед.

\* \* \*

И вот сентябрьский сон – награда  
за те последние листы,  
когда утеряна услада  
сжигать июльские мосты.

Но август никого не тронул,  
и нету меры той вине,  
что разжимать твои ладони  
мне трудно даже в сладком сне...

1966

\* \* \*

О, Моцарт, в подлость все же верь,  
когда вечерние хоралы  
друзьям распахивают дверь  
и наполняют тьмою залы.

О, Моцарт, таинство храни  
слезы, огня и давней ссоры.  
пускай не тронут разговоры  
те сердцу памятные дни.

О, Моцарт, не отдай венков  
тому, в консерваторском блеске,  
чья палочка, как шпага мести,  
сверкает завистью дворцов.

Не уходи от правды сна,  
где весь финал – в тумане алом...  
Ты набери пока вина  
в свои чистейшие бокалы.

1966

\* \* \*

И отдает себя Пьеро  
в толпу вечерних разговоров,  
и кажется – уже не скоро  
он доберется до ворот.

Пока Париж не отомстил  
своим язвительным участием,  
он не дождетя крохи счастья,  
как бы об этом ни просил.

Сейчас игра без анфилад,  
где много воздуха без пыли  
и где тебя всегда любили,  
и это лучше всех наград.

И выбегая на поклон,  
ловя прощальные букеты,  
уже предвидеть те кареты,  
что приготовил им Бурбон.

О бархат занавес, гряди,  
как сожаленье конституций,  
и от Парижа огради,  
и дай в ночной Париж вернуться.

1966

\* \* \*

Может, вера, а может, грусть,  
может, правда тебя миновала,  
и признайся себе: ну и пусть,  
и не это со мною бывало.

Почему же так трудно сесть,  
разговорам досужим внимая,  
если стала дорога прямая  
и на большее можно не сметь?

Далеко не уйти от беды,  
эти боли в тебе отзовутся,  
если осень стирает следы,  
по которым захочешь вернуться.

1966

## Владимир ПОЖАРЕНКО

Владимира Пожаренко я увидел впервые в Кривом Роге, в конце 1961 года. И тогда же, в одном из домов культуры, где выступали молодые криворожские поэты, впервые услышал, как он читает свои стихи. Впечатление было невероятно сильным и запомнилось на всю жизнь. Коренастый, крепкий, он читал хриловатым голосом одно стихотворение за другим – и они воспринимались мною как откровение. Их смелость, свобода и новизна, поразительная искренность, их доверительные, вроде бы грубоватые, но многообразные и порою тончайшие интонации – были незаемными, абсолютно своими, личными, и лиризм их мгновенно проникал в сердце и душу, и голос был – свой, и сам тон их, всегда крайне важный, был его, пожаренковским, и более ничьим другим. Это были стихи сформировавшегося поэта. В следующем году мы познакомились и стали общаться. Пожаренко был в Кривом Роге человеком приезжим. Родился он в 1940 году, в какой-то станице, в Волгоградской области. Закончив школу, скитался по всей стране, успел побывать в самых дальних ее уголках. Стихи у него возникали с голоса. Он произносил их, выговаривал, выпевал. И только потом записывал, на любом подвернувшемся под руку клочке бумаги. Однажды, в общежитии, где он обитал, я увидел множество его стихов, записанных карандашом прямо на стене, на обоях, над его койкой. Некоторые стихи Пожаренко периодически печатались в городской газете и в разных многотиражках, лучшие – оставались неизданными. Пожаренко был ярким, независимым в суждениях и поступках, умным и отважным человеком. Был он очень талантлив. Работал – на бесчисленных в ту пору стройках, на огромных предприятиях. Среди рабочих – был своим парнем. Но жил он – поэзией. И в среде молодых городских поэтов считался он признанным лидером. Видимо, тяга к перемене мест вновь сказалась – и в 1964 году Пожаренко вдруг исчез. Наверное, куда-то уехал. Больше я никогда его не видел. Была у меня тетрадь его стихов начала шестидесятых, она пропала. Чудом сохранились несколько стихотворений – да разные обрывки стихов до сих пор вспоминаются. Где сейчас Пожаренко, жив ли он, пишет ли он стихи, – я не знаю. Почти половину столетия назад был он – для меня и для моих друзей – настоящим поэтом, и остался таким – навсегда.

**Владимир Алейников**

### **Свадьба**

Мои одногодки женятся.  
Девчата на редкость женственны.  
Ребята – отцы, и только.  
Лишь я в одиночку за столиком.  
Один я, как хвост у коровы.  
Свадьбы – пора величественная.  
Вот шепчет товарищ мне: «Вова,  
хотя бы привел для приличия...»  
А где же найду я рыжую,  
таежную рыжую лыжницу.  
Искал – и нигде в переулочке  
своей я не встретил снегурочки.  
«Горько» растет и высится,  
и мне аж до боли горько.  
Уйти, на диване выспаться,  
но нет – приглашают на польку.  
Мне нелегко танцуется.

Жарко. Хочу мороженого.  
Молодожены открыто целуются,  
им так сегодня положено.  
Невесте желают парни –  
роди космонавта, и только.  
Все парами, парами, парами,  
лишь я в одиночку за столиком.  
Один я, как хвост у коровы.  
Ах, свадьбы, пора величественная.  
Тот шепот мне слышится снова...  
Но я не хочу для приличия.

1961

### **Я о маме своей не писал**

Я о маме своей не писал.  
О других – написали другие.  
Вот я вырос и дом променял  
на колючие ветры сухие.  
Мама, ты не горюй, не кляни,  
пусть соседи судачат и ноют,  
я с тобою, мой голос звенит  
в проводах телеграфных весною.  
Мама, у телевизора сядь.  
Там покажут ребят, мне подобных.  
Ты руками экранчик погладь,  
нас погладь, мускулистых и потных.  
С мастерками с кирками, с лопатами,  
кто рожден до войны, кто – в войну.  
Вузы наши – в палатках горбатых.  
Нас, уставших, так клонит ко сну.  
И тогда вспоминаются мамы.  
Мы, наверно, любили вас мало.  
Все хотелось быстрее взрослеть.  
Все хотелось куда-то лететь.  
Снятся мне и ребятам подобным  
домашние пончики сдобные,  
материнская снится забота.  
Это сон. А живем мы работой.  
В наше время кирки и ракет  
все равно нам, где верх, а где низ.  
Знаем твердо: за двадцать лет  
не построим себе коммунизм.  
Я о маме своей не писал.  
Первый раз я попробовал вкратце.  
Мне один мой товарищ сказал,  
что одни у нас матери, братцы.

1961

### Осеннее

Лето будто бы в воду кануло.  
На душе, как и в городе, пасмурно.  
Из цветов – красноликие канны,  
да и то с непрописанным паспортом.  
Как у меня устала голова...  
Ступаю молча в неизвестность,  
а на плече, раскинув рукава,  
болтается мой плащ, чихая на окрестность.  
Ему-то что? – вещичка неживая,  
ему хоть смейся, плачь или пляши.  
В сторонке в мяч, как в первых числах мая,  
играют непоседы-малыши.  
Но что такое? Разбежались дети.  
Ах, вот и мне течет за воротник...  
Осенний дождь, не то что дождик летний,  
во всем он может разуверить вмиг.  
Вот клен своей худющей веткой  
взмахнул и жалобно заплакал малолеткой.  
Ползет лишь мяч, забытый пацанвой.  
И даже я, к футболу раньше жадный,  
тихонько обошел сегодня стороной –  
его мне почему-то стало жалко.  
Наверно, с ним мы оба по сезону:  
о нем забыли, от меня ушла...  
Погода – дрянь. Все сумрачно и сонно.  
Вновь туча на работу налегла.

1961

\* \* \*

У каждого есть свой поиск.  
У каждого есть свой поезд.  
Кто прямо идет и уверенно,  
а многих, хоть ненамеренно,  
на путь наставляет истинный  
какой-нибудь шустрый стрелочник.  
Но есть ли такая истина,  
чтоб ее поднесли на тарелочке?  
Сам ищу, где мое замыкание, –  
пусть за это нисколько не платят.  
Я за тех, у кого штаны от исканий,  
как осеннее небо, в заплатках.

1962

\* \* \*

Далекая, далекая, как шепот,  
волнующая, точно шорох,  
шумная, как трамвай,  
и нежная, как трава.  
Но самый твой главный признак –  
призрак.

Не в силах я тебя переиначить –  
может, что и надо, подскажи...  
Не знаю, только сам я тоже начал  
призраком жить.

Вокруг нас люди плачут и смеются,  
заняты делами-приисками,  
и среди них друг к другу бьются –  
призраки.

1962

\* \* \*

Где ты, счастье? – лечу на такси,  
руку в окошко высунув.  
Где оно, у кого спросить,  
кому свои мысли высказать?  
Растопырываю пальцы щупальцами,  
что-то в них упругое прыгает.  
Ощущаю, и даже прощупываю,  
а схватить не могу пригоршней.

1962

\* \* \*

Как ребенок любит шалости,  
так я – перемену мест.  
Увожу я с собою жалости  
позабытых невест.  
Пусть жалеют – им это дадено –  
мягкость сердца и мягкость души.  
Ну а мне все на свете сгладит  
неуютность глуши.  
Когда хорошо мне – я еду.  
Плохо – то остаюсь.  
Всегда в неизвестность следуя,  
неизвестности я боюсь.



Далеко я не лыком шитый,  
и меня донимает грусть.  
Живя в одном общежитии,  
без конца о другом томлюсь.  
На вокзале, в года лихие,  
сидя сплю (никому не в пример),  
с вдохновеньем читаю стихи я,  
когда будит милиционер.  
Почему неуживчивость эта? –  
Кое-кто говорит мне: «Летун».  
Может, в этом и сила поэта,  
может, в этом они растут.  
Как же так – молодой и здоровый,  
мне ли рыться в земле кротом?  
Приезжаю – девчата новые  
угощают меня молоком.  
Я со всеми, как старый знакомый,  
мне спецовку везде выдают.  
Там свинарник я строил, там домны,  
здесь вот песни мои поют.  
Не могу я себя насиловать,  
ни кривляться и ни позировать.  
Я всегда в своей жизни и в песнях  
остаюсь современности вестником.

1962

\* \* \*

Я устал и замерз, как в проруби,  
ко дну тянет промокшая куртка.  
Помню, в первый раз я попробовал  
в жизнь отправиться с Курского...

Неужели уже я брошенный,  
неужели я луг искошенный,  
неужели скрипят колеса,  
неужели истерлись весла?

Ничего, голове вокзальной  
далеко до смертельной точки, –  
и в тетрадках моих засаленных  
прорастут еще нужные строчки.

1962

## Разговоры с Андреем Пермяковым

*Андрей ПЕРМЯКОВ – Евгения ВЕЖЛЯН*

**– Можете как-то представить читателю журнала целевую аудиторию Ваших литературных программ? Кто это в первую очередь: поэты или пишущие любители поэзии, если таковые еще остались?**

– То, что я пытаюсь делать на разных площадках и в разных программах – это попытка расширить аудиторию современной литературы за счет тех, кому она могла бы быть потенциально интересной. Сюда относятся и поэты, и любители поэзии. Я бы не сказала, что мои проекты успешны настолько, насколько мне бы этого хотелось, в том числе и потому что у нас в недостаточной степени развиты некоторые опосредующие медийные механизмы, передающие культурную информацию от производителя культурного продукта к потребителю. Чем шире спектр людей, охватываемых программами, тем меньшим становится роль твоих личных усилий. Культурные проекты – вещь, которая требует институализации.

Вообще, я работаю не только с поэзией, у меня, например, есть программа, связанная с Читательским клубом, направленная на пропаганду того, что можно порекомендовать к чтению, программа внедрения хорошей литературы в читающие, в кавычках говоря, массы. Конечно, был советский опыт, когда люди собирались и обсуждали книги. Занималось этим государство. Государство занимается этим и сейчас. Как все, что у нас делают официальные инстанции, это, во-первых, неэффективно, во-вторых, не имеет никакого отношения к жизни. Это имеет отношение к некоей идеологии, как правило, к консервативной, почвеннической. И говоря о работе с массовым читателем, структуры, занимающиеся этим, имеют в виду народ, как они его себе представляют: пожилые люди, работа, проводимая через ЖЭКи и ДЭЗы. Либо официозные мероприятия в школах. Кроме того, у нас остается все меньше и меньше СМИ, где говорится о литературе для широкого читателя. Если говорить о радио, то, после того, как несколько лет назад «урезали» литературное вещание на Радио «Культура», только, пожалуй, на Литрадио наша литература представлена хоть сколько-нибудь полно. В телевизоре литература представлена очень выборочно. Я не считаю правильным, что у нас нишу передач о текущей литературе для «умного» зрителя занимают «Разночтения» – в единственном числе. У зрителя просто нет выбора. Поэтому то, что я пытаюсь делать в читательском клубе, проводимом в формате ток-шоу, это попытка в какой-то степени – пусть очень скромно – хоть что-то сделать в направлении восполнения наметившейся лакуны.

В рамках этой программы я не занимаюсь перетасовкой авторов и созданием репутаций внутри литературного сообщества, чем обычно занимаются кураторы. Здесь я занимаюсь читателем, поддержанием определенных форм читательской культуры. Иногда люди, считающие себя продвинутыми в области современной литературы, уходят, говоря, что это им не интересно. Возможно, эти обсуждения иногда действительно могут быть неинтересны людям, погруженным в литературную среду. Но есть, скажем, менеджеры, дизайнеры, люди других профессий, которые просто любят читать хорошие книжки, и у них периодически возникает желание эти книжки обсудить. И, надо сказать, в последнее время на наши обсуждения все чаще навешиваются критики

---

*Евгения ВЕЖЛЯН – поэт, критик, куратор литературных проектов. Кандидат филологических наук (диссертация о Сигизмунде Кржижановском). Автор критических статей и рецензий в журналах «Новый мир», «Новое литературное обозрение», «Библио-Глобус» и др., газетах «ExLibris» и «Книжное обозрение». Стихи печатались в журналах и альманахах «Соло», «Окрестности», «Крещатик», «Арион» и др. Лауреат специального диплома поэтической премии «Anthologia» по итогам 2007 года за статьи и рецензии в литературной периодике.*

– в основном из толстых журналов. И это очень хорошо – помимо того, что создание среды, общей для читателей и критиков – одна из основных задач нашего проекта.

Современная критика ведь в основном направлена внутрь литературы. У нас довольно мало хорошей критики, работающей с читательским вкусом, с читательским восприятием. У нас есть Лев Данилкин – всем известный, популярный критик. Есть Дмитрий Быков. К ним масса претензий у литературных людей, но такие претензии чаще всего основаны на непонимании «форматных» требований. Эти авторы работают с другой, с внешней аудиторией. Впрочем, недавно Леонид Костюков предложил ввести разделение – есть критика, которая пишет о литературе, и есть книжная журналистика, освещающая издательские новинки. Вот нам с Лизой Пономаревой (это сокуратор проекта, создательница сайта Втопку.Ру, которая отвечает у нас за широкую читательскую общественность) как раз хочется, чтобы читатели начали читать и воспринимать именно критику. Чтобы состоялся диалог критиков и читателей. Для этого на сайте Читательского клуба запланирована вкладка «Народная критика», под которой будут выкладываться самые лучшие непрофессиональные и самые интересные профессиональные статьи и рецензии. У нас с Лизой довольно мало времени для раскрутки этого проекта, но он кажется перспективным. Иногда читатели замечают в книге вещи, которые профессионал там заметить не может, он просто не настроен их замечать.

***– Один из вечеров Вашего цикла «Беседы на Покровке» носил название «Религиозная и/или актуальная поэзия». В чем здесь, на Ваш взгляд, предмет возможного противоречия? Т.е. какую роль играет в данном случае союз «или»?***

– Сейчас это противоречие для меня снялось. На тот момент, когда был задуман этот вечер, мне было неясно, как можно соотносить пространство актуальной поэзии с пространством православной культуры. В итоге оказалось, что антагонизма нет: вера и поэзия это вещи вполне между собой соотносимые.

Проблема была вот в чем: если мы посмотрим на поэзию, исходно позиционирующую себя как православную, а такой поэзии довольно много, она продается в специализированных магазинах, создается людьми воцерковленными, погруженными в православную культуру, чаще это женщины, которые пишут о своих религиозных переживаниях, о том, что связано с религиозно окрашенным бытом. В определенном смысле создается православная субкультура. Все это интересно, требует изучения, проработки, но к литературе как таковой отношения не имеет.

Однако религиозное чувство может порождать и совершенно необычные вещи, своего рода инноэстетику. И когда я провела этот вечер, туда пришли поэты, которые убедили меня, что помимо субкультурно-православных стихов существует настоящая духовная поэзия: Сергей Круглов, интереснейший Константин Кравцов, Наталия Черных. Сюда же относится, например, Тимур Кибиров с его попытками русского честертонианства. И все это – абсолютно разные вещи, содержащие очень интересные инновации.

***– В условиях повсеместной доступности Интернета, в том числе вполне репрезентативных ресурсов вроде Журнального зала, в чем вообще смысл поэтических вечеров?***

– На этот вопрос ответ будет очень простым: поэзия существует в некотором звучащем пространстве. Смысл поэтических вечеров вообще не там, где его обычно видят участники. Не в самопрезентации, не в самопиаре, как это бывает чаще всего, а в придании поэзии своего рода трехмерности, в отделении ее от листа бумаги. Поэт отдает свои стихи пространству. Стихи должны звучать. Чтение поэтом своих стихов напитывает их дополнительной жизненной силой, телесностью. Поэт – это инструмент. В нем нет ничего, что бы не звучало, и когда поэт читает, возникает своего рода мистерия присутствия или соприсутствия поэзии в пространстве. И в пространстве языка, и в пространстве как таковом.

А все моменты, связанные с пиаром, с тем, кто пришел на тусовку, кто не пришел, тоже, конечно, интересны, но в совсем другом – социологическом, а не эстетическом – аспекте.

**– Вы недавно охарактеризовали журнал «Арион» как «рупор литературного традиционализма», а вообще, на Ваш взгляд, устоявшееся со времен Тьнянова деление на новаторов и традиционалистов в современных условиях сохраняет смысл или существуют какие-то другие линии раздела поэтических стратегий?**

– Мне кажется, что новаторство это позиция функциональная. Позиция не абсолютная, но относительная. И когда некоторые техники авангарда превращаются просто в техники, то воспроизведение этих техник, конечно, уже не имеет отношения к новаторству. Новаторством являются совершенно иные вещи. Обращение к глубинным традициям в совершенно иную эпоху – это новаторство. Например, поэзия Максима Амелина это новаторство, базирующееся на обращении к XVIII веку через головы классиков века 19-го.

Нынешнюю ситуацию можно рассматривать не в тыняновском смысле, но тыняновским методом. Смысл у обозначенных им ролей – архаисты и новаторы – будет другим. К традиционалистам сейчас относятся те, кто считает себя традиционалистами. Кто считает, что есть такая традиция, которую надо охранять, окучивать, уваживать, потреблять, передавать следующим поколениям. Собственно традиционалисты из доставшегося им исторического материала конструируют некое явление, подтягивают туда некоторые сущности, имеющие, по их мнению, отношение к традиции, и объявляют поэзией именно это. А настоящие традиционалисты рефлектируют свою отнесенность к традиции на фоне того нового, что существует. И традиция для них это не инерция, не то, что воспринято ими автоматически, а то, что в каждый момент должно себя заново собирать. В этом смысле Бахыт Кенжеев – поэт традиционный именно в плане того, что работает с традицией, дистанцируясь от нее. Чтобы работать с традицией, надо создавать пространство дистанции по отношению к ней. А пространство это возникает от растождествления. Те, кто работает в технике преодоления поэтизма, кто выходит в иные по отношению к поэзии пространства, например, Елена Фанайлова, в этом преодолении осуществляют возврат к истокам поэзии, опять-таки к традиции. В итоге позиции тех кто преодолевают поэзию, и тех кто образуют дистанцию между собой и поэзией становятся, как ни странно, в чем-то похожими.

А то, что возникает в результате полемики, инициированной журналом «Арион», похоже на попытку удержать под видом традиции некую статичную конструкцию, существовавшую раньше. Мне это напоминает анекдот, где мальчик говорит папе: «Ты-то папа, на маме женился, а мне чужая тетка достанется». Здесь упрек аналогичный: «Пушкин-то был классик, а вы нам кого подсовываете?» Так Пушкин не родился классиком, он классиком становился довольно долго. Получается, что эта попытка применить готовые лекала, на основе классики, когда из живущих ныне поэтов мы должны определить нового Пушкина и поставить его на пьедестал, не очень продуктивна, на мой взгляд. Иначе возникнет все новое воспроизведение некогда существовавшего отношения к миру, неких ходов. Мы должны опознавать поэзию каждый раз заново, напрягаясь. Должно быть сопротивление материала. И лучшие из тех, кого традиционалисты поднимают на щит: Чухонцев, Ермакова тоже смещают конструкцию, как говорил Тынянов.

**– Прочитую еще одно Ваше высказывание: «Быть признанным поэтом в наше время – значит быть признанным за такового в сообществе-тусовке». Вроде бы термин «тусовка» до сих пор имеет негативные коннотации. С другой стороны, профессиональное, внутрицеховое признание всегда было важным для литератора. На Ваш взгляд: сложившееся сообщество, или, если угодно, тусовка, адекватно создаваемым ныне текстам?**

– Смысл вопроса, я так понимаю, в том, существуют ли дутые репутации? По мнению Алексея Давидовича Алехина или по мнению Игоря Олеговича Шайтанова, да, существуют. По моему мнению, все-таки каждая репутация равна себе самой. Если мы проанализируем семантику той или иной репутации, мы увидим: то, что человек делает, что пишет, этой самой репутации соответствует. Если у кого-то репутация шута, или анфан терибль, то он и в своих текстах таков. Если у кого-то репутация мэтра, классика, то если мы посмотрим на его тексты, мы там это и обнаружим.

В частности, Алексей Петрович Цветков – фигура, на мой взгляд, бесспорная. И в его прежнем виде, и в его нынешнем виде.

Есть авторы, с которыми надо попытаться произвести некоторую понимающую процедуру. Поэтическое сообщество никого просто так не призывает к себе, никого просто так не признает. Признали – значит за что-то. За что? Если кажется, что некий поэт только тусуется, со всеми приительствует и больше ничего не делает, а его признают, то, скорее всего, это только кажется.

**– В условиях современного многообразия литературного процесса какую нишу могут занять толстые журналы? Навсегда ли они утратили свою функцию главных легитимизаторов, если можно так выразиться, литературных персоналий?**

– Тот факт, что толстые журналы занимают вполне определенное и незаменимое место, подтверждается хотя бы тем, что если мы возьмем и завтра изничтожим все толстые журналы, на их месте послезавтра возникнут другие толстые журналы. То есть место, занимаемое ими, абсолютно закономерно.

Другое дело, что когда других журналов не было, или, точнее, они выходили в самиздате, толстые журналы не напрягаясь выполняли роль основного источника, репрезентатора и легитимизатора литературных явлений. Теперь, в открытом обществе эта роль, конечно же, утрачена. Сейчас никто не может быть одним и главным. Толстые журналы должны очень хорошо понимать и – главное – артикулировать свой мессидж среди других литературных изданий.

В новой роли толстых литературных журналов нет ничего катастрофического. У них есть пространство маневра. Другое дело, что не любой журнал этим пространством сможет воспользоваться.

**– Немножко провокантский вопрос: если не углубляться в историю, какой из толстых журналов сейчас, в последние 2-3 года наиболее адекватно отражает литературный процесс в его поэтической составляющей?**

– В поэтической? На мой взгляд, «Знамя». Ну, и «Воздух».

Хотя тут должна быть оговорка: «Новый мир» выполняет очень важную роль, но он работает немного на другом поле. Он печатает и поэтов, репрезентативных для тех или иных тенденций в новой поэзии, и, вместе с тем, обозревает поле традиции. Причем традиции, понятой именно в своем развитии. Мне кажется, «Новый мир» интересуется связью актуального с прошлым. «Знамя» тоже этим занимается, но «Знамя» это скорее мембрана, реагирующая на изменения актуального поэтического поля.

**– В Вашей рецензии на книгу Ирины Ермаковой «Улей» (кстати, Вы, кажется, одной из первых написали об этом замечательном сборнике) была очень важная на мой взгляд фраза: «То, что выглядит как простое соположение стихов и почти «прозаических» рассказов о соседях, оказывается новым для поэзии жанровым синтезом». Такая подпитка поэзии прозой или, возможно, совершенно другим жанрами искусства, скажем, кино – насколько она может оказаться продуктивной?**

– Только это и может оказаться теперь продуктивным. Поэзия обязана, если она вообще что-то кому-то обязана, осваивать новые языки, новые территории. И современная поэзия занимается именно этим.

**– В своих критических работах Вы нередко упоминаете авторов, обычно относимых к массовой культуре и «серьезной» критикой не рассматриваемых: Робски, Минаев, Трауб. На Ваш взгляд, пропасть между беллетристикой для клерков и тем, что традиционно понимается под литературой, сформировалась непреодолимо – или возможна некоторая конвергенция жанров?**

– Существует банальная и всем известная истина: массовая культура и так называемая культура высокая находятся в ситуации обмена. То, что создается как некий прием в жерле высокой культуры, что там вызревает и поначалу с трудом воспринимается, постепенно отходит на периферию и становится общим достоянием. Как писал Шкловский, происходит автоматизация, прием стирается, перестает ощущаться. И тогда Умберто Эко перерабатывается Дэном Брауном. Это нормальный процесс, в нем нет ничего особенного. Романтические схемы и клише до сих пор, например, остаются основой бульварных романов.

С другой стороны, высокая литература в качестве своего продуктивного материала, для деавтоматизации приема, использует массовую словесность, как Достоевский. Возникает некая жанровая игра: в случае массовой литературы это паразитирование на автоматизированных приемах, а в случае литературы высокой это эстетизация массовых клише. Я не вижу ничего плохого ни в том, ни в другом, если эти приемы находятся на своем месте.

**– Традиционно появляющихся ныне авторов относят к поколению «Дебюта». Премия эта существует уже 10 лет, наметились ли какие-то принципиальные художественные отличия между теми, кто получал эту премию в начале века, и теперь? Скажем, чем отличаются лауреаты последних лет: Андрей Егоров, Екатерина Соколова?**

– Безусловно. Авторы, получавшие премию в первые годы ее существования, тяготели к постконцептуализму, к некоторым приемам Новой искренности. Сейчас же в поэзии происходят некоторые процессы, которые мне кажутся возвратом к модернистской непосредственности. Это касается не только лауреатов, например, в этом году в шорт-листе был Дмитрий Машарыгин. Мне кажется, это абсолютно интуитивное существо. По крайней мере, он убедительно играет роль стихийного автора и стихийного человека. У него, и не только у него, есть установка на почти автоматическое письмо, стихийное говорение. Это в какой-то степени чистая экспрессия. Авторы не боятся быть поэтами. Они дают поэзии возможность проговаривать себя через них. В определенном смысле, поэт вновь стремится стать, по словам Бродского, орудием языка. А предыдущее поколение скорее пыталось выйти в своем творчестве за рамки собственно поэтического. Новая искренность была попыткой сказать что-то вопреки всему, выразить свою человеческую сущность. А Машарыгину, Василию Бородину, очевидно, нравится быть орудиями языка.

Можно предположить, что формирующийся теперь тренд станет главным на ближайшее десятилетие, но для этого надо подробнее знакомиться с текстами, в более существенном объеме.

Еще можно добавить, что авторы, получавшие премию «Дебют» несколько лет назад, действительно ощущали себя поколением. А у новых лауреатов, на мой взгляд, нет ощущения принадлежности к группе, нет общей поэтики, но есть единство тенденции.

**– Прошлый, 2009-й год, был отмечен всплеском интереса к т.н. «социальной поэзии», вроде бы давно ушедшей в прошлое. Достаточно вспомнить успех книги Всеволода Емелина. По-вашему, может ли поэзия вернуть свои социальные функции и нужно ли это?**

– У поэзии всегда есть социальная функция. Тут я соглашусь с Дмитрием Кузьминым, который любит повторять, что место, которое занимает в социуме поэзия, уже само по себе делает занятие поэзией некоторой формой социальной активности. Поэт может не писать прокламаций, ничего не манифестировать, может вообще не находиться в сфере идеологии, но идеология его обязательно найдет, поскольку поэзия есть некая надличностная властная инстанция. Она подчиняет себе поэта, а поэт подчиняет себе язык. Если есть некая свободная зона жизни языка, власть не может все апроприировать. Об этом писали разные поэты и разными словами. Поскольку поэт подчинен власти языка, постольку он свободен в социальном плане. Поэзия это территория свободы.

**– Союз литераторов «Вавилон» достаточно давно уже указал на влияние неподцензурной поэзии советского времени на актуальную литературу. Теперь очевидно, что**

***даже если мы возьмем сравнительно короткий период, например, восьмидесятые годы, там были метаметафористы, концептуалисты, группа «Московское время», и каждое из этих течений продолжает, безусловно, оказывать влияние. Остались ли еще в прошлом течения или персоналии, кто мог бы повлиять, но пока не повлиял?***

– В поэзии мы никогда не можем просчитать ресурсы, способные обогатить нас. Например, в шестидесятые годы было сильно влияние Маяковского, влияние авангарда. Сейчас авангард – это так называемый традиционный авангард. То есть весь фактически застывшая, некая совокупность поэтических практик, эксплуатирующих достижения классического русского авангарда. Эта игра, может быть, очень красивая, но лишенная глубинного содержания.

Может быть, хотя это очень сложно предсказать, ресурсы будут найдены в обращении не к результату новаторства, но к тем интенциям, тем установкам, которые эти новаторства породили. А что касается неподцензурной литературы, то многие вещи, к ней относящиеся, до сих пор особо и не прочитаны. А многое должно быть перечитано заново, тот же Оболдуев, например.

***– Нынешний кризис – явление скорее медийное, чем реальное. Классический почти пример разрухи не в сортирах, а в головах. Заметно ли его влияние на литературу?***

– Про это я написала довольно большую статью в «Знамени». На мой взгляд, что касается литературы, то прямого влияния тут нет. И те прозаические тексты, которые пишутся сейчас, зачастую были задуманы еще до кризиса. Но поворот литературы, беллетристики от тематики потребления к тематике более глубокой, экзистенциальной происходит. Человек был окружен вещами, а теперь становится интересен человек не в его отношениях с вещами, а сам по себе, как он есть. То, что лауреатом Букера этого года стала Чижова, на мой взгляд, показательно.

Кризис, конечно, не резко и не ярко выражен, но консьюмеристская истерика, бодрийаровщина – она уходит. А все эти процессы с конца девяностых были стержневыми – достаточно вспомнить, о чем все эти годы писал Пелевин. Если мы посмотрим на новый роман Пелевина «Т», мы увидим достаточно страшную картину, когда весь мир, который был объектом внимания автора на протяжении многих лет, перестает быть маркированным. Становится нерелевантным. Возникает попытка искать некий смысловой ресурс вне этого мира. Может быть, в самой литературе или в историческом прошлом. Пелевин пытается это делать, но в итоге приходит к коллапсу. К зияющей пустоте. Прошлое не оправдывает возлагаемых на него надежд. Происходят попытки поиска дополнительных смыслов. Мне кажется, влияние кризиса на литературу, если оно вообще есть, заключается именно в этом.

***– Поэт ли Вера Полозкова?***

– Когда я проводила вечер с таким названием, это была провокация, на которую попались абсолютно все. Вера Полозкова это, безусловно, некое явление социокультурного порядка, о ней можно очень много сказать, абсолютно при этом не касаясь качества ее стихов. Но сейчас меня этот вопрос волнует не очень сильно. Я работаю в отделе прозы журнала «Знамя», и состояние нашей прозы меня сейчас заботит гораздо в большей степени.

**Андрей ПЕРМЯКОВ – Виктор КУЛЛЭ**

**– Вы – один из ведущих специалистов по творчеству Иосифа Бродского. Известно мнение, что поэт с индивидуальной, во многом революционной поэтикой не столько открывает некий путь в литературе, сколько, если так можно выразиться, своей фигурой его «закрывает». Насколько теперь закрыт путь, пройденный Бродским? Возможны ли еще находки в области, где он творил?**

– Я думаю, находки возможны, но варианта прямой преемственности, наверное, нет. Нельзя сказать, что вот Бродский уронил лиру, а кто-то, например, Херсонский ее поднял. Так не бывает. По формулировке Шкловского, наследство в литературе никогда не передается от «отцов» к «детям». Оно переходит, скорее, племянникам и, может быть даже, двоюродным племянникам.

Влияние Бродского может быть моментальным: самим фактом существования, в какой-то степени – идеальной судьбой поэта и тому подобными вещами. С другой стороны, Бродский это гигантский поэтический инструментарий, влияющий очень активно. И здесь возникают некоторые проблемы: можно, например, вспомнить недавнюю дискуссию о стихах Херсонского – автора, активно пользующегося инструментарием Бродского и, кажется, даже не слишком рефлексирующего на эту тему. Мне кажется, это достаточно порочный путь, поскольку писание стихов – всегда преодоление материала. Нельзя войти в чужую колею и идя по ней говорить свое.

В то же время есть, на мой взгляд, удачный пример не то чтобы ученичества, но некоторой преемственности от Бродского. Я имею в виду последние две книги Бахыта Кенжеева, который тоже в значительной степени использует, например, «бродские» размеры, но он удачно наполняет их собственным содержанием, и даже не на уровне высказывания, но на уровне приема. Бахыт наполняет поэтику Бродского емкими мандельштамовскими метафорами, и получается нечто гораздо более высокое, чем механическое совмещение того и другого.

Но вообще Бродский чрезвычайно плодотворен при использовании метода «от противного». Под него попадают, как под поезд, практически все. Это нормально, всякий начинающий неизбежно подражает какому-то образцу, по-другому не бывает. И если человек сумел из этого выбраться, сумел это преодолеть и прийти к чему-то своему, к своей поэтике, то он не зря взялся за перо. А если остался под поэтикой Бродского, то, наверное, не стоило и начинать. То есть это такая хорошая инициация. Раньше, например, была инициация политическая: боишься или не боишься, затем инициация коммерческая, а Бродский это такой формальный барьер, через который очень полезно пройти.

**– Не так много поэтов в последние десятилетия оставили свой след не только в области литературы, но и в пространстве культуры как таковом. Безусловно, к ним относится и замечательный поэт, насколько я знаю, Ваш большой друг, Денис Новиков. Почему, на Ваш взгляд, Борис Рыжий обладает ограниченно-всенародной славой, а Новикову в основном достался авторитет в литературных кругах?**

– Такие вещи, как слава, в первую очередь связаны не с качеством текста, а с какими-то внелитературными вещами, с ферментом удачи, что ли. Чисто в литературном плане, мне кажется, что Денис сделал больше, но Денис и прожил дольше, чем Борис Рыжий. Борис ушел уж совсем рано,

---

Виктор КУЛЛЭ – поэт, филолог, переводчик. Учился в Ленинградском институте точной механики и оптики, окончил Литературный институт и аспирантуру при нем (диссертация «Поэтическая эволюция Иосифа Бродского, 1957–1972»). Выступал публикатором, исследователем и библиографом Бродского. Организовал первую в России конференцию по неподцензурной русской литературе «Постмодернизм и мы» (1991), был куратором поэтических вечеров в Политехническом музее, главным редактором журнала «Литературное обозрение», переводил с английского стихи Д. Уолкотта, Ш. Хини и др. Выпустил книгу стихов «Палимпсест» (2001).



и что бы он успел сделать, доживи хотя бы до возраста Дениса, нам остается только гадать. На мой взгляд, ему оказали медвежью услугу, издав какие-то совсем ранние, довольно слабые тексты. Все-таки некоторые вещи не нуждаются в огласке. Тот же Бродский был в ужасе от перспективы печатания своих самых ранних текстов. Десятки тысяч строк его юношеских стихов не опубликованы и не будут опубликованы еще много лет. Но что теперь об этом говорить?

Денис же начинал как самая главная надежда русской поэзии. С одной стороны, предисловие к его книге пишет Бродский, с другой – его хвалит Евтушенко. Он смолodu попадает в такую блистательную компанию, как театр поэтов «Альманах», где были Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Михаил Айзенберг. Это безумно хорошо, но Денис был достаточно тяжелым в общении человеком. С ним было непросто. Он всегда оставался невероятно прям в высказываниях, порой до цинизма, и люди от него иногда отшатывались. Чтобы тебя все любили, надо уметь иногда выглядеть белым и пушистым, а Денис белым и пушистым выглядеть не мог клинически.

Потом я не думаю, что у Рыжего есть действительно всенародная слава. Это все-таки тоже слава среди пишущих людей. Но дело, конечно, не в этом. И Рыжий, и Денис Новиков две больших потери для нашей литературы. Денис больше ценится в профессиональном сообществе лишь потому, что прожил подольше, а у Рыжего, как это ни цинично звучит, может быть, оказалась более удачная биография.

***– Каким образом, по-Вашему, происходит легитимизация поэта в литературном пространстве?***

– Я не очень знаю, что такое легитимизация. В том плане, что ли, с каким основанием тот или иной персонаж вдруг говорит: «Я поэт, зовусь я Цветик»? Здесь все непредсказуемо. А в наше время все еще и густо замазано пиаром. Появляется Сваровский, ему за год проводят пиар-кампанию – и все, готова звезда всероссийского масштаба.

Существует множество прекрасно пишущих людей, которых никто не знает. Например, кто знает стихи Юлии Пивоваровой из Сибири? А она совершенно замечательный поэт. Неудобный человек, со сложной биографией. И пока она будет живой и неудобной, никому она не нужна. При жизни Всеволода Николаевича Некрасова все знали, что он великий поэт, но как-то об этом помалкивали. После того, как Некрасов умер, Кузьмин напечатал некролог. Да Некрасов в гробу перевернулся! Этих людей нельзя было представить не то, что рядом, но на одном квадратном километре. Нечто из серии:

«А над гробом встали мародеры  
И несут почетный караул».

К сожалению, качество текстов и степень популярности никак не связаны между собой. Есть множество раздутых фигур, есть хорошие поэты, которых никто не знает. И в этом нет ничего странного. Мы все это уже проходили. Раньше были идеологические причины, ныне конъюнктурные. И нынешняя система отношений обладает собственной цензурой, не менее жесткой, чем старая. Вот сейчас в Интернете составляют разнообразные списки «лучших поэтов». Кто включил туда Олега Ивановича Чухонцева? Кто вспомнил о Лиснянской, кто вспомнил о Сосноре? Где последний представитель филологической школы Михаил Еремин? Этих людей исключили из круга действующих поэтов, они не воспринимаются как участники «актуального литературного процесса».

Я уже высказывался, что незаслуженно ранняя слава в первую очередь вредит восхваляемым персонам. Откровенной бездари не будут создавать раздутую репутацию, репутацию раздувают людям талантливым. И тот же Воденников – человек талантливый, но как только он стал «королем поэтов», на какое-то время для поэзии он умер. Он не прошел испытание медными трубами. Когда человек встает в позу и говорит, что он поэт с большой буквы П, что он напрямую говорит с Господом, он заканчивается. Поэт должен быть всегда недоволен собой, должен стремиться пи-

сать каждое следующее стихотворение лучше, чем предыдущее. Но это, в общем, такая же азбучная истина, как «Волга впадает в Каспийское море».

**– В одной из публикаций Вы написали о своем решении предпочесть Литинститут Точмеху: «Нужно быть честным – либо ты занимаешься наукой, либо культурой». Т.е. поэт невозможен без высшего гуманитарного образования?**

– Нет, поэт – это всегда некая потенция, и вопрос в том, сможешь ли ты ее реализовать. Может быть, человек был рожден, к примеру, великим пианистом и никогда в жизни этого инструмента не увидел, всю жизнь проработал слесарем. А потом уже и пальцы утратили свои свойства, и все не так.

Но поэт, конечно, возможен и без гуманитарного образования. Хотя чтобы стать поэтом, помимо всего прочего, нужно уметь благодарно читать. А умение благодарно читать и как-то пропускать через себя прочитанное все-таки удобнее постигается при определенной гуманитарной подготовке. К сожалению, мы теперь уже со школы видим специализацию, во многом идущую во вред. От классического универсального образования мы уходим все дальше.

Но дело даже немного не в этом. Мои однокурсники по первому месту учебы, по Ленинградскому Институту точной механики и оптики, теперь заведующие кафедрами, профессора, члены-корреспонденты Академии наук, ученые с мировым именем. Люди уходили в свою работу с головой. Лазеры – наука сравнительно молодая, первый лазер появился на свет в том же году, когда родился я, в 1962. И ежегодный справочник по лазерам каждый год разбухает практически на треть, это очень быстро развивающаяся отрасль. Такой наукой не было смысла заниматься вплотную – либо ты весь в ней, либо не надо этого касаться. Серьезная, большая наука требует человека целиком. Нельзя, на мой взгляд, одновременно быть специалистом по высшей математике и поэтом. Можно, конечно, придумывать какие-то стишки для домашнего употребления, но всерьез заниматься тем и тем не получится. Страсть должна быть одна. То есть у меня был выбор не места получения высшего образования, а дела жизни.

И раз поэзия стала делом жизни – а стихами ты не прокормишься – высшее гуманитарное образование необходимо. Просто чтобы зарабатывать с его помощью. Я пишу статьи, редактирую книги, делаю сценарии для телевидения. Сейчас вот, например, пишу сценарий фильма к трехсотлетию юбилею Ломоносова. И, может быть, я и не делал бы этого, но это чистый хлеб – мне не стыдно за сделанное мной. И заниматься этим как делом, сопутствующим писанию стихов, для меня более комфортно, чем, например, быть риэлтором.

**– Как может измениться в ближайшие годы или десятилетия роль литературного института и изменилась ли она со времен Вашей учебы там?**

– Я поступал в Литературный институт в очень счастливый период всеобщих иллюзий. Это был 1986-й год, первый год перестройки. Вместе со мной поступали Армен Асриян, Дмитрий Сучков. На заочное поступили Денис Новиков, Виктор Пелевин. На следующий год – Виталий Пуханов, Константин Кравцов. Еще через год – Юлий Гуголев, Константэн Григорьев, Юлия Пилева. Мы были счастливым курсом. Пришел новый ректор Егоров, и он сознательно срезал всех блатных. У нас был конкурс 600 человек на место. Во ВГИКе, для сравнения – 420. А теперь в Литинституте конкурс полтора человека или вовсе недобор. В наши времена всем вдруг показалось, что можно резать правду-матку и при этом жить как «настоящий советский писатель». Обычная человеческая иллюзия. Вообще, литинститут как идею я очень люблю, но то, во что он превратился в есинскую пору, жутковато. За время руководства Есина из Литинститута ушли все более-менее видные ученые. Там был затравлен и, фактически, доведен до смерти Евгений Николаевич Лебедев, ушла Мариэтта Чудакова, ушел Василий Калугин. Ушли те, реальные, яркие личности, способные составить противовес политике руководства, пришедшего, чтобы давить всех

потенциальных конкурентов. Я слушал античную литературу у Азы Алибековны Тахо-Годи. На следующий год, когда Лосев совсем заболел и Аза Алибековна уже не могла преподавать, пригласили Гаспарова. И я ходил слушать этот курс по второму разу. Библистику читал Аверинцев. Что-то подобное сейчас невозможно. Но самое главное заключалось в людях. Сразу после школы никого не брали. Было условие: два года человек должен чем-то прозаниматься. Не обязательно чтобы слесарем, токарем или служить в армии, но что-то делать. Потому что после школы человеку, как правило, нечего сказать. Было гораздо больше ребят из других городов. В Москве или в Петербурге легче найти литературную среду, какие-то семинары, ну, может еще в двух-трех городах можно это сделать. А это очень нужно, чтобы автор общался с себе подобными, чтоб был некий круг. И человеку, живущему в маленьком городе, очень сложно в этом плане. Вот для него Литинститут нужен прежде всего.

А теперь идти в Литературный институт – слишком большая роскошь. Членство в Союзе писателей, для чего некоторые поступали в советское время, не дает ничего. Все, что Литинститут может сделать, это создать нужную атмосферу, среду общения. Москвичей и питерцев там должна быть, наверное, одна десятая часть. Ну, и, конечно, Литературный институт должен давать качественное гуманитарное образование. Чтобы человек, вернувшись к себе, мог получить достойную работу. Раньше так и было. Диплом Литинститута считался дипломом и филфака, и журфака. Человек мог работать в любом издательстве. Например, у меня была полугодовая стажировка в журнале «Юность». Сейчас ничего подобного нет. Это плохо.

***– А роль литературных журналов, на Ваш взгляд, тоже будет как-то меняться? Какое будущее их ждет?***

– Я надеюсь, что они выживут. Потому что литературных журналов в том виде, в котором они существуют у нас, нет и не было нигде и никогда. Литературные журналы нигде так не влияли на общество, как когда-то влияли у нас. И, скорее всего, литературные журналы выживут, но выживут, наверное, в симбиозе с Интернетом. Все-таки люди в Журнальный зал заходят, и заходят активно. Ведь, честно говоря, почти никто из людей, находящихся в здравом уме и твердой памяти, бумажных журналов не выписывает. Вся подписка – это библиотеки. В советские времена подписки распределялись по профсоюзам, их не хватало. Наверное, такого больше не будет.

И в этом смысле очень удобен Интернет. Я знаю, что мои стихи раз в год печатает «Новый мир». Те, кому это интересно, зайдут и прочитают. И когда ты выезжаешь на какие-то фестивали за пределы Москвы и Питера, оказывается, что читали тебя в Журнальном зале.

А журнал как бумажный феномен проживет ровно столько, сколько проживут книги. Сейчас мы переживаем очередной виток технологических изменений, и чем все закончится, конечно, не знает никто.

***– Вы родились в Ленинграде, сейчас много времени проводите в Петербурге. На Ваш взгляд, в условиях нынешнего «усреднения культуры» различия между литературными столицами сохраняются? В поэтической, прежде всего, части.***

– Я родился не в Ленинграде, а в городе Кирово-Чепецке Кировской области: родители, молодые тогда специалисты, там работали. Но, в принципе, да, я – питерский человек. Для меня существование в Москве и в Питере это жизнь в двух разных режимах. В Москве я как-то пытаюсь зарабатывать деньги, здесь ситуация постоянной гонки, не очень удается писать стихи. В Москве, как правило, я что-то накапливаю на уровне неясных мыслей, питательного бульона, а в Питере будто тумблер в голове щелкает – и ты все недозаписанное занносишь на бумагу.

Существует мнение, что Москва более современна, более демократична, а Питер – застегнутый на все пуговицы, классический такой. Я не думаю, что ситуация именно такова. В Пите-

ре, например, была «филологическая школа» с Уфляндом и Кондратовым, без которых никакой Пригов был бы невозможен. То есть нет, Питер это далеко не монумент имени Кушнера.

Но Питер, как любой город, который раньше был столицей, а потом этого статуса лишился, имеет свои комплексы. В подсознании многих питерцев сидит мысль: «Вот вы там варвары, а мы культурный город». Не знаю, как сейчас, я в Питере бываю все-таки наездами, и времени на литературную жизнь не хватает, но в свое время меня поразило то, что в Москве люди более благожелательно относятся к чужим стихам. В Питере было ощущение: ты еще один медведь в берлоге, где и без тебя тесно. В Москве, конечно, и возможностей больше, меньше конкуренция. Сколько тут работает телеканалов и, соответственно, дает кусок хлеба людям, и сколько в Питере? Два, три?

Но когда я все это осознал, я не думал о заработках. Это был период бездумного студенчества, так что впечатление, может быть, и верное.

*– Цитата из еще одной Вашей статьи: «Когда Господь хочет наказать своего любимца, он лишает его не разума, но чувства юмора». Вы известны как автор шуточных стихов на грани или слегка даже за гранью приличий. Насколько я знаю, Вы их никогда не публиковали и не собирались. Этот барьер между, условно говоря, высоким искусством и веселыми непристойностями в нынешних условиях должен сохраняться или ныне все так размыто и условно?»*

– Ну, это для каждого ситуация собственного выбора. Меня, например, подбивают собрать какие-то озорные стихи в сборник с условным названием «Тень Баркова» или подобным. Почему бы и нет? Ничего страшного. Другое дело, такие стихи не должны быть самоцелью. Для меня их написание было спонтанным. Нет ведь такой мысли: «Сяду-ка я, напишу похабный стишок». Как правило, все это экспромты, возникавшие в дружеском кругу. Мысли кого-то эпатировать, позлить, сделать на этом пиар не было. Была мысль потешить своих друзей-собутельников. Если что-то из этого выживет, значит это прошло испытание временем, испытание злободневностью, значит, это можно собрать в книжку. А сиюминутность забывается со временем. Вот есть великий поэт Иван Андреевич Крылов. Разве нам придет в голову, что «Медведь на воеводстве» написан про Аракчеева? Да нам этого не нужно. Нет, это отстоялось, время прошло. Дай Бог, и что-то из моих озорных вещей выживет.

Я не пурист, и не отрицаю возможности матернуться даже в «серьезных» стихах. Но мат – очень сильное эстетическое средство, и его надо использовать аккуратно. Любое матерное слово в контексте стиха перетягивает внимание на себя. А неаккуратное использование мата – на мой взгляд, прежде всего признак эстетической глухоты. В литературе я знаю только одного виртуозного матерщинника – Юза Алешковского. Юз из этого делает некую былинку, сказ, и мат становится фактом искусства.

А когда выходит на сцену девочка и гордо бросает:

Отсосу у Господа,

– возникает вопрос: она понимает вообще, чего говорит? Это признак девальвации слова, слово тут становится игрушкой, погремушкой какой-то. «Нас пугают, а нам не страшно», – писал Миша Айзенберг. И не страшно, и даже не смешно.

*– Да, используя мат, сниженную лексику, многие литераторы восьмидесятых, скажем, годов постулировали свою невключенность в официальный контекст. Теперь этот язык, в значительной мере упрощенный, лишенный своих наиболее ярких черт, действительно детабулизировался, фактически стал нормой, если судить по телепередачам и фильмам, ориентированным на так называемую широкую аудиторию.*

*Что тогда может оказаться ныне радикальным в плане языковой стратегии?*

– Радикализм подразумевает наличие мейнстрима, а «мейнстрим» в поэзии, о котором так любит говорить горячо мною любимая Женя Вежлян, – понятие абсолютно бредовое. Ну не может человек, занимающийся искусством, любым искусством – неважно, пишет он стихи или рисует картины – ориентироваться на какой-то главный поток, тем более искать этот поток. Творческий человек занимается ровно одним: попыткой выразить свою личность настолько удачно, чтобы это стало интересным для кого-то еще. Я писал, что искусство это борьба со смертью, преодоление собственной смертности посредством творчества. Люди, читающие тебя, будут смотреть в тебя, как в зеркало, что-то узнавать о своей собственной природе, что-то про себя для себя понимать.

А изменения в языке, конечно же, происходят, и поэт фиксирует их как сейсмограф. Просто это довольно побочная вещь. Например, революция в языке произошла, когда стали возвращаться реабилитированные интеллигенты. Эти люди победили во всех отношениях – в плане духа несломленного, в чем-то еще – но в одном они проиграли точно: в языковом отношении. Они принесли с собой феню, и феня эта стала частью языка интеллигенции. Кроме того, тот тупой, плотский смысл, изначально заложенный в жаргоне, резал ухо. И интеллигентные люди стали все усложнять, даже придумывать этим словесам какую-то новую этимологию. Потом лианозовцы и последующие поколения возвели это в ранг литературного языка. Но это как погода: произошло такое с языком, значит, надо было вступать с этим в какие-то отношения, как чуть раньше пришлось вступать в отношения с вбросом советских канцеляризмов и бюрократизмов, преодолевать это, обыгрывать, травестировать. Но все это не какой-то особый путь для поэта, просто с этим надо жить.

Я думаю, что после этого веселого пира постмодерна, просто по закону маятника наступит возврат. Через какое-то время будут востребованы люди, работающие с классической парадигмой. Но работать-то с ней гораздо сложнее! Дмитрий Кузьмин говорил, что он знает шестьсот поэтов. А я уверен, что шестисот человек, умеющих не *писать стихами*, а действительно *писать стихи* – нет и быть не может.

***– Мы уже немного коснулись вопроса о мейнстриме. Это явление имеет несколько аспектов, различных в разное время. Например, ваши стихи публиковались в ряде антологий неофициальной поэзии. В частности, в замечательной книге, составленной Генрихом Сапгиром. Тогда, при коммунистах, все было сравнительно просто: есть официальная поэзия, есть другая. Что, на ваш взгляд, ныне относится к мейнстриму и насколько необходимо его наличие? Хотя бы в плане того, что б было от чего отталкиваться?***

– Я не вижу сейчас вообще никакого мейнстрима. Все, что сейчас к нему причисляют, это причуды рекламной кампании, причуды пиара. Считать мейнстримом Херсонского? Но что тогда изменилось со времен Бродского?

Моя главная претензия к поэзии девяностых и двухтысячных годов состоит как раз в том, что она не предложила ничего нового в сравнении с тем, что уже было сделано московскими и питерскими поэтами к началу восьмидесятых годов. Рамки понятия «поэзия» с тех времен принципиально не расширились. Произошел рост вширь, но ни высь, ни вглубь ничего не сдвинулось. Началось бесконечное клонирование ранее открытого. Причем клонирование производится людьми, не знающими, да и не желающими знать, что все это уже сделано до них. Естественно, конструкция вновь изобретенного велосипеда оказывалась хуже оригинала.

Но самое страшное в том, что в новом поколении появилось множество людей, вообще не интересующихся предшественниками. Бродского они знают хотя бы на уровне имени, а, скажем, Слуцкого не знают вообще. Кто вспоминает Сельвинского, Луконина, Кульчицкого, Когана? А сколько они сделали в чисто формальной области! Но это никому не интересно.

Недавно в Живом Журнале наблюдал фантастическую ситуацию: Борис Херсонский вывел стихотворение, где упомянул «Минареты – ракеты класса земля-воздух». Наверняка, он это

сделал сознательно, не просто употребил отсылку к Бродскому, но конкретно взял его метафору, встречающуюся в нескольких текстах. Дальше там идет собственно стихотворение Херсонского. А в комментариях к записи народ на голубом глазу пишет: «Боря, это гениально! Особенно первая строчка!» То есть выросло целое поколение читателей, уже не ведающих, что это Бродский. Люди не понимают, что они читают. Значит, можно играть с кем угодно, вступать в любые отношения с чужим текстом. Когда-то это может сработать, но есть большой риск стихотворение угробить: употребляя чужую строчку, ты всегда провоцируешь на сравнение, а сравнение может оказаться и не в твою пользу.

Так что пушкинское «ленивы и нелюбопытны» актуально в отношении многих и пишущих, и читающих людей. Я недаром писал про инфантилизм, потому что получается ситуация, когда о Бродском знать не надо: очень неуютно жить в мире, где ты состязаясь с ним, а не с соседом Васей. А писать надо именно так, раз считаешь поэзию делом своей жизни.

***– Вы переводите довольно много европейской поэзии. На ранних этапах своего развития русская литература, в своей поэтической части точно, подвергалась очень существенным влияниям поэзии западноевропейской и, прежде всего, французской. Возможны ли сопоставимые по силе влияния ныне и насколько они будут продуктивны?***

– Самое мощное влияние, которое мы переживаем сейчас, это влияние англосаксов, начавшееся с легкой руки даже не Бродского, а Красовицкого. Я думаю, что мы в полном объеме иностранной, даже европейской, поэзии не знаем. Мы все время кружимся в замкнутом круге: англичане-французы, англичане-французы, и то же самое заново. Были, конечно, итальянцы, Данте, но в целом круг именно таков. И даже в этом круге многое упущено. Я не знаю, есть ли что-то действительно интересное в современной, например, французской поэзии, но нами не усвоен еще опыт французских авторов первой трети XX века. А если взять другие европейские литературы, дело обстоит еще хуже. Немцев переводили и пропускали через собственную поэтику в XIX веке: Гейне, Гете, Шиллера, а дальше стало хуже. Даже Рильке нами не усвоен. Мимо нас прошли великие поляки, мы их знаем на уровне имен в лучшем случае: Чеслав Милош, Збигнев Херберт, Вислава Шимборска. Имена эти пока остаются пустой погремушкой – а у них есть чему поучиться.

Если отвлечься немного в сторону от влияний иностранных к влияниям вообще, то мы, например, не знаем собственного восемнадцатого века. Сумароков и Тредиаковский для большинства сливаются в одну фигуру. Моему поколению литинститутовцев в этом смысле повезло: Евгений Николаевич Лебедев как-то ухитрился прививать нам, студентам-раздолбаям, иногда отвлекающимся от общежитских пьянок, чтобы приползти на лекции, привить любовь к этой эпохе русской литературы. Но многие этого не знают, для них не существует эта эпоха в реальности. И уж тем более мы дурно знаем иностранную литературу того времени. А влияние из прошлого вполне возможно.

Из того, что делают сейчас в англо-саксонской поэзии, каких-то серьезных влияний в формальном плане я не вижу – скорее, все на уровне виньеток. Все-таки в нашем языке гораздо выше рифмические возможности. Условно говоря, у англичан любая рифма воспринимается на уровне наших банальностей вроде «любовь-кровь». При этом глубочайшее заблуждение думать, будто в англо-саксонской литературе бытуют сплошные верлибры. Наиболее крупные поэты – Дерек Уолкотт, Шеймус Хини – используют классические формы. А это адски трудно – во-первых, у них поэзия на пятьсот лет старше нашей, а во-вторых, совершенно другая структура языка. Вот такому подходу к рифме, попытке освежить банальную рифму смыслом можно у англичан учиться. Высшая доблесть, конечно, не в том, чтобы найти оригинальную рифму, а, может быть, в том, чтобы срифмовать «любовь-кровь» так, чтобы это было уместно, оправдано и казалось в каких-то случаях единственно возможным вариантом.

**– Можно ли в ближайшее время ожидать издания Ваших переводов английских стихов Иосифа Бродского?**

– Я очень на это надеюсь. В мае в Питере должна состояться конференция, куда приедет Энн Шеллберг. Надеюсь, вопрос авторских прав будет как-то решен. Это проще все-таки сделать в личном контакте, чем по электронке. Я пока шлифую какие-то языковые моменты: где-то что-то не додумал, может быть, не увидел. То есть продолжается работа, запущенная с самого начала этого проекта.

А желающих издать это, конечно же, очень много. Я понимаю, что, будучи выпущены, эти переводы станут некоей частью канона. Может быть, это тоже как-то затягивает публикацию.

Труд был очень большой, конечно, там есть какие-то блохи наверное, но он должен быть как-то воплощен на бумаге. Я на это очень надеюсь. Может быть, даже в этом юбилейном году.

**– В последние годы появляется довольно много литературных течений, содержащих в своем названии слово «новое»: Новая искренность, Новый эпос. Возможно ли на Ваш взгляд, появление чего-то настолько нового, что терминов «новое» или «пост-» уже не требуется?**

– Конечно, хочется надеяться. Всегда ведь живешь надеждой на чудо. Но само использование термина «новый» всегда было для меня предметом сомнительности. Как известно, поэзия не терпит прилагательных. Очень все-таки сомнительны «женская» поэзия, «молодая» поэзия, «гражданская» поэзия, «нетрадиционной ориентации» поэзия, еще какая-то. И термин «новая поэзия» в этом ряду стоит где-то близко. Либо это поэзия, либо нет. Прилагательное излишне.

Радикальная новизна была, например, в текстах Айги, и никто не употребляет, говоря о нем, термин «новое». Айги и Айги. Лианозовцы не называли себя «новыми», и концептуалисты тоже. Они просто писали. Строго говоря, когда ребята собираются вместе и говорят: «Вот мы теперь то-то и то-то» – это хорошая игрушка, позволяющая заявить о себе, но не более того. Вот одно из величайших течений, акмеизм, оно ведь довольно быстро распалось. Что, чисто технически, связывает зрелые стихи Ахматовой и Мандельштама? Да ничего. Каждый из них шел абсолютно своим путем.

Кроме того, «новое» не всегда является позитивным. Если некто скажет, что до сих пор добродетелью считалось «не убий», а он пойдет и убьет – это тоже будет новым. Ну, и что в этом хорошего?

Мы слишком часто грешим понятием «новое», раз за разом изобретая велосипед.

**– Авторы неофициальной поэзии в СССР жили в догуттенберговскую эпоху. Теперь эпоха оказалась постгуттенберговской, Данила Давыдов, например, определил ее как «новую устность». Рискнете предположить, что дальше произойдет с печатным словом?**

– Поэтические вечера, постоянно проходящие в Москве, конечно, имеют свое значение. Писание в расчете на произнесение, безусловно, влияет на сам текст. Об этом говорил Мандельштам, это особенно очевидно после опыта лианозовцев, после Всеволода Некрасова, Сатуновского.

Другое дело, что не надо путать поэтический вечер и концерт. Кто кого переорет на слэме, уже не имеет к поэзии никакого отношения – это совсем другой род деятельности.

А звучащая поэзия вещь замечательная – в конце концов, интонация возникает из внутренне-го проговаривания. Сейчас, на мой взгляд, звуку уделяют больше внимания, чем, например, век назад. Тогда стихи писали в большей степени «на глаз», и те немногие случаи, когда влиял слух, произнесение, как, например, у ранней Ахматовой, были очень заметны, воспринимались как чудо. А теперь во многом это стало нормой.





*Не то в погребѣ – темень, самого чуть видно,  
 тело в язвах,  
 Места живого нет, черный весь как головешка.  
 Она давай молиться, записки подавать,  
 и что вы думаете?  
 Снится ей он опять через год, половина язв  
 уж сошла,  
 Кожа розовая. Все записки.*

Неоригинально, примитивно, отдает дешевыми брошюрками из церковных лавок? Но представь: ты можешь увидеть такой же сон. Если повезет, конечно, в отношении его финала. Вообще, книга «Аварийное освещение» следует словам о посрамлении мудрости мира сего. Одно из стихотворений так и названо:

#### ТА, ЧТО ДОЛЖНА БЫТЬ ГЛУПОВАТА

*Та амфора пытливого самарянки,  
 Кувшин ли просто... Господом хранима,  
 Бежит вода, чиста после оградки,  
 В пространстве золотом, идущем мимо,  
 И водоносы, амфоры ли, склянки...*

*В пространстве золотом, идущем мимо,  
 Бежит вода, чиста после оградки,  
 И облако белеет нестерпимо  
 Над рынком, забытjem автостоянки,  
 Над блоктостами Иерусалима*

А еще есть текст с названием «Чукче удаляют камни глупости». И во многих стихотворениях присутствует это – не уничтожение паче гордости, но смиренный отказ от обращения к Софии, премудрости Божией. Зато автор постоянно соотносится с одной из ее дочерей: с Надеждой. С той самой надеждой, живущей пока жив человек. Соотнесение это очевидно, в частности, на уровне текстов, входивших в предыдущие книги Константина Кравцова и подвергнутых им редактуре. Можно, конечно, отследить изменения, внесенные автором, интерпретировать каждое из них, но, кажется, важнее сам факт перемены, как главного свойства живого объекта. Жизнь вообще подразумевает некую незавершенность, и незавершенность эта явлена, и довольно неожиданным приемом: не следуя достаточно давней моде на свободное обращение со знаками препинания,

автор допускает в их отношении единственную вольность. Из 36 стихотворений книги точкой завершается лишь одно. Прочие чаще всего пустотой, реже – многоточием, совсем редко – восклицательным знаком, а точкой – лишь это:

#### ЗНАК

*На белом поле красный крест  
 В ночи мелькнет тебе со скорой  
 И станет разуму опорой:  
 Вот поле выявленных мест,  
 И пусть не свет еще, но все же  
 В наплывах тьмы, в набегах дрожи  
 Он что-то значит, этот жест.*

Такое приятие случайного события как знака это не хватание утопающего за соломинку, но радость подтверждения своей правоты. А что еще нужно христианину? Есть враг, есть меч духовный и есть помощь свыше, являемая где угодно.

Аварийное освещение любят использовать разработчики компьютерных игр для создания тревожной атмосферы. Входит игрок (а точнее герой, им управляемый) в коридор, то озаряемый тусклым светом, то тонуший на долю секунды во тьме, и рука так и тянется к кнопке Save (заметим: слово можно перевести и как «спастись»), а кнопки-то этой и нету. Всё, игры кончились, дальше сам. Для этого и нужно освещение. Хотя бы и аварийное, единственно возможное в мире, пережившем крах и чающем спасения. Мир-то спасется, но за себя каждый в ответе. Наверное, и в этом тоже смысл послания от автора нам. Мужественная книга получилась у православного священника Кравцова. И оптимистичная очень.

*Алексей КОЛОБРОДОВ*

## Мультики без пульта, или конец Чебурашки

**Михаил Елизаров. Мультики. – М.: «АСТ», 2010. – 320 с.**

У нас эта полукриминальная забава именовалась «чебурашкой» – похоже, от распро-

страненного народного названия дамских чувственных шубеек. Плюс специфическое искусство юмора советских трудных подростков, выросших на Эдуарде Успенском.

Нагая под шубой вакханка в холодное время года и темное – суток, подходила к припозднившимся прохожим мужского пола, среднего возраста (и желательно, интеллигентского телосложения) и распахивала эту самую шубейку.

Тут же рядом возникали пара-тройка угрюмых качков, интересуюсь:

– Чебурашку видел?..

Почему-то невольный зритель сразу понемал, о чем речь.

– Д-да...

– Тогда плати!

Такса, кстати, была особой историей. Если на чебурашке все же были надеты трусы и колготки, и нерядовое зрелище ограничивалось голый грудью, стоило это десятку.

В случае, когда под шубой не было ничего, цена вопроса возрастала до четвертного: забавна бухгалтерия совкового любительского стриптиза. Видимо, в сознании устроителей этого зрелищного мероприятия именно в районе пупка пролегалла граница между эротикой и порнографией.

Интересно, что действия «чебурашечников» никак не квалифицировались советским УК, если не доходило до рукоприкладства. Но такое случалось редко.

С писателем Михаилом Елизаровым у нас, наверное, одинаковый ранний жизненный опыт, разве что у них в советской Украине (Михаил родился в Ивано-Франковске, а учился в Харькове) аттракцион «чебурашка» назывался «мультики».

«Мультики» – титул его нового романа.

«Мультики» как визуальное искусство, побочное дитя кино – надо полагать, явление близкое писателю Елизарову, несколько лет учившемуся в Германии в киношколе. Как он сказал в одном из интервью, самый близкий его друг – мультипликатор, живет в Берлине.

«Мультики» в романе – метод перевоспитания трудных подростков, инструментом которого служат диафильмы, на самом деле – комиксы. После просмотра которых у героя диагностируют эпилепсию, а прочая симпто-

матика смахивает на последствия лоботомии. Прооперирован и окружающий мир – из него неведомым способом изъяты друзья-подельники и парочка одноклассников. «Перековка» производится силами педагогов, членов некоего ордена или кружка наследственных инквизиторов. Они рукополагают один другого (посредством пресловутых комиксов); у каждого в детстве-юности – криминальная история, вплоть до убийства с расчленённой. Страшноватая мультипликационная матрешка явно патологических типов, предыдущий вылепляется из воспоминаний последующего. Флеш-бэки, как кашеёвое яйцо, содержат в предельно карикатурном плане смерть криминала-грешника и воскресение к иной, педагогической праведной жизни. «Перековка» производится в детской комнате милиции, само местоположение которой условно и таинственно.

«Мультики» – так малолетние токсикоманы, полиэтилен с парами бензина или клея на голове, называют свои трипы и глюки.

Наконец, «Мультики» Михаила Елизарова – самая впечатляющая метафора перестройки и всего последующего, из всех, какие я знаю. Дмитрий Александрович Пригов:

*Явилась ангелов мне тройка  
И я ее в сердцах спросил:  
Что будет после перестройки? –  
А некое Ердцахспр Осил! –  
А что это? –  
Не знаешь? –  
Не знаю! –  
Ну узнаешь, узнаешь, не торопись*

Так вот, Дмитрий Александрович нервно вздыхает в уголке (Пригов не курил). Если допустить, что там, где сейчас находится Дмитрий Александрович, имеются уголки.

Ангелы перестройки у Елизарова подменены этими самыми педагогами с явными приметами адской inferнальности. Рожденные диафильмами-комиксами, они кажутся своеобразных миксом из нашей родной бесовщины (в т. ч. в Достоевском смысле) с ихними маньяками (впрочем, у нас и своих хватает).

Забавно, что «Мультики» – роман-комикс, роман-метафора, по сути являет собой класси-

ческую для русской литературы модель «романа воспитания». Только наоборот. «Мультитики» – локальное проклятие прогрессу и личностному росту. Читатель, захлопнув книгу и оставляя героя в уже привычном кошмаре, безоговорочно будет полагать «золотым веком» подростковые тусовки за гаражами, тусклые видеосалоны с «Рэмбо первой кровью» и «Кошмарами на улице Вязов-2», мелкий уличный гоп-стоп, который у нас назывался «шкалять деньги».

Чебурашечный эробизнес представляется много безбидней «мультитиков перевоспитания» с намертво забитой в сценарий историей болезни в ее развитии, протекающей помимо воли героя.

Наконец, убогий закат совка живеи и мучительно симпатичней постперестроечного ничто и пустоты, разбавленной мыльным сериалом повторяющихся кошмаров.

Все-таки введу в курс дела. Заурядный тинейджер с незаурядным по тем временам именем-фамилией, Герман Рымбаев, вместе с родителями переезжает в промышленный мегаполис с «метро и оперным театром», потому что там у мальчика «перспектив больше». В драке, как тогда водилось, сходится с дворовой компанией. Получает погоняло – Карманный Рэмбо.

(Во всем, что касается нашей позднесоветской юности, Елизаров удивительно точен – дворовые сообщества были крепче и агрессивней школьных; во дворах знали и звали друг друга по кликухам, в школе по фамилиям; именно дворовые компании вместе занимались спортом и шли «на дело».)

Впрочем, все это было и у подростка Са-венко, почти не изменившись к 80-м.

Старший товарищ (из отслуживших, коротающий время за портвейном и мечтой «замутить», то бишь взять под контроль какой-нибудь кооператив) подсказал идею с мультитиками. Благо, есть две общие подружки, бесхитростные давалки, с одной из них у Германа предсказуемо случается первый секс, и даже любовь в одностороннем порядке. Антураж из самогона, консервов, блевотины и пропеллеров в голове – прилагается.

Бродячие артисты передвижного стриптиза создали две бригады, неплохо поставили дело, зарабатывая за вечер до двухсот рублей,

Герман справил себе магнитофон и электронные часы «Монтана» с семью мелодиями.

Вдруг облава и гоп-стоп.

Герман кладет живот за други своя и «вменты» попадает один. Оные, кстати, доставив юного правонарушителя в «детскую комнату», сами от этого странного места вибрируют всем своим милицейским liverом.

И тут, в «детской комнате» реализм и совковая география промышленного мегаполиса «с метро и оперным театром» резко заканчиваются. Как говорили в те времена в аналогичных компаниях, понеслась узда по кочкам.

По кочкам сюра, злобноватой пародии и мрачного смрада расходящихся тропок, смыслов и знаков, главный из которых, на мой взгляд, – трагедийные приключения неокрепшего советского разума (кстати, главного педагога-вивисектора зовут Разум Аркадьевич) в перестройку и сразу после.

Тема не нова; и чего только по ней не написано. У Елизарова получилась компактная и жутковатая метафора, разбирать и собирать этот кубик Рубика все равно что одевать уличную чебурашку в белье, адекватное описываемой эпохе. Это будет грубым насилием над текстом и измывательством над автором.

Достаточно исходников. Герман – мальчишка симпатичный, но глубоко заурядный; подавляющее большинство советских граждан того времени оставались хмурыми подростками.

Мультитики-диафильмы-комиксы, помимо дрянных и однообразных, отличных только составом преступлений, биографий педагогов, включают поведенческие сценарии и матрицы на ближнее и дальнее будущее. Реализуются самими героями, но как бы помимо их воли и разума. Биографический треш и жесткач сопровождается сусальными, как книжки о пионерах-героях, в звуковой манере «Радионяни», историями перековки. Тут тебе и гласность, и журнал «Огонек», а в «Новом мире» в 1989-м вообще начали печатать «Архипелаг ГУЛаг», кстати, солженицынские визгливые интонации угадываются у Разума Аркадьевича...

По ходу демонстрации мультитиков исчезают время и пространство. Чисто «конец истории» от идеологов всемирного либерализма.

Все это напоминает легенду о «дудочке кры-

солова» и «Синий фонарь» Пелевина («Пока он «Время» смотрел, вся жизнь прошла»). Оригинальность Елизарова в том, что сюжет с «мультиками» проецируется на конкретный отрезок истории страны. С болезненным, подчас до постыдных деталей, угадыванием.

Педагоги, кстати, понемногу похожи на всех наших звезд-младореформаторов сразу. Занятно, что один из них почти дословно цитирует Гайдара-деда.

**«Разум, уморил! Труп сделал из обезьяны человека!» Гениально! Да ты юморист! Зощенко! Кукрыниксы!»**

В оригинале:

**«Старика Якова запереть в инвалидный дом! Юморист! Гоголь! Смирнов-Скольский!» (Аркадий Гайдар, «Судьба барабанщика»).**

«Судьба барабанщика» – великолепная и знаковая для своего времени (1938 г.) вещь, да и сам термин «перековка» – родом из 20-30-х, словцо это – лейтмотив знаменитого коллективного труда о Беломорканале...

По сценарию «мультиков», прокрученных педагогом Разумом Аркадьевичем, Герман сдает друзей-подельников. Реальный Герман эти «мультики» смотрит, а друзья и девушки просто исчезают. Неизвестно куда. Скупые версии разнятся.

В финале у Германа эпилепсия и припадки, как и было сказано. Малейшая деталь, отсылающая в детскую комнату, вновь погружает в ситуацию «вспомнить все».

Впрочем, если «не возбуждаться», как называл это Лимонов, можно существовать тихо, скудно и вполне сносно. Хорошо учиться, ходить в институт и дружить с Илей Лифшицем – к слову, единственным положительным героем романа.

А Елизаров подбрасывает шифры: болезнь у героя обостряется в нечетные годы. Основное действие разворачивается в 1989-м, а дальше 1991-й, 1993-й...

...Откуда вырос роман «Мультики»? Нынешних русских писателей поколения сорокалетних и около того (Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Алексей Иванов, Роман Сенчин), объединяют, помимо возраста, установка на минимализм изобразительных средств и левые симпатии с сильным привкусом ностальгии по

советскому проекту. Елизаров, хоть и вполне отвечает этим признакам, стоит особняком.

Он пишет не просто механически увлекательно, он выдает крепкий экшн с твердой конструкцией и сознательной установкой на скупой жилистый стиль – «с небольшими, но очень рельефными мускулами, какие бывают у гимнастов», как по другому поводу сказано в тех же «Мультиках».

Вместе с тем его можно назвать укротителем форм – собственно, сюжет «Мультиков» с первого взгляда тянет только на рассказ, зато вполне романские фабулы («Госпиталь», «Нагант») он лихо кастрировал до новелл.

Вместе с тем, Елизаров – пожалуй, единственный в своем поколении эпигон поколения предыдущего, чего почти не стесняется. Там, где они кончили... Но и они еще не кончили, поэтому он не начинает, но продолжает. И его последовательное разрушение табу и запретов – своеобразное признание в любви литературным учителям. (Кстати, льком и в эту строку легко проецируется универсальный сюжет «Мультиков».)

Эпигонствует Елизаров по двум направлениям. Лучшие его вещи – сектантские боевики Pasternak и «Библиотекарь» (Русский Букер – 2008) близки романам замечательного, но, увы, не слишком популярного у российского читателя Владимира Шарова и отчасти – Виктора Пелевина раннего и срединного периода.

Вторая ветка – патологического реализма с элементами мрачноватой пародийности – прямиком из Мамлеева и немного Сорокина. Апофеозом «мамлеевщины» у Михаила стал сборник «Кубики» – худшая его на сегодняшний день книга, однообразная и рыхлая, с сознательной установкой на чернуху, довольно-таки примитивного, к слову, вполне перестроечного свойства.

Елизаров эту раздвоенность ощущает, и «Мультики» – не что иное, как «Кубики», сильно улучшенные по форме и стилю, отделанные по всей строгости, снабженные историко-мистической подкладкой. Писатель сделал попытку свести два своих русла воедино, и попытка случилась удачной.

Если, конечно, можно называть удачей талантливую метафору катастрофы. Под условным названием «Гибель Чебурашки».

Юлия ЩЕРБИНИНА

## Преодоление пространства

**Алексей Иванов. Хребет России (Цветное иллюстрированное издание в стиле «Намедни») – СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. – 272 с.**

На примере новой книги Алексея Иванова «Хребет России» становятся поразительно очевидными возможности перенесения реального пространства в пространство литературного произведения, наложения рельефа местности на рельеф текста. Пожалуй, самым уникальным и, одновременно, все объясняющим здесь выступает оригинальность художественного метода, определившая новизну жанровой формы.

«Освоить смыслы пространства можно только при его медленном, изнурительном преодолении» – эта мысль становится в «Хребте» одной из ключевых для понимания авторского замысла: освоение территории средствами словесности как способ восстановления региональной идентичности. Как для Ермака «восхождение к гребню Урала было подъемом к высоте смысла» – так путешествие по Уральскому краю стало для автора решением сверхсложной задачи: из огромного рулона истории частного локуса аккуратно выкроить, точно соединить между собой и прочно закрепить в сознании читателя наиболее значимые и репрезентативные события, факты, образы.

Насколько успешным оказалось преодоление Ивановым Уральского хребта? Какие культурологические и художественные находки принесло это путешествие?

### **1. Магический кристалл**

Мечтой уральского старателя Сергея Южкова было найти аметисты для лучшего в мире ожерелья. Задачей писателя Алексея Иванова было сформулировать фундаментальные смыслы для адекватного понимания уральской ментальности.

Путешествуя по Уралу, Иванов собрал все самобытное и самоценное, что есть в регионе: горы и реки, города и заводы, героев и богатырей, историю и мифологию. Писатель

нашел место, где находится каменная карта древних уральцев. Раскрыл ноу-хау древних ариев. Изобразил, как простонародный чугуна на Урале оказался великим артистом. Доказал, что олень Серебряное Копытце прискакал к нам из Персии

в целостную художественную систему и полюбил «магический кристалл» нового жанра: если «Властелин колец» дал начало фэнтези, то «Хребет России» породил *иденти*.

Подступы к этой жанровой форме можно обнаружить уже в последнем романе писателя «Блуда и МУДО», где предпринимается попытка системного осмысления принципов организации постиндустриального общества в виде концептов-аббревиатур. В этом отношении «Блуду» можно считать одним из первых художественных произведений в жанре социального идентити, «Хребет» – опытом создания регионального идентити на стыке беллетристики и документальной прозы.

## 2. Позвонок за позвонком...

«Земля, территория, пространство не могут не оказывать влияния на судьбу и мышление общества» – этот тезис, сформулированный в предисловии, становится основным идейным посылом «Хребта России» и импульсом движения всего повествования. Уникальностью топологии Урала несомненна. Задача автора – восстановить идентичность, точно обнаружив позицию точки под названием «Урал» в системе координат национальной истории, психологии и культуры. Для этого необходимо реконструировать культурно-историческую первооснову и вычлениить ее производные.

Попробуем бегло пройтись по позвонкам «Хребта», чтобы выделить основные авторские механизмы идентификации «уральскости».

Вычленение и группировка культурно-исторических универсалий подчинены у Иванова атомарному принципу: каждый из концептов-метафор связан с несколькими другими («ландшафт» + «язычество» + «подземность», или «ресурс» + «фарт» + «милость государя», и т.п.). В результате такой связи образуются «молекулы» региональных смыслов.

Вот, например, яркие иллюстрации того, как взаимосвязаны между собой понятия «место встречи», «(по)рождение» и «преображение». Урал как место встречи Европы и Азии, Руси и Сибири «породил атланта Ермака, преобразил его из разбойника в героя» (новелла «Место встречи изменить нельзя»). «На месте встречи труда и языческих смыслов» Урала происходит «преображение человека» и

рождается его уникальный, особый региональный тип – Мастер (новелла «Слово «слобода» – от слова «свобода»). Уральское язычество и персидское искусство «сошлись и породили небывалый, доселе неизвестный, сугубо уральский продукт – фольклор русских горнорабочих» (новелла «Клады Биармии»).

Далее процесс региональной идентификации предполагает, по Иванову, сведение частных смыслов в единую систему. В «Хребте России» эта система определяется как Уральская Матрица. Таким образом, Матрицу можно рассматривать в качестве макроконцепта, объединяющего все прочие самобытные свойства уральской ментальности и особенности существования уральского края.

В четырех основных частях ивановской книги «крестообразно» чередуются пространство и время – как понятия, организующие и структурирующие все повествование. Первая («Герои») и третья («Мастера») части организованы с пространственных позиций: и Герои, и Мастера «ходят» – осваивают земли, завоевывают территории, добывают знания. Вторая («Заводы», 1699–1864) и четвертая («Матрица», 1864–2009) части «Хребта» организованы хронологически: здесь отражается динамика и раскрываются причинно-следственные взаимосвязи культурно-исторических смыслов Урала.

Так пространство сходится со временем – и на месте их слияния рождается смысл, появляется возможность идентификации территории края. Так объясняется «чудо преображения» (новелла «Место встречи изменить нельзя»). Так вычерчивается классическая (хотя, вероятно, не единственно возможная) схема жанра идентити – *кристаллическая решетка*. Горизонталь – пространство местности; вертикаль – историческое время; точки их пересечения – выявляемые региональные смыслы.

Крышка «ларца с сокровищами» Урала открывается постепенно.

Сначала Уральская Матрица предстает перед читателем не в виде объемного образования, а являет лишь свою поверхность – раскинутое на огромной территории полотно уральских истории и культуры. Нить основы – занимаемое «хребтом России» пространство, сама уральская земля. Нить утка – время

существования Уральского края от появления первых следов жизни человека до наших дней. Объемные изображения наносятся на это плотно природой и деятельностью человека.

Далее последовательно показано, как всепроникающая Матрица подчиняет своим принципам все уральское: природное и рукотворное, производственное и бытовое, поведенческое и ментальное. Не случайно смыслы «внедрение», «проникновение», «включение», «встраивание» транслируются в «Хребте» через повторяющуюся метафору вируса, которая, как оказывается, применима ко многим ключевым событиям уральской истории.

Изначально «вирус язычества присутствует повсюду» («Страшнее сказки»). Затем заводы Урала получают «вирус раскольничьей догматики» («Огненная купель»). Потом «ковш Брусницына был вирусом золотой лихорадки» («Король прибыл»). Наконец, активизируется запущенный большевиками в рабочую среду «вирус идеи, что классы непременно борются друг с другом» («Уральское как российское»)...

Как нашитые на одежду язычника узоры-обереги, региональные смыслы оказались *вишты* (глубоко и прочно встроены) и *защиты* (спрятаны, зашифрованы) в уральский ландшафт. Да и само слово «хребет» в названии ивановской книги скрывает в себе значение «нанизывания» исторических, социальных, культурных, психологических смыслов. Вспомнив также, что текст происходит от лат. *textum* («ткань») – производное от *texere* («ткать, плести, сплетать»), убеждаемся в том, что подобный подход как нельзя более органичен избранному предмету изображения: «Урал не столько разделяет, сколько соединяет. Не разрезает, а сшивает» (новелла «Место встречи изменить нельзя»).

При этом Ивановым особо подчеркиваются значимость и репрезентативность Урала в исторической судьбе всей России, ведь «уральская Матрица лишь вариант русской, и уральский мир – грань кристалла русского мира». Очень важным здесь оказывается сопоставление последовательности русских и уральских героев (новелла «Против солнца первая застава»): Святогор > Илья Муромец > Микула Селянинович > Сергей Радонежский, каждому

из которых на Урале соответствуют Полюд, Ермак, Артемий Бабинов, Симеон Верхотурский. Аналогично тому, как «Полюд стал землей, Ермак ее отвоевал, Бабинов – освоил, а святой Симеон явил главную ее ценность – труд», просматривается и взаимосвязь героев русского национального пантеона: «Святогор уходит в гору, уступая Илье Муромцу, воину», вслед за Ильей «приходит Микула Селянинович с плугом», а Сергей Радонежский «озвучивает главную русскую ценность: единство».

Это очень значимое сопоставление для идентификации уральского региона. Без него Урал – локальная экзотика, с ним – хребет России.

### 3. Живой постмодерн

Своеобразие жанровой формы книги-идентификации требует аутентичности повествовательного подхода. В «Хребте» эта аутентичность достигается прежде всего синкретизмом: не механическим соединением, но органичным сплавом документального с художественным, научной точности и лаконичности слововыражения – с выразительной образностью.

Например, в геологическом плане река Чусовая определяется Ивановым как река «сквозь-земная», в мистическом же – как «тоннель, проложенный под горами». Проплывая по Чусовой, мы видим камень Ермак и как хранящую легенду о гибели великого героя береговую скалу, и как «храм демиурга», воплотивший в себе «путь к древним, подземным, языческим смыслам Урала».

Географический объект – будь это гора, река, скала или населенный пункт – всегда многозначен. В книге Иванова он становится пунктом идентификации – «силовой точкой» стягивания региональных смыслов. Отбор и группировка концептов вокруг того или иного географического объекта позволяют автору раскрыть и проиллюстрировать законы функционирования Уральской Матрицы. На примере той же скалы Ермак, обросшей столетними мхами легенд, можно рассказать о дохристианском прошлом Урала («язычество», «подземность»), можно – о специфике уральского характера («Мастер», «выбор неволи»), а можно – о культовом статусе Ермака в уральской истории («место встречи», «преображение»).

В результате композиция «Хребта» оказывается полностью аутентичной его содержанию: получилась книга по образу и подобию уральского самоцвета: каждая новелла – новая грань, новая сторона региональной ментальности.

Нерасчлененность репрезентации материала определяет, пожалуй, и единственно возможный образ повествователя в жанре идентичности. Идентификация предполагает выполнение «3-х О»: *обнаружение, обозначение, осмысление*. Развивая метафору самоцвета, краеведа можно уподобить добывающему региональный материал старателю; культуролога – гранильщику, который придает добытому форму смысла; писателя – ювелиру, облакающему все это в эстетическую, художественную форму. Получается, что автор книги-идентичности – это краевед, культуролог и писатель «в одном флаконе».

На Урале этот собирательный образ получает органичное воплощение в понятии «Мастер». Формируясь через фольклор в личности Ермака и обретая заверченный вид в бажовском камнерезе Даниле, Мастер становится универсальной уральской «моделью человека». Сергей Южаков и Данила Зверев, Иван Ползунов и Мирон Черепанов, Павел Бажов и Александр Грин – в душе каждого из них пророс Каменный цветок таланта. И сам автор «Хребта» органично вписывается в этот ряд, а иначе, наверное, невозможно: познать и выразить Матрицу может лишь тот, кто является ее неотъемлемой частью.

Так *синкретизм* повествовательного метода и образа автора становится продуктивным способом региональной идентификации и, соответственно, значимым жанрообразующим признаком идентичности.

Выявляя уральские смыслы, придавая им одновременно статус концептов и статус метафорических образов в целостной системе литературного текста, Иванов тем самым рассказывает историю Урала, показывает характер уральца и объясняет их взаимосвязь. Параллельное решение этих задач позволяет рассматривать идентичности как синтетический и диффузный жанр документально-художественной репрезентации какого-либо локуса в динамике его культурно-исторического развития и в свете региональной психологии.

В этом отношении идентичности – однозначно в русле традиции постмодернизма. Но не издательского и не отрицающего, а живого постмодерна, который не деконструирует известное, но реконструирует утраченное, а то и вовсе не рефлексируемое ранее в жизнедеятельности края и ментальности населяющих его людей.

Для Алексея Иванова сам Урал воплощает постмодернистскую модель России: «Горнозаводская цивилизация» по отношению к крестьянской русской цивилизации всегда «постмодернистская», – полагает автор «Хребта». – Потому что Россия была сельской и феодальной, а Урал – заводским и капиталистическим. Вот этот старинный «постмодернизм» – ноу-хау. Постмодерн «горнозаводской цивилизации» и есть ключ к новому прочтению Урала»\*.

Таким образом, идейно-содержательная основа идентичности состоит не в предъявлении набора частных региональных смыслов, но в определении общей системы существования того или иного локуса, ее развернутой иллюстрации наиболее репрезентативными фактами краевой истории и – что особенно важно – их связью с общенациональной историей и культурой целой страны. Как постмодернистское осмысление мифологии приводит к жанру фэнтези, а не к фольклористике и не к литературным сказкам – так постмодернистское осмысление территории приводит к концептуализации, а не к описательности. Именно поэтому «Хребет России» не краеведческая летопись и не географический путеводитель, а скорее голографическая художественная фотография Урала. Портрет его судьбы, вписанный в интерьер ландшафта.

#### 4. Ландшафтный дизайн Урала

Понятие «ландшафт» скрепляет и обобщает не все, но очень многие культурно-исторические смыслы уральской территории.

По Иванову, ландшафт не генерирует Матрицу, но создает оптимальные условия для ее структурирования из явлений жизни уральского локуса. В новелле «Точно так же на том же месте» автор дает объяснение этой уникальной

\* Иванов А. О «горнозаводской цивилизации» // «Новый компаньон», Пермь, 8 сентября 2009.



местной особенности: «Теряя в памяти, Урал восстанавливает свои образы и смыслы, исходя из свойств ландшафта. Ландшафт – генокод Урала, который на Урале что угодно все равно отформатирует так, как здесь и должно быть».

Множественно повторяясь и разнообразно варьируясь, определение ландшафта как уральского генетического кода становится одним из лейтмотивов всего повествования и ключом к адекватному прочтению. Принципу «вписанности в ландшафт» подчинена как структура, так и образность «Хребта России».

Во-первых, ландшафтом отформатирована сама уральская история. Противостояние Чердыни вогулам, тысячекилометровый рейд Ермака по зауральским и сибирским рекам, проторение нового пути Бабиновым, открытие Страленбергом каменной «карты древних уральцев» на реке Вишере – «многое случилось бы по-другому, если бы иначе легла речная излучина или гора стояла бы не на том месте».

Отсюда – соответствующая образность ивановской книги. Вслед за автором, мы видим «плоский и пустой остров в низовьях реки Чусовой – узкий и длинный, словно копье Пересвета» («Копье Пересвета»). Мы представляем, как на Троицком холме «очерк шатровых башен» древнего кремлевского вала «повторяет острые вершины ельников» («Былина»). Мы воображаем, как в небе над Алафейскими горами «из облаков лепились купола православных куполов» («Русские в Сибири»).

Во-вторых, в ландшафт встроена вся промышленность уральского региона, организованная в строгом соответствии с рельефом местности. В условиях уральского ландшафта промышленность могла быть не иначе как горнозаводской: многочисленные реки в союзе с невысокими горами породили горные заводы.

Горные заводы оказались «гармонично и неотъемлемо вписаны в среду, как способности борца или гимнаста – в анатомии спортсмена» («Горный завод»). Например, завод Кын «лежит в распадке между Мерзлой горой и Плакун-горой – будто в ладонях Урала» («Артиллеристы-капиталисты»), а уникальное гидротехническое сооружение Ушковский канал «на картах сейчас обозначают как речку – так органично он вписан в ландшафт» («Канава»).

Наконец, в ландшафт Урала вписаны его

Герои. Исторический или мифологический персонаж становится здесь лингвистическим топонимом и риторическим топосом «Имя». В «Хребте» приводятся многочисленные и ярчайшие иллюстрации того, как «русские врасстали в Урал, а Урал прорастал в русских».

Защищая чердынскую землю, легендарный богатырь Полюд не погибает, а укрывается в недрах горы, которая так и названа – Полюд. Непобежденный Ермак уходит под воду реки Чусовой, превращаясь в береговую скалу – камень Ермак. Слово завершая путь Полюда, святой Симеон Верхотурский, напротив, выходит из пермской земли: через 60 лет после смерти его гроб с нетленными мощами всплывает на поверхность.

Процесс врасстания уральца в родную землю непрерывен. «Урал – удивительные «горы внутри». Внутри планетарного панциря земной коры, внутри России, внутри человека». Ландшафт прорастает в человеке его соответствием Матрице: все герои Урала так или иначе остаются в его поэтике или топонимике. Урал же, в свою очередь, прорастает в человеке зависимостью – «выбором неволи»: добровольным подчинением жизни служением избранному делу на своей земле.

Так кодовый характер уральского ландшафта мотивирует в книге Алексея Иванова внутренние взаимосвязи в истории региона и раскрывает специфику ментальности уральцев.

## 5. Хождение за смыслами

«Гигантский шаг человечества – это маленький шаг человека». Прочитанное в «Хребте» знаменитое высказывание Нейла Армстронга становится еще одним важным ключом к пониманию авторского замысла.

На Урале движение, перемещение становится «символом поиска истины, знаний». В книге Иванова, создававшейся во многом как «история путешествия» и содержащей, помимо четырех основных частей, путеводитель «Железный пояс Урала», эта не новая по сути и многократно отработанная в литературе идея доводится до совершенства образной формы и обретает максимальную наглядность иллюстративного развертывания.

Прежде всего, представление о настоящем Деле – как о деянии и о подвиге – в уральской

истории всегда сопряжено с понятием перемещения в пространстве. И слово «подвиг» – от «двигать», «движение». В прямом значении это освоение новых территорий, в переносном – «хождение» за новыми смыслами и эффективное «переформатирование» имеющихся.

Сам рельеф местности сообщает жителю Урала мощный импульс перемещения. Так, гора Юрма «своим названием предупреждает путника: **“не ходи!”**». Это языческий вызов на движение. Движением дерзкий человек покоряет сакральность гор – входит в них. Как Данила в бажовском сказе отправляется в Медную гору, так уральский старатель вгрызается кайлом в толщи гор в поиске самоцветов, а уральский горнорабочий погружается в шахту за рудой. Горы и человек соединяются, и происходит «чудо преображения» – обретение идентити: человек становится Мастером.

Функция движения как обретения новых знаний заложена в Уральской Матрице. Это поясняется в новелле «Неверие в свое»: «Культе знаний – в генокоде Мастера. В преданиях все Мастера куда-то идут. Святой Симеон бродит по заказчикам. Салават преследует врагов. Данила Зверев ищет алмазы... И Ермак стал собою только в пути, в походе по Чусовой, – и тем начал традицию хождения Мастеров».

Продолжая обозначенный автором ряд, приведем другие иллюстрации.

Осваивая новые земли, «сорок соликамских мужиков вместе с Бабиновым врубаются в тайгу. И через дебри напролом ложится новый тракт» («Последний герой»). Неся Слово божие варварам, святой Стефан Пермский ходит по зырянским городищам: проповедует, лечит, учит, кормит («Плывущий на камне»). Аналогично потом действуют раскольники: «по тропам во все стороны разошлись восприемники и старцы, разносившие по урманам Урала «завет» огнеопального протопопа Аввакума» («Кержаки»).

Процесс движения-познания непрерывен. И в XX столетии активисты Общества охраны памятников истории и культуры также «разбегаются по дремучим углам отечества, отыскивая старинные деревянные храмы» («Храм Богоявления в Фузеях»)...

Кроме того, двигать или двигаться – самые общие принципы работы механизмов. Поэтому

основным полем для уральского Подвига начиная с XVIII века становится промышленность, а уральскими Героями становятся рудознатцы и горнорабочие, камнерезы и ювелиры, инженеры и изобретатели.

## 6. Ожившие машины

Заводы Урала не просто промышленные предприятия – они, как и сами уральцы, оказываются прочно встроенными через ландшафт в региональную историю и культуру. Не случайно внешний облик, функционирование и значение уральских заводов описываются в «Хребте» через метафору очеловечивания.

Уральские заводы будто люди: «впадают в кому», «ожесточенно сопротивляются», «задыхаются от гнева», «умирают», а «выжившие» по-разному продолжают свое существование. Если, к примеру, еле живой Кушвинский завод сейчас представляет собой «перепутанную грудку промышленных ребер и позвончиков» («Государыня-Благодать»), то превращенный в музей Нижнетагильский завод живет совсем иначе: «Освобожденный гигант, ржавый и могучий, распрямляется – и оказывается прекрасным, как античный атлет» («Царство за полконя»).

Для чего автору понадобилось «оживление машин»?

Во-первых, «только так – очеловечив – и можно представить горный уральский завод. Одушевление неизбежно, потому что на Урале не человек, а завод был мерой всех вещей» («Горный завод»). Идея империи и идея индустрии, встретившись на Урале, породили «державу в державе» – горнозаводскую цивилизацию, «главная мировоззренческая суть которой в том, что заводы важнее человеческих душ» («Железный пояс Урала»). Этот факт полностью объясняет выбор строительства уральских селений: не там, где людям удобнее жить, а там, где заводам удобнее работать. Так «выбор неволи» становится одним из базовых принципов идентификации общества, в котором человек крепостным правом прикреплен к машинам, а не к хозяину.

Отсюда – второе объяснение: очеловечивая не имеющую души машину, сам Урал таким образом поступает по-язычески. И здесь «выбор неволи» – объективная ментальная установка, обусловленная спецификой ураль-

ского социального устройства, транслирующая языческую этику и языческие смыслы. В новелле «Земля и воля» приводится реальный иллюстративный факт: «Увеличение выплавки меди на 20 пудов означало право получить к заводу дополнительного рабочего. Хвостовой молот стоил 35 душ, а доменная печь – сотню. Так язычник Урал «одушевлял» свои машины и металлы».

Вероятно, именно поэтому и фотоиллюстрации к истории Павлика Морозова в новелле «Истребление собственников» включают всего один памятник Павлику и целых четыре памятника-трактора. Красноречива также подпись к фотографиям: «По всему Уралу стоят старые трактора-памятники. Трактора, конечно, не виноваты в гибели Павлика Морозова. Но на Урале машины одержали верх над людьми задолго до Терминаторов».

Таким образом, сформированные горнозаводской цивилизацией основные жизненные смыслы – Знание, Труд и стремление к Совершенству – в соединении с язычеством становятся важнейшими параметрами личностной идентификации уральца. «Живя» человеческим трудом, «поглощая» человеческие души, уральский завод воплощает образ самого уральца, портретирует его психологию и судьбу.

Получается, что анимизм – один из краеугольных камней уральской ментальности, и анимистическая метафора здесь не средство художественной выразительности, но особый жанровый прием. «Оживление машин» выступает важным инструментом региональной идентификации, дающим понимание устройства уральского завода и рисующим наглядную иллюстрацию функционирования всей горнозаводской цивилизации.

### 7. Иди и смотри

Подобно переливающимся на солнце граням самоцветного камня, каждая новелла в «Хребте России» поворачивается к читателю той или иной выразительной картиной, заключенной в строгую смысловую рамку.

Вот в поисках месторождения самоцветов «один-одинешенек идет бородатый мужик по Ильменскому лесу» («Роман с камнем»). Вот «купец, краснея от натуги, прет себе в контору

чугунную квадригу» (Чугунная муза»). Вот деревенские «мальчишки бегом обгоняют самоходный самовар и свистят» («Здесь и ненадолго»). А вот «сэр Родерик [Мэрчисон – Ю.Щ.] вдумчиво колотит молотком по скалам», а потом «летит в воду вверх ботфортами вместе с боваром, орденом, трубкой и подозрной трубой» («Подземное время»).

В каждой из новелл «Хребта» наглядно показано, что каждый фрейм (ср. англ. frame – «рамка») – как цивилизационный сценарий – инициирован на Урале его историей, задан спецификой ландшафта, отформатирован социальной средой и скорректирован частными обстоятельствами. Как резчик из «Хозяйки самоцветов» и литейщик из «Чугунной музы», Мастер-повествователь «сводит природу с чертежом», «совмещает формы с фактурой», «преобразует материю – и этой материей заполняет форму, созданную другим художником». Каким? Самой жизнью.

Таким образом, предельная визуальность повествования становится еще одним значимым способом репрезентации культурно-исторических смыслов и, соответственно, важным жанрообразующим признаком идентичности.

Богатейший фоторяд «Хребта» – логическое и органичное продолжение его текстовой визуальности. Идентичность вовсе не обязательно предполагает наличие «материальных» иллюстраций, но Иванов выпустил именно фотокнигу, и об этом необходимо сказать особо.

Особый интерес представляют фотографии с присутствием человека на обширном пейзажном фоне. Подобные снимки передают масштаб, показывают размер и раскрывают сложность того или иного природного, промышленного, архитектурного объекта. Так, например, отдельные иллюстрации к новеллам «Последний герой», «Против солнца первая застава», «Тени воевод», «Царство за полконя», «Яма глубокая».

Другой подход к отбору фотоматериала просматривается в новеллах типа «Несбывшийся подвиг», «Клады Биармии», «Весна рукотворная» или «Полет павлинов над горами»: в центре – описываемый в основном тексте объект, а фотоврезки, как иконки на компьютерном экране, работают на его укрупнение и развертывание.

Многочисленные снимки, запечатлевшие съемочную группу, очень наглядно демонстрируют сложную технику («Портал в небо», «Точно так же на том же месте», «Приходящие на Акзират»), а также самые разнообразные средства освоения уральской территории: катер («Из армии в Биармию») и катамаран («Горный завод»), дельтаплан («Истинные арийцы») и снегоход («Коренная ханская земля»). Урал заснят анфас и в профиль, снаружи и изнутри, с воды и с воздуха. В результате в книгу вошли фотосъемки не только широко известных по глянцевым путеводителям, но самых отдаленных, труднодоступных и мало освоенных туристами мест Уральского края.

Наконец, фоторяд выполняет в «Хребте» и собственно прагматическую функцию. По признанию самого автора, как книга, так и одноименный фильм, делались помимо всего прочего и с целью «показать, как можно «потреблять» Урал. То есть, что здесь делать гостю»\*. Отсюда и «снегоходы, катера, рафт, катамаран, прыгающий с водопада заводской плотины, альпинизм, квадроцикл и гидроцикл, спелеология, моторный дельтаплан и воздушный шар».

### 8. Первые месторождения

Историко-культурологические разыскания и литературные поиски новых жанровых форм сродни геологической разведке. Возникает вопрос: где искать первые месторождения кристаллов идентичности?

Наверняка не единственная, но точно самая яркая самоцветная жила тянется из Испании XIX века, где Вашингтон Ирвинг собирал материалы для своей «Альгамбры», – в современную Англию нового тысячелетия, где Питер Акرويد написал «Биографию Лондона».

Напрасно Википедия выдает нам, что «Альгамбра» (Alhambra, 1832) – просто «сборник романтических рассказов». Внимательное прочтение позволяет увидеть в этом произведении Ирвинга один из первых опытов отно-

сительно системного документально-художественного описания территории, региона, локуса.

Прежде всего, в «Альгамбре», как и в «Хребте», отчетливо просматривается синкретизм осмысления регионального материала: автор хочет «явить цельную, правдивую и живую картину того микрокосма, того необычайного мирка», в который его «забросил случай и о котором иностранцы имеют крайне туманное представление». Для решения поставленной задачи соединяются увиденное (путевые заметки), услышанное (рассказы местных жителей) и прочитанное (библиотечные источники).

При этом, как и Иванову, Ирвингу представлялось первостепенным обоснование связи природного ландшафта с национальным характером. Сравним: «Земля, территория, пространство не могут не оказывать влияния на судьбу и мышление общества» («Хребет России») // «В суровом испанском ландшафте есть свое особое благородство: он вполне под стать здешним жителям» («Альгамбра»). Подобно мавританским кладям, культурные смыслы и тут оказались «вмонтированы» в ландшафт: Ирвинг показывает, как мавры, сами по себе «составлявшие нацию безземельную и безымянную», укоренились в испанской культуре через легенды и сохранились в испанской земле через зарытые в ней сокровища.

Подобно автору «Хребта», создателю «Альгамбры» приходилось «познавать пространство через его изнурительное преодоление», в данном случае – через рациональное осмысление изживать архетипический страх перед мавританским прошлым Испании, превращать «места недоброй памяти» в «замороженный дворец арабской сказки». Только у Ирвинга подобное преодоление осложнено мистикой и окрашено в мифопоэтические тона. В этом смысле его книга в буквальном смысле «магический кристалл»: автор, по его собственному признанию, «ступает по зачарованной земле и окружен дивными призраками».

Как Иванов концептуализирует Урал, так Ирвинг выделяет и обозначает культурно-исторические смыслы мавританской Испании: «испанская гордость», «набитые альфорхи», «рука с ключом», «чары памяти», «причастность тайне», «власть чуда»... Конечно, в

\* Дьякова Е. Огонь, вода и трубы Урала. Алексей Иванов – о проекте «Хребет России» и фильме «Иоанн Грозный и митрополит Филипп» // «Новая газета», Москва, 14 августа 2008.

«Альгамбре» эти смыслы лишь интуитивно нащупаны и потому требуют специального вычленения с помощью современных средств текстового анализа. Однако уже в процессе такой реконструкции несложно увидеть: по совпадению самых общих жанровых признаков это произведение Ирвинга вплотную приближается к идентичности.

Более последовательным воплощением основных канонов идентичности в современной литературе можно, вероятно, считать увидевшую свет в 2000 году акройдовскую «Биографию Лондона», где автор задается вопросом: «Если существует такая вещь, как непрерывность опыта, как преемственность жизни, то не связана ли она с самой территорией, с местной топографией?»

Если ключевым концептом книги Иванова выступает «Матрица», то главным понятием у Акройда является «continuity» (преемственность). В отличие от Иванова, Акройд «совмещает» город не по контуру ландшафта в проекции на историческое время, а по конфигурации человеческого тела, исходя при этом, как справедливо пишет в предисловии переводчик Л. Мотылев, «из представления о британской столице как о живом существе». Такой подход к идентификации не геоцентричен, как в «Хребте России», а антропоцентричен.

Каждая из глав «Биографии Лондона» раскрывает ту или иную сторону жизни мегаполиса в проекции на историческое время и в ряду ассоциативных связей, которые вычленяются автором путем анализа и сопоставления исторических, социологических, культурологических, публицистических, художественных источников. При этом как и в «Хребте», в тексте «Лондона» регулярно возникают отсылки к языческим архетипам представлений современных лондонцев.

Так, архетип места связывается с конкретным топонимом: например, «камень, получивший в Лондоне название «Игла Клеопатры», стал здесь неким покровительственным идолом». Характер горожанина рассматривается Акройдом в проекции на частные конфигурации обустройства отдельных районов (Ист-Энд, Сити и пр.) и опять же с выходом в архетипику: «Здесь экзальтация очень близко подходит к дикарству – на лондонских улицах

празднуется некий варварский триумф».

Для Акройда Лондон – «просто состояние души». Для Иванова Урал – «хребет России». Концептуальных различий много, но есть главное сходство: и горожане Лондона считают себя лондонцами, и жители Урала называют себя уральцами именно потому, что «испытывают чувство принадлежности».

\* \* \*

Старатель Сергей Южаков никому не открыл, где спрятал девятнадцать заветных амебистов. Писатель Алексей Иванов не только открыл уральские смыслы, но написал об этом книгу. Две составляющие образа уральского Мастера – знание и труд позволили автору приблизиться к третьей – совершенству точно найденной литературной формы восстановления региональной идентичности.

*Алексей Александров*

## Двадцать лет спустя

**Актуальная поэзия на Пушкинской-10: антология / сост.: Т. Буковская, В. Мишин, В. Земских. – К.: Птах, 2009. – 276 с.**

К сожалению, двухтысячные годы стали последними для целого поколения поэтов, причем для поэтов первого ряда, и этот убыток нам пока еще предстоит осознать, но уже сейчас ясно одно – время подводить итоги вновь наступило. А поэтические антологии, на мой взгляд, как раз для этого и выпускаются. Но если подобные издания в конце 90-х и в начале двухтысячных делали географические открытия (антология «Нестоличная литература: Поэзия и проза регионов России», 2001), выстраивали иерархии и закрепляли пройденное (антология «Самиздат века», 1997), в конце концов просто пытались дать свою субъективную карту современной поэзии («Современная литература народов России», 2003), какого нового подхода следует ожидать от новых составителей «собраний цветов»?

Антология «Актуальная поэзия на Пушкинской-10» вроде бы свободна от сомнительных притязаний на единственно верную кар-

тину, так как состав авторов ограничен местом, вернее сказать, здесь это место сузилось до точки выступления участников «АКТуальных чтений» в Санкт-Петербурге. Двадцатилетний юбилей арт-центра «Пушкинская-10» задает конечную точку выборки, все вроде бы просто. Большинство претензий по невключению той или другой персоны литературного процесса в этом случае сразу отпадает, если она, т.е. эта персона, не читала стихов на Пушкинской и не публиковалась в альманахе «АКТ». Иногда такой подход идеально срабатывает, иногда нет – есть опасность, что отказавшись от каких-то строгих системообразующих принципов, антология может стать раздувшимся сборником имен, не удержать интерес читателя, так и не добравшегося до «своего» автора. В нашем случае составители сделали небольшую паузу между разделами «EVERGRIN» и «LIVELIB», чтобы отдышаться – авторов в антологии более сотни, и идут они в алфавитном порядке. Ну, понятно, что в первом разделе собраны стихи уже ушедших от нас Михаила Генделева, Олега Григорьева, Виктора Кривулина, Всеволода Некрасова и др. замечательных поэтов, во второй – наоборот, попали стихи тех, кто жив. Не совсем понятно, зачем такое же разделение сохранилось и в биографических справках.

О справках надо сказать чуть подробнее. Они не просто краткие – у большинства участников антологии они непомерно много и скучные. Ну, что, в самом деле, выудишь из вот такой информации: «Светлана Колокольцева. Поэт, публиковалась в журналах» или «Борис Коцейшвили. Родился в 1940 г. Поэт, художник. Автор 3 книг стихотворений»? Причем число книг стихотворений и прозы (одна, пять, одиннадцать) везде набрано цифрами, без названий этих самых книг, выглядит это, по крайней мере, странно – может быть, не хватило места? Если же это сделано для того, чтобы соблюсти некий демократический принцип, то, на мой взгляд, в этом случае он работает плохо именно для «широкого круга читателей», для кого в том числе и предназначена «Актуальная поэзия на Пушкинской-10».

Но вернемся к содержанию антологии, составители которой в кратком предисловии «Вместо предисловия» говорят о возможности «достаточно широко увидеть панораму

современного русского стиха, его историю и интенции». Авторы «Актуальной поэзии на Пушкинской-10» в большинстве своем действительно позволяют составить мнение о современной русской поэзии, причем составить его, основываясь на именах, принадлежащих неподцензурной литературе, и тех, кто в широком смысле ей наследуют. Возможен такой подход? А почему бы и нет, тем более что в наше время вполне себе выходят антологии, представляющие современную поэзию, не деля ее на официальную и неофициальную. В качестве примера можно привести только что вышедшую антологию «Русские стихи 1950-2000 годов», составленную Иваном Ахметьевым, Германом Лукомниковым, Владимиром Орловым и Андреем Урицким.

Замечательно, что под одной обложкой можно прочитать стихи Полины Андрукович и Ивана Ахметьева, Анри Волохонского и Дмитрия Голынка, Михаила Еремина и Даниила Давыдова, Дмитрия Григорьева, Александра Ожиганова, Михаила Окуня, Сергея Стратановского, Елены Шварц (на момент публикации антологии – все еще в разделе «LIVELIB») и многих других. Это и есть «актуальная поэзия», пусть даже и первые три буквы ее написаны заглавными, что наверняка обыгрывалось составителями. Впрочем, в этой поэтической антологии есть и проза. О ней в предисловии говорится, что это «короткая проза тех писателей, которые публиковались еще в самиздате и без имен которых невозможно представить литературу Санкт-Петербурга XXI века. Все это тоже Поэзия». Наверное, это так, в любом случае тексты мне показались интересными и вполне к месту, как, например, рассказы и воспоминания Бориса Кудрякова и Бориса Иванова.

Есть в антологии имена и менее известные пресловутому «широкому кругу читателей», возможно, их присутствие связано с задачами, которые ставят перед собой редакторы альманаха «АКТ», но при таком «алфавитном» подходе, повторю еще раз свое опасение, не всякий будет замечен. Радует, однако, тот факт, что в «Актуальной поэзии на Пушкинской-10» много внимания уделено именно петербургским авторам, в этом смысле это хороший ответ антологии «Формация» (СПб.-М: Лимбус Пресс,

2008), которая, на мой взгляд, так и не была толком прочитана, благодаря (или вопреки) провокационным предисловиям В. Топорова и Д. Быкова.

В общем, антология поэзии, составленная Тamarой Буковской, Валерием Мишиным и Валерием Земских, получилась именно такой «АКТуальной», непохожей на другие. Что хорошо, я думаю, для понимания общей картины современной поэзии, хотя бы и за двадцать лет.

*Николай Аржанов*

## В струях прозрачного воздуха...

**Дирижабль. Выпуск XV: балканский.**  
– Нижний Новгород, 2010. – 64 с.

**Околоколомна. Выпуск первый: весна-лето 2010. – Коломна, 2010. – 64с.**

Нижегородский «Дирижабль» – рафинированное арт-издание, альманах-альбом, – «... неспешно двигаясь в струях прозрачного воздуха...», «уплыл» на Балканы. То есть очередной, пятнадцатый выпуск посвятил художественно-поэтическому осмыслению культурно-географического пространства столь любимой в России «пороховой бочки Европы». И обрел младшего брата – журнал общества любителей вольных прогулок «Околоколомна», коломенскому локусу посвященный. Впрочем, сейчас, с развитием единого информационного пространства, уже стало трудно говорить «нижегородский» или, например, «саратовский», и недаром в содержании «Дирижабля», кроме имени автора, указано и место проживания. А география его авторов весьма широка – от французского города Ардеш до Новосибирска, от Хельсинки до Белграда. И, может быть, реакцией на глобализацию и объясним трепетный интерес к регионам (среди тематических выпусков «Дирижабля» были поволжский, французский и угро-финский) и пристальное любование Коломенским посадом. Курируют оба издания Евгений Стрелков (Нижний Новгород, главный редактор «Дирижабля и редактор «Околоколомны») и Игорь Сорокин

(Саратов, литературный редактор «Дирижабля», редактор «Околоколомны», арт-художник и музейный работник), с их легкой руки облик и журнала и альманаха определяется идеей «книга=арт-объект».

Обложки, да и весь дизайн изданий сходны стилистической выдержанностью, культурой подачи, но построены на разновременных цитатах: «Дирижабль» при общем вполне современном облике явно тяготеет к двадцатым годам прошлого века, футуристической концепции книги как цельного произведения искусства, где текст и визуальный ряд равноправны, а в данном случае графика по информативности кое-где перевешивает, «Околоколомна» же цитирует 1900-ые, период модерна, серебряный век.

Задачи альманаха и журнала близки, но не идентичны: первый из собрания подчеркнуто разнохарактерного, разножанрового, неоднородного материала – мистификаций и философских бесед, исторических обзоров, арт-проектов, прозы, поэзии, фотографии – синтезирует целостное произведение, где дух местности лишь один из компонентов; важнее широта, охват, авторский взгляд. Для второго важен культурный контекст, века, поколения, личности – и попытка запечатлеть то, «...чего никак нельзя сохранить – но только воспроизводить снова и снова...» (из предисловия к первому номеру). Редакция «Околоколомны» (кроме упомянутых И. Сорокина и Е. Стрелкова, в нее входят Елена Дмитриева и Наталья Никитина) называет журнал антипутеводителем: «...запутать, околдовать, заворожить путешественника...», «журнал для тех, кто энциклопедической тяжести исторических реконструкций предпочтет случайное узнавание...» (там же). Задан разный масштаб, приняты разные подходы: «аэрофотосъемка», многочисленные срезы жизни и истории крупных регионов («Дирижабль») и неторопливая прогулка с остановками для того чтобы сквозь лупу разглядеть старое письмо или рукописное описание сортов яблок («Околоколомна», с. 38-40, 36-37).

«Контекст» в «Околоколомне», правда, создается испытанным краеведческим методом: публикуются фрагменты из книги Б. Пильняка «Волга впадает в Каспийское море», блок ма-

териалов об А. Ахматовой (С. Шервинский, Л. Горнунг), с честно указанными источниками; и, видимо, для поддержания прогулочного настроения вставлен отрывок из романа К. Вагинова «Труды и дни Свистонова», снабженного названием «Прогулка» (наверное, в качестве компенсации неколоменского происхождения отрывка), с довеском в виде описания внешности Д. Хармса «со слов художника В. Курдова», но без указания источника (видимо, чтобы на чужой территории Константину Константиновичу не было одиноко).

Гораздо органичнее смотрится веселое рассуждение о местном происхождении ангелов Венедикта Ерофеева. Воспроизведение редких и неизвестных текстов – смысловое ядро номера. Отрывок из книги «Из жизни торговой Москвы (полвека назад)» 1914 года, инструкция по изготовлению велосипедной шапочки 1911-го, фрагмент рукописи 1797–1800 годов прекрасно дополняются статьями о Коломенском посаде Н. Селиванова, о садоводстве в Коломне А. Мазурова. Собственно краеведческие материалы рассказывают о местном музее пастилы, топографии посада, конструктивистской бане... Проза журнала или привязана к городу («Мне в Коломну» С. Покровской и «Детство под солнцем Свибловой башни» В. Теплякова), или проникнута тем состоянием души, в котором только и нужно совершать вольные прогулки («Ветра день» П. Стрелковой, «Прогулка как евхаристия» С. Трунева, «Лоскуты сна» Е. Стрелкова). Ироничные «Село Купань» и «Из жизни ангелов» И. Иогансона перекликаются с пришедшим из «Дирижабля» отрывком пародийной книги «Ниже... Выше... Дальше...» Э. Абубакирова, Е. Стрелкова и В. Филиппова.

Многие из упомянутых авторов «Околоколомны» – постоянные авторы «Дирижабля», издания более плотного, насыщенного, имеющего уже традиционно сложившуюся структуру. В редакцию последнего, кроме упомянутых Е. Стрелкова и И. Сорокина входят Сергей Трунев, Марина Карачаровская и Дмитрий Хазан. В прозе здесь замечателен рассказ С. Тиханова «Баш-Челик», остроумно воспоминание И. Гришина «У Венгрии глаза албанской девушки», среди исторических публикаций интересны фрагменты воспоминаний Н. Илларионова, эмигранта, ставшего в 1930-х годах известным

джазовым музыкантом; И. Харьковский и Г. Киппер продолжают свой обзор европейской истории, начатый в 13-м номере альманаха, 3-я часть, естественно, о Балканах, от I века н.э.. Поэзия: К. Голубович, И. Миньо, В. Кислов – легка и изящна. Часть невеликого объема номера представляет следующий выпуск, тема которого биология; здесь показан арт-проект «Мичурин» екатеринбургского творческого объединения «Куда бегут собаки», стихи А. Александрова и Г. Авдошина, традиционные для «Дирижабля» мистификации.

«Весна в Коломне – самое время раздвигаться... Говорят, это все от ангелов... они крыльями машут, кислород нагоняют...» Тема воздуха в обоих изданиях возникает постоянно. Умение чувствовать то, что разлито в воздухе, ощутить взмах крыла ангела, энергии, струящиеся в пространстве – выделяет эти две небольшие книжечки из общей массы литературных, краеведческих, музейных изданий.

*Олег РОГОВ*

## Шевелящиеся виноградины

**Миры Осипа Мандельштама. – Пермь, 2009. – 350 с.**

Книга представляет собой сборник материалов международного семинара, посвященного 75-летию ссылки поэта – IV Мандельштамовских чтений, проводимых на этот раз, после Москвы, Питера и Воронежа, в Чердыни.

Мандельштамоведение, начинавшее с анализа стихотворений и закончив определенным период несколькими собраниями произведений поэта и итоговыми монографиями, теперь неизбежно сосредоточено либо на очень частных аспектах – эпизодах биографии или деталях произведений, которые требуют реального комментария, либо на очень общих – осмыслении так или иначе присутствующих в творчестве Мандельштама отражений различных явлений мировой культуры.

Том разбит на несколько больших подразделов. Первый, «Урал», посвящен недолгому пребыванию Мандельштама в Чердыни в июле 1934 года (почти две недели вместо трех лет,



положенных ему для отбытия высылки. После попытки самоубийства и последовавших за ней хлопот родственников и друзей поэта, его участь была смягчена, место ссылки можно было выбрать, и им стал Воронеж). В работах пермских исследователей Г. Чагина («Чердынь и Чердынский край в 1930-е годы») и Я. Кунтура («Чердынская городская больница в 30-е годы») представлены местные реалии. Первый текст представляет собой подробный краеведческий очерк Чердынского района, в котором, как и в обозреваемом временном периоде, сочетаются две статистики – экономического и культурного развития и учета раскулаченных и репрессированных, сливаясь, в итоге, в одну – партийно-хозяйственной отчетности, ведь рост важных показателей напрямую зависел от труда заключенных. Вторая работа детально знакомит нас с условиями работы сотрудников чердынской городской больницы (из окна которой и выбросился Осип Мандельштам) в начале 1930-х годов, это очень плотное погружение в реальность того времени, которая начинает возникать из сухих цифр и сводок, докладных и резолюций. Два других текста раздела – работы П. Нерлера. Статья «Осип Мандельштам в “Товарище Терентии”» (соавтор Я. Поболь), посвящена связям О. Мандельштама с Уралом в 1920-е годы и рассказывает о его сотрудничестве в журнале с эксцентричным названием. Второе исследование П. Нерлера «Чердынская ссылка Осипа Мандельштама. Источники и наброски к теме» хочется назвать «прозой» (вот, например, описание пристани: «Пешеходу же было и вовсе трын-трава: обочь Прямыцы шел самый настоящий тротуар, даром что тесовый»). Читатель словно вместе с четой Мандельштамов прибывает в Чердынь, видит как бы их глазами – и тогдашний силуэт города, и расположение зданий, заходит с ними в музей и отмечается в комендантуре. Эффект присутствия достигается за счет фактической достоверности, тщательной выверенности деталей в пространстве и времени.

Второй раздел «Культура» включает в себя первую часть исследования Л. Пановой «Друг Данте и Петрарки друг» – «Мандельштамовское освоение «Божественной комедии» и судьбы Данте», в котором подробно рассматривается «дантопись» Мандельштама в разные

периоды его творчества. Далее следуют три работы саратовцев – статьи С. Шиндина «Категория Средневековья в художественном мировоззрении Мандельштама: общий взгляд» и «Мотив французской живописи рубежа XIX–XX веков в художественном мировоззрении Мандельштама» посвящены наблюдению и анализу двух значимых тем творчества поэта, о живописи же – в более лирико-философской стилистике («Венецианская жизнь» – это повесть о Вселенной, наделенная всеми свойствами бытийственности») – статья «Некоторые особенности живописных аллюзий в лирике Мандельштама» (автор Б. Минц).

Раздел «Текст и интертекст» открывается проектом О. Лекманова «Египетская марка»: тотальный комментарий». Анализируется каждое слово данного произведения, преимущественно в плане реального комментария. Данный проект существует и в электронном виде ([http://community.livejournal.com/eg\\_marka/](http://community.livejournal.com/eg_marka/)), в сборнике увлекательно разобраны название, эпиграф и первая страница, к концу мая комментарий уже перевалил за середину повести. Далее следует статья Л. Кациса о воронежском периоде Мандельштама («От “Киева-вия” к “Литературному Воронежу”»). Две работы представляют собой вольные размышления на темы возможных подтекстов (А. Еськова «Еще три подтекста “Стихов о русской поэзии”» – Тютчев, Пастернак и Гете) и скрытых имен (Л. Видгоф «О последней строке и скрытом имени в стихотворении О. Мандельштама “Мастерица виноватых взоров...”» (1934)), в котором, возможно, имеется в виду О. Гильдебрандт-Арбенина). Завершает раздел работа Л. Гутриной «“Футбол” и “Второй футбол” – первая “двойчатка” Осипа Мандельштама».

В разделе «Семантика» мы находим статьи Ю. Кудряшовой «Лия как плоть слова в лирике О. Мандельштама», Н. Барковской «Семантика мотива “чумы” в произведениях О. Мандельштама. Г. Кубатьян в своей работе «Два эха. Автореминисценции в стихах О. Мандельштама» демонстрирует систематическое воспроизведение поэтом определенных словосочетаний и образов в разных жанрах и в разные временные отрезки его творчества. Статья Н. Петровой «“Хочу” и “не хочу” в поэзии и прозе О. Мандельштама» рассматривает

вереницу смыслов, связанных с декларацией желания или намерения, к этой работе при- мыкает исследование с более четким выделе- нием темы: «"Оскорбленный и оскорбитель": эстетика вызова в прозе О.Мандельштама». О философской метафизике поэта повествует статья Е. Братовской «Мандельштам: опреде- ление неопределимого».

Предпоследний блок сборника называется «Современники». О широте возможных под- ходов свидетельствуют сами названия статей: «Соотношение искренности-подлинности в поэтике Мандельштама и Блока» (С. Голд- берг), «Вл. Гишпиус об акмеизме» (А. Кобрин- ский), «Сергей Радлов и Осип Мандельштам» (М. Сальман), «Французский и русский поэты- музыканты смотрят на разрыв исторический ткани: Блэз Сандрар и Осип Мандельштам в 20-е годы» (А. Фэвр Дюпэгр), «Осип Мандель- штам и Андрей Платонов: о катастрофе» (А. Эпельбойн).

Завершает книгу раздел «Наследники». Название опасное, поскольку раздел, если таковой останется в сборниках и в будущем, рискует стать безразмерным. Как в положи- тельном, так и в отрицательном смысле. Наверное, любой настоящий поэт – наслед- ник всех предшествующих. С другой стороны – имитация мандельштамовской стилистики и образности во второй половине века имела катастрофические размеры.

Но в разделе мы находим только одну статью, и становится понятным, что нужно было его как-то озаглавить, хотя бы по ана- логии с предыдущим. Статья эта – «Лимонов на литературных олимпикс» А. Жолковского. Разбирая рассказ Э. Лимонова «Красавица, вдохновившая поэта», навеянный его встречей с Саломеей Андрониковой-Гальперн, ученый выделяет в исследуемом тексте неявный мотив соревновательности Лимонова с Мандельшта- мом и, как всегда занимательно, сопоставляет сюжетные схемы и ходы с аналогичными в ми- ровой литературе.

Творчество Мандельштама давно уже жи- вет еще одной, параллельной, жизнью, поми- мо обычного текстового бытования. Ученые изыскания, то предельно корректные, то вы- зывающе субъективные, то колеблющиеся в пределах одной статьи между «очевидно», «с

достаточной уверенностью» и «представляет- ся возможным» внимательно рассматривают текст, ища в нем преломления... да практически всего. Это неизбежно при встрече с поэтом такого уровня, как Мандельштам, чьи строки стягивают в один узел подчас слишком многое, требуя от исследователей универсальных зна- ний не только в гуманитарных областях.

Стоит добавить, что книга издана тиражом в 250 экземпляров и что к IV чтениям Мандель- штамовским обществом был выпущен очеред- ной том: «Осип Мандельштам и Урал. Стихи. Воспоминания. Документы» (М., 2009).

*Виктор СЕЛЕЗНЕВ*

## Тираны мира, трепещите!

**Валерия Новодворская. Поэты и цари.**  
– М.: АСТ, 2009. – 476 с.

Наш «...Храм нельзя увидеть, но можно прочесть. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Гумилев, Мандельштам, Пастернак, Бродский, Цветаева, Ахматова... (...) Вечное непокорство и вызов, брошенный вверх, вызов Фауста и го- тического портала. Здесь мы равны Западу, ибо наши поэты несли в себе три чистые изначаль- ные традиции: скандинавскую, славянскую, Дикого поля. Страсть и пламя диких степных племен, слияние с красотой лугов, лесов и бо- лот, свойственное славянам, и непримиримая свобода викингов, свобода и ристание, свобо- да, вызывающая на бой. Все это есть в нашей литературе, в которую страна вложила всю свою страсть и тоску, всю свою гордость, все мечты о Несбывшемся, потому что к XIX веку стало уже ясно, что литература заменит нам жизнь, нормальную реальность, которой мы были лишены» (С. 94-95).

Так Валерия Новодворская – едва ли не самый непримиримый враг любой тирании, не только коммунистической или неокон- мунистической, – поет осанну великой рус- ской литературе, глашатаю свободы, совести, чести. Ее книга – это вольный полет бунтаря над безбрежными просторами отечественной словесности, это суд над прошлым во имя бу-

душего, это субъективный до предела рассказ о литературных героях минувшего как о своих современниках, с их высокими порывами и горькими провалами.

В мечтателе Манилове Новодворская увидела «бывших думских демократов, любителей обещать “социально ориентированную рыночную экономику”», в Павле Ивановиче Чичикове – предшественника «Властилин» и Мавроди, а в Собакевиче – прототип национал-патриота, «который якобы любит Россию, но всех россиян находит мошенниками и хриstopродавцами...» (С. 19).

По мнению автора, Белинский и Чернышевский, Добролюбов и Писарев «все время судорожно искали в российских литераторах “своих”, “наших”, “идущих вместе”. Когда находили, прижимали к сердцу, когда не находили, посылали такого литератора к черту. Они бросались на литературу, как стая стервятников, выплевывая непригодное для дела свержения (или хотя бы дискредитации) “кровоавого царского режима”». А критерий у них был один – верность их передовым идеям, так называемое служение народу. И невдомек им было, «что как раз “служить народу”, или “прогрессу”, или воспитывать Стенек Разиных, Емелек Пугачевых и Павликов Морозовых, Корчагиных и Власовых литература не должна. Она служит истине и красоте, вернее, питается ими, как море» (С. 44).

Некрасов, под влиянием новых сотоварищей по «Современнику» – Чернышевского и Добролюбова, фактически захвативших журнал, был упоен идейкой новой пугачевщины, то бишь бунта – бессмысленного и беспощадного, как понял еще Пушкин. Некрасов народ «идеализирует безбожно, как любой карась-идеалист, для которого всякий шум – это предвестник торжества вольных идей; а ведь шум – это опасность, это ведут бредень, чтобы изловить его ж и изжарить в сметане» (С. 66-67).

По-иному видел народ-богоносец современник Некрасова, когда-то – до явления пламенных и буйных семинаристов – печатавшийся в его журнале. Кто не помнит хрестоматийный рассказ «Муму», «где рабская исполнительность хорошо сочетается с господской жестокостью. И доходит у обоих, у госпожи и у слуги, до палачества. На Нюрнбергском про-

цессе осудили бы всех: барыню – за приказ, Герасима – за исполнение преступного приказа. (...) Так что с такими господами и таким народом Муму все равно было не жить» (С. 45). «Тургенев предостерег Россию против уродств народничества и народовольства, убив нигилистов одним образом: “... манеры квартального надзирателя”» (С. 47).

Для Валерии Ильиничны близок и дорог рационалист Иван Гончаров. Тот, который не звал человечество в сказочно манящие дали. «Творчество Гончарова – холодный душ, прививка против розовых соплей, голубых слюней, “сердечных излияний” (его термин!), безумных мечтаний, безбрежного идеализма». Писатель «видел и понял, что за этими розовыми идеалами идут свинцовые времена, что идеализм кончится деспотизмом. За розовым и голубым мещанством шло красное палачество» (С. 38).

Великолепно автор перекидывает мостики от щедринской сказки о мужике и двух генералах в реальность XX века и совсем уж в нынешнее время. «Трудно объяснить причины, по которым мужика не стало. Вернее, причина ясна – мужиков всех перестреляли или уморили голодом... Естественно, тогдашние генеральские прихлебатели объяснили, что так мужику даже лучше, что все это для его же блага» (С. 62). А знаете, чем нынешние деятели в лампахах отличаются от своих предшественников? «Тогдашние генералы прибыли из Петербурга и сильно хотят в него вернуться, а теперешних, которые тоже питерские, обратно в Питер палкой не выгонишь» (С. 64).

Остроумно спародирована горьковская «Песня о Соколе», звавшая, как помнится, к бунту, куда более беспощадному и бессмысленному, даже чем пугачевщина:

*«В Альпах, сидя с кружкой пива, Ленин банду собирает. Между бандой и Россией гордо реет Максим Горький в сапогах, в косоворотке.*

*То крылом Москвы касаясь, то стрелой взмывая к Капри, он кричит, и Ленин слышит: “Резать, всех поставить к стенке!”*

*В этом крике – жажда власти! Дурь расейскую родную и уверенность и глупость слышит Ленин в этом крике»* (С. 280).

Так прошлое в книге сопрягается с днем сегодняшним, классические персонажи – с ны-

нешними демагогами и олигархами.

Ну, а если подумать, то с кем бы была непримиримая Валерия Ильинична в XIX веке? С ниспровергателями или с охранителями? С революционными прожекторами или со «Священной дружиной», созданной дворянством для защиты императора от народовольцев-террористов?

Новодворская не видит ничего худого в чиновничьей карьере злого сатирика Щедрина, дослужившегося до действительного статского советника, то бишь до генеральского чина. А любопытно, сама она приняла бы из рук самодержца пост губернатора или хотя бы его советника, как наши прирученные бывлые храбрецы либералы-демократы?

Конечно, «Поэты и цари», как уже понял читатель, это никак не академическая история русской литературы, да автор и не претендует на роль беспристрастного летописца и кропотливого исследователя.

Вряд ли стоит, скажем, оспаривать слишком уж вольное заявление, что на Руси «до Пушкина не было ни поэзии, ни беллетристики» (С. 6). Однако кое-что все-таки нужно уточнить.

«Хромой Тургенев обнажал царевбийственный кинжал» (С. 312). Пушкинский Николай Тургенев был куда скромнее, об убийстве монарха и не помышлял, лишь «предвидел в сей толпе дворян освободителей крестьян». А царевбийственный кинжал обнажал в X главе «Онегина» другой декабрист – Иван Якушкин.

Так ли уж безоговорочно боготворил Тютчев Николая I, делая из него «почти что Юлия Цезаря»? (С. 97.) Тот самый Тютчев, проводивший императора в мир отнюдь не хвалебной одой, а эпиграммой:

*Не богу ты служил и не России,  
Служил лишь суете своей,  
И все дела твои, и добрые и злые, –  
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:  
Ты был не царь, а лицедей.*

Я бы не взялся так категорически утверждать, что у Блока не было романов (любовных) с актрисой Н. Волоховой (она переименована в Волкову) и певицей Л. Дельмас (С. 230). А у Бунина, мол, никогда не было романов (проза-

ических) (С. 273).

Умрет Блок не только «от горя, от отчаяния» (С. 232), а и потому, что большевики не выпустили его в Финляндию для лечения, чего добивались Горький и Луначарский. Лечиться за границей великому поэту народные комиссары запретили, зато голодом в своей вотчине уморили:

2 августа 1921 года комиссия по снабжению рабочих при народном комиссариате продовольствия, заслушав «Выписку из постановления Ц.К. Р.К.П. от 12/VII-21 г. (пр.№ 50, п. 2), коим Наркомпроду поручается озаботиться об улучшении продовольственного положения поэта А. Блока», постановляет: «Предоставить А. Блоку с 1-го августа с. г. семейный паек в размере двух полных пайков». 8 августа управление распределения наркомпроуда шлет циркуляр Петроградской губернской коммуне, предлагая немедленно исполнить постановление «о предоставлении с 1-го августа семейного академического пайка в размере двух полных пайков поэту А. Блоку».

Ни одного из обещанных большевиками этих «двух полных пайков» поэт так и не дождался. Он умрет в 10 часов 30 минут утра 7 августа 1921 года.

Очень скромно именует автор Валерия Брюсова, единственного поэта-символиста, вступившего в партию нового типа и запродавшего новой власти и душу, и совесть, ««попутчиком» большевиков» (С. 128).

Валерия Новодворская воздаст почести красному полу-графу Алексею Толстому (еще в советскую пору кое-кто прозвал его Ренегатовичем) как «великому (без кавычек) прозаику» (С. 315). Сколько помнится, на эту такую заоблачную высоту его не возносили даже самые сервильные советские критики. Правда, мудрый и язвительный Юрий Тынянов готов был выдать этот эпитет автору незабвенных эпоей: «Алексей Толстой – великий писатель. Потому что только великие писатели имеют право так плохо писать». «Его «Петр I» – это Зотов, это Константин Маковский. Но так как у нас вообще не читают Мордовцева, Всев. Соловьева, Салиаса, то вот успех Ал. Толстого»\*.

\* Чуковский К. И. *Дневник. 1930-1969. – М.: Современный писатель. 1997. С. 134.*

Странен пассаж о Маяковском: «Фигура Сталина (ни одной строчки о нем!) внушала ему отвращение» (С. 333). Простите великодушно, да кто же это еще в 1926 году, когда в стране громко звучали имена Троцкого, Каменева, Зиновьева, но мало кто, кроме партийных функционеров, слышал про чудесного грузина, так прозорливо воспел будущего вождя всего прогрессивного человечества:

*Я хочу  
чтоб к штыку  
приравняли перо,  
С чугуном чтоб  
и с выделкой стали  
о работе стихов,  
от Политбюро,  
чтобы делал  
доклады Сталин.*

Восхитительно это милитаристское приравнивание духовных ценностей к орудиям убийства, а поэзии – к промышленному производству.

Не собираюсь пересматривать репутацию Алексея Пешкова, известного в литературном мире как Максим Горький, автора людоедского клича: «Если враг не сдается – его уничтожают!», но даже он не додумался до таких холуйских возлияний. И, кстати, Пешков-Горький

не выдал про генсека ни книжонки, ни хоть какого-нибудь путного очеркишка, коего так жаждал не в меру скромный Джугашвили.

Цикл антибольшевистских памфлетов Горького «Несвоевременные мысли» один раз ошибочно назван «Несвоевременными размышлениями» (С. 231).

Надо уж очень увлечься своим повествованием, чтобы назвать годы с 1860 по 1904-й, когда бомбисты убивали губернаторов и министров, пока не добрались да самого императора, – «самыми мирными, самыми беспечальными» в истории страны (С. 83).

Никак не тянет III отделение на роль прототипа КГБ (С. 357). Никто, конечно, не захотел бы по доброй воле попасть ни в ту контору, ни тем паче – в эту, но николаевские жандармы ни одного человека не замучили и не убили.

И жаль, что Новодворская прошла мимо великих драматургов Грибоедова и Сухово-Кобылина. Вот уж кого можно без всяких оговорок назвать нашими современниками, вот уж кто предугадал судьбу бедной России в будущем, которое, увы, обернулось нашим настоящим.

Простим Валерии Ильиничне небрежности и промахи. Простим за ее вольный полет за правдой, за ее бескорыстную любовь к литературе и к свободе.

Иван КОЗЛОВ

## Опасные фантазеры

### **Остров проклятых**

Новый фильм Мартина Скорсезе и удивляет, и настораживает. Это масштабный триллер, имитирующий лучшие образцы фильмов «нуар», с редкостной красоты выверенными кадрами и нетривиальным сюжетом (в первые десять минут я предположил самое дикое и невозможное дальнейшее развитие событий и оказался прав!).

«Талисман» Скорсезе – Леонардо ди Каприо, сменивший на этом посту Роберта де Ниро, в очередной раз демонстрирует зрителям широкий спектр своих актерских возможностей, играя сразу как бы несколько ролей – его персонаж раскрывается как матрешка, пока не обнажается самая его сердцевина. К чести ди Каприо стоит отметить, что ему удалось почти невозможное – оставить далеко позади, казалось бы, намертво прикипевший к нему имидж романтического героя – после успеха «Титаника». Роль в «Острове проклятых» отчасти сродни другой его роли у Скорсезе – в масштабном биографическом фильме «Авиатор»: та же одержимость идеей, та же глубина и масштабность характера, те же внутренние бездны, куда его героям приходится сначала осторожно заглядывать, а потом уже пристально всматриваться.

Всмотримся и мы, но с позиции наблюдателя. Американский кинематограф в свое время радостно принялся эксплуатировать фрейдистские мотивы, приспособив их к детективным сюжетам. Наверное, самый известный фильм подобного рода – «Психо» Альфреда Хичкока. Пройдясь по всей широкой клавиатуре учения венского психоаналитика, редуцировав известные комплексы и фобии до внятных простому зрителю аргументов поступков персонажей, Голливуд неизбежно прошел спиральный ход и вырвался на новый сюжетный уровень.

После десятилетий культурной долбежки

Фрейда знали все и настало время как пародийного использования известных мотивов, так и провокационного. Теперь не психиатры объясняли действие персонажей теми или иными отклонениями, а сами герои использовали устоявшиеся в психоаналитике стереотипы, водя за нос либо дипломированных специалистов («Окончательный анализ»), либо полицейских («Основной инстинкт»).

«Остров проклятых» тоже играет со зрителем, как играют с его персонажами кукловоды, то и дело меняющиеся местами по ходу фильма. Психофуга, экзотическое психическое расстройство, анализу которого посвящен фильм, каждый может примерить на себя, может быть, поэтому «Остров проклятых» так пугает. Вот роли, которые мы играем в жизни в тех или иных ситуациях. А что там в остатке? О чем мы забыли? Какой вопрос главнее, в конце концов: «Кто я?» или «Кто все эти люди?».

### **Алиса в стране чудес**

Никто мне ни одного доброго слова об этом фильме не сказал, и я решил оставить его просмотр до появления на видео. В противном случае 3D-спецэффекты отвлекли бы на себя внимание, а Бертон все же не Кэмерон, и его «Алиса» – не «Аватар», где достаточно этих самых спецэффектов, и кроме них смотреть, в общем-то, и не на что.

Мне показалось, что 3D-ажитаж и послужил причиной массового недовольства «Алисой» Тима Бертона. Репутация режиссера-волшебника, готического сказочника сыграла с Бертоном злую шутку – все ждали более-менее адекватного перевода на экран, да еще в 3D-формате, интерпретации любимого произведения в узнаваемом бертоновском стиле. Вместо этого режиссер снял отнюдь не «Алису» Кэрролла, а вполне самостоятельный фильм, использующий пространство и персонажи классического детско-взрослого произведения.

Фильм, действительно, вызывающе авторский, он идет поперек зрительских ожиданий. В нем нет линейного кэрролловского повествования, в нем нет даже, казалось бы, неизбежного обыгрывания грибов-пирожков-флакончиков-кальянов, меняющих для героини реальность. Тим Бертон рассказывает нам свою историю и единственное, что нам, зрителям, следует сделать – это принять его правила игры, а не возмущаться их, якобы, нарушением.

Бертон сделал ленту-воспоминание. Повзрослевшая Алиса не помнит своих волшебных приключений, попадая снова в запредельное королевство, она думает, что находится во сне. Однако, несмотря на настойчивое повторение, сон отнюдь не прекращается и не становится осознанным, и когда Алиса понимает, что ей пришлось вернуться, это похоже на эйфорический шок от воспоминания о прошлой жизни.

Мир Бертона отличается от мира Кэрролла еще и тем, что он смертельно опасен. Отрубленные головы в сказке Кэрролла приобретают зловещую реальность у Бертона, не очень внятный Бармаглот становится вполне осязаемым злобным драконом, с которым приходится сражаться Алисе. Второе нисхождение в волшебную реальность становится для героини своего рода инициацией во взрослую жизнь. А те невнятности и непроясненности сюжета, на которые пеняли Бертону – так они же принадлежат кэрролловскому миру, и начни Бертон объяснять, что откуда взялось и почему стало именно таким – получился бы второй «Сильмариллон». И потом, почему Бертону нужно объяснять то, что не удосужился растолковать нам Кэрролл?

### ***Информатор***

Третий случай бурного полета фантазии – у героя фильма Стивена Содерберга «Информатор». Мы погружаемся в мутный мир международных компаний, где бизнес то и дело вступает в конфликт с жесткими юридическими нормами, а сотрудники незаметно могут пре-

вратиться из заботящихся о процветании фирмы карьеристов в банальных уголовников.

Но случай героя «Информатора» – особенный. Герой, которого играет Мэтт Даймон, с каждым шагом все глубже увязает в паутине лжи, которую медленно, но верно, с невыразимым тщанием и упорством сплетает сам с не очень понятными для зрителя целями. Сначала нам кажется, что перед нами классический случай, многожды зафиксированный зорким кинематографическим оком, своего рода «Осенний марафон», только в бизнес-сфере. Становясь то жертвой, то манипулятором, герой фильма постепенно начинает казаться нам то ловким мошенником, то абсолютно больным человеком, не контролирующим свои действия.

Самое забавное в этом фильме – то, насколько серьезно относятся к герою и его безумным идеям и проектам сильные мира сего, будь его начальство в транснациональной кукурузной конторе или ФБР. Такое впечатление, что ты находишься не в американской реальности с ее строгой регламентацией, а в наших 90-х, где любой вдохновенный прохвост, улыбнись ему удача, мог бы не только получить бешеные деньги, но и сделать крутую политическую карьеру.

Хлестаковщина неизбывна, – вот главный вывод из фильма Содерберга. Второй вывод: аксиоматика по нынешним временам – непозволительная роскошь. Осмелюсь предположить некий метауровень этой ленты. Содерберг на первых порах воспринимался исключительно как артхаусный режиссер («Секс, ложь и видео», «Шизополис»), затем он время от времени удивлял поклонников вполне социальными и сюжетно-предсказуемыми картинками («Эрин Брокович»), наконец, пек как блинчики вполне коммерческий продукт (n+1 друзей Оушена). В последних лентах Содерберг демонстрирует подлинный профессионализм, если под таковым понимать умение хорошо снимать фильмы любых жанров для любой аудитории. Хотя в какой-то степени это сродни маскам героя «Информатора». Есть ли личико у Гюльчатай?

**Редколлегия журнала:**

Анна Сафронова  
Алексей Александров  
Алексей Голицын  
Алексей Слаповский  
Олег Рогов

Подписано в печать \_\_\_\_ июня 2010 г.  
Журнал отпечатан в типографии  
Адрес типографии:

Заказ №  
Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:  
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:  
<http://magazines.russ.ru/volga/>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.